

Гофман Эрнст Теодор Амадей Житейские воззрения кота Мурра

Lebens-Ansichten des Katers Murr nebst fragmentarischer Biographie des
Kapellmeisters Johannes Kreisler in zufälligen Makulaturblättern, 1819 -- 1821

Перевод с немецкого К. Д. Бальмонта.

Первая публикация перевода: Житейские воззрения кота Мурра вместе с отрывками биографии капельмейстера Иоганна Крейсlera, изложенной в добавочных макулатурных листах / Э.Т.А. Гофманн; Пер. с нем. К.Д. Бальмонта. Кн. 1-3. -- Санкт-Петербург: А.С. Суворин, ценз. 1893. -- 659 с. 14 см. -- (Дешевая библиотека ; No 244-246)/.

Источник: Гофман Э. Т. А. Полное собрание сочинений в двух томах. Том 1. / Пер. с нем. -- М.: "Издательство АЛЬФА-КНИГА", 2011. -- 1263 с.: ил. -- (Полное собрание в двух томах).

OCR Купин А.

Предисловие немецкого издателя

Никакая книга не нуждается так в предисловии, как предлагаемая, без него будет непонятно, каким удивительным образом книга эта приняла такой странный вид -- вид смеси.

Потому издатель просит благосклонного читателя непременно прочесть предисловие.

У упомянутого издателя есть друг, с которым он живет душа в душу, которого он знает, как самого себя. Этот-то вот друг сказал ему однажды приблизительно следующее: "Ты, любезный, напечатал уже много книг и у тебя много знакомых среди издателей; тебе, следовательно, легко будет найти кого-нибудь, кто по твоей рекомендации напечатает некоторую вещь, написанную недавно молодым автором блестящего таланта и отличнейших способностей. Обрати на него свое внимание, он этого вполне заслуживает".

Издатель обещал сделать для коллеги-писателя все возможное. Его немного удивило, впрочем, одно обстоятельство, именно признание друга, что рукопись принадлежит коту по прозванию Мурр и содержит в себе житейские взгляды этого последнего; слово, однако, было дано, и, так как вступление показалось издателю написанным очень хорошим стилем, он тотчас же с рукописью в кармане отправился на улицу Unter den Linden к г-ну Дюммлеру и предложил ему издание книги, написанной котом.

Г-н Дюммлер подумал, что до сих пор среди авторов, которых он печатал, не было еще ни одного кота; кроме того, насколько ему было известно, никто из его почтенных коллег не имел до сих пор никакого дела с писателями такого рода, тем не менее он решился сделать попытку.

Печатание началось, и издателю были представлены первые пробные листы. В каком же он был ужасе, когда увидел, что история Мурра то здесь, то там прерывается и в промежутках в ней сделаны вставки, относящиеся

к другой книге и содержащие в себе биографию капельмейстера Иоганна Крейслера.

После тщательных расспросов и расследований издатель узнал, наконец, следующее. Когда кот Мурр излагал свое мировоззрение, он без всякой церемонии разорвал одну книгу, найденную им у своего господина и, беззаботно подкладывая ее листы под свою рукопись, употребляя их в качестве пропускной бумаги. Листы эти остались среди листов рукописи и по недосмотру были перепечатаны как необходимое к ним дополнение.

С прискорбием и грустью издатель должен сознаться, что спутанная смесь совершенно разнородного материала появилась в свет в таком виде лишь благодаря его собственному легкомыслию: он должен был внимательно просмотреть рукопись кота, прежде чем отдавать ее в печать, тем не менее для него еще осталось некоторое утешение.

Во-первых, благосклонный читатель легко выйдет из затруднения, если он снисходительно пожелает обращать внимание на поставленные в скобках знаки: "Мак. л." ("Макулатурные листы") и "М. прод." ("Мурр продолжает"); затем, так как никто ничего не знает о разорванной книге, можно заключить с высокой степенью вероятности, что она никогда не была в продаже. Другим капельмейстера, по крайней мере, должно быть приятно, что благодаря литературному вандализму кота они получают некоторые сведения о необычайных приключениях этого -- в своем роде очень достопримечательного -- мужа.

Издатель надеется на милостивое прощение.

Верно, наконец, и то, что авторы самыми смелыми своими мыслями, самыми удачными оборотами нередко бывают обязаны своим снисходительным наборщикам, содействующим полету их идей посредством так называемых опечаток. Так, например, пишущий эти строки говорит во второй части своих ноктюрнов об обширной рошице (Boskett), находящейся в саду. Это показалось наборщику недостаточно гениальным и он вместо слова Boskett ("рошица") поставил слово Caskett ("фуражка"). В рассказе Fraulein Scudery наборщик лукавым образом представляет упомянутую фрейлейн не в черном платье (Robe), а в черном цвете (Farbe) и т. п.

Но каждому свое! Ни кот Мурр, ни неизвестный биограф капельмейстера Крейслера не должны быть воронами в павлиньих перьях, и потому издатель настоятельно просит благосклонного читателя исправить опечатки, прежде чем он примется за чтение этого произведения, дабы он не думал о каждом из двух авторов ни лучше, ни хуже, чем они заслуживают. В заключение издатель берет на себя смелость уверить, что он лично познакомился с котом Мурром и нашел в нем особу приятного, кроткого нрава.

Э. Т. А. Гофман. Берлин, ноябрь 1819

Предисловие автора

Робко, с трепещущим сердцем я передаю миру эти повествования о моей жизни, страданиях, надеждах, стремлениях, вылившиеся из тайников души моей в сладостные часы досуга и поэтического вдохновения.

Устою ли пред строгим судом критики? Но ведь я писал для вас, о, чувствительные души, о, чистые, детские натуры, о, родственные мне, верные сердца, и одна-единственная слезинка из ваших глаз утешит меня, исцелит рану, нанесенную холодным осуждением бесчувственных рецензентов.

Мурр
(*Etudiant en belles lettres*) [*Новичок в литературе -- фр.*].
Берлин, май, года 18...

Предисловие, уничтоженное автором

С спокойной уверенностью, составляющей прирожденную черту истинного гения, я передаю миру мою биографию для того, чтобы он понял, как доходят до положения зрелого кота, чтобы он познал мои превосходные качества во всем их объеме, дивился мне, любил меня, ценил, почитал и немного обожал. Если кто-нибудь окажется настолько дерзким, что решится подвергать сомнению необычайные достоинства этой замечательной книги, пусть он помнит, что он имеет дело с котом, в распоряжении у которого есть ум, рассудительность и острые когти.

Мурр
(*Homme de lettres tres renommé*)
[*Писатель, достигший большой известности -- фр.*].
Берлин, май, года 18...

Р. S. Какая досада! И то предисловие, которое должно было подвергнуться уничтожению, оказалось напечатанным!

Ничего не остается, как просить благосклонного читателя не относиться слишком строго к несколько гордому тону этого предисловия и принять в расчет, что, если бы взять какое-нибудь умиленное предисловие другого чувствительного автора и перевести его на язык затаенных мнений этого последнего, оно немногим бы отличалось от вышеупомянутого.

Издатель

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

Ощущения бытия, месяцы юности

Что это за прекрасная, возвышенная, чудная вещь -- жизнь!

"О ты, сладкая привычка существования!" -- восклицает известный нидерландец, герой трагедии.

Точно так же восклицаю и я, но не как тот герой в скорбную минуту расставания с жизнью -- о, нет! -- именно в тот момент, когда я полон

восторженного сознания, что я только что всецело сроднился с этой сладостной привычкой и отнюдь не намерен когда-либо с ней расставаться.

Я разумею, точнее говоря, что духовная сила -- неизвестная власть или, как там еще можно назвать, управляющий нами принцип, в известном смысле насильственно навязавший мне упомянутую привычку, -- должна была иметь гораздо более худшие намерения, чем тот ласковый человек, к которому я поступил в услужение и который, подставив мне под нос блюдо с рыбой, не отдернет его в ту самую минуту, когда я только что начну лакомиться.

О природа, святая, величественная природа! Как проникнута вся моя взволнованная грудь твоей негой, твоим очарованием, как обвеивает меня твое таинственное, полное шепота, дыхание! Ночь несколько свежа, и я хотел бы... Впрочем, ни один читатель, прочтет или не прочтет он эти строки, не будет в состоянии понять моего высокого вдохновения, потому что он не знает той высокой точки зрения, до которой я воспарил! Вернее было бы сказать "вскарабкался", но ведь никакой поэт не говорит о своих ногах, хотя бы у него их было четыре, как у меня; поэт говорит только о своих крыльях, если даже они не выросли у него от природы, а являются ухищрениями искусного механика. Надо мной высится глубокий купол звездного неба, полная луна бросает на землю свои искристые лучи и в огненном, серебряном блеске стоят вокруг кровли и башни! Все больше и больше замирает внизу на улицах шумная суетня, тише и тише становится ночь -- мимо плывут облачка, -- одинокая голубка, воркуя и изливая грусть в боязливых любовных жалобах, вьется вокруг колокольни! О, если бы прекрасная малютка пожелала приблизиться ко мне! Я чувствую, что я полон каким-то чудным волнением, с неудержимой силой меня охватывает какой-то мечтательный аппетит! О, приди ко мне, прелестная чаровница! Я хотел бы прижать тебя к своему больному сердцу и никогда не отпускать от себя! Ха, вон летит она в голубятню, коварная, и оставляет меня здесь, на крыше, тоскующего и безнадежного! Как редко, однако, можно встретить истинную симпатию сердец в это жалкое, черствое, чуждое любви время!

Разве в вертикальном хождении на двух ногах заключается какое-нибудь величие, что порода, называющая себя людьми, изъявляет притязание на господство над всеми нами, над существами, которые с более надежной устойчивостью ходят на четырех ногах? Но, я знаю, они воображают, что это величие заключается в том, что должно находиться в их головах и что они называют разумом. Не могу себе составить ясного представления, что это собственно за вещь, но, во всяком случае, я не желал бы поменяться ролями ни с каким человеком, насколько я могу -- по словам моего господина и покровителя -- заключить, что под разумом нужно понимать способность поступать сознательно и не делать никаких глупостей. Вообще я думаю, что сознание есть дело привычки; начинаешь жить и проходишь путь жизни, но как -- этого никто не знает. По крайней мере, так было со мной, и, сколько мне известно, ни один человек на свете не знает подробности своего рождения по личному опыту, а только по

традиции, которая к тому же часто бывает крайне неверна. Города спорят между собой о месте рождения знаменитого мужа; точно также останется навсегда неизвестным -- потому что я сам не знаю ничего в точности, -- в подвале, или на чердаке, или в дровяном сарае увидел я свет или, скорее, не увидел, а, появившись на свет, был увиден моей милой мамашей. Потому что, как свойственно нашей породе, глаза мои были покрыты пеленой. Как в тумане припоминаю я резко раздававшиеся ворчливые звуки, которые я испускаю почти против своей воли, если мной овладевает гнев. Яснее и почти с полным уже сознанием ощутил я себя в каком-то чрезвычайно узком местечке с мягкими стенами; я едва мог дышать и, полный скорби и тоски, испускал жалобные крики. Что-то такое опустилось в мое помещение и весьма нелюбезно схватило меня за живот; это дало мне повод впервые проявить дивную способность ощущать и действовать, дарованную мне природой. Из передних своих лапок, покрытых роскошным мехом, я быстро выпустил острые, гибкие когти и вцепился ими в ту вещь, которая схватила меня и которая, как я узнал впоследствии, была ничем иным, как человеческой рукой. Эта рука вытащила меня, однако, и отшвырнула, после чего я тотчас почувствовал два сильных удара по обеим сторонам моего лица, на котором теперь красуется, смею сказать, великолепная борода. Насколько могу теперь судить, рука, оскорбленная игрой мускулов, управляющих моими лапками, отвесила мне две пощечины, впервые я узнал по опыту моральную причину и следствие, и именно моральный инстинкт побудил меня спрятать когти почти так же быстро, как я их выпустил. Впоследствии моя способность быстро прятать когти была вполне справедливо оценена, как проявление любезности и, так сказать, *bonhomie* [*Добродушие* -- фр.], и я получил название "бархатные лапки".

Как сказано, рука швырнула меня на землю. Но почти тотчас же она опять схватила меня за голову и пригнула ее вниз, так что я своей мордочкой попал в жидкость, которую тотчас же начал лакать, что возбудило во мне особое внутреннее довольство; почему я так скоро догадался, что нужно делать, решительно не понимаю, вероятно, это был физический инстинкт. Теперь я знаю, что напиток, который я вкушал, был сладким молоком. Я чувствовал голод и, пока пил, насытился. Таким-то образом началось мое физическое развитие вслед за моральным.

Снова, но нежнее, чем прежде, меня взяли две руки и положили на теплую, мягкую постель. Все отраднее и отраднее становилось у меня на душе, и я начал проявлять свое внутреннее довольство посредством особых свойственных только моей породе звуков, к которым люди весьма удачно применяют выражение "мурлыкать". С этой минуты я стал двигаться вперед в своем светском образовании поистине гигантскими шагами. Какое преимущество, какой чудный дар неба -- способность звуками и жестами выражать свое душевное благополучие! Сперва я только мурлыкал, потом у меня проявился неподражаемый талант придавать своему хвосту самые живописные позы, потом -- волшебный дар посредством единственного маленького слова "мяу" выражать радость и

скорбь, негу и восторг, тоску и отчаяние -- словом, все ощущения и страсти в разнообразнейших их степенях. Что значит человеческий язык в сравнении с этим простейшим способом быть понятным для других!

Но дальше, будем продолжать достопамятную, поучительную историю моей юности, столь богатой событиями!

Я очнулся от глубокого сна, я был залит ослепительным блеском, устранившим меня, спала пелена с глаз моих: я прозрел!

Прежде чем я мог свыкнуться с ярким светом, в особенности же с пестрой картиной, представшей моим глазам, я должен был несколько раз подряд чихнуть; но вскоре после этого зрение мое начало действовать так прекрасно, как будто бы я был зрячим уже давным-давно.

О зрение! Ты -- удивительная привычка! Без тебя трудно было бы жить на белом свете! Счастливы те высокоодаренные существа, которым зрение дается так же легко, как мне.

Не могу, впрочем, отрицать, что я впал в некоторое беспокойство и испустил жалобный вопль, такой же, как во время своего пребывания в тесном помещении. Тотчас же показался маленький, худой, старый человек, который навсегда останется для меня незабвенным, потому что, несмотря на мои обширные знакомства, я никогда не видал ни одной личности, равной ему или хотя бы способной идти с ним в сравнение. Среди существ моей породы случается часто, что та или другая зрелая особа обладает белым или черным мехом с пятнышками, но чрезвычайно редко можно найти кого-нибудь, кто бы имел белые, как снег, волосы на голове и в тоже время черные брови цвета воронова крыла -- как раз такое сочетание цветов было у моего воспитателя. Дома он носил короткий, ярко-желтый шлафрок, наводивший на меня ужас, благодаря чему, как только мой господин приближался ко мне, я кое-как, насколько мне позволяла моя беспомощность, сползал с белой подушки, на которой лежал. Господин мой нагибался ко мне с ужимкой, казавшейся мне дружеской и внушавшей доверие. Он брал меня на руки, и я благоразумно воздерживался от игры мускулов, управляющих когтями, -- идеи "царапать" и "получать удары" естественно соединялись в моем уме; и на самом деле, у моего покровителя всегда были хорошие намерения, потому что он ставил меня перед блюдечком со сладким молоком, которое я жадно лакал, чем он немало забавлялся. Он много говорил со мной, но я его не понимал, потому что тогда мне, неопытному молоденькому котенку, было еще чуждо понимание человеческой речи. Вообще я мало что могу сказать о моем покровителе. Но не подлежит никакому сомнению что он должен был иметь большие познания в разных отраслях наук и искусств, потому что все, приходившие к нему (среди них я заметил некоторых людей, у которых на груди были крест или звезда на том самом месте, где природа наделила меня желтым пятнышком)... Итак, все, приходившие к нему, обращались с ним необычайно учтиво, иногда даже с оттенком боязливого преклонения, как впоследствии я с пуделем Скарамушем, и называли его не иначе, как "мой достопочтенный, мой драгоценный, мой неоцененный мейстер Абрагам!" Только две особы называли его просто "любезный" -- высокий

тонкий господин в светло-зеленых панталонах и белых шелковых чулках и маленькая, чрезвычайно плотная госпожа с черными волосами и множеством колец на всех пальцах. Господин, должно быть, был князем, госпожа -- еврейской дамой.

Но, несмотря на своих знатных посетителей, мейстер Абрагам жил в маленькой комнатке, расположенной очень высоко, так что мне чрезвычайно удобно было делать через окно первые свои прогулки на крышу и на чердак.

Да, не иначе, я рожден на чердаке! Что подвал, что дровяной сарай, родина моя -- чердак! Климат, отечество, нравы, обычаи, как непогасимо ваше влияние! Вы, и только вы определяете внешнее и внутреннее развитие гражданина! Откуда во мне это величие духа, эта любовь к возвышенному? Откуда эта редкостная, чудная способность вскарабкиваться вверх, это завидное умение совершать самые смелые, гениальные прыжки? Ха! Сладкое и грустное чувство наполняет мою грудь! Властно подымается во мне порыв к моему родному чердаку! Тебе посвящаю я эти слезы, о, дорогая родина, тебе это грустное, но торжествующее "Мяу!". Тебе во славу совершаю я эти прыжки, эти скачки, свидетельствующие мою добродетель и патриотическое мужество! Ты, о, чердак мой родимый, расточаешь мне щедрой рукой мышек в большом количестве, в твоих пределах я могу иногда стянуть из дымовой трубы кое-какие колбасы или куски сала, здесь же я ловлю воробьев, а порой даже подстерегаю голубя. "О, родина, сильна к тебе любовь!".

Но о моем воспитании, о первых...

(Мак. л.) -- А помните ли вы, всемилостивейший государь, ту страшную бурю, которая застигла адвоката в то время, как он шел ночью через Pont-Neuf, и сбросила в Сену его фуражку? Нечто подобное есть у Рабле, но, собственно, ведь не буря сорвала фуражку с головы адвоката, он крепко держал ее своей рукой, предоставив плащ игре ветра; это был гренадер, который с громким возгласом: "Ужасный ветер, милостивый государь!" -- проскакал мимо и тотчас сорвал с его парика прекрасную касторовую шляпу; и не касторовая шляпа полетела в Сену, а, напротив, гадкая фуражка солдата под суровым ветром обрела в волнах влажную смерть. Вы знаете все, милостивейший государь, также, что в то мгновение, когда адвокат, совсем пораженный, стоял на мосту, другой солдат с тем же возгласом: "Ужасный ветер, милостивый государь!" -- проскакал мимо и, схватив плащ адвоката за воротник, сорвал его с плеч, и что тотчас же третий солдат проскакал мимо с тем же возгласом: "Ужасный ветер, милостивый государь!" -- и вырвал у него из рук испанскую трость с золотым набалдашником. Адвокат закричал изо всех сил, бросил вдогонку последнему бездельнику свой парик и потом с обнаженной головой, без шинели и без трости, отправился дальше -- составить самое достопримечательное завещание и узнать самое необычайное приключение. Вы знаете все это, всемилостивейший государь?

-- Я решительно ничего не знаю, -- возразил князь после того как я кончил, -- и вообще я не понимаю, каким образом вы можете мне, мейстер

Абрагам, болтать такой вздор? Конечно, я знаю Pont-Neuf, он находится в Париже. Я никогда не ходил по нем пешком, зато часто ездил, как прилично моему рангу. Адвоката Рабле я никогда не видывал и никогда в жизни не думал о солдатских проделках. В молодых годах, когда я командовал своим полком, я каждую неделю заставлял давать фухтедей всем юнкерам за проказы, которые они сделали или должны были сделать; что касается рядовых солдат, их наказывать было дело поручиков, что они, следуя моему примеру, и делали каждую субботу, так что по воскресеньям не было во всем полку ни одного юнкера и ни одного рядового, который бы не получил надлежащего количества побоев. Следствием этого было то, что весь полк, находившийся под моей командой, вместе с моралью, вбитой в него, приобрел привычку к побоям, еще ни разу не видав неприятеля. Вы меня понимаете теперь, мейстер Абрагам? Вразумите же вы меня ради бога, чего хотите вы с этой бурей, с этим адвокатом Рабле, ограбленным на Pont-Neuf? Чем можете вы извинить то обстоятельство, что празднество превратилось в дикую суматоху, что огненный шар попал мне в тупей, что мой возлюбленный сын очутился в бассейне, где его с ног до головы обрызгали дельфины, а принцесса без покрывала и с подобранным платьем, как Аталанта, пробежала через парк, что, кроме того... но кто пересчитает все несчастные случаи этой роковой ночи? Ну-с, что же вы скажете, мейстер Абрагам?

-- Милостивейший государь, -- ответил я, смиренно склоняясь, -- что же было виной всех несчастий, как не эта страшная буря, которая разразилась именно тогда, когда все шло прекрасно? Разве я могу повелевать стихиями? Не испытал ли я сам при этом большего несчастья, не потерял ли я тогда шляпу, кафтан и плащ, подобно тому адвокату, которого я покорнейше прошу не смешивать с знаменитым французским писателем Рабле? Разве я не...

-- Послушай, -- прервал мейстера Абрагама Крейслер, -- еще теперь, после того как уже прошло столько времени, много говорят о празднестве, бывшем в день рождения княгини, о празднестве, во время которого ты был распорядителем увеселений. Тут скрывалась какая-то темная тайна; вероятно, ты, по своему обыкновению, натворил порядком всяких чудачеств. Тебя народ и раньше считал каким-то чародеем; этот праздник еще более усилил такое мнение об тебе. Ну, расскажи же мне подробно все, как было. Ты ведь знаешь, я тогда уезжал...

-- Именно то обстоятельство, -- прервал мейстер Абрагам слова своего друга, -- именно то обстоятельство, что тебя здесь не было, что ты, гонимый бог знает какими адскими фуриями, как безумный, умчался отсюда, заставило и меня быть необузданным: я призвал все стихии на помощь себе, чтобы они нарушили празднество, разрывавшее мое сердце, потому что ты, истинный герой его, отсутствовал. И как сложилось все торжество! Сперва оно тянулось вяло и бесцветно, а потом над людьми, нам дорогими, разразилась беда: ими овладели тоскливые, исполненные муки сны, скорбь, ужас! Знай же теперь, Иоганн, я глубоко заглянул в твою душу и увидел там твою грозную тайну, увидел этот зияющий вулкан,

каждую минуту готовый вспыхнуть гибельным пламенем, беспощадно уничтожая все окружающее! Но есть в нашей душе вещи, о которых не говорят даже с самыми близкими друзьями. Потому-то я скрыл от тебя все, что я увидел в твоей душе. Но посредством этого праздника, тайный, скрытый смысл которого относился не к княгине, а к другой любимой особе и к тебе самому, я захотел насильственно овладеть всем твоим "я", разбудить в тебе сокровенные муки, чтоб они, как восставшие от сна фурии, с удвоенной силой терзали твою грудь. Как смертельно-больному, тебе нужно было лекарство, взятое из самого Оркуса. Разумный врач никогда не колеблется прибегать к нему во время подобного кризиса: или полное выздоровление, или смерть! Знай, Иоганн, именины княгини совпадают с именинами Юлии; последняя так же, как и первая, носит еще имя Мария.

-- Ага! -- воскликнул Крейслер, вскочив с пылающим взглядом. -- Кто дал тебе, мейстер, право и власть играть мной так нагло и дерзко? Не вестник ли ты самого Рока, что так проникаешь в мою душу?

-- Неукротимый безумец! -- спокойно возразил мейстер Абрагам. -- Когда же наконец опустошительный пожар, сжигающий грудь твою, превратится в чистое нефтяное пламя, питаемое твоей глубокой любовью к искусству, ко всему возвышенному, прекрасному? Ты просишь меня подробно описать роковое празднество. Слушай же меня спокойно, а если ты настолько ослабел духом, что не можешь овладеть собой, я оставлю тебя.

-- Рассказывай, -- проговорил Крейслер, почти задыхаясь.

Он опять сел и обеими руками закрыл лицо.

-- Итак, -- начал мейстер Абрагам, мгновенно принимая веселый тон, -- я не буду утомлять тебя, любезный Иоганн, описанием всех остроумных распоряжений, созданных главным образом изобретательным гением князя. Так как праздник начался поздно вечером, само собой разумеется, что весь прекрасный парк, окружающий увеселительный замок, был освещен. Я постарался при этом достигнуть необыкновенных эффектов, что, впрочем, удалось лишь отчасти, так как по настоящему приказанию князя во всех аллеях должен был гореть вензель княгини рядом с княжеским гербом; обе фигуры состояли из разноцветных фонариков, развешанных на больших черных досках. Но, будучи прибиты к высоким столбам, эти доски очень походили на иллюминированные объявления, гласящие: "Здесь курить воспрещается" или "Воспрещается объезжать таможду". Главным пунктом во время увеселений должен был явиться известный тебе театр, устроенный из кустов и искусственных развалин в самой середине парка. В этом театре городские актеры должны были представить что-нибудь аллегорическое, слишком пошловатое, чтобы произвести какое-нибудь особенное впечатление. Театр находился довольно далеко от замка. Сообразно с поэтической мыслью князя, шествие его фамилии должен был озарять двумя факелами парящий в воздухе гений, других огней не должны были зажигать, пока князь со своей фамилией и свитой не займет место, -- тогда весь театр должен был моментально озариться ярким светом. Таким образом, дорога между

театром и замком оставалась совершенно охваченной ночным мраком. Напрасно я представлял все трудности, сопряженные с длинным расстоянием между этими двумя пунктами. Князь стоял на своем: верно он вычитал что-нибудь подобное в *Fetes de Versailles*; к тому же, поэтическая мысль вполне согласовалась с его собственной фантазией, и потому он дорожил ей, как родным детищем. Чтобы избежать ка-кого-либо незаслуженного упрека, я предоставил гения с двумя факелами в распоряжение городского театрального машиниста.

Когда, после всех этих приготовлений, княжеская чета, сопровождаемая свитой, вышла из дверей салона, с кровли увеселительного замка был спущен маленький толстощекий человек. Он был одет в камзол с галунами и держал в своих ручонках два горящие факела. Однако он был тяжел и едва только проследовал двадцать шагов, машина остановилась, лучезарный гений княжеской фамилии беспомощно повис в воздухе, рабочие потянули с удвоенной силой, -- и он перекувырнулся вверх ногами. Восковые свечи также перевернулись на бок, и с них стали капать горячие капли. Первая капля упала на самого князя, но он со стоическим спокойствием скрыл боль, хотя походка его несколько утратила свою величественность и сделалась более торопливой. Гений продолжал висеть вверх ногами и вниз головой, витая над группой, которую образовали из себя гофмаршал, камер-юнкера и другие придворные чины, и роняя пылающий дождь кому на голову, кому на нос. Выказать свою боль и таким образом расстроить веселый праздник значило бы нарушить достоподобную респектабельность, и потому не безотрадно было смотреть, как эти несчастные -- целая когорта стоически-мужественных Сцевол -- беззвучно и безмолвно шли вперед, могучим усилием побеждая свою боль, не смея испустить вздоха и даже принуждая себя к улыбке, мрачной как сам Оркус. А литавры звучали, трубы гремели, и сотни голосов выпускали клики: "Виват, виват!" Необычайный контраст между выражением лиц этой группы Лаокоона и всеобщим радостным ликованием придавал трагическому пафосу всей сцены величие почти невообразимое.

Толстому, старому гофмаршалу стало наконец невмочь: когда горячая капля упала ему прямо на щеку, в бешенстве отчаяния он отскочил в сторону, запутался в веревке, которая была проведена к машине, и с громким возгласом "Черт бы побрал!" упал на землю. В тот же момент и роль веселого пажа была сыграна. Увесистый гофмаршал своей тяжестью совлек его вниз, и он рухнул как раз посреди свиты, с громким криком разбежавшейся в разные стороны. Факелы погасли, воцарилась непроглядная мгла. Все это произошло перед самым театром. Я нарочно несколько минут не приставлял фитиль, который должен был сразу воспламенить площадки и лампы, и дал время всей компании заплутаться среди деревьев и кустов. "Огня, огня!" -- закричал князь наподобие короля в "Гамлете". "Огня, огня!" -- вторила масса хриплых голосов. Когда зажглись огни, разбежавшаяся толпа была похожа на разбитое войско, которое с трудом, еле-еле собирается в одно место. Обер-камергер выказал себя человеком необычайно тактичным, обладающим большим

присутствием духа: благодаря его стараниям, через несколько минут порядок был восстановлен. Князь с самыми своими близкими взойшел на увенчанный цветами трон, который был воздвигнут на середине площади, занимаемой зрителями. Едва только княжеская чета уселась, на нее, благодаря предусмотрительности и находчивости машиниста, посыпалась целая масса цветов. Однако мрачному Року угодно было, чтобы большая красная лилия упала князю прямо на нос, все лицо его покрылось ее огнецветной пылью и приняло выражение чрезвычайно величественное, совершенно подходящее к торжественности праздника.

-- Это слишком, это слишком! -- воскликнул Крейслер, разражаясь оглушительным хохотом, от которого задрожали стены.

-- Не смейся так, -- проговорил мейстер Абрагам, -- я тоже смеялся в ту ночь сильнее, чем когда-либо, я чувствовал себя расположенным ко всяким безумным выходкам, подобно волшебному духу Троллю, я хотел еще больше все перепутать, привести все в таинственный беспорядок. Но тем сильнее вонзились в мою собственную грудь стрелы, которые я направлял на других... Я скажу тебе, в чем дело. Момент жалкого цветочного дождя я выбрал для того, чтобы невидимой нитью, наподобие электрического тока связующей в одно целое все празднество, соединить всех присутствующих со своим таинственным замыслом и потрясти их до глубины души. Не прерывай меня, Иоганн, слушай спокойно! Юлия сидела рядом с принцессой, позади княгини, в стороне. Ни ее, ни принцессу я не выпускал из глаз. Едва только умолкли трубы и литавры, как на колени Юлии упал распускающийся розан, спрятанный в букете ночных фиалок, и, как сладостное дуновение ночного ветра, полились звуки твоей дивной, за душу берущей, мелодии: "Mi lagnero tacendo della mia sorte amara" ["Я буду молча сетовать на горькую судьбу свою" -- *ит.*]. Когда раздалась эта песня, -- ее играли на английских рожках совсем вдалеке от толпы четыре наших лучших музыканта -- с уст Юлии сорвалось легкое восклицание, она прижала букет к груди, и я ясно слышал, как она тихо сказала принцессе:

-- Он, наверно, опять здесь!

Принцесса порывисто обняла Юлию и громко воскликнула:

-- Нет, нет, о, нет, не может быть!

После этого князь повернул к ним свое пылающее огненное лицо и бросил гневное "Silence!" ["Тише!" -- *фр.*].

Быть может, он и не питал особенного гнева к этому милому ребенку, но дивные румяна -- лучших румян нельзя было придумать никакому оперному *tiranno ingrato* [*Жестокий тиран* -- *ит.*] -- действительно придавали ему вид нескончаемого, неумолимого гнева, так что все трогательные речи, все нежнейшие ситуации, долженствовавшие аллегорически представлять семейное счастье на троне, совершенно теряли свой эффект; актеры и зрители были в немалом затруднении. Больше того: когда князь в некоторых сценах, отмеченных для такой надобности красным карандашом в экземпляре книги, которую он держал в руках, наклонялся, чтобы поцеловать руку княгини, и отирал платком

слезы с своих глаз, -- это имело вид такой обиды, такого огорчения, что камергеры, услужливо стоявшие с обеих сторон, шептали друг другу:

-- Боже мой, что это случилось с нашим князем!

Нужно тебе добавить, Иоганн, что в то время, как актеры разыгрывали на подмостках свою глупейшую пьесу, я посредством магического зеркала и других ухищрений представлял в воздухе игру духов для прославления небесного создания, обворожительной Юлии; одна за другой лились мелодии, созданные тобой в минуты высокого вдохновения, и то вдали, то вблизи раздавался время от времени боязливый, полный предчувствия возглас, точно зов духа: "Юлия!" Но тебя не было там -- тебя не было, друг мой! И хотя по окончании пьесы я должен был похвалить своего Ариэля, как шекспировский Просперо хвалит своего, хотя я должен был признаться, что он исполнил свою обязанность великолепно, тем не менее все, что было задумано так остроумно, показалось мне плоским и бледным.

Юлия со свойственным ей тактом все поняла. Но, по-видимому, она отнеслась ко всему этому, как к обольстительному сну, не имеющему прочной связи с трезвой действительностью. Принцесса, напротив, была взволнована до глубины души. Рука об руку с Юлией она бродила по освещенным аллеям парка, в то время как весь двор находился в павильоне, где в виде угощения подавали мороженое и прохладительные напитки. В этот момент я приготовил самый решительный удар -- и опять тебя не доставало, Иоганн, тебя не было! Я метался кругом, исполненный гнева и негодования; я осматривал, хорошо ли сделаны все приготовления для большого фейерверка, назначенного для окончания празднества, как вдруг, посмотревши на небо, я заметил в мерцании ночи над далеким Гейерштейном маленькое красноватое облачко, постоянно предвещающее грозу, которая надвигается медленно, с тем, чтобы потом моментально разразиться с ужасающей силой. Как тебе известно, я сразу могу определить момент этого взрыва, смотря по положению облака. Он должен был последовать менее чем через час. Я решил торговаться с фейерверком. В то же мгновение я услышал, что мой Ариэль начал фантазмагорию, которая должна была решить все: в глубине парка в маленькой капелле раздавался хор, певший твою Ave maris Stella. Я поспешил туда. Юлия и принцесса стояли коленапреклоненные около молитвенной скамьи, находящейся перед капеллой. Только что я пришел туда, как вдруг... Но тебя не было там, Иоганн. Не требуй от меня рассказа о всем, что произошло. Ах, без результатов остался лучший подвиг моего искусства, и я узнал тайну, о которой даже, глупец, и не подозревал.

-- Говори до конца! -- воскликнул Крейслер. -- Рассказывай все, все, как было!

-- Нет, -- возразил мейстер Абрагам, -- тебе, Иоганн, это не принесет никакой пользы, а мне растерзает все сердце, если я еще раз должен буду припомнить, как собственные мои духи нагнали на меня, страх и ужас! Облако... счастливая мысль! "Пусть же все, -- дико воскликнул я, -- кончится безумным смятением!" -- И я устремился к тому месту, где готовился фейерверк.

Князь сказал мне, чтобы я дал знак, когда все будет готово. Я не спускал глаз с облака, которое поднималось на Гейерштейном все выше и выше; когда мне показалось, что оно находится достаточно высоко, по моему приказанию грянула мортира! Через несколько секунд двор и все общество были на своих местах. После обычной смены ракет, светящихся кругов, огненных шаров и тому подобной материи, вспыхнул наконец вензель княгини, состоявший из китайских фонариков, но высоко над ним в бледном сиянии то выплывало, то снова скрывалось лучезарное имя "Юлия". "Пора", -- сказал я себе, зажег жирандоли, и, едва только ракеты поднялись вверх, в тот же миг вспыхнули ослепительные молнии, грянул страшный гром, и разразилась гроза, от которой дрогнули горы и лес. Ураган ворвался в парк и завыл во всех кустах, как тысячеголосое чудовище. Я выхватил из рук у одного из бежавших горнистов его трубу и заиграл на ней бешеную мелодию, в то время как артиллерийские залпы бураков, мортир и пушек гремели в ответ на оглушительные раскаты грома.

Пока мастер Абрагам рассказывал, Крейслер вскочил со своего места, взволнованный ходил взад и вперед по комнате, размахивал руками и наконец воскликнул в полном восторге:

-- Прекрасно, чудно, в этом я узнаю своего задушевного друга мастера Абрагама!

-- Я знаю, -- проговорил мастер Абрагам, -- тебе по душе все дикое, все необычайное, но я совсем забыл рассказать еще об одной вещи, которая способна предать тебя совсем во власть таинственных сил мира духов. Я велел натянуть эолову арфу, которая находится, знаешь, над большим бассейном, и буря играла на ней, как отличнейший музыкант. Таинственные аккорды этого гигантского органа загадочно сливались с ревом бури и треском грома. Все быстрее и быстрее неслись друг за другом звуки, и можно было различить, что это фурии устроили балет грандиозного музыкального стиля, балет, какого никогда не услышишь и не увидишь среди театральных холщовых декораций.

Через полчаса все было кончено. Из-за облаков показался месяц. Среди испуганного леса проносился с ласковым шепотом ночной ветерок и осушал слезы, блиставшие на омраченных кустах. Время от времени раздавались звуки эоловой арфы, как умирающий звон далекого колокола. И странно, и чудно было у меня на душе. Так всецело я был полон тобой, Иоганн, что казалось, вот-вот ты восстанешь предо мной из могилы несбывшихся надежд, обманутых мечтаний, и я прижму тебя к груди своей. Теперь в тиши ночной я понял, какую я затеял игру, как я думал насильственно разорвать узел, завязанный темным роком, и мои собственные мысли предстали предо мной совсем в другом свете, как создания чуждого мне ума, и, полный трепета и душевного холода, я ужаснулся самому себе.

Множество блудящих огней плясало и прыгало кругом в парке, но это были только лакеи с фонарями, отыскивавшие шляпы, парики, кошельки, шпаги, башмаки и шали, утраченные в быстром бегстве. Я ушел прочь. На большом мосту, лежащем перед нашим городом, я остановился, чтоб еще

раз оглянуться на парк: он был озарен магическим светом луны, точно заколдованный сад, в котором веселые эльфы начали свою воздушную пляску. Вдруг до моего слуха дошли какие-то жалобные звуки, какой-то пронзительный писк, точно плач новорожденного ребенка. Я заподозрил, что тут какое-нибудь преступление, низко наклонился через перила и при ярком лунном свете рассмотрел маленькую кошечку, которая с трудом цеплялась за перекладину, стараясь спастись от смерти. Вероятно, кто-нибудь хотел утопить целое семейство новорожденных котят, и вот один из них выкарабкался из воды. Ну, подумал я, хоть не ребенок, а только бедное маленькое животное умоляет тебя о помощи, ты должен его спасти.

-- О, чувствительный Юст, -- воскликнул со смехом Крейслер, -- скажи, где же твой Телльгейм?

-- Ну, нет, любезный Иоганн, -- продолжал мейстер Абрагам, -- вряд ли ты можешь сравнивать меня с Юстом. Я перегостил самого Юста. Он спас пуделя, животное, любезное каждому и способное даже оказывать услуги, если его научить подавать перчатки, табакерку и т. п.; а я спас кота, животное, которого все ужасаются, которое считается всеми существом коварным, лишенным нежности и теплоты чувства и постоянно находящимся настороже по отношению к человеку, я спас его из чистой, бескорыстной жалости. Перебравшись через перила, я не без опасности для собственной жизни наклонился вниз, схватил котенка, который продолжал пищать, и спрятал его в карман. Вернувшись домой, я быстро разделся и, полный изнеможения, бросился на постель. Но едва только я заснул, как был разбужен жалобным писком и визгом, исходившим, по-видимому, из моего гардеробного шкафа. Я забыл о котенке и оставил его в кармане. Когда я освободил животное из заключения, оно в награду так оцарапало меня, что все мои пять пальцев покрылись кровью. Я было хотел выбросить котенка за окно, но опомнился и устыдился своей мелочности, своей мстительности, непростительной по отношению к созданию неразумному. Словом, я со всей тщательностью и бесконечными усилиями вырастил кота. Это самый остроумный, талантливый, исполненный ума экземпляр кошачьей породы, какой когда-либо можно было видеть; ему недостает только высшего образования, которое ты, любезный мой Иоганн, легко можешь преподать ему, вследствие чего я намерен предоставить отныне кота Мурра -- так я его назвал, -- твоему попечению, хотя Мурр в данное время еще не является тем, что юристы называют *homo sui juris* [*Правоспособность -- лат.*], все же я его спрашивал, согласен ли он пойти к тебе в услужение. Он вполне доволен моим предложением.

-- Какой вздор ты болтаешь, мейстер Абрагам, -- проговорил Крейслер. - Ты знаешь, что я терпеть не могу кошек и скорей предпочитаю собак.

-- Милый Иоганн, я от всей души прошу тебя, возьми к себе моего кота Мурра, подающего такие большие надежды, приюти его хоть на то время, пока я не вернусь из своего путешествия. Я его уже привел с собой, он стоит в прихожей и дожидается ответа. Взгляни, по крайней мере, на него.

С этими словами мейстер Абрагам раскрыл дверь. На соломенном коврикe, свернувшись калачиком, спал кот, действительно красоты

необыкновенной. Серые и черные полосы, идущие вдоль спины, сходились между ушами на темени и составляли на лбу какую-то живописную надпись иероглифами. Длинный красивый хвост его был также покрыт полосами и изгибался с необычайной энергией. Нарядное одеяние, полученное котом в дар от самой природы, пестрело и светилось под лучами солнца до такой степени, что между черным и серым цветом можно было рассмотреть еще узенькие, золотисто-желтые полосы. "Мурр, Мурр!" -- воскликнул мейстер Абрагам. "Мррррр, мррр!" -- едва слышно ответил ему кот, потом вытянулся, приподнялся, необыкновенно дивно выгнул свою спину и открыл серо-зеленые глаза, в которых искрились как пламя и ум, и гениальность. Так, по крайней мере, утверждал мейстер Абрагам. Крейслер с своей стороны должен был сознаться, что в физиономии этого кота есть что-то особенное, незаурядное, что голова его достаточно толста, чтобы вмещать в себя науки, а его борода уже теперь, в юности, бела и настолько длинна, что при случае кот Мурр может доставить себе авторитет греческого мудреца.

-- Ну, можно ли везде спать, -- обратился мейстер Абрагам к коту. -- Благодаря сонливости ты утратишь живость характера и можешь преждевременно сделаться брюзгой. Принарядись, Мурр!

Кот тотчас же уселся на задние лапки, изящным движением пригладил себе лоб и щеки и испустил звучное, радостное "мяу".

-- Вот, -- продолжал мейстер Абрагам, -- ты видишь пред собой капельмейстера Иоганна Крейслера, к которому ты поступишь в услужение.

Кот уставился на капельмейстера своими большими искрящимися глазами, начал мурлыкать, вскочил на стол, стоявший около Крейслера, а оттуда -- без всяких церемоний -- на его плечо, как будто хотел сказать ему что-нибудь на ухо. Потом он опять спустился на пол и обошел кругом своего господина, изгибая хвост и мурлыкая, как будто он точно хотел хорошенько с ним познакомиться.

-- Скажите на милость, -- воскликнул Крейслер, -- я почти уверен, что этот маленький герой одарен человеческим разумом. Уж не происходит ли он по прямой линии от знаменитого Кота в сапогах!

-- Во всяком случае, -- ответил мейстер Абрагам, -- верно, что кот Мурр -- самое забавное существо во всем мире. Он настоящий полишинель, притом он вежлив и благонравен, скромн и ненавязчив, как порой собаки, которые своими неумелыми ласками надоедают нам.

-- Смотрю я на этого мудрого кота, -- воскликнул Крейслер, -- и невольно делается мне грустно при мысли, как тесен и ограничен круг наших познаний. Кто может сказать, кто может предчувствовать, как велики умственные способности животных! Если нам что-нибудь или, вернее, все кажется недоступным исследованию, мы тотчас даем имя такому-то явлению и довольны, что наклеили ярлык, и кичимся своей пошлой школьной мудростью, которая не видит ничего дальше своего носа. Точно также все умственные силы животных, нередко проявляющиеся самым удивительным образом, мы, недолго думая, окрестили названием

инстинкта. Но я только хотел бы услышать ответ на один вопрос: идея инстинкта, слепого, произвольного порыва, совместима ли со способностью грезить? Что, например, собаки предаются самым живым грезам, это знает каждый, кто наблюдал за спящей охотничьей собакой, переживающей в сонных грезах всю охоту; она ищет, она обнюхивает, двигает ногами, точно бежит изо всех сил, задыхается, обливается потом... Может ли грезить и видеть сны кот, я до сих пор не знал об этом ничего.

-- Кот Мурр, -- прервал своего друга мейстер Абрагам, -- не только видит самые живые сны, но он, кроме того, нередко впадает и в самую сладкую мечтательность, в задумчивость, полную грез, в полубезумное состояние сомнамбулизма, короче, ему свойственно то особое состояние, которое не есть ни сон, ни бодрствование и которое у поэтических натур бывает временем зарождения и восприятия гениальных мыслей. Когда он находится в таком состоянии, он за последнее время ужасно стонет и охает, так что я думаю, что или он влюблен, или сочиняет трагедию.

Крейслер весело расхохотался и воскликнул:

-- Ну, так пойдем же со мной, о, мудрый, находчивый, остроумный, поэтически чувствующий кот Мурр, дай же нам по...

(М. прод.) ...месяцах моей юности, -- я должен рассказать еще многое. В высшей степени поучительно и полезно, если великий ум в собственной своей автобиографии говорит решительно обо всем, что с ним было в юности, даже о том, что кажется ничтожной мелочью. Потому что может ли быть что-нибудь, касающееся высокого гения, мелочью? Все, что он делал или чего он не делал в детстве, имеет чрезвычайную важность и проливает яркий свет на глубокий смысл, на тайное значение его бессмертных творений. Полный душевного огня юноша, которого мучают боязливые сомнения в достаточности его дарований, возрождается духом, когда читает, что такой-то великий человек в детстве играл в солдатики, объедался конфетами и нередко получал побои в наказание за лень, грубость и проказы. "Совсем как я, совсем как я!" -- восклицает восхищенный юноша и не сомневается больше, что он также великий гений, несмотря на все величие обоготворяемого им кумира.

Многие читали Плутарха или хотя бы Корнелия Непота и воображали себя героями, многие читали переводы трагедий древних поэтов, а вместе с тем драмы Кальдерона, Шекспира, Гете, Шиллера, и делались, если не великими поэтами, так по крайней мере маленькими милейшими поэтиками, столь любезными людям. Точно так же и мои произведения наверно, зажгут светоч поэзии в груди одного юного, талантливом, чувствительного кота, и, если какой-нибудь благородный котенок возьмет с собою на крышу мою увеселительную автобиографию, если он проникнет вполне в высокие идеи книги, которая сейчас находится под моими когтями, он воскликнет тогда в восторге и воодушевлении: "Мурр, божественный Мурр! Единственный, величайший в своем роде, тебе и одному тебе обязан я всем! Только твой пример мог сделать меня великим!"

Достоинно всяческой похвалы, что мейстер Абрагам в деле моего воспитания не придерживался ни забытого Базедова, ни педагогической методы Песталоцци, а предоставил мне полную свободу воспитываться, как я сам хочу; он требовал только, чтобы я держался некоторых нормальных принципов, на его взгляд, безусловно, необходимых для общественной жизни, потому что иначе все бы смешалось в безумной толкотне и давке, где каждый постоянно получал бы толчки в бок и затрещины. Под нормальными принципами мейстер разумел естественную вежливость, как противоположность вежливости условной, заключающейся в том, что, когда человеку наступят на ногу или толкнут его, он должен говорить: "Простите, пожалуйста". Быть может, такая вежливость и нужна людям, но я не могу понять, для чего она может быть нужна нашему вольнолюбивому роду, и, если свобода моей воли иногда нарушалась и мейстер прибегал иногда к фатальному березовому пруту для внушения мне нормальных принципов, так я с полным правом могу сетовать на суровость моего воспитателя. Я убежал бы от него, если бы не был прочно к нему привязан моей врожденной страстью к высшему образованию. Чем выше образование, чем выше культура, тем ограниченнее свобода; это, глубокая мысль. С образованием растут потребности, с потребностями... ну, словом, как раз от немедленного удовлетворения некоторых естественных потребностей прежде всего отучил меня мейстер Абрагам своим роковым прутом, заставив удовлетворять их в определенное время и в определенном месте. Потом он принялся за мои прихоти, которые, как я позднее убедился, есть не что иное, как результат ненормального душевного состояния. Такое-то странное состояние, бывшее, может быть, действием физической стороны моего организма, побуждало меня оставлять нетронутым молоко и даже жаркое, которое давал мне мейстер, вскакивать на стол и лакомиться теми кушаньями, которые были предназначены для него самого. Познавши силу березового прута, я оставил такие проделки.

Вижу теперь, что мейстер был прав, отклоняя от них мои чувства, так как знаю, что многие из моих добрейших братьев, будучи менее культивированы и менее благовоспитаны, чем я, попадали через это самое в ужасно неприятные положения, в положения, иногда делавшиеся горем целой жизни. Мне известно, например, что один молодой котенок, подававший большие надежды, благодаря недостатку в нравственной силе, не мог противостоять искушению полакомиться горшком молока и должен был поплатиться потерей хвоста, после чего, преследуемый насмешками и остротами, он принужден был удалиться в иночество. Итак, мейстер был прав, отучая меня от моих проделок, но я никак не могу ему простить, что он противился моему стремлению совершенствоваться в науках и искусствах.

Ничто так не привлекало моего внимания в комнате мейстера, как письменный стол, весь заваленный книгами, рукописями и разными странного вида инструментами. Могу сказать, что этот стол был для меня чем-то вроде заколдованного круга, в котором я чувствовал себя

заключенным; и в то же время я испытывал перед ним какой-то священный трепет, мешавший мне всецело предаться моему порыву. Наконец, однажды -- именно в отсутствие мейстера -- я поборол свой страх и вскочил на стол. О, какое блаженство испытывал я, сидя на нем и роясь среди книг и бумаг! Не шаловливость, о нет, лишь умственный жар, жажда знания, вот что заставило меня схватить в когти один из манускриптов и теребить его вдоль и поперек до тех пор, пока наконец он не лежал передо мной весь изодранный в мельчайшие клочки. Вдруг вошел мейстер, увидел все происшедшее и с оскорбительным возгласом "Проклятая bestия!" устремился на меня; он бил меня березовым прутом так жестоко, что я, визжа от боли, заполз под печку и целый день не выходил оттуда, не взирая ни на какие ласковые слова и увещания. Кого такое событие не отпугнуло бы навсегда даже от пути, предназначенного для него природой? Но как только я вполне оправился от своей боли, я тотчас же, следуя непобедимому внутреннему порыву, опять вскочил на письменный стол. Правда, единственного возгласа моего господина, какой-нибудь коротенькой фразы "Да он опять!" было достаточно, чтобы согнать меня со стола, прежде чем я приступил к штудированию; но я спокойно стал ждать благоприятного момента, когда бы опять можно было заняться изучениями, и скоро дождался. Мейстер однажды собирался уходить из дому. Вспомня о разорванной рукописи, он хотел выгнать меня из комнаты, но я тотчас спрятался так ловко, что он не мог меня найти. Едва только мейстер ушел, я одним прыжком вскочил на его письменный стол и лег среди рукописей, весь исполненный неизъяснимого восторга. С большим искусством я раскрыл лапкой толстую книгу, находившуюся передо мной, и попробовал разобрать в ней письменные знаки. Сперва я решительно ничего не понял, но продолжал смотреть в книгу, ожидая, что ко мне слетит какой-нибудь совсем особенный дух и научит меня читать. В этом состоянии глубокого внимания я был застигнут мейстером. С громким криком "Ах, ты, проклятое животное!" он опять устремился ко мне. Спасаться было уже поздно, я прижал уши, съежился, как только мог, и уже чувствовал за спиной прут, но вдруг приподнятая рука мейстера остановилась, он разразился громким смехом и воскликнул: "Ах, кот, да ты читаешь! Ну этого я не хочу тебе возбранять. Посмотрите-ка, однако, какая у него жажда образования!"

Он вытащил из-под моих лапок книжку, посмотрел на ее заглавие и начал хохотать еще громче. "Ну, -- продолжал он, -- я должен допустить мысль, что у тебя есть карманная библиотечка, потому что я никак не могу понять, откуда и каким образом попала эта книга на мой письменный стол. Читай, читай, Мурр, штудируй прилежно, важнейшие места в книге ты можешь отмечать, слегка поцарапав на полях когтями, это я тебе вполне разрешаю".

С такими словами он снова подsunул мне книгу, которая, как я узнал впоследствии, была сочинением Книжке "Об обращении с людьми". Из этой прекрасной книги я почерпнул много житейской мудрости. Мысли, изложенные в ней, точно вылились из моего собственного сердца; они, вообще, ужасно пригодны для кота, желающего играть в человеческом

обществе какую-нибудь роль. Именно эта тенденция книги, сколько мне известно, до сих пор ускользала от внимания читателей, и потому иногда высказывалось ложное суждение, что человек, который будет вполне сообразовываться с изложенными в книге правилами, по необходимости будет всегда тупым, бессердечным педантом.

С этих пор мейстер не только терпел меня на своем письменном столе, но охотно даже видел, как я иногда во время его занятий вспрыгивал на стол и ложился среди бумаг.

Мейстер Абрагам имел привычку громко читать вслух. Я всегда располагался при этом таким образом, что мог смотреть в книгу, которую он читал; так как природа снабдила меня зоркими глазами, я мог устраивать это, не причиняя никакого беспокойства моему господину. Сравнивая слова, которые он произносил, с письменными значками, стоявшими в книге, я в короткое время научился читать; кому это покажется невероятным, тот, очевидно, не имеет никакого понятия о совершенно особенном даровании, которым меня наделила природа. А гении, меня понимающие и ценящие, не будут питать никакого сомнения относительно способа образования, который, быть может, одинаков с их собственным. Не упускаю при этом случая сообщить достопримечательное наблюдение, сделанное мною относительно приобретенного мною дара понимания человеческой речи. Именно, я с полным сознанием наблюдал, что сам я решительно не знаю, как я достиг такого понимания. У людей замечается тот же факт; но я, впрочем, и не удивляюсь, потому что эта порода в годы детства гораздо глупее и беспомощнее нас. Даже в то время, как я был совсем маленьким котенком, со мной никогда не случалось, чтобы я царапал свои собственные глаза, хватался за горящую свечку или ел сапожную ваксу вместо вишневого пастилы, что почти всегда случается с маленькими детьми.

Когда я теперь научился хорошо читать и ежедневно набивал себя чужими мыслями, я почувствовал неудержимый порыв извлечь из неизвестности и свои собственные мысли, рожденные присущим мне гением, но прежде нужно было, конечно, научиться трудному искусству писанья. Как внимательно ни следил я за рукой моего господина, когда он писал, мне не удавалось открыть, в чем собственно заключается тут вся механика. Я штудировал старого Хильмара Кураса, единственные прописи, найденные мною у мейстера; мне пришло на ум, что загадочная трудность писанья может быть уничтожена только большими манжетами, в которые одета обыкновенно пишущая рука, и что только особенная усовершенствованная ловкость позволяет моему воспитателю писать без манжет, подобно тому, как опытный канатный плясун в конце концов научается обходиться без балансирующего шеста. Я страстно жаждал манжет и намеревался разорвать ночной чепчик старой экономки и приспособить его для моей правой лапки, как вдруг в один из моментов вдохновения, как бывает всегда с великими умами, меня осенила гениальная мысль, решившая все. Именно: я догадался, что моя неспособность держать перо или карандаш так, как держит мейстер, с полным вероятием заключается в

различном строении наших рук, -- и догадка моя оправдалась. Я должен был изобрести новый способ писанья, свойственный строению моей правой лапки, -- и действительно изобрел, как и следовало ожидать. Таким-то вот образом из особой организации индивидуума проистекает создание новых систем.

Другое пренеприятное затруднение состояло в обмакивании пера в чернильницу. Именно, мне никак не удавалось при обмакивании уберечь свою лапку: всегда она вместе с пером попадала в чернильницу; естественным следствием этого было то, что первые строки, более созданные самой лапкой, нежели пером, были несколько велики и широки. Люди несведущие могут потому счесть мои первые манускрипты просто-напросто бумагой, испачканной пятнами чернил. Но люди гениальные легко угадают гениального кота и в его первых произведениях, они будут удивляться, они будут совершенно вне себя от изумления при виде этой глубины, этой силы духа, брызжущего из первичного неиссякаемого источника.

Для того чтобы потомки не стали со временем спорить между собой о хронологическом порядке моих бессмертных произведений, я заявляю здесь, что прежде всего я написал философско-сентиментально-дидактический роман: "Мысль и предчувствие, или Кот и Собака". Уже это одно произведение могло бы доставить мне большую репутацию. Потом, усовершенствовавшись в разных отношениях, я написал политическое сочинение под заглавием "О мышеловках и их влиянии на образ мыслей и энергию в сфере кошачьего общества". Затем, вдохновившись, я написал трагедию: "Крысиный король Кавдаллор". И эта трагедия также могла бы бесчисленное количество раз и при самом шумном одобрении публики играть во всевозможных театрах. Полное собрание моих сочинений должно начаться этими созданиями моего высокого ума; о том, что меня побудило их написать, будет сообщено в надлежащем месте.

Когда я научился лучше держать перо, когда лапка моя перестала пачкаться чернилами, -- и стиль мой сделался более легким, изящным и грациозным; в особенности я увлекся "Альманахом муз", писал разные дружеские послания и быстро сделался тем любезным, приятным мужчиной, каким и теперь продолжаю быть. Тогда же я совсем было написал эпическую поэму в двадцати четырех песнях, но, в то время как я совсем ее кончил, случилось нечто, за что Тассо и Ариост должны в своих гробах благодарить небо. Потому что, выйди из-под моих когтей вполне законченной эта поэма, никто не стал бы читать ни того ни другого.

Я приступаю теперь к...

(Мак. л.) ...для лучшего уразумения необходимо, однако, ясно изложить тебе, благосклонный читатель, весь ход дела.

Всякий, кто хоть раз останавливался в гостинице прелестного, хотя захолустного городка Зигхартсвейлера, тотчас слышал что-нибудь о князе Иренее. Если, например, приехавший заказывал себе блюдо форелей, которые отличаются в этой местности доброкачественностью, хозяин гостиницы тотчас же говорил: "И отлично делаете, милостивый государь,

что спрашиваете это блюдо! Наш светлейший князь чрезвычайно охотно ест форелей, и я приготовлю эту вкуснейшую рыбу именно так, как принято при дворе". Но образованный путешественник из всех учебников географии, карт и статистических сочинений знает только одно: что городок Зигхартсвейлер вместе с Гейерштейном и окрестностями давным-давно принадлежит как составная часть к великому герцогству, поэтому он немало должен удивляться, что здесь есть владетельный князь и двор. Но дело вот в чем. Во владении князя Иреней, действительно, находился раньше недалеко от Зигхартсвейлера небольшой клочок земли: с бельведера замка, находящегося в княжеской резиденции, Иреней мог осматривать земли всего своего государства; понятно, что он всегда имел, так сказать, перед глазами и благо, и несчастья своих подданных. В любое время он мог знать, хорошо ли произрастает пшеница у какого-нибудь Петера, в отдаленнейшем уголке его страны, мог отлично наблюдать, прилежно ли ухаживают Ганс и Кунц за своими виноградниками. Говорят, что во время одной прогулки за границу князь Иреней выронил свою страну из кармана; верно ли это -- неизвестно, но несомненно, что в новых изданиях карты великого герцогства -- владения князя Иреней были включены и зарегистрированы в пределы этого герцогства. С князя были сняты хлопоты по управлению, и из доходов его страны был сделан ему богатый выдел, который он должен был тратить именно в прелестном городке Зигхартсвейлере.

Кроме того, у князя Иреней были еще значительные наличные средства, оставшиеся в неприкосновенном виде; таким образом, князь из маленького регента сделался вдруг видным частным человеком, который свободно, без всякой помехи мог устраивать свою жизнь как ему угодно.

Князь Иреней слыл за человека образованного, с тонким вкусом к науке и к искусству. Нужно прибавить к этому, что он не раз сетовал на несносные тяготы и хлопоты, связанные с регентством и, говорят, однажды выразил в изящных стихах романтическое желание вести идиллический образ жизни *procul negotiis* ["Удалившись от дел" -- лат.], в какой-нибудь маленькой хижине над журчащим ручьем, по берегам которого расстилаются пастбища. Благодаря всем таким обстоятельствам, можно было думать, что он совсем забудет о роли владетельной особы и устроится уютно и комфортабельно, как только может устроиться богатый, независимый частный человек. На самом деле все вышло совсем иначе.

Часто бывает, что любовь той или другой владетельной персоны к искусству и науке является только составной частью и декорумом придворной жизни. Приличие требует приобретать картины, слушать музыку и заставляет придворного переплетчика без усталости одевать в золото и шагрень произведения новейшей литературы. Но раз придворная жизнь прекращается, естественно и ее декорум уничтожается вместе с ней.

Князь Иреней сохранил и то и другое: и придворную жизнь, и любовь к искусствам и наукам, осуществив лучший сон своей жизни, в котором он сам фигурировал вместе со своими близкими, равно как вместе со всем городком Зигхартсвейлером.

Он устроил свою жизнь так, как будто он продолжал быть владельцем князем, сохранил полный придворный штат, государственного канцлера, совет министерства финансов, раздавал ордена, делал приемы, давал придворные балы, на которых по большей части бывало человек двенадцать-пятнадцать, но на которых этикет соблюдался гораздо строже, чем при самых больших дворах. Горожане были достаточно добродушны и охотно поддерживали честь, достоинство и весь мишурный блеск этого мнимого двора. Таким образом, например, добрейшие жители городка называли князя Иренея: "ваша светлость"; в дни тезоименитства его или кого-нибудь из его семьи устраивали в городе иллюминацию, и вообще охотно жертвовали всем для удовольствия двора, подобно афинским гражданам в шекспировской пьесе "Сон в летнюю ночь".

Нельзя отрицать, что князь исполнял роль свою с самым внушительным пафосом и умел передавать этот пафос всем окружающим. Так, например, является как-нибудь в клуб член министерства финансов, он мрачен, молчалив, весь сосредоточен в себе. Чело его точно окутано тучами, нередко он погружается в глубокую задумчивость, потом вздрагивает и выпрямляется, как будто пробуждаясь от сна. К нему еле решаются подходить, в его присутствии не осмеливаются громко говорить. Бьет девять часов, он вскакивает со своего стула, берет шляпу, и тщетны старания всех удержать его: с гордой, многозначительной улыбкой он уверяет, что его ждут кипы бумаг, что ему придется просидеть всю ночь для того, чтобы подготовиться к завтрашнему чрезвычайно важному последнему четвертому заседанию Совета; поспешно удаляясь, он оставляет все общество в почтительном, немом изумлении пред безмерной важностью и трудностью его деятельности. А что же это за важный доклад, к которому несчастный труженик должен приготовиться за ночь? Он должен составить список белья, отдававшегося в стирку во всем департаменте за истекшую четверть года, подававшихся кушаний, сшитых заново платьев и т. п.; соединив все это в целый доклад, он прочтет его в комиссии по вопросу о стирке белья.

Точно также весь город жалеет, например, беднягу-вагенмейстера, наказанного княжеской коллегией, но в то же время каждый охвачен и подавлен возвышенным пафосом коллегии и восклицает: "Строго, но справедливо!" Дело в том, что вагенмейстер, сообразно с полученной инструкцией, продал коляску, негодную для употребления, и министерская коллегия предписала ему в течение трехдневного срока выяснить, под страхом немедленной отставки, куда он девал другую, непроданную, половину коляски, быть может, еще пригодную к употреблению.

Особым светилом, сиявшим при дворе князя Иренея, была советница Бенцон, вдова лет за тридцать с лишком, но красоты увлекательной и все еще не лишенная грации, -- единственная особа, дворянство которой было сомнительно и которую, однако, князь раз навсегда приблизил ко двору. Светлый, проницательный ум советницы, ее придворная живость, ее светский такт, а главным образом, известное хладнокровие, необходимое для господства над собственным талантом, имели полную, неотразимую

власть над всеми, так что именно она была главной двигательной пружиной в кукольном театре этого миниатюрного двора. Дочь ее, Юлия, выросла вместе с принцессой Гедвигой. И даже на умственное развитие этой последней советница повлияла в такой степени, что она была как бы чужой в кругу княжеской фамилии и не имела совершенно ничего общего с своим братом. Принц Игнац был, в противоположность сестре, как бы осужден на вечное детство и почти заслуживал названия тупоумного.

Наряду с г-жой Бенцон, таким же влиянием, таким же полным проникновением в самые деликатные отношения княжеской семьи обладал -- хотя совсем в другом смысле -- тот странный человек, которого ты, благосклонный читатель, уже видел как *maitre de plaisir* [*Устроитель празднеств -- фр.*] княжеского двора и как полного иронии чародея.

Крайне достопримечательна история вступления мастера Абрагама в княжескую фамилию.

Блаженной памяти папаша князя Иреня был человек простой и кроткий. Он увидал, что малейшее проявление жизненных сил должно совсем разрушить слабый организм государственной машины, вместо того чтобы побудить ее к лучшему действию. Руководствуясь этим, он оставил положение дел страны в прежнем порядке, и, если у него не было случая выказать блестящий ум или другие какие-нибудь дары Неба, он ограничился, по крайней мере, тем, что в его княжестве каждый чувствовал себя хорошо, а что касается сношений с другими государствами, так в этом случае его страна напоминала женщину: чем меньше про нее говорят, тем свободнее она от недостатков. Если маленький двор князя отличался чопорностью и церемонностью, если князь совсем не мог свыкнуться с некоторыми вполне лояльными идеями, выработанными новым временем, вина этого заключалась в обер-гофмейстере, гофмаршалах и камергерах, которые всеми силами старались сохранить невозмутимость стоячей воды. Но было одно обстоятельство, с которым не могли бороться никакой гофмейстер, никакой маршал, -- именно прирожденная склонность князя ко всему загадочному, странному, необычайному.

По примеру калифа Гарун аль-Рашида он имел иногда обыкновение переодетым обходить город и деревни, чтобы дать удовлетворение или хоть некоторую пищу этой склонности, находившейся в странном противоречии с другими его тенденциями. Он надевал в таких случаях круглую шляпу и серое пальто, так что каждый с первого взгляда видел, что князя теперь не нужно узнавать.

Случилось однажды, что князь, переодетый таким образом и пройдя неузнанным всю аллею, ведущую от замка к одной из отдаленнейших местностей, дошел до уединенного домика, в котором жила вдова главного княжеского повара. Как раз перед самым домиком князь увидел двоих незнакомцев, закутанных в плащи и спешивших к выходу. Он прошел в сторону, и историограф княжеской фамилии, у которого я заимствую этот факт, утверждает, что князь был бы неузнан и незамечен даже в том случае, если бы он вместо серого пальто, надел самое блестящее форменное платье, украшенное искрящимися орденами, -- по той простой

причине, что тогда был совершенно темный вечер. Когда оба незнакомца, закутанные в плащи, медленно проходили мимо князя, он вполне явственно услышал следующий разговор. Один сказал: "Прошу тебя, сиятельный братец, смотри хорошенько, чтобы не быть на этот раз ослом! Вы должны с ним покончить, прежде чем князь успеет узнать от него что-нибудь, потому что иначе проклятый колдун насядет нам на шею и совсем погубит нас своими сатанинскими чарами". Другой ответил: "Мой *cher frere* [*Мой дорогой брат -- фр.*], не волнуйся так, не горячись, ты знаешь мою *sagacite*, мою *savoir faire* [*Мою мудрость, мою ловкость -- фр.*]. Я завтра разделаюсь с ним по своему, и пусть тогда он показывает где хочет свои экспонаты... Здесь, во всяком случае, он оставаться не может. Князь, кроме того, порядо..." Голоса замолкли, и князь не мог узнать, чем считает его собственный гофмаршал, так как никто иной, а именно гофмаршал и брат его, обер-егермейстер, были этими лицами, вышедшими из дома и разговаривавшими так странно и загадочно.

Князь узнал их обоих по голосу. Легко представить себе, что князю пришло самое естественное желание отыскать этого опасного колдуна, от знакомства с которым хотели его предохранить. Он постучался в дверь домика, вдова вышла на порог, держа в руках свечу, и, увидав круглую шляпу и серое пальто князя, спросила с холодной вежливостью:

-- Что вам угодно, *monsieur* [*Сударь -- фр.*]?

Когда князь подходил к кому-нибудь переодетый и неузнаваемый, ему всегда говорили *monsieur*.

Князь осведомился о чужестранце, который должен был находиться у вдовы; он оказался никем иным, как чрезвычайно сведущим, ловким, знаменитым фокусником, снабженным целой кучей аттестатов, грамот и привилегий и желающим познакомить местную публику со своими чарами.

-- Только что здесь были, -- рассказывала вдова, -- два придворных господина. Он им показывал какие-то необъяснимые вещи, которые привели их в такое изумление, что они ушли отсюда смущенные, бледные, совершенно вне себя.

Недолго думая, князь велел провести себя к нему. Мейстер Абрагам (а это был именно он) принял его как человека, которого он уже давно ждал, и, как только князь вошел, тотчас же затворил за ним дверь.

Никто не знает, какие фокусы показывал князю Иренею мейстер Абрагам, известно только одно: князь пробыл с ним целую ночь, а на другое утро в замке были приготовлены комнаты, которые занял мейстер Абрагам и в которые князь посредством потаенного хода мог незамеченным проникать из своего кабинета. Известно также еще, что отныне князь не называл уже больше гофмаршала *mon cher ami* [*Мой милый друг -- фр.*] и никогда больше не заставлял обер-егермейстера рассказывать волшебную охотничью историю о белом рогатом зайце, которого он (обер-егермейстер) не мог застрелить во время первой своей охотничьей экскурсии в лесу. Это обстоятельство повергло обоих братьев в печаль и отчаяние и в скором времени вынудило их оставить двор. Известно, наконец, и то, что мейстер Абрагам стал приводить в изумление двор,

город и сельских жителей не только своими фантазмагориями, но также и тем уважением, которое он все более и более внушал князю.

О фокусах мастера Абрагама упомянутый историограф княжеской фамилии рассказывает столько невероятных вещей, что нет возможности все их передать, не оскорбляя доверия благосклонного читателя. Самым удивительным фокусом, который, по мнению историографа, достаточно ясно доказывает очевидную и преступную связь мастера Абрагама с невидимыми темными силами, является акустическая трагедия, позднее обратившая на себя большое внимание и сделавшаяся известной под названием невидимой девицы. Фокус этот уже в то время не раз был показываем мастером Абрагамом с таким богатством фантазии, загадочности и захватывающего интереса, с каким его больше никогда никто не показывал.

Наряду со всем этим поговаривали, что и сам князь, вкупе с мастером Абрагамом, стал предпринимать различные магические операции относительно их цели между придворными дамами, камергерами и другими лицами, причастными ко двору, возник приятный спор, исполненный самых нелепых, бессмысленных догадок. Все, впрочем, были согласны в одном: что мастер Абрагам научил князя готовить золото, о чем можно было судить по дыму, проникавшему иногда из лаборатории, и что он ввел его во всяческие необходимые для подобных целей конференции духов. Далее, все были твердо убеждены, что теперь князь, прежде чем выдавать патент новому бургомистру местечка или назначать прибавку жалованья придворному истопнику, стал всегда советоваться с созвездиями или с демоном Агатоном, который со спиритами обходится запросто.

Когда старый князь скончался и ему наследовал Иреней, мастер Абрагам покинул страну. Молодой князь, совсем лишенный отцовской склонности к чудесному и загадочному, не удерживал его; однако вскоре нашел, что магическая власть мастера Абрагама заключается главным образом в его умении заклинать некоего злого духа, который крайне охотно поселяется при всех маленьких дворах, именно адского духа -- скуки. Кроме того, уважение, каким пользовался мастер Абрагам у старого князя, пустило глубокие корни в душе Иренея. Бывали минуты, когда молодому князю казалось, что мастер Абрагам -- какое-то неземное существо, высоко стоящее надо всем, что считается исключительным в человеческом смысле слова. Говорят, что такое совсем особенное ощущение было следствием некоторого критического незабвенного момента в юношеской истории князя. Раз, будучи еще мальчиком, он с назойливым ребяческим любопытством проник в комнату мастера Абрагама и весьма нелепым образом разломал одну маленькую машину, которую мастер только что окончил с большими хлопотами и необычайным искусством; мастер в страшном гневе на неловкость глупого князька дал ему увесистую пощечину и потом тотчас же с некоторой не вполне ласкательной поспешностью вывел его из своей комнаты в коридор. Молодой князь, заливаясь слезами, мог только с

трудом промямлить: "Abraham... soufflet..." [*"Абрагам... пощечина..." -- фр.*]. Обескураженный обер-гофмейстер подумал, что это было наказание за дерзкую попытку проникнуть в страшную тайну, которую он мог только подозревать.

Князь Иреней теперь живо чувствовал потребность иметь при себе мастера Абрагама, как одухотворяющее начало в механизме придворной жизни, но все усилия вернуть его назад были напрасны. И только после роковой прогулки, когда князь Иреней потерял свои владения, когда он устроил в Зигхартсвейлере свой химерический двор, мастер Абрагам снова вернулся и не мог выбрать для возвращения более подходящего времени. Потому что, кроме всего другого...

(М. прод.) ...рассказу о достопримечательном событии, которое, выражаясь обычным слогом остроумных биографов, открывает новую эпоху моей жизни.

Читатели! Вы, о юноши, мужчины и женщины, под чьей шерстью бьется чувствительное сердце, чья душа склонна к добродетели, чей ум познает сладостные узы, соединяющие нас с природой, вы поймете меня и полюбите.

Солнце жгло, целый день я проспал под печкой. Но вот надвинулись сумерки и свежий ветер с шепотом проник через открытое окно в комнату моего воспитателя. Я пробудился от сна, грудь моя расширилась, вся охваченная невыразимым, странным ощущением и сладким, и мучительным, соединенным с нежнейшими предчувствиями. Под наплывом этих предчувствий, я выпрямился и сделал то самое многозначительное движение, которое равнодушный человек в холодности своей обозначает словами выгнуть спину. Прочь отсюда -- на волю влекло меня, к свободной природе, -- я удалился на крышу и бродил там в лучах заходящего солнца. Вдруг услышал я звуки -- они неслись с чердака, -- такие нежные, тихие, родные, обворожительные; какое-то незнакомое чувство с непобедимой силой повлекло меня вниз. Покинув красоты природы, я через узкое слуховое окно прополз на чердак. Как только спрыгнул я вниз, я заметил тотчас же большую, прекрасную кошку, покрытую белыми и черными пятнами. Она сидела на задних лапках в позе весьма комфортабельной и испускала соблазнительные звуки, и смотрела на меня пронизательным, пристальным взглядом. Во мгновение ока я сел против нее и, уступая внутреннему порыву, попытался запеть в унисон с пятнистой красавицей. Должен сознаться, что это удалось мне необычайно. Именно с этого момента (делаю данное замечание для психологов, занятых изучением моей жизни и моих произведений) начинается во мне вера в мой природный музыкальный талант, а вместе с верой появляется естественно и самый талант. Пятнистая певунья посмотрела на меня пристальнее и внимательнее, вдруг замолчала и, сделав гигантский прыжок, подскочила ко мне. Не ожидая ничего хорошего, я выпустил свои когти, но в то же самое мгновение пятнистая дама воскликнула, роняя из глаз серебристые слезы:

-- Сын мой, о, сын мой! Приди, поспеши в мои лапы!

И потом, обнимая меня, с теплым чувством прижимая меня к груди своей, продолжала:

-- Это ты, ты -- мой сын, мой добрый сын, которого я родила без особенных мук!..

Я почувствовал себя потрясенным до глубины души, и уже это одно должно было убедить меня, что я действительно вижу перед собой родную мать; тем не менее я все-таки спросил, уверена ли также и она, что это вполне несомненно.

-- Еще бы, это сходство! -- воскликнула она. -- Эти глаза, это выражение лица, эта борода, этот мех -- все, все напоминает мне слишком живо неблагодарного изменника, который бросил меня. Ты -- вылитый портрет твоего отца, милый Мурр (ведь ты именно так называешься); я, однако, надеюсь, что с красотой отца ты соединил нежные помыслы и кроткий характер матери Мины. У отца твоего был весьма внушительный вид: его важный высокий лоб производил импонирующее впечатление, в зеленых глазах светился живой ум, а на щеках играла приятная улыбка. Эти физические преимущества вместе с его остроумием и известной любезной легкостью, с которой он ловил мышей, покорили мое сердце. Но скоро выказался его жестокий тиранический характер, который он так долго, так искусно скрывал. Я с ужасом говорю это! Едва только ты родился, как твоему отцу пришло нечестивое желание съесть тебя вместе с твоими братьями и сестрами.

-- Любезная мамаша, -- прервал я рассказ пятнистой дамы. -- Не осуждайте так всецело это желание. Образованнейший в свете народ приписывает самим богам этот неизъяснимый аппетит к пожиранию собственных детей. Но Юпитер был спасен, а также и я!

-- Я тебя не понимаю, сын мой, возразила Мина. -- Но, кажется мне, что ты как будто говоришь совершенный вздор или хочешь защищать твоего отца. Не будь неблагодарным! Ты, наверно, был бы задушен и съеден кровожадным тираном, если бы я с отвагой не защищала тебя этими острыми когтями, если бы не спасла тебя от преследований противоестественного варвара, с быстротой стрелы убегая то туда, то сюда: в подвал, на чердак и в конюшни. Он оставил меня наконец! С тех пор я его никогда не видала! Но все еще бьется любовь к нему в сердце моем! Это был прекраснейший кот! Благодаря его тонким манерам, его важной осанке, многие считали его за путешествующего графа.

Я уже решила вести спокойную тихую жизнь, ограничив свои интересы домашней сферой материнских обязанностей, но меня должен был поразить еще страшнейший удар. Когда я однажды вернулась с прогулки домой, от тебя и от братьев твоих и сестер и следа не осталось. За день перед этим одна старая женщина открыла меня в моем убежище, и я слышала, как она говорила какие-то загадочные слова о том, что кого-то нужно бросить в воду. Ну, слава богу, ты спасен, сын мой. Прижмись еще раз к груди моей, о, возлюбленный!

Пятнистая мамаша ласкала меня с сердечной нежностью и расспрашивала о подробностях моей жизни. Я все рассказал ей, не забыв

упомянуть при этом о моем высоком образовании и о том, как я достиг своего развития.

Мина казалась менее тронутой редкостными качествами сына, чем этого можно было ожидать. Она даже вполне недвусмысленно дала мне понять, что я со всем моим необычайным гением и моими глубокими научными познаниями попал на ложный путь, который может привести меня к дурным результатам. А в особенности она предостерегала меня не открывать приобретенных мною знаний мейстеру Абрагаму, потому что он только будет эксплуатировать меня и держать в самом стеснительном рабстве.

-- Сама я, -- проговорила Мина, -- не могу похвастаться образованием, подобным твоему, между тем у меня отнюдь нет недостатка в природных способностях и приятных талантах. В числе этих последних я должна, например, назвать прирожденное мое умение испускать из своего меха яркие искры, когда меня гладят. И сколько же неприятностей доставил мне этот один талант! Дети и взрослые беспрестанно шаркают по моей спине, для того чтобы -- на муку мне -- производить такой фейерверк; если же я с неудовольствием отпрыгиваю в сторону или показываю когти, меня называют диким животным, а иногда даже бьют. Подобно этому, как только мейстер Абрагам узнает, что ты можешь писать, он тебя сделает своим переписчиком, и ты будешь по принуждению делать то, что теперь делаешь по доброй воле и для собственного удовольствия.

Мина говорила еще многое о моем образовании и об отношении к мейстеру Абрагаму. Только впоследствии я узнал, что все, что я считал за отвращение к наукам, было на самом деле истинной житейской мудростью, которую пятнистая дама носила в себе.

Я узнал, что Мина, живя у соседки-старухи, находится в стеснительных обстоятельствах и нередко не знает, чем удовлетворить чувство голода. Это глубоко меня тронуло, сыновняя любовь с полной силой проснулась в груди моей, я вспомнил о прелестной селедочной головке, оставшейся после вчерашнего ужина, и решил принести ее столь внезапно обретенной родительнице.

Кто может измерить все непостоянство, всю изменчивость сердец тех существ, которые бродят под луной! Зачем судьба не возбранила гибельным страстям проникать в нашу грудь! Зачем мы, как непрочный, колеблющийся тростник, склоняемся под бурей жизни? Враждебный рок! О, аппетит, имя твое есть кот! С головкой селедки во рту вскарабкался я на крышу, как некий *pius Aeneas* [*Благочестивый Эней -- лат.*], и хотел проникнуть на чердак! Вдруг впал я в душевное состояние, которое, странным образом отчуждая мое "я" от моего "я", мне казалось, однако же, моим собственным "я". Полагаю, что я выражаюсь достаточно вразумительно и глубокомысленно, так что в этом изображении моего странного состояния каждый узнает психолога, проникающего в самую глубь души. Продолжаю рассказ!

Удивительное чувство, сотканное из страсти и муки, омрачило мое сознание, овладело мной, сопротивляться больше было невозможно -- я пожрал головку селедки!

Я слышал, как Мина боязливо мяукала, боязливо называла мое имя. Полный раскаяния и стыда, я спрыгнул назад в комнату мастера и забился под печку. Меня терзали мучительные представления. Я видел Мину, вновь обретенную мать, покрытую пятнышками, видел ее безутешную, покинутую, близкую к обмороку, страстно предвкушающую кушанье, которое я ей обещал. Что это? Бушующий ветер ворвался в дымовую трубу и произнес имя Мины. "Мина, Мина", -- зашелестело в бумагах моего господина. "Мина", -- проговорил с треском полуизломанный стул, а заслонка от печки жалобно повторила: "Мина". О, какое горькое, томительное чувство разрывало мое сердце! Я решил, где только возможно, пошарить насчет молочка. Точно прохладная, благодетельная тень, эта мысль распространила в душе моей глубокий мир. Я насторожил уши и заснул.

Вы, чувствительные души, вполне меня понимающие, увидите, если только вы не ослы, а настоящие честные коты, вы увидите, говорю я, что эта буря, взволновавшая грудь мою, должна была прояснить горизонт моей юности, подобно тому, как благодетельный ураган разгоняет мрачные тучи и очищает воздух. Как ни мучительно тяготела сначала над моей душой голова селедки, однако я познал, что есть аппетит, познал также, что преступно противиться матери-при-роде. Пусть каждый отыскивает свои селедочные головки и не вмешивает в предусмотрительность и мудрость других, ибо они, руководимые правильным аппетитом, непременно сами найдут свое.

Так закончился эпизод моей жизни, убедивший...

(Мак. л.) ...ничего не может быть досаднее для историографа или биографа, если ему приходится перескакивать с одного предмета на другой, точно предаваться бешеной скачке на диком жеребце, мчаться через рвы и овраги, через поля и луга, постоянно стремясь к торной дороге и никогда не будучи в состоянии найти ее. Совершенно такая вещь случается с тем, кто возьмет на себя труд описать для тебя, любезный читатель, необычайные события из жизни капельмейстера Иоганна Крейсlera. Охотно бы начал он так: Иоганн Крейслер увидел впервые свет в маленьком городке Н., или Б., или К. именно в понедельник, в праздник Троицы или на Пасхе такого-то года.

Но, увы, такой превосходный хронологический порядок не может быть соблюден в данном случае, потому что в распоряжении злополучного повествователя находятся только отрывочные сведения, переданные ему изустно; чтобы не утратить их из памяти, он должен был тотчас по получении поскорее занести их на бумагу. Как именно были получены все излагаемые сведения, об этом ты, достопочтенный читатель, узнаешь еще до конца книги, и тогда, может быть, извинишь рапсодический характер изложения, а может быть, даже найдешь, что, несмотря на внешний вид разорванности, между отдельными частями проходит одна и та же нить.

В данный момент нужно сообщить только, что, немного спустя после того, как князь Иреней поселился в Зигхартсвейлере, в один прекрасный летний вечер принцесса Гедвига гуляла вместе с Юлией в прелестном придворном парке. Над лесом, как золотистый покров, лежал свет заходящего солнца. В безмолвии вечера не шелестел ни один листок. Кусты и деревья в молчаливом предчувствии ждали, чтобы к ним прильнул ночной ветер со своими ласками. Только ропот лесного ручья, бегущего с камня на камень, нарушал беспредельный покой. Взавшись за руки, девушки молча бродили по дорожкам между куртин, через мосты, проведенные в разных местах над извилистым, светлым ручьем, пока наконец не достигли лежащего на самом краю парка большого озера, в котором отражался далекий Гейерштейн с своими живописными руинами.

-- Как хорошо! -- воскликнула от всего сердца Юлия.

-- Пойдем в рыбачий домик, -- проговорила Гедвига. -- Солнце ужасно жжет, к тому же оттуда, из среднего окна, вид на Гейерштейн еще прекраснее, чем здесь: там вся местность является не панорамой, а группой, совсем как в действительности.

Юлия последовала за принцессой, которая, как только вошла и посмотрела из окна, пожелала иметь карандаш и бумагу, чтобы нарисовать вид в вечернем, "пикантном" -- по ее словам -- освещении.

-- Я готова почти завидовать тебе, проговорила Юлия. -- Ты так искусно, с таким совершенством умеешь рисовать виды природы, деревья, кусты, горы и озера. Но я знаю, что, если бы я умела рисовать так же хорошо, как ты, мне все-таки никогда бы не удалось вполне скопировать природу, и тем менее, чем прекраснее ландшафт. От восторга и радости созерцания я не могла бы приняться за работу.

При этих словах Юлии лицо принцессы озарилось улыбкой, которая у шестнадцатилетней девушки может назваться опасной. Мейстер Абрагам, выразившийся иногда несколько странно, говорил, что такую игру лицевых мускулов можно сравнить с волнением на поверхности воды, начинающимся всегда, если из глубины поднимается что-нибудь грозное. Словом, принцесса Гедвига улыбалась. Но в то время, как она открыла свои губы, подобные лепесткам розы, с целью возразить нежной и несведущей в искусстве Юлии, совсем вблизи раздались аккорды, такие дикие и сильные, что вряд ли они могли происходить от простой гитары.

Принцесса умолкла, и обе девушки поспешили из домика.

Одна мелодия лилась за другой, с самыми странными, необычайными переходами. К музыке примешивался звучный мужской голос, который то выражал всю сладость итальянского пения, то, мгновенно обрываясь, переходил к серьезным, мрачным мелодиям, то резко оттенял отдельные слова, произнося их речитативом.

Потом, умолкая, певец настраивал гитару, снова лились аккорды, потом опять перерыв, потом гневно произнесенные слова, опять мелодия, опять перерыв.

Старая от любопытства увидеть волшебного виртуоза, Гедвига и Юлия подходили все ближе и ближе, наконец, они заметили мужчину, одетого в

черное. Обратившись к ним спиной, он сидел на обломке скалы у самого озера и продолжал свою дивную игру, перемешанную с пением и разговорами.

Когда девушки подошли вплоть, он как раз настроил гитару на новый совсем особенный лад и брал отрывистые аккорды, выкрикивая при этом: "Опять неудача: звучности нет, комма низка, комма высока!"

Потом он схватил обеими руками инструмент, высвободил его от голубой ленты, на которой он висел через плечо, и, держа его перед собой, начал говорить:

-- Скажи мне, капризная ты штука, где же собственно покоится твоя гармония, в какой уголок твоей души скрылась полная, благозвучная гамма? Или ты хочешь возмутиться против твоего маэстро и утверждать, что слух его притупился среди равномерной температуры, и звуки, извлекаемые им, лишь детская причудливая игра? Ты, пожалуй, смеешься надо мной, забывая, что борода у меня подстрижена гораздо лучше, чем у маэстро Стефано Пачини, *detto il venetiano* [*Именуемый венецианцем -- ит.*], который вложил в тебя гармонию, остающуюся для меня непостижимой тайной. Ну, любезная моя, ты должна доставить мне исполненный унисона дуализм нот соль-диез и ля-бемоль, или до-диез и ре-бемоль, если же ты этого не сделаешь или не захочешь дать полной гармонии звуков, я тебя отправлю на выучку к новым немецким мастерам, они тебя разругают и вышколят совсем негармоничными словами. И ты лишена возможности броситься в объятия своему Стефано Пачини, ты не можешь, наподобие ворчливой женщины, удержать за собой последнее слово. Или, может быть, ты достаточно нагла и дерзка, чтобы думать, что дивные духи, живущие в тебе, подчиняются только мощной власти магических чар, давно исчезнувших с лица земли; ты думаешь, что в руках подобного бездельника...

При последних словах музыкант вскочил со своего места и, как бы погруженный в глубокую задумчивость, устремил взор на озеро. Девушки, пораженные всем, что увидели, стояли за кустом, точно прикованные к земле, еле осмеливаясь дышать.

-- Гитара, -- прервал, наконец, музыкант свое молчание, -- самый жалкий, несовершенный инструмент! Она годится только для воркующих, больных от любви пастушков, которые потеряли дульце своей свирели, потому что иначе они предпочли бы играть на ней что есть силы, будить эхо альпийской песней, тревожить далекие горы скорбной жалобой и сзывать пасущийся скот веселым хлопаньем бичей. Боже, Боже! Научи пастухов, "плачевною песней скорбящих по милой невесте своей", научи их, что тройное созвучие состоит ни из чего иного, как из трех звуков, и дай им гитару в руки. Но людям серьезным, с порядочным образованием, с превосходной эрудицией, занимавшимся греческой философией и прекрасно знающим, что делается при дворе в Пекине или в Нанкине, хотя ни черта не понимающим в пастушеской жизни и скотоводстве, -- к чему им эти сладкие вздохи, это брэнчанье? Бездельник, чем ты занимаешься? Вспомни о покойном Гиппеле! Он уверял, что, если он видит, как кто-

нибудь дает уроки игры на клавикордах, ему кажется, будто такой учитель музыки лакомится яйцами всмятку... А ты брэнчишь на гитаре! Бездельник! Как тебе не стыдно!

С этими словами незнакомец швырнул свой инструмент в куст, далеко от себя, и поспешно удалился, совсем не заметив присутствия девушек.

-- Ну, -- воскликнула со смехом Юлия, -- что скажешь ты, Гедвига, об этом волшебном явлении? Откуда мог прийти сюда загадочный человек, который умеет так мило беседовать со своим инструментом и потом презрительно бросает его прочь, точно изломанную коробку?

Лицо Гедвиги все вспыхнуло и она проговорила, точно под влиянием сильного гнева:

-- Зачем вход в парк не заперт! Каждый пришелец может войти сюда!

-- Как, -- возразила Юлия, -- ты хотела бы, чтоб князь эгоистично лишил возможности любоваться лучшим видом всей местности жителей Зигхартсвейлера и даже всякого, кто только случайно забредет сюда? Не может быть, чтобы это было твое серьезное желание!

-- Но ты забываешь, -- продолжала принцесса с еще большим оживлением, какая опасность может нам угрожать! Мы часто гуляем здесь совершенно одни, вдали от кого-либо из прислуги, в самых уединенных лесных уголках. Что если какой-нибудь злодей...

-- Вот что! -- прервала Юлия принцессу. -- Мне думается, ты боишься, что из-за какого-нибудь куста выскочит дикий сказочный великан или легендарный рыцарь-разбойник, который похитит нас и увезет в свой замок! Да сохранит тебя Небо! Что касается меня, я должна тебе признаться: маленькое приключение в романтическом лесном уединении представляется мне вполне прелестным и поэтическим. Я вспоминаю шекспировскую комедию "Как вам будет угодно", которую мать так долго не давала нам в руки и которую наконец прочел нам Лотарио. Ты, пожалуй, могла бы быть Селией, а я хотела бы сделаться твоей верной Розалиндой. Чем был бы в таком случае наш неведомый виртуоз?

-- Знаешь ли, Юлия, -- возразила принцесса, -- этот незнакомец своей фигурой, своими странными речами возбудил во мне какой-то непонятный ужас. Это что-то странное, непостижимое. В уме моем точно встает какое-то далекое, смутное воспоминание, встает и никак не может принять определенных очертаний. Мне чудится, что я уже видела когда-то этого странного человека, он был запутан в какое-то страшное событие, разрывавшее мое сердце на части... быть может, это не больше, как кошмар, воспоминание о котором запечатлелось в моей душе. Но будет об этом... Я хочу только сказать, что странный незнакомец, со своими непонятными речами и заклинаниями, показался мне привидением, грозящим заманить нас в какой-нибудь заколдованный волшебный круг.

-- Фантазия! -- воскликнула Юлия. -- Я с своей стороны превращаю черную фигуру с гитарой в руках в monsieur Жака, или, пожалуй, в честного Пробштейна, ведь его философия почти сходится с удивительными речами незнакомца. Однако, теперь прежде всего нужно спасти бедную крошку, которую варвар так жестоко швырнул в куст...

-- Юлия... что ты хочешь... ради бога! -- воскликнула принцесса.

Но Юлия, не обращая на нее внимания, проскользнула в чашу и через несколько мгновений вернулась назад, с триумфом держа в руках брошенную незнакомцем гитару.

Принцесса поборола свой страх и с большим любопытством начала рассматривать инструмент, странные формы которого свидетельствовали об его древнем происхождении; об этом же гласила и надпись, вытравленная черными буквами внутри гитары и явственно видневшаяся через круглое отверстие: *Stefano Pacini fee. Venet. [Стефано Пачини, сдел. в Венец -- лат.] 1532.*

Юлия не могла удержаться, ударила по струнам причудливого инструмента и невольно вздрогнула, услышав мощный звучный аккорд.

-- Прекрасно, чудесно! -- воскликнула она и начала играть.

Но так как она обыкновенно сопровождала свое пение аккомпанементом гитары, невольно из уст ее полились звуки, в то время как сама она тихонько пошла вперед. Принцесса молча последовала за ней. Юлия остановилась.

-- Пой, -- проговорила Гедвига, -- играй на этом дивном инструменте, быть может, тебе удастся удалить в Оркус злых, враждебных духов, вознамерившихся овладеть мной.

-- Что ты все говоришь о злых духах! -- возразила Юлия. -- Они навсегда останутся далекими от нас, но я буду и петь, и играть, потому что не думала до сих пор никогда, чтобы мне мог попасть в руки такой инструмент и мог так понравиться. Мне кажется, что голос мой стал гораздо звучнее при таком аккомпанементе.

Она запела одну из распространенных итальянских канцон, давая полный простор своему богатому голосу, всю душу вкладывая в эти чудные переходы, прихотливые обороты, смелые каприччо. Если принцесса была напугана незнакомцем, Юлия превратилась в настоящую статую, когда, желая повернуть в другую аллею, она вдруг увидела его перед собой.

Незнакомец -- мужчина лет тридцати -- был одет по последней моде, весь в черном. Во всех его манерах не было ничего особенного, необычного и тем не менее наружность его отличалась чем-то странным, оригинальным.

Несмотря на чистоту платья, в костюме была видна какая-то небрежность, происходившая, по-видимому, не от недостатка в тщательности, а скорее оттого, что незнакомец вынужден был совершить путь, на который он не рассчитывал и к которому костюм не подходил. Жилет был кое-где разорван, галстук повязан слегка, башмаки сильно запылены, так что золотые их пряжки были еле видны; поля треуголки, назначенной лишь для того, чтобы ее носить под мышкой, были опущены вниз с очевидной целью предохранить лицо от солнца, это имело довольно потешный вид. Должно быть, он пробрался через самую густую чащу парка, так как в его черных спутанных волосах виднелись еловые колючки. Мельком посмотрев на принцессу, он остановил на Юлии глубокий, огненный взор своих больших, темных глаз -- обстоятельство, повергшее

ее в еще большее смущение, так что у нее на глазах, как всегда бывает в подобных случаях, выступили слезы.

-- Не при виде ли меня, -- проговорил, наконец чужестранец, мягким, приятным голосом, -- замолкают эти небесные звуки и превращаются в слезы?

Принцесса, сильным напряжением воли победив первое впечатление, которое произвел на нее незнакомец, гордо взглянула на него и ответила сурово, почти резко:

-- Во всяком случае, ваше неожиданное появление не могло не удивить нас, милостивый государь! В такие часы в княжеском парке обыкновенно никого не бывает из посторонних. Я принцесса Гедвига.

При первых же словах принцессы незнакомец быстро повернулся к ней и посмотрел на нее пристально и прямо. Все лицо его совершенно преобразилось. Выражение тихой тоски, глубокого внутреннего волнения уступило место насмешливой, полной сарказма улыбке, выразившей самую злую иронию.

Принцесса, точно пораженная электрическим ударом, умолкла на полуслове, вспыхнула и опустила глаза.

Незнакомец, казалось, хотел что-то сказать, но в это самое мгновение начала Юлия:

-- Какая я, право, глупая, что испугалась и расплакалась, как ребенок, пойманный в ту минуту, когда он лакомится. Да, милостивый государь, я лакомилась -- в виде лакомства я похитила несколько чудных звуков из вашей гитары. Во всем виновата она и наше любопытство! Мы слышали, как вы славно разговаривали с этой малюткой, видели также, как вы в сильном гневе бросили бедняжку в куст, так что она жалобно застонала. Я была тронута до глубины сердца, поспешила в чащу и подняла милый, прекрасный инструмент. Вы сами знаете, как девушки любопытны: я задела за струны, они запели, и я не могла удержаться, руки сами начали играть. Простите меня, милостивый государь, и возьмите назад инструмент.

Юлия протянула гитару незнакомцу.

-- Это чрезвычайно редкий, благозвучный инструмент, -- сказал незнакомец. -- Он очень древнего происхождения, и лишь в моих неопытных руках... Но что руки, что руки! Дивный гений гармонии, столь знакомый этой странной маленькой вещи, живет также и во мне, живет в моей груди, только в виде куколки, которая не может никак превратиться в резвого мотылька. Но из вашей души, фрейлейн, гармония льется в светлых звуках, рвущихся к ясному небу, переливающимися в тысяче красок и переходов, подобно ярким крыльям павлиньего ока. Вы пели, и страстная мука любви, дивные чары таинственных снов, надежда, желание как волны промчались среди спящего леса, чтоб пасть серебристой росой на чашечки нежных цветов, на влюбленную грудь соловьев, невольно умолкших. Прошу вас, возьмите себе инструмент, лишь вы способны так властно извлечь из него всю негу, живущую в нем.

-- Но ведь вы бросили инструмент, -- возразила Юлия, вся вспыхнув.

-- Это верно, -- сказал незнакомец, порывисто схватывая гитару и прижимая к сердцу, -- я бросил ее и принял назад освященной, никогда больше я не выпущу ее из рук своих. -- Вдруг лицо незнакомца опять приняло насмешливое, ироническое выражение, и он заговорил громким, резким голосом: -- Собственно говоря, судьба или мой злой демон сыграли со мной презлую шутку, заставив меня появиться перед вами, высокоуважаемые дамы, совершенно *ex abrupto* [*Внезапно -- лат.*], как говорят латинисты, а также другие почтенные люди. Боже мой, рискните, милостивейшая принцесса, окинуть меня взором с ног до головы. Вы увидите, что, судя по костюму, я отправляюсь на важный визит. Вот видите ли, я думал проехать в Зигхартсвейлер и оставить в этом славном городе если не собственную персону, то хоть свою визитную карточку. Но, быть может, вы думаете, что у меня нет связей, милостивейшая моя принцесса? Разве же не был я в самых близких отношениях с гофмаршалом батюшки вашей светлости? Я знаю, что, если бы он увидел меня здесь, он прижал бы меня к своей мощной груди и растроганным голосом сказал бы, предлагая щепотку табаку: "Здесь мы одни, любезный, здесь я могу дать полную волю и сердцу, и самым приятнейшим помыслам". Я получил бы аудиенцию у его светлости князя Иренея и был бы представлен и вам, о, принцесса! Я был бы представлен вам так, что, бьюсь об заклад самым трудным аккордом против пощечины, я приобрел бы у вас благосклонность! Но теперь! Здесь в саду, в самом неподходящем месте, близ пруда, где плавают утки и слышно кваканье лягушек, я должен сам представляться, к вящему моему сожалению! О, Боже, если бы я хоть немного умел колдовать, если б я *subito* [*Вдруг -- лат.*] мог превратить хоть вот эту благородную зубочистку (он вытащил ее из кармана жилета) в одного из камергеров, блистающих при дворе князя Иренея, он взял бы меня под свое покровительство и сказал: "Светлейшая принцесса, это вот такой-то и такой-то!" Но теперь! *Che far, che dir!* [*Что делать, что говорить! -- ит.*] Сжальтесь, сжальтесь, о, принцесса! О, придворные дамы! О, знатные господа!

Незнакомец бросился на колени перед принцессой и запел пронзительным голосом: "Ah, pieta, pieta, Signora!" [*Ах, сжальтесь, сжальтесь, синьора! -- ит.*]

Принцесса схватила Юлию за руку и изо всех сил побежала прочь с громким возгласом:

-- Это помешанный, помешанный, он бежал из сумасшедшего дома!

Перед самым замком девушек встретила советница Бенцон, и они, полубездыханные почти, упали к ее ногам.

-- Что с вами случилось? Ради бога, что означает это торопливое бегство?
-- спросила она принцессу.

Та, вне себя, в полном замешательстве, еле-еле, в отрывистых фразах могла пролепетать, что на них напал помешанный. Юлия спокойно и рассудительно рассказала обо всем происшедшем и в заключение сказала, что, на ее взгляд, это вовсе не помешанный, а просто иронический, хитрый

насмешник, действительно, настоящий monsieur Жак, пригодный для комедии в Арденском лесу.

Советница Бенцон заставила еще раз повторить весь рассказ, расспросила о мельчайших подробностях, о походке незнакомца, его манерах, гримасах, тоне голоса и т. п.

-- Да, да, -- воскликнула она наконец, -- очевидно, это он, другой не мог бы, не посмел бы вести себя таким образом.

-- Кто, кто это? -- спросила принцесса нетерпеливо.

-- Успокойтесь, милая Гедвига, -- возразила Бенцон, -- вы напрасно бежали так поспешно. Незнакомец, показавшийся вам таким страшным, совсем не сумасшедший. Как бы зло, неприлично ни шутил он с вами, следуя своей странной манере, я уверена, что вы с ним помиритесь.

-- Никогда! -- воскликнула принцесса. -- Если только я увижу его опять, этого неудобного дурака.

-- Какой дух, -- со смехом воскликнула Бенцон, -- внушил вам это слово неудобный? После всего что произошло, оно более подходит к нему, чем вы можете даже подозревать.

-- Я, право, не знаю, -- начала Юлия, -- как можешь ты так сердиться на этого незнакомца, милая Гедвига? Во всех его дурачествах и странных речах есть что-то особенное, далеко не неприятным образом взволновавшее мою душу.

-- Хорошо тебе, -- возразила принцесса, в то время как слезы выступили у ней на глазах, -- ты можешь быть такой спокойной, а у меня сердце разрывается от насмешек этого ужасного человека! Бенцон, скажите, кто это, кто этот сумасшедший?

-- Я объясню все в двух словах, отвечала Бенцон. -- Когда я пять лет тому назад была в...

(М. прод.) ...меня, что в истинно-поэтическом, глубоком духе может гнездиться и детская добродетель, и сострадание к несчастиям ближних.

Своеобразное, меланхолическое чувство, часто овладевающее молодыми романтиками, когда они переживают в душе своей трудный процесс развития великих, возвышенных идей, побудило меня удалиться в одиночество. Долгое время я не делал посещений ни в подвал, ни на крышу, ни на чердак. Вместе с известным поэтом я испытывал сладкие идиллические радости в маленьком домике на берегу журчащего ручья, под сенью мрачной листвы развесистых ив и плакучих берез: отдавшись чудным снам, я все время оставался под печкой. Случилось так, что я более не видал Мины, моей милой, прекрасной матери, покрытой пятнышками. Зато я нашел утешение в науках. О, в науках есть что-то дивное! Благодарность, горячая благодарность тому мужу, который изобрел их! Насколько прекраснее и полезнее это изобретение открытия того ужасного монаха, который впервые решился фабриковать порох, вещь глубоко противную мне по своей природе и действию. Справедливое потомство, всегда постановляющее достоподобный приговор, наказало насмешливым презрением этого варвара, этого дьявольского Бартольда; еще поныне, желая поставить на должную высоту какого-нибудь остроумного ученого,

проницательного статистика -- словом, каждого человека с изысканным образованием, говорят всегда языком поговорки: "Он пороху не выдумает".

Для поучения котовской молодежи, подающей надежды, я не могу оставить без замечания, что, когда я хотел штудировать, я с закрытыми глазами впрыгивал в библиотеку моего воспитателя, вытаскивал книгу, на которую попадали мои когти, и прочитывал ее от доски до доски, каким бы содержанием она ни отличалась. Благодаря такому характеру моих научных занятий, я приобрел эту гибкость и разносторонность ума, эту яркую пестроту и разнообразие знаний, которым будет дивиться потомство. Я не буду здесь называть книги, которые я прочитывал одну за другой в упомянутый период поэтической меланхолии, частью потому, что, может быть, для этого встретится более подходящий случай, частью потому, что я забыл их заглавия, а это опять до известной степени, по той причине, что я большей частью заглавия не прочитывал, а следственно никогда их и не знал. Каждый, я думаю, удовлетворится этим объяснением и не будет обвинять меня в биографическом легкомыслии.

Меня ожидали новые испытания.

Однажды, когда мейстер только что углубился в чтение громадного фолианта, а я рядом с ним, под столом, лежа на листе великолепной бумаги, пытался проникнуть в смысл греческого сочинения, по-видимому, отлично державшегося в моих лапках, -- в комнату поспешно вошел молодой человек, которого я уже несколько раз видел у мейстера и который обращался со мной с дружеским почтением или, скорее, с отрядным преклонением, приличным по отношению к определившемуся таланту и признанному гению; в самом деле, он не только каждый раз, поздоровавшись с мейстером, говорил мне: "С добрым утром, кот!", но, кроме того, каждый раз он слегка почесывал у меня за ухом и нежно гладил по спине, в чем я усмотрел несомненное поощрение не оставлять втуне мои душевные дарования, а блистать ими перед взорами света.

Но сегодня все должно было сложиться совсем иначе. Как только дверь отворилась, вслед за молодым человеком вбежало черное косматое чудовище с огненными глазами. Увидев меня, оно тотчас же устремилось в мою сторону. Мной овладел неопиcуемый страх, одним прыжком я вскочил на письменный стол мейстера, испуская вопли ужаса и отчаяния, между тем как чудовище, производя какой-то оглушительный шум, стало бросаться к столу. Мой добрый мейстер, испугавшийся за меня, взял меня на руки и спрятал под шлафрок. Но молодой человек сказал:

-- Не беспокойтесь, любезный мейстер Абрагам. Мой пудель ни одной кошке не делает вреда, он хочет только поиграть. Выпустите кота, и вы сами порадуетесь, глядя, как этот народец сведет между собой знакомство.

Мейстер действительно хотел посадить меня на пол, но я уцепился за него изо всех сил и начал жалобно вопить. Тогда мейстер, усевшись на стул, позволил и мне сесть рядом с ним.

Ободренный покровительством моего господина, я сел на задние лапки и, извивая свой хвост, принял позу, достоинство и благородная гордость которой должны были производить импонирующее впечатление на моего

предполагаемого черного противника. Пудель уселся против меня на полу, пристально смотря мне в глаза и произнося отрывистые слова, которые естественно оставались для меня непонятными. Страх мой мало-помалу исчез совершенно, и отрадно сделалось на душе, когда я заметил, что взор пуделя не выражает ничего, кроме добродушия и честности. Невольно я начал выказывать нежным движением хвоста свое душевное настроение, крайне склонное к доверию. Тотчас же и пудель начал весьма приятным образом помахивать своим коротеньким хвостиком.

Сердце мое дрогнуло, не было больше ни малейшего сомнения в сродстве наших душ!

-- Каким образом, -- сказал я самому себе, -- каким образом необычное поведение этого незнакомца могло тебя повергнуть в страх и ужас? Эти прыжки, это тьяканье, возня, беготня и завыванья, что изобличает все это, как не пылкого, могучего юношу, полного радостных чувств, любви и восторга? О, несомненно, что в этой черной мохнатой груди живет добродетель и благородный пуделизм! Ободренный такими мыслями, я решил спуститься со стула и сделать первый шаг к более близкому и тесному единению наших душ.

Как только я поднялся и потянулся, пудель вскочил и стал бегать по комнате с громким лаем -- проявление веселого, жизнерадостного характера. Нечего было больше опасаться, я тотчас спустился вниз и осторожно легкой поступью приблизился к новому другу. Мы приступили к тому акту, который на языке таинственной символики обозначает ближайшее ознакомление родственных душ, начало союза, обусловленного внутренними качествами, и к которому близорукий, наглый человек применяет пошлое, вульгарное выражение "обнюхивать". Мой черный друг выказал желание полакомиться куриными косточками, лежавшими на моем обеденном блюде. Насколько я мог, я дал ему понять, что, сообразно с требованиями учтивости и светского образования, мне желательно угостить его как моего дорогого гостя. С удивительным аппетитом он пожрал все, что было, в то время как я смотрел на него издали. Хорошо, однако, было, что я отставил жареную рыбу в сторону и спрятал ее под свою кровать. После закуски мы начали играть в самые приятные игры, в конце же концов крепко обнялись, прижались друг к другу и, перекувырнувшись, раз навсегда поклялись таким образом -- он мне, я ему -- в сердечной верности и вечной дружбе.

Не знаю, право, что могло быть смешного в этом тесном соприкосновении двух прекрасных душ, в этом слиянии юношеских сердец?! Тем не менее верно, что и мастер, и молодой человек оба беспрерывно хохотали во все горло к немалой моей досаде.

Новое знакомство произвело на меня глубокое впечатление, так что и в тени, и на солнце, и на крыше, и под печкой, я ни о чем не думал, ни о чем не помышлял, ни о чем не рассуждал, ни о чем не мечтал, как только о пуделе, пуделе, пуделе! Внутренняя сущность пуделизма предстала предо мной со всеми своими яркими красками, и, благодаря такому проникновению, в душе моей родилось глубокомысленное произведение,

уже упоминавшееся раньше: "Мысль и предчувствие, или Кот и Собака". Нравы, обычаи, язык и того, и другого племени были рассмотрены мной, как факты, необходимо обусловленные их внутренней сущностью, и мной были представлены доказательства, что это только различные лучи, прошедшие через одну и ту же призму. В особенности я остановился на характере речи и доказал, что, так как язык вообще представляет из себя только символическое олицетворение природного начала в форме звукового развития, посему может быть только один язык, кошачье и собачье наречие являются лишь индивидуализованными разветвлениями пуделической отрасли, произрастающей на общем стволе: следственно, кот, осененный высоким гением, и пудель могут вполне понимать друг друга. Чтобы вполне разъяснить свой тезис, я привел множество примеров, взятых из обоих языков, и обратил внимание на сходство родовых корней: вау-вау, мяу-мяу, бляф-бляф, анвау, корр, курр, пци, пшрци и т. д.

Окончив свою книгу, я почувствовал непреодолимое желание действительно изучить пудельство, что мне и удалось, благодаря вновь приобретенному другу, пуделю Понто, -- удалось, правда, не без усилий, так как пуделический язык котам весьма труден для изучения. Но гениальные личности не потеряются ни при каких затруднениях, и именно такую-то гениальность отрицает один знаменитый людской писатель, утверждая, что для изучения чужого языка со всеми его особенностями нужно быть только-только не дураком!.. Мейстер, понятно, держится такого же мнения и допускает лишь научное изучение иностранных языков, противопоставляя ему изучение разговорного языка, т. е., выражаясь его словами, приобретение способности болтать на чужом языке всякий вздор. Он заходил даже так далеко, что считал какой-то болезнью привычку наших придворных господ и дам изъясняться на французском языке, говоря, что такая болезнь, подобно припадкам каталепсии, сопровождается страшными симптомами. Даже к княжескому гофмаршалу он решился применять такое абсурдное утверждение.

-- Сделайте милость, -- сказал однажды мейстер Абрагам, -- понаблюдайте-ка за собой, ваше превосходительство. Небо даровало вам прекрасный, полнозвучный голосовой орган, а как только вы станете говорить по-французски, вы тотчас же начинаете присвистывать, пришепетывать, картавить, и при этом правильные черты вашего приятного лица искажаются ужасно; ваша строгая, серьезная осанка исчезает, и вами овладевают странные конвульсии. Что может все это обозначать, как не оковы фатального духа болезни, скрывающегося внутри вас!

Гофмаршал сильно смеялся, да и как не смеяться было над научной гипотезой мейстера Абрагама.

Один глубокомысленный ученый дает в какой-то книжке совет думать на том чужом языке, который хочешь изучить в короткое время. Совет превосходный, но выполнение его сопряжено с некоторой опасностью. Я чрезвычайно скоро привык к пуделическому мышлению, но притом мой ум до того весь наполнился пуделическим образом мыслей, что я почти

позабыл свой собственный язык и сам не понимал, что я думал. Эти непонятые мной мысли я большей частью заносил на бумагу, и немало сам удивляюсь глубине этих изречений, которые я издал в свет под заглавием "Аканфовых листов" и которые я до сих пор еще сам не понимаю.

Думается мне, что этих коротких указаний относительно истории первых месяцев моей юности вполне достаточно, чтобы дать читателю ясный образ того, что я представлял из себя и как я достиг своего развития.

Не могу, однако, расстаться с периодом расцвета моей поучительной, полной тревожений, жизни, без того, чтобы не упомянуть об одном событии, которое образует до известной степени переход к годам зрелости и законченности образования. Котовская молодежь должна научиться отсюда, что нет розы без шипов и что полному мощных стремлений духу представляется много препятствий, на его пути лежит много острых камней, о которые он больно поранит лапы!

Ты, конечно, любезный читатель, успел уже позавидовать моей счастливой юности, моей счастливой звезде, заботливо указывавшей путь. Родившись в скудной обстановке, от знатных, но бедных родителей, еле спасшись от самой бесславной смерти, я вдруг вступил на лоно изобилия, приобщился к неиссякаемым перуанским рудникам литературы! Ничто не препятствует моему образованию, ничто не служит помехой моим склонностям, гигантскими шагами я иду к совершенству, возносящему меня над моей эпохой. Как вдруг меня хватает таможенный смотритель и требует пошлину, которой обложены здесь на земле решительно все.

Кто мог бы подумать, что под узами сладчайшей, сердечной дружбы скрываются острые терны, которые будут царапать меня и ранить -- и до крови ранить!

Каждый, кто носит, как я, горячее сердце в груди, поймет из всего, что я рассказал о моих отношениях к пуделю Понто, как дорог он был мне, и, однако же, именно он должен был дать первый толчок к катастрофе, которая вовсе могла бы меня погубить, если бы только, как гений-хранитель, не парил надо мной дух моего прародителя. Да, любезный читатель, я должен признаться тебе, у меня был прародитель, такой прародитель, без которого я до известной степени совсем бы не мог появиться на свет -- великий, исполненный славы муж с отличным положением, состоянием, репутацией, с разнообразными научными сведениями, одаренный вполне изысканной добродетелью и тончайшим человеколюбием, муж вполне *comme il faut*, элегантный, со вкусом -- словом... Но теперь о нем я не буду больше распространяться, имея в виду позднее подробно поговорить об этом достойнейшем, который был ни кем иным, как на весь свет прогремевшим министром-премьером Гинцфон-Гинценфельдтом, получившим громадную известность под именем Кота в сапогах.

Но, как сказано, еще впереди будет речь о благороднейшем из всех котов!

Когда я получил способность выражаться на пуделическом языке легко и красиво, могли я удержаться, чтобы не говорить с своим другом Понто о том, что мне было в жизни всего дороже, о самом себе и о своих

начинаниях? Таким образом он ознакомился с моими оригинальными духовными качествами, с моей гениальностью, с моими талантами; и тут-то открыл я, к немалому своему огорчению, что непобедимое легкомыслие, больше того, какая-то кичливость мешают юному Понто сделать какой-либо успех в науках и искусствах. Вместо того, чтобы впасть в изумление пред глубиной моих сведений, он удостоверил меня, что трудно понять, каким образом пришло мне в голову заняться подобными вещами. Он со своей стороны ограничился в сфере искусства лишь тем, что умеет перепрыгивать через палку и подавать своему господину фуражку, вытаскивая ее из воды; насчет же наук он полагает, что существа, подобные мне и ему, занимаясь ими, только портят себе желудок и теряют всякий аппетит.

Во время одного из таких разговоров, когда я старался вразумить моего юного легкомысленного друга, случилось нечто ужасное. Прежде чем я успел опомниться, вдруг...

(Мак. л.) ...Поймите же, -- возразила г-жа Бенцон, -- что этими сумасбродными фантазиями, этой злостной иронией вы ничего никогда не причиняете, кроме беспорядка -- замешательства -- полного диссонанса во всем, что принято.

-- О, как прекрасен, -- воскликнул с улыбкой Иоганн Крейслер, -- тот капельмейстер, который умеет создавать подобные диссонансы!

-- Будьте серьезны, -- продолжала советница, -- вы не отделаетесь от меня вашими ироническими шутками! Вы в моих руках, любезный Иоганн. Да, я вас буду так называть, славным именем Иоганна, чтобы я, по крайней мере, могла надеяться, что за этой сатирической маской скрывается нежная, чуткая душа. И потом всегда я буду думать, что это странное имя Крейслер выдуманно нарочно и подменено вместо совершенно другой фамилии!

-- Многоуважаемая советница, -- проговорил Крейслер, в то время, как все лицо его покрылось тысячью странных складок и морщин, -- дорогая советница, что собственно имеете вы против моего честного имени? Быть может, некогда у меня и было другое, но очень давно, это же имя ужасно идет ко мне, и я, как советник в "Синей Бороде" Людвига Тика, могу сказать: "Когда-то я носил превосходное имя, но с течением времени я его почти совсем позабыл и могу теперь только смутно припомнить".

-- Если вы постараетесь вспомнить, -- воскликнула советница, окидывая его пронизательным взглядом, -- полузабытое имя, наверно, снова придет вам на ум!

-- Совсем нет, дорогая моя, -- возразил Крейслер, -- это невозможно, и я думаю даже, что смутное воспоминание о том, как я в качестве житейского паспорта носил другое имя, относится к тому приятному времени, когда я собственно еще не был рожден на свет. Окажите такую любезность, достопочтеннейшая, рассмотрите мое имя в надлежащем свете, и вы увидите, что все в нем прекрасно касательно рисунка, колорита и физиономии. Больше того! Подвергните его исследованию, рассеките его анатомическим ножом грамматического анализа, все ярче будет блистать

его внутреннее содержание. Невозможно, чтоб вы, несравненная, нашли корень моей фамилии в слове Kraus ("курчавый") и меня, по аналогии со словом Haarkrausler ("парикмахер") сочли за парикмахера, ибо фамилия моя имела бы тогда другое правописание (Krausler). Вы не можете упустить из внимания слово Kreis ("круг"), и дай бог, чтобы тотчас же вы подумали о тех заколдованных кругах, в которых заключено все наше существо и из которых мы не можем выйти, что бы мы ни делали. Вот в этих-то кругах и кружится Крейслер (in diesen Kreisen kreiselt sich der Kreisler), и хорошо, что нередко, утомленный такими вынужденными прыжками пляски святого Витта, споря с темной непостижимой силой, предписавшей эти круги, он стремится на широкий простор, стремится в большей степени, чем это позволяет его слабая конституция. Глубокая скорбь, связанная с таким стремлением, может опять-таки выражаться в форме той иронии, которую вы, о достойная, так жестоко осуждаете, не принимая во внимание, что могучая мать родила сына, который вступил в мир, как победоносный король. Я разумею юмор, не имеющий ничего общего с выродком, сводной сестрой своей -- насмешкой.

-- Да, -- сказала советница, -- именно этот юмор, этот подкидыш распушенной, капризной фантазии, относительно которого вы, жестокие мужчины, даже не знаете, за кого собственно его нужно считать, именно он во всем виной: вы навязываете его нам, как нечто великое и прекрасное, когда хотите злостной насмешкой уничтожить все, что нам мило и дорого. Знаете ли вы, Крейслер, что принцесса Гедвига до сих пор еще вне себя, благодаря вашему появлению и вашему поведению в парке? Она крайне обидчива, и малейшая шутка, в которой она видит насмешку над своей личностью, оскорбляет ее. Кроме того, вам, любезный Иоганн, было угодно представиться каким-то помешанным и возбудить в ней такой ужас, что она чуть не слегла в постель. Возможно ли это извинить?

-- Так же мало, -- возразил Крейслер, -- как если бы какая-нибудь маленькая принцессочка вздумала в открытом парке своего папаши производить своей маленькой персоной импонирующее впечатление на случайно встретившегося незнакомца с самыми приличными манерами.

-- Ну, как бы там ни было, -- продолжала советница, -- но ваше странное появление в парке могло иметь очень дурные последствия. И только Юлии мы обязаны тем, что эти последствия отвращены, что принцесса, по крайней мере, свыклась с мыслью, что она может снова увидеть вас. Юлия берет вас под свою защиту, и во всем, что вы говорили, во всем, что вы делали, видит только вспышку сумасбродства, свойственную человеку глубоко оскорбленному или обидчивому. Словом, Юлия незадолго перед этим познакомилась с шекспировской пьесой "Как вам будет угодно" и сравнивает вас с меланхолическим monsieur Жаком.

-- О, чудное дитя, полное предчувствий! -- воскликнул Крейслер, в то время как на глазах у него выступили слезы.

-- Кроме того, -- сказала г-жа Бенцон, -- моя Юлия увидела в вас прекрасного музыканта и композитора, слушая, как вы фантазировали на гитаре, причем, как она рассказывала, сопровождали игру пением и

разговорами. Она думает, что в то мгновение ею овладел сам гений гармонии, какая-то невидимая сила заставила ее петь и играть, и музыка удалась ей в те минуты лучше, чем когда бы то ни было. Но видите ли, в чем дело, Юлия никак не может примириться с мыслью, что она не увидит еще раз странного человека, который явился ей, как чудный дух музыки; принцесса, напротив, утверждает, со свойственной ей горячностью, что она умрет, если увидит во второй раз этого сумасшедшего, похожего на привидение. Так как Юлия и принцесса живут душа в душу и никогда между ними не было разногласий, я имею полное право предполагать, что здесь повторится сцена, бывшая во время их детства, когда Юлия непременно хотела бросить в камин доставшегося ей полишинеля, несколько странного на вид, а принцесса, напротив, взяла его под свою защиту и объявила, что это ее любимец.

Крейслер разразился громким смехом и воскликнул:

-- Пусть же принцесса кидает в камин своего второго полишинеля, я вверяю себя нежной благосклонности кроткой Юлии!

-- Вы, -- продолжала г-жа Бенцон, -- сочтете, пожалуй, воспоминание о полишинеле за юмористическую выходку, не толкуйте же ее дурно. Впрочем, вы легко можете себе представить, что по рассказу девушек обо всем, что произошло в парке, я сразу узнала вас. Юлии не нужно было высказывать такое желание снова вас увидеть: я и без того через несколько минут разослала всех своих людей в парк, велела обойти весь Зигхартсвейлер, чтобы найти вас, так как вы были мне дороги, несмотря на наше мимолетное знакомство. Но все поиски были напрасны -- вы исчезли; тем больше было мое изумление, когда вы сегодня пришли ко мне. Юлия сейчас находится у принцессы. Какая борьба разнообразнейших ощущений возникла бы там, если бы девушки узнали сейчас о вашем приходе! Когда вы будете чувствовать себя совсем хорошо, я попрошу вас объяснить мне, что вас привело сюда так внезапно, тогда как я полагала, что вы занимаете прекрасное положение капельмейстера при дворе великого герцога.

Пока советница говорила, Крейслер был погружен в глубокую задумчивость. Опустивши свой взор, он прижал палец ко лбу, как человек, желающий вспомнить что-нибудь забытое.

-- Ах, -- начал он, когда советница умолкла, -- это глупая история и вряд ли стоит ее рассказывать. Но верно, однако, что маленькая принцесса была до известной степени права, сочтя меня за сумасшедшего. Когда я имел несчастье испугать в парке эту маленькую недотрогу, я возвращался с визита, сделанного ни кому другому, как его светлости великому герцогу, и здесь, в Зигхартсвейлере, я желал продолжить необычайнейшие и приятнейшие визиты.

-- О, Крейслер, -- воскликнула советница, слегка улыбаясь (громко она никогда не смеялась), -- это опять какая-то странная выдумка: резиденция герцога находится по меньшей мере в тридцати часах езды от Зигхартсвейлера.

-- Точно так, -- возразил Крейслер, -- но ведь гуляют же в саду, стиль которого может приводить в изумление. Если вы, многоуважаемая, не

хотите допустить мысли о моей поездке с целью визита, так, по крайней мере, вы можете себе представить, что чувствительный капельмейстер с веселой песней, с гитарой в руках, прогуливаясь по душистому лесу, по свежезеленеющим лугам, пробираясь через дикие каменистые ущелья, через узкие мостики, под которыми с шумом пенятся лесные ручьи -- словом, такой капельмейстер, начиная, как солист, песню, которую подхватывают хором тысячи голосов, легко может пройти в ту или другую часть сада, совсем неумышленно, совсем без цели. Точно так вот и я попал в придворный княжеский парк, представляющий из себя не что иное, как маленькую-маленькую часть великого, грандиозного парка, раскинутого самой природой. Но, впрочем, нет! Когда вы недавно говорили, как целый потешный отряд охотников был послан изловить меня, как подстреленного, но убегающего зверя, я получил твердое внутреннее убеждение в необходимости моего присутствия здесь, необходимости, которая фатально должна была осуществиться. Вы изволили упомянуть, что вам дорого знакомство со мною; не должен ли был я вспомнить при этом о злополучных днях смятения и общего замешательства, к которым нас привела судьба? Вы видели меня тогда колеблющимся, растерянным, бессильным принять какое-нибудь определенное решение. Вы отнеслись ко мне с дружеским расположением, благодетельно распростерли надо мной безоблачно-ясное небо спокойной женственности, сумели утешить меня, порицая и в то же время прощая мои безумные выходки, приписавши их действию безутешного отчаяния, бывшего следствием суровых обстоятельств. Вы вырвали меня из обстановки, которую сам я считал двусмысленной; ваш дом сделался дружеским, мирным приютом, где я, уважая вашу тихую скорбь, забыл свою. Вы не знали, чем больна моя душа, но ясность вашей души, кроткие ваши речи оказывали на меня действие благодетельного целебного средства. Не суровые угрозы судьбы разрушить мое положение в свете влияли на меня так враждебно. Давно я желал устранить отношения, стеснявшие и мучившие меня. Я не мог негодовать на судьбу, исполнившую то, что сам я не имел мужества сделать. О, нет! Когда я почувствовал себя свободным, меня охватило то несказанное беспокойство, которое с дней моей юности часто создает в душе моей какую-то двойственность. Это не стремление, о котором говорит так прекрасно поэт, проистекающее из самых возвышенных чувств и никогда не покидающее человека, никогда не приводящее к желанной цели. Нет, во мне кипит безумное смутное желание, которое никак не может выразиться вполне определенно; это какая-то странная темная тайна, это какой-то загадочный сон об утерянном райском блаженстве. Нет, это даже не сон, а предчувствие, которое наполняет меня муками Тантала. Оно овладело мной давно, когда я был еще ребенком. Как часто, бывало, среди самых веселых игр со своими сверстниками я убегал в лес или в горы, бросался на землю и безутешно плакал, несмотря на то, что я был самый отчаянный шалун. Позднее я научился лучше владеть собой, но не был в силах выразить всю муку неизъяснимого душевного состояния, когда, бывало, в самой отрадней обстановке, будучи окружен любящими

друзьями, испытывая художественное наслаждение или удовлетворение своего самолюбия, я вдруг чувствовал, что все это жалко, ничтожно, бесцветно, что я как будто нахожусь в безутешной тоскливой пустыне. И есть только один светлый гений, который имеет власть над злым демоном -- это гений музыки. Порою он властно поднимается в душе моей, и перед его могучим голосом смолкают все земные муки.

-- Я всегда думала, -- проговорила советница, -- что музыка действует на вас слишком сильно, то есть пагубно: я видела, как при исполнении какой-нибудь превосходной мелодии все ваше существо, по-видимому, проникалось ей, в то же время черты лица совершенно изменялись. Вы бледнели, вы теряли способность произнести хоть слово. Вздохи теснили вашу грудь, слезы падали из глаз, и, если кто-нибудь решался хоть слово сказать об исполняемом вами музыкальном произведении, вы жестоко насмехались над ним с самой уничтожающей иронией. Даже...

-- О, многоуважаемая советница, -- прервал Крейслер г-жу Бен-цон, мгновенно переменяя серьезный тон на особенный, свойственный ему тон иронии, -- теперь все изменилось. Вы не поверите, как я сделался учтив и благовоспитан при дворе великого герцога. С невозмутимым спокойствием и полным добродушием я могу сохранять такт и в "Дон Жуане", и в "Армиде", я дружески киваю примадонне, когда она выделяет удивительные прыжки в сфере каданса; если же гофмаршал, прослушав "Времена года" Гайдна, шепчет мне на ухо: "C'était bien ennuyant, mon cher maître de chapelle" ["*Это было довольно скучно, дорогой капельмейстер!*" - - *фр.*], я с утвердительной улыбкой покачиваю головой и беру из его табакерки солидную щепотку табаку; наконец, я могу терпеливо слушать, если какой-нибудь тонкий эстетический критик-камергер пространно развивает передо мной мысль, что Моцарт и Бетховен понимали в гармонии чертовски мало, а что Россини, Пучитта, и как там еще они называются, воспарили a la hauteur [*На вершину -- фр.*] оперной музыки. Да, многоуважаемая, вы не поверите, как я выиграл, как много я приобрел светского лоска во время своего капельмейстерства. В особенности же важно то, что я пришел к прекрасному взгляду относительно необходимости для артиста поступить в услужение! Правда же, в самом деле это лучшее, что можно придумать! Иначе сам черт со своей бабушкой не сладит с этими гордыми, надменными господами. Заставьте добропорядочного композитора сделаться капельмейстером или дирижером, стихотворца -- придворным поэтом, живописца -- придворным портретистом, скульптора -- ваятелем бюстов придворных особ, и вы увидите, что во всей стране скоро исчезнут всякие фантазии: напротив, будут процветать преползные бюргеры, благовоспитанные и покладистые!

-- Замолчите же, Крейслер! -- воскликнула советница с недовольством. -- Вы опять начинаете капризничать. Однако я теперь ясно вижу, что тут что-нибудь кроется. Мне крайне хочется узнать, какое злополучное обстоятельство вынудило вас к поспешному бегству из резиденции

герцога. Об нем свидетельствуют все обстоятельства вашего появления в парке.

-- Могу вас уверить, -- спокойно отвечал Крейслер, пристально смотря на советницу, -- что злополучное обстоятельство, прогнавшее меня из резиденции независимо от всяких внешних условий, заключалось во мне самом. То самое беспокойство, о котором я недавно говорил, быть может, гораздо серьезнее, чем это было нужно, овладело мной с небывалой силой: мое дальнейшее пребывание при дворе герцога сделалось для меня невозможностью. Вы знаете, как я был рад получить должность капельмейстера. Глупец, я думал, что, живя в мире искусства, имея определенное положение, я заставлю умолкнуть демона в груди своей. Но из немногих указаний относительно моих изучений во время пребывания при герцогском дворе вы увидите, что я жестоко обманулся. Позвольте мне представить вам картину, как мало-помалу я принужден был ясно увидеть все ничтожество своего существования, принужден -- пошлым заигрыванием с святым искусством, нелепыми выходками безвкусных дилетантов, бездушных, пустых пачкунов, глупых кукол. Я отправился однажды к великому герцогу, чтобы узнать, в чем будет заключаться мое содействие празднеству, которое было назначено на один из ближайших дней. Персона, заведующая всякими зрелищами, естественно, была тут же и набросилась на меня с целой кучей бессмысленных и нелепых советов и предписаний. В особенности этот господин настаивал, чтобы я аранжировал музыку пролога, который был сочинен им самим и который должен был явиться кульминационным пунктом во всем торжестве. "Так как на этот раз, -- обратился он к князю, бросая на меня косвенный уничтожающий взгляд, -- речь идет не об ученой немецкой музыке, а об изящном итальянском пении, я сам сочинил несколько нежных мелодий, которые нужно только исполнить надлежащим образом". Великий герцог не только соизволил утвердить все это, но и воспользовался случаем дать мне понять, что он вообще питает надежды на мои старания усовершенствовать мою дальнейшую музыкальную эрудицию посредством ревностного изучения новейших итальянских композиторов. Каким жалким я показался самому себе! Как глубоко я презирал себя! Все эти унижения представились мне справедливым возмездием за мое ребяческое сумасбродное долготерпение! Я оставил замок, чтобы никогда не возвращаться туда. Я хотел в тот же вечер потребовать отставку, но даже это решение не могло доставить мне успокоения, потому что я уже увидел себя подвергнутым какому-то тайному остракизму. Взяв гитару, которая была захвачена совсем для другой надобности, я отослал свою карету и бежал. Солнце склонялось к западу, все шире, темнее становились тени от гор и от леса. Несносной, нестерпимой сделалась для меня мысль о возвращении в резиденцию. "Да и какая сила могла бы принудить меня к возвращению?" -- воскликнул я громко. Я знал, что я нахожусь на дороге, ведущей к Зигхартсвейлеру, вспомнил о моем старом мастере Абрагаме, от которого за день до этого получил письмо, в котором, предчувствуя, каково мое положение в резиденции, он звал меня к себе...

-- Как, -- прервала капельмейстера советница, -- вы знаете этого старого чудака?

-- Мейстер Абрагам, -- продолжал Крейслер, -- был закадычным другом моего отца, был моим учителем, отчасти даже воспитателем! Теперь, уважаемая, вы знаете в подробности обстоятельства, которые привели меня в парк князя Иренея. Вы, конечно, не сомневаетесь более, что я, когда нужно, могу с полной исторической подробностью и не без занимательности рассказывать о том, чего сам страшусь. Вообще вся история моего бегства представляется мне, как сказано, такой нелепой и в то же время такой удивительно-разумной, что о ней трудно даже и говорить. После всего вышеизложенного, не будете ли вы добры, дорогая моя, преподнести испуганной принцессе мой рассказ в виде, так сказать, успокоительного лекарства? Пусть она придет в состояние равновесия и подумает, что держать себя особенно изысканно никак не мог человек, подобный мне, -- честный немецкий музыкант, только что надевший шелковые чулки, только что важно кривлявшийся в чудной карете и немедленно обращенный в бегство всякими Россини и Пучитта, и Павези, и Фьоравенти, и бог знает еще какими *ini* и *itta*. Надеюсь, что на прощение можно надеяться! В качестве поэтического созвучия с таким скучным приключением я должен отметить перед вами, о, многоуважаемая советница, еще одно обстоятельство: когда я, гонимый своим демоном, хотел бежать прочь, самое сладкое очарование удержало меня. Только что демон со злорадством хотел осквернить в моем сердце заветную тайну, как вдруг мощный гений гармонии распростер надо мной свои крылья и под их мелодический шелест в груди у меня проснулись надежда, отрада и чувство тревожной и сладкой тоски -- символ бессмертной любви и вечной юности. Это Юлия пела!

Крейслер умолк. Г-жа Бенцон с напряженным вниманием слушала, что последует дальше. Но, так как, по-видимому, капельмейстер совершенно погрузился в глубокую задумчивость, она спросила дружески-холодно:

-- Вы, на самом деле, находите приятным пение моей дочери, любезный Иоганн?

Крейслер вздрогнул.

-- Да, я хотел сказать именно это, -- проговорил он и притом глубоко вздохнул.

-- Ну, в таком случае, я очень рада, -- продолжала советница. -- Юлия может многому поучиться у вас, милый Крейслер, я считаю делом решенным, что вы остаетесь здесь.

-- Уважаемая... -- начал Крейслер, но в то же мгновение дверь отворилась и в комнату вошла Юлия.

Когда она увидела Крейслера, на ее милом лице показалась прелестная улыбка, и легкое восклицание невольно сорвалось с ее губ.

Г-жа Бенцон встала, взяла капельмейстера за руку и, подведя его к Юлии, сказала:

-- Вот, дитя мое, это -- тот необычайный...

(М. прод.) ...юный Понто устремился к новейшему моему манускрипту, лежавшему рядом со мной, схватил его в зубы, прежде чем я успел опомниться, и стремглав умчался прочь. Он испустил при этом злорадный хохот, заставивший меня заподозрить, что не одна только юношеская резвость толкнула его на злодеяние, но и еще что-то другое. Вскоре все сомнения должны были рассеяться.

Через два дня в комнату моего мастера вошел тот человек, у которого Понто находится в услужении. Как я узнал потом, это был господин Лотарио, профессор эстетики в местном лицее. После обычных приветствий профессор окинул взором всю комнату и, увидев меня, сказал:

-- Добрейший мастер, не удалите ли вы отсюда на минутку этого молодца?

-- Почему? -- спросил мастер. -- Не нападайте на кошек, профессор, в особенности же на моего любимца, нарядного, умного кота Мурра!

-- Да, -- проговорил профессор, насмешливо улыбаясь, -- нарядный, умный это верно. Но сделайте мне удовольствие, мастер, удалите пока вашего любимца, мне нужно сообщить вам некоторую вещь, которой он не должен слышать.

-- Кто? -- воскликнул мастер Абрагам, с изумлением уставившись на профессора.

-- Да, конечно, ваш кот. Прошу вас, не спрашивайте меня больше и сделайте так, как я вас прошу.

-- Странно, странно, -- проговорил мастер, тем не менее открыл двери кабинета и позвал меня. Я последовал зову, но тотчас же незаметно для мастера шмыгнул опять в его комнату и спрятался в нижнем отделении книжного шкафа: никем невидимый, я сам мог слышать и видеть решительно все.

Мастер Абрагам уселся в кресло против профессора и заговорил:

-- Скажите же мне теперь ради всего святого, что это за тайна, которую вы хотите сообщить мне и которую не должен знать мой честный кот Мурр?

-- Прежде скажите вы мне, мастер, -- начал профессор самым серьезным голосом, -- что вы думаете о принципе, согласно с которым, не имея в виду ни особых прирожденных способностей, ни таланта, ни гения, и рассчитывая только на физическое здоровье и особую систему воспитания, можно из каждого ребенка в течение самого короткого времени, следовательно еще в года его детства, создать превосходного представителя науки и искусства?

Мастер Абрагам ответил:

-- Что другое могу я думать о таком принципе, как не то, что он нелеп и совершенно бессмыслен. Вполне естественно, конечно, что ребенку, обладающему хорошей памятью и некоторой сообразительностью, какая нередко встречается и у обезьян, можно систематически вбить в голову массу вещей для того, чтобы потом показывать его перед зрителями; только у этого ребенка должен совершенно отсутствовать всякий природный гений, иначе его здравый смысл, его врожденные способности

возмутятся против такой зловерной процедуры. Но кто же скажет, что такой односторонний юнец, напичканный всякими крохами знаний, является ученым в истинном смысле слова?

-- Весь свет, -- воскликнул горячо профессор, -- решительно весь свет! Это-то и ужасно! Всякая вера в прирожденную высшую духовную силу, которая одна, только одна, создает истинного научного деятеля, истинного художника, летит к черту, благодаря такому злосчастному, нелепому принципу!

-- Не горячитесь, -- с улыбкой проговорил мейстер. -- Сколько мне известно, до сих пор в нашей доброй Германии фигурировал только единственный продукт этой воспитательной методы. Некоторое время о нем говорили, потом перестали говорить, увидев, что названный продукт не особенно доброкачественного свойства. К тому же, процветание упомянутого препарата совпало с периодом моды на всяческие раритеты, на всяческих "гениальных" артистов, которые показывали свои фокусы за весьма недорогую плату, -- подобно тому, как в цирках показывают фокусы дрессированных собак и обезьян.

-- Так говорите вы, мейстер Абрагам, -- начал опять свою речь профессор, -- и вам, конечно, поверили бы, если бы не знали, что в вас постоянно скрывается некий проказник, что вся ваша жизнь была целым рядом необычайных экспериментов. Сознаться же, мейстер Абрагам, что в тиши своего кабинета самым потаенным образом вы готовите эксперимент, который вполне согласуется с упомянутым принципом, но оставит далеко за собой его изобретателя. Вы хотите выступить с вашим воспитанником и привести в изумление и отчаяние профессоров целого света, вы хотите покрыть жесточайшей насмешкой превосходное правило: *pop ex quovis ligno fit Mercurius!* [*Не из всякого дерева можно вырезать Меркурия!* -- лат.] Словом, этот *quovis* здесь, но он не *Mercurius*, а обыкновенный кот!

-- Как вы говорите, -- воскликнул с громким смехом мейстер, -- что вы говорите? Кот?

-- Не отрицайте же, -- продолжал профессор, -- что вы применили вышеупомянутую абстрактную педагогическую методику к вашему коту Мурру, что вы научили его читать, писать, преподали ему науки, так что он уже теперь начал заниматься литературой и сочинять стихи.

-- Ну, -- проговорил мейстер, -- признаюсь, никогда со мной не случилось подобной удивительной истории! Я -- воспитываю своего кота, я -- преподаю ему науки! Скажите мне, профессор, какие сны посетили ваш ум? Уверяю вас, что я решительно ничего не знаю об эрудиции моего кота и считаю ее даже совсем невозможной.

-- Правда? -- протяжно спросил профессор, вытащил из кармана тетрадь, в которой я сразу признал похищенную Понто рукопись, и прочел вслух:

Стремление к высшему

Я полон весь желанием кипучим,
Таю в груди тревогу и тоску!

Мой дух, пришпорен гением могучим,
Уж не готов ли к смелому прыжку?
О, что со мной?
Зачем душа в бореньи?
Зачем полна любовью жизнь моя?
И в неустанном, сладостном стремленьи
Зачем томлюсь, зачем сгораю я?
Я увлечен в страну очарованья,
Я полон грез, которым нет названья,
Меня весна лазурная манит.
Приветствую от уз освобожденье,
От мук среди цветов отдохновенье!
О, пусть мой дух на небо воспарит!

Надеюсь, что каждый из добрейших моих читателей увидит мастерство этого превосходного сонета, вылившегося из глубины души моей, и тем больше будет удивляться, если я скажу, что он принадлежит к числу первых плодов моего пера. Но профессор в злобе своей читал его без всякого чувства, так отвратительно, что я еле-еле сам узнал себя в этих строках. Мной овладел порыв моментального гнева, что часто бывает с молодыми поэтами, и под влиянием такого чувства я хотел уже выскочить из своего убежища и вцепиться в физиономию профессора, дабы он познал остроту моих когтей. Однако благоразумная мысль, что мне непременно придется дать тягу, если оба -- и мейстер, и профессор -- на меня набросятся, заставила меня победить свой гнев; тем не менее я невольно испустил ворчливое "мяу", которое обязательно было бы услышано, если бы мейстер тотчас после того, как был прочитан сонет, не разразился оглушительным хохотом, оскорбившим меня, пожалуй, еще больше, чем грубость профессора.

-- Ого! -- воскликнул мейстер. -- Действительно, сонет вполне достоин какого-нибудь кота! Но я все еще не понимаю вашей шутки, профессор. Скажите же мне прямо, к чему она?

Профессор, оставляя без ответа вопрос мейстера, перевернул несколько листков в рукописи и прочел дальше:

Истолкование

Любовь нескромная на всех дорогах грезит,
О дружбе в тишине отрадно помечтать,
Как гость непрощеный, любовь к вам нагло лезет,
А дружбу -- надо отыскать.
Звуки сладкие рыдают,
Их стремленья -- не унять;
Скорбь иль радость возвещают, --
Сам не знаю, как понять!
Неудержные, несутся

Где-то в дальней стороне!
И откуда раздаются?
Наяву или во сне?
Этим чувствам как излиться?
Как с далеким пеньем слиться,
Чтобы дух мой не страдал?
И куда уединиться --
На чердак или в подвал?
Эти муки неземные,
Эту скорбь любовь дала!
Но настанут дни иные,
И, стряхнувши бремя зла,
Слезы чистые роняя,
Я расстануся с тоской,
И душа моя больная
Обретет себе покой!
Лучше петь протяжно, складно,
Милый кот мой, чем рыдать!
Прочь от мира! Всех вас жадно
Хочет пасть его пожрать!
А под печкой так отратно
С милым пуделем мечтать!
Сам я знаю...

-- Нет, друг мой, -- прервал тут мейстер декламирующего профессора, -- вы, право же, приводите меня в нетерпение: вы сами или другой какой-нибудь шутник вздумали посмеяться и написали стихи в духе сочинительствующего кота, конечно, моего кота, доброго Мурра, и теперь все время потешаетесь надо мной. Шутка, впрочем, недурна и, вероятно, очень понравится Крейслеру, который не преминет поострить относительно ее, причем в конце концов вы же окажетесь в проигрыше. Но теперь отложите пока в сторону вашу остроумную выдумку и скажите мне коротко и ясно, к чему вы все это затеяли?

Профессор закрыл рукопись, пристально посмотрел мейстеру в глаза и потом начал:

-- Эти листы несколько дней тому назад мне принес пудель Понто, который, как вы знаете, находится с котом Мурром в самых дружеских отношениях. Правда, он принес рукопись в зубах, как вообще он привык держать поноску. Однако он положил ее совершенно целой мне на колени и при этом явственно дал понять, что она принесена ни от кого другого, как от его друга, кота Мурра. Когда я заглянул в нее, мне тотчас же бросился в глаза совершенно особенный, своеобразный почерк. Когда же я прочел отрывки из рукописи, непостижимым образом мне пришла в голову странная мысль, что все это написал кот Мурр. Как ни доказывал мне разум, а также известный жизненный опыт, которого никто из нас не может избежать и который в конце концов есть тоже разум, что мысль эта нелепа,

что кот не в состоянии ни писать, ни сочинять стихи, все-таки я был бессилён отделаться от своего предположения. Я решил наблюдать за вашим котом. Узнавши от Понто, что Мурр часто бывает у вас на чердаке, я вынул несколько кирпичей со своей кровли, так что мне открылся свободный вид сквозь слуховое окно вашего дома, влез на свой чердак и стал наблюдать. Что же я заметил? Слушайте и удивляйтесь! В самом уединенном углу чердака сидит ваш кот, выпрямившись перед маленьким столиком, на котором расположены все письменные принадлежности; сидит, потирает себе лапкой лоб и затылок, проводит ей по липу, обмакивает перо в чернильницу, пишет, останавливается, опять пишет, перечитывает написанное, ворчит -- я это слышу -- ворчит и мурлычет от живейшего удовольствия. А вокруг него лежат различные книги, взятые, судя по переплету, из вашей библиотеки.

-- Это было бы чертовщиной! -- воскликнул мейстер. -- Пойду-ка, правда, посмотрю, все ли книги целы.

С этими словами он встал и подошел к книжному шкафу. Увидев меня, он отскочил на три шага назад и стал смотреть с удивлением. Профессор воскликнул:

-- Вот видите, мейстер! Вы думаете, что ваш приятель спокойно сидит в камере, куда вы его заперли, а он взял да спрятался в книжный шкаф, чтобы заняться там изучением, или же, вероятнее, чтобы подслушивать наш разговор. Теперь он слышал все, что мы говорили, и примет, конечно, соответственные меры.

-- Кот, -- начал мейстер, продолжая смотреть на меня взглядом, полным изумления, -- кот! Если бы я знал, что ты, совершенно изменяя честной естественной природе, будешь сочинять такие странные стихи, если бы я мог думать, что ты действительно погонишься за науками вместо того, чтобы гоняться за мышами, я бы тебе все уши оборвал, я бы тебе...

Мной овладел смертельный страх. Приложив уши к голове, я притворился, будто крепко сплю.

-- Да нет же, нет, -- продолжал мейстер, -- посмотрите только, профессор, как беззаботно спит мой честный кот! Есть ли во всем его добродушном лице хоть что-нибудь намекающее на подобные шельмовские проделки? Мурр! Мурр!

На возглас мейстера я не преминул ответить моим обычным "Мрррррр", раскрыл глаза, приподнялся и сделал приятное грациозное движение, вознеся спину высоко вверх.

Профессор, исполненный гнева, швырнул мне тетрадь в голову, я представился (природная хитрость подсказала мне это), что он хочет со мной поиграть, и, прыгая, танцуя, разорвал рукопись на мелкие клочки.

-- Ну, -- проговорил мейстер, -- решено, вы были неправы, профессор, и Понто вам что-то наврал. Посмотрите, как Мурр разделяет стихи, -- какой же поэт обращается так с своей рукописью?

-- Я вас предостерег, поступайте, как хотите, -- возразил профессор и вышел из комнаты.

Я думал, что гроза миновала, как жестоко я ошибался! К крайнему моему огорчению, мейстер высказался против моих научных занятий, и, хотя он показал вид, что не поверил ни одному слову профессора, тем не менее я заметил, что он начал следить за каждым моим шагом. Он отрезал мне доступ в свою библиотеку, начав аккуратно запирасть книжный шкаф, и не стал больше позволять мне лежать на письменном столе среди бумаг.

Так-то печаль и забота посетили мою чуть забрезжившую юность! Что может быть прискорбнее для гения -- видеть себя непонятым, осмеянным? Что может озлобить больше всего великий дух, как не препятствия, встреченные там, где он мог ожидать всяческого содействия?

Но чем сильнее давление, тем могущественнее сопротивление: чем туже натянут лук, тем дальше летит стрела! Чтение было мне возбранено, тем свободнее начал работать мой собственный дух, создавая идеи в самом себе.

Исполненный недовольства в этот период моей жизни, я провел много ночей в подвалах дома, где было расставлено много мышеловок и где сверх того собиралось много котов разного возраста и состояния.

От смелого философского ума не ускользают самые тайные отношения жизни к жизни, и он познает, каким образом из них складывается жизнь в помышлении и в факте. Точно так в подвалах предо мной предстали отношения мышеловок к котам в их обоюдном взаимодействии. Тепло у меня стало на сердце, как у истого благородного кота, когда я осознал, что эти мертвые машины, в их пунктуальной деятельности, поселяют среди котовской молодежи великую лень. Схватив перо, я тотчас написал бессмертное произведение, уже упоминавшееся раньше: "О мышеловках и их влиянии на образ мыслей и энергию в сфере кошачьего общества". В этом этюде я, как в зеркале, представил котовской молодежи всю ее изнеженность: отрекаясь от собственных сил, коты ленивые, бесстрастные, хотя и молодые, спокойно терпят, что мыши презрительно лакомятся шпиком. Своею громовою речью я пробудил всех ленивцев от сна. Наряду с той общественной пользой, которую принесла эта компактная книжечка, сочинение ее имело для меня еще ту выгоду, что я сам не мог ловить мышей, пока писал ее; да и потом, после того как я говорил так властно, так красноречиво, никому не могло прийти в голову потребовать от меня, чтоб я первый своим поведением представил пример провозглашенного мной героизма.

Сим кончаю я первый период моей жизни и перехожу к месяцам юности, в собственном смысле слова, к месяцам, которые граничат со зрелым возрастом. Не могу, однако, не сообщить благосклонному читателю две последние строфы превосходного стихотворения, выслушать которые не захотел мейстер. Вот они:

Сам я знаю: невозможно
Не питать любовных грез
В час, когда звучат тревожно
Соловьи средь спящих роз.

Взор безумный жадно ищет,
Где прекрасная моя,
Спит, мечтает или рыщет
Так же страстно, как и я!
Вон я вижу! Где дорожка
Убегает в дальний луг,
Восхитительная кошка
Внемлет воплям страстных мук!
Внемлет зов мой и томится.
Вдруг прыжок, красotka мчится
И спешит ко мне прильнуть!
Так любовь всегда стремится
Пасть скорее к нам на грудь!
О изменчивые грезы
Упоительной тоски!
Но надолго ль эти слезы,
Песни, вопли и прыжки?
Полный сладкого недуга
Прочь бежишь любовных мук!
Жаждешь дружбы, ищешь друга!
Где ты, пудель? Где ты, друг?
Блещут Геспера уборы,
Я устал мечту ласкать,
Я кругом бросаю взоры,
Мчусь и лезу чрез заборы
Дружбу, дружбу отыскать!

(Мак. л.) ...в течение этого вечера в таком веселом жизнерадостном настроении, в каком его не видели уже давно. Именно это самое настроение и послужило причиной некоторой неслыханной вещи. Вместо того чтобы вскочить с места и поспешно удалиться, как он раньше всегда делал в подобных случаях, он спокойно и даже с добродушной улыбкой, прослушал крайне длинный -- и еще более скучный -- вступительный акт ужасной трагедии, которую сочинил молодой лейтенант, исполненный веры в свое призвание, краснощекий и курчавый, и отрывок из которой он прочел со всеми претензиями счастливейшего поэта. Правда, когда автор, окончив чтение, стремительно спросил его, как ему нравится произведение, он, внутренне потешаясь и улыбаясь с приятностью, удостоверил юного героя, отличившегося на поле битвы и поэзии, что прочитанный акт, -- настоящее лакомое блюдо, преподнесенное изысканным эстетикам-гастрономам, -- содержит в себе на самом деле прекраснейшие идеи, за глубину и оригинальность которых ручается уже одно обстоятельство, что эти же идеи высказаны великими признанными поэтами, каковы, например Кальдерон, Шекспир и современный Шиллер. Лейтенант обнял его горячо, и с таинственной миной сообщил, что этим превосходнейшим первым актом он думает сегодня же вечером

осчастливить целое общество изысканнейших фрейлин, среди которых есть даже одна графиня, читающая по-испански и рисующая масляными красками. Услыхав утверждение, что он задумал чрезвычайно похвальную вещь, лейтенант, полный энтузиазма, устремился прочь. Когда он удалился, тайный советник, мужчина маленького роста, проговорил с досадой:

-- Я тебя совершенно не понимаю сегодня, любезный Иоганн! Как можно быть таким снисходительным, как можно слушать спокойно и внимательно такую безнадежную, бездарную вещь! Тоска овладела мной, когда лейтенант совершенно врасплох напал на нас и запутал в густые тенета своих бесконечных стихов. Я ждал каждую минуту, что ты прервешь его, как ты имеешь обыкновение делать при малейшем предложении. Но ты продолжал спокойно сидеть; смотрю -- твой взгляд начинает даже выказывать благосклонность, и в конце концов, когда я совершенно изнемог, ты отделяешься от этого несчастного сарказмом, которого он и понять не в состоянии, и даже не скажешь ему в предостережение на будущее время, что прочитанная вещь слишком длинна и, несомненно, нуждается в некоторой ампутации.

-- Что я могу поделать с этим жалким советом! -- возразил Крейслер. -- Разве такой выдающийся поэт, как наш любезный лейтенант, может с пользой предпринять ампутацию над своими стихами? Разве опять тотчас же не вырастут стихи под его руками? И разве ты не знаешь, что вообще стихи наших молодых поэтов обладают воспроизводительной силой ящериц: если они оборвут свой хвост о какой-нибудь корень, тотчас же хвост вырастает снова! Но я вовсе не спокойно слушал декламацию лейтенанта, в этом ты жестоко ошибаешься! Гроза миновала, все травы, цветы подняли снова головки свои и жадно впивали божественный нектар, который отдельными крупными каплями упал из умчавшихся вдаль облаков. Я стоял под цветущею сенью ветвей развесистой яблони и слушал, как мерно катился в далеких горах умолкающий гром, и вещей, загадочный отклик в душе у себя находил: я смотрел на лазурное небо, которое так же глядело, как синие очи, в просветы разорванных туч! "Однако, -- воскликнул тут дядя, -- ты должен тотчас же идти в комнаты, а то, пожалуй, испортишь свой новый шлафрок среди отвратительных луж, да как раз еще насморк схватишь от всей этой сырости". И вовсе не дядя это говорил, а какой-нибудь плут-попугай или насмешник-скворец, спрятавшийся за кустом или в кусте, или бог его знает где и, сказавший свою бесполезную шутку затем, чтоб меня подразнить, чтоб напомнить на свой лад драгоценные мысли Шекспира. И потом опять предо мной стоял лейтенант со своей трагедией! Тайный советник, заметь, прошу тебя, что я был далеко увлечен от лейтенанта воспоминанием из дней моего детства. Я действительно, стоял в дядином садике, мне было тогда лет двенадцать, на мне был надет шлафрок из прекрасного ситца, из самого прекрасного, какой когда-либо был выдуман набойщиком, и напрасно ты, о, тайный советник, расточал свой курительный порошок, я его не ощущал, не вдыхал и запаха головной помады, уснащавшей голову поэта, -- я вдыхал аромат

прекрасной цветущей яблони. Словом, любезный, ты был единственным агнцем заклания, попавшим под злодейский трагический нож героя-поэта. Потому что, пока я, забыв весь мир, превращался в двенадцатилетнего мальчика и бегал в саду, омытом дождем, мейстер Абрагам, как ты видишь, успел изрезать четыре листа прекраснейшей нотной бумаги, приготовив из них всякие забавные фантазмагии. Стало быть, и он ускользнул от лейтенанта!

Крейслер был прав: мейстер Абрагам умел вырезать фигурки из картонной бумаги так искусно, что стоило только сзади бумаги поставить свечу -- и тотчас же на стене ложились тени, образуя самые причудливые группы. Мейстер Абрагам по натуре своей терпеть не мог никакой декламации, но в особенности он питал глубокое отвращение к стихоплетству лейтенанта. Понятно, что как только тот начал читать свою трагедию, мейстер жадно схватил твердую нотную бумагу, случайно лежавшую на столе в комнате тайного советника, вынул из кармана маленькие ножницы и принялся за занятие, ускользнувшее от внимания лейтенанта.

-- Послушай, Крейслер, -- начал тайный советник, -- значит, воспоминание о днях детства сделало тебя сегодня таким кротким и приветливым? Послушай, любезный друг, как все, кто уважает и любит тебя, я сгораю нетерпением узнать хоть что-нибудь о твоей прежней жизни! Между тем, ты набрасываешь какой-то покров на этот период своей жизни; каждый вопрос, брошенный вскользь, ты отклоняешь с крайним недружелюбием, и, чуть-чуть намекнув на то или другое обстоятельство твоего прошлого, только разжигаешь любопытство. Будь же откровенен с людьми, которым ты все-таки подарил свое доверие!

Крейслер остановил на тайном советнике взор, как будто исполненный удивления. Он походил на человека, очнувшегося от глубокого сна и видящего перед собой совершенно незнакомое лицо. Помолчав несколько мгновений, он начал крайне серьезным тоном:

-- В праздник Иоганна Хрисостома (Златоуста), то есть двадцать четвертого января тысяча семьсот такого-то года, около полудня, родился некто, имеющий лицо, руки и ноги. Папаша его кушал в то время гороховый суп и от радости пролил себе на бороду полную ложку. Роженица, хотя и не видела этого, хохотала до такой степени, что у присутствовавшего музыканта, игравшего на лютне в честь новорожденного, задрожали руки, и все струны на лютне полопались. Музыкант поклялся ночным атласным чепчиком своей бабушки, что маленький трусишка Ганс будет жалким пачкуном, если займется музыкой. Отец вытер свой подбородок и патетически сказал:

-- Он, правда, будет называться Иоганном, но он не будет трусишкой! Что касается лютни...

-- Прошу тебя, Крейслер, -- прервал капельмейстера тайный советник, -- не впадай, ради бога, в проклятый юмор, от которого я, откровенно говоря, готов умереть. Я прошу, чтобы ты представил мне прагматическую автобиографию, я прошу дать мне возможность бросить хоть беглый

взгляд в твою прошлую жизнь. Ты не должен дурно истолковывать мое любопытство: оно проистекает из чистого источника -- глубокой сердечной привязанности к тебе. И что же ты делаешь? Ты рассказываешь странные вещи, и, слушая их, невольно приходит на ум, что ты своим духовным развитием обязан исключительно целому ряду разнородных сказочных приключений.

-- Грубейшая ошибка, -- сказал Крейслер, глубоко вздохнув, -- юность моя походит на опустевшую равнину, где нет ни зеленой листвы, ни цветов, где гаснет всякое чувство от безутешного однообразия.

-- Ну, нет -- воскликнул тайный советник: -- По крайней мере я знаю, что в этой пустыне есть маленький садик с цветущей яблоней, аромат которой нежнее, чем мой курительный порошок. Любезный Иоганн, я надеюсь, что ты расскажешь теперь подробно о юношеских воспоминаниях, заполонивших сегодня твое сердце.

-- Я тоже думаю, -- проговорил мейстер Абрагам, который только что вырезал превосходного капуцина и совершил над ним пострижение. -- Самое лучшее, что вы можете сделать сегодня, Крейслер, пользуясь своим хорошим настроением, -- это раскрыть свое сердце, или, если хотите, душу, или, если вам это не нравится, вашу внутреннюю сокровищницу, -- раскрыть и достать оттуда несколько драгоценных вещей. Другими словами, так как вы уже рассказали, что вы выбежали на дождь против воли озабоченного вашим поведением дяди и суеверно искали каких-то вещей предсказаний в раскатах далекого грома, -- вы можете рассказать и еще о том, что с вами тогда случилось. Но только не лгите, Иоганн, ведь вы знаете, что в те времена, когда на вас были надеты первые панталоны и на вашей голове была впервые заплетена коса, вы находились под моим непосредственным контролем.

Крейслер хотел что-то возразить, но мейстер Абрагам быстро повернулся в сторону маленькой фигурки тайного советника.

-- Вы и не представляете себе, достойнейший, как наш Иоанн предается всецело злему духу лжи, когда он рассказывает о ранних днях своей юности. Ему хочется верить, что даже в то время, когда ребенок только лепечет "па-па" и "ма-ма" и хватается при этом за свечку, он все уже знал и глубоким взором заглянул в человеческое сердце.

-- Вы меня обижаете, мейстер, -- мягко проговорил Крейслер, ласково улыбаясь. -- Зачем хотите вы навязать мне мысли, свойственные только хвастунам и фатам? Спрошу и тебя, любезный советник, не случается ли с тобой иногда, что перед твоим умственным взором ярко выступают отдельные моменты, относящиеся к тому периоду жизни, который глубокомысленные люди называют периодом чисто растительной жизни, периодом инстинкта, лучше всего функционирующим у животных. Меня постоянно удивляло одно обстоятельство: никогда нельзя точно определить первый момент ясного пробуждения сознания. Если бы было возможно пробудить сознание каким-нибудь толчком, я думаю, что мы могли бы в такой момент умереть от ужаса. Кто не испытывал страха первых моментов пробуждения после глубокого сна, когда, ощущая свою

личность, человек должен подумать о самом себе? Но не буду отвлекаться в сторону; я хотел только сказать одно: каждое сильное впечатление, полученное в первый период развития, оставляет в душе зерно, которое растет вместе с ростом умственной силы. Таким образом каждая скорбь, каждая утеха отлетевших утренних сумерек продолжают в нас жить, и сладкие голоса, пробудившие нас от сна, оказываются голосами наших близких, хотя нам казалось, что только в сонных грезах звучал какой-то далекий призыв! Но я понимаю мастера, он намекает на историю об умершей тетке, он желает оспаривать подлинность фактов, которые я рассказываю, чтобы немного позлить мастера я передам тебе, тайный советник, эту историю, если только ты обещаешь не отнестись дурно к моей ребяческой чувствительности. Гороховый суп и лютя, о которых...

-- Замолчи! -- воскликнул тайный советник. -- Я вижу теперь хорошо, что ты потешаешься надо мной просто до неприличия.

-- Отнюдь нет, душа моя, -- продолжал Крейслер. -- Но я хочу начать с люти, потому что она образует вполне естественный переход к божественным звукам, баюкавшим первые сладкие детские сны. Младшая сестра моей матери играла, как виртуоз, на этом -- забытом теперь -- музыкальном инструменте. Степенные люди, которые умеют считать и писать и знают еще многое другое, нередко проливали в моем присутствии слезы, когда они только вспоминали об игре покойной мадемуазель Софи; не нужно, значит, думать дурно обо мне, если я, -- неразумный ребенок, не имеющий ясного сознания, лишенный еще дара речи, -- жадно впивал всю сладкую скорбь волшебной гармонии, которая страстно лилась с мелодических струн люти. Музыкант, игравший на люти около моей колыбели, был учителем покойницы. Он был маленького роста, кривоногий, носил красный плащ, опрятный, белый парик с широкими прядями волос, и назывался monsieur Туртэль. Я говорю все это только затем, чтобы доказать, как отчетливо встают в моей памяти все фигуры того времени, и что мастер Абрагам, равно как и всякий другой, не должен сомневаться в моих словах, если я скажу, что ребенком менее чем трех лет я запомнил, как я лежал на руках у милой, прекрасной девушки, как ее глаза глядели прямо в мою душу, как она говорила, пела голосом, памятным мне до сих пор, как я к ней обращал всю любовь своего сердца. Это была тетка Софи, которую называли все странным уменьшительным именем Фюсхен. В один прекрасный день я очень капризничал, потому что не видал тетушки Фюсхен. Нянька принесла меня в комнату, где тетушка лежала в постели, но старый человек, сидевший около нее, быстро вскочил и увел няньку, браня ее с ожесточением. Вскоре после этого меня одели, закутали в толстые платки, принесли в совершенно другой дом, к другим людям, которые все уверяли меня, что они мои дяди и тетки и что тетушка Фюсхен очень больна, и что, если я остался бы около нее, я точно также захворал бы. По истечении нескольких недель меня принесли назад в мое прежнее местопребывание. Я плакал, кричал и хотел непременно видеть тетушку Фюсхен. Как только вошел я в комнату, где лежала она, я подбежал своими ножонками к постели, отдернул занавеси, -- постель была пуста, и одна из

моих новых теток сказала, заливаясь слезами: "Ты ее не найдешь, Иоганн, она умерла и лежит под землей".

Я знаю отлично, что смысл этих слов не мог быть тогда мне понятен, но еще и теперь, вспоминая о той минуте, я дрожу от странного, невыразимого чувства, охватившего меня в то время. Смерть, сама смерть, налегла на меня в своем холодном панцире, ужас ее проник в мою грудь, и пред ним потускнели все радости моих первых детских лет. Что я делал потом и как себя вел, я сам не знаю, да, может быть, и никогда не знал, но другие мне часто рассказывали, что, услышав фразу о смерти, я медленно задернул занавеси, несколько мгновений стоял безмолвный и серьезный, потом в глубокой задумчивости сел на свой маленький соломенный стульчик, точно размышляя о сказанном. Мне говорили еще, что эта тихая скорбь ребенка, отличавшегося склонностью к шумному проявлению своих ощущений, имела в себе неизъяснимую трогательность, и что родные даже боялись вредных последствий для моего физического здоровья, потому что в таком настроении я пробыл несколько недель, без слез, без смеха, чуждаясь всяких игр, не отвечая на ласки, ничего не замечая вокруг себя.

В это самое мгновение мейстер Абрагам поставил перед свечами листок бумаги, прихотливо изрезанной вдоль, и поперек, и на стене отразился целый хор монахинь, играющих на странных инструментах.

-- Эге! -- воскликнул Крейслер, увидевши всю эту группу прилично одетых сестер. -- Я знаю, мейстер, на что вы хотите намекнуть. И все же я буду смело утверждать, что вы были неправы, когда бранили меня, когда называли упрямым, неразумным мальчишкой, который своими печалью может создать целый монастырь унылых звуков. Я помню, как вы в первый раз взяли меня с собой за двадцать-тридцать миль от родного города и повели в монастырь Святой Клары послушать настоящую католическую церковную музыку; я тогда имел, конечно, вкус ко всякой блестящей безвкусице, -- таковы были мои года. Не было ли потому вдвойне прекрасно, что давно забытая скорбь трехлетнего мальчика проснулась с новою силой в душе у меня и родила мечту, полную страстного очарования, полную томительной грусти! Разве я не утверждал, несмотря на все разуверения, что никто другой, а только тетушка Фюсхен, давно умершая, могла играть на чудном инструменте, называвшемся *trompette marine* [Буквально "морская труба" -- фр. -- старинная скрипка с одной струной.]. Зачем помешали вы мне протесниться среди монахинь и найти тетушку Фюсхен, одетую в зеленое платье с розовым шлейфом?

Крейслер устремил на стену пристальный взор и сказал дрожащим, полным чувства, голосом:

-- Верно! Вон поднимается среди монахинь тетушка Фюсхен, она встает на скамейку, чтобы лучше держать трудный инструмент!

Тайный советник вскочил с своего места и остановился перед Крейслером, так что загородил вид теней, и, взяв его за плечи, сказал:

-- Было бы гораздо умнее, Иоганн, если бы ты не предавался своим странным фантазиям и не говорил об инструментах, которых совсем даже

не существуют на свете, потому что на самом деле никогда в жизни я ничего не слышал о какой-то *trompette marine*!

Мейстер Абрагам швырнул бумагу под стол, заставив исчезнуть во тьме монахинь, и химерическую тетушку Фюсхен, и *trompette marine*; потом он со смехом воскликнул:

-- О, достойнейший тайный советник! Господин капельмейстер теперь, как и всегда, является вполне разумным, трезвым человеком, и вовсе не фантазером и шутником, каким его охотно считают многие. Разве это вещь невозможная -- допустить, что m-lle Софи после своей смерти переселилась в музыкальный инструмент, который еще и теперь встречается кое-где в женских монастырях? Как, *trompette marine* даже не может существовать? Отыщите же, если так, статью под этим заглавием в музыкальном лексиконе Коха, находящемся среди ваших книг.

Тайный советник взял лексикон и прочел вслух:

-- Этот старый, чрезвычайно простой инструмент состоит из трех тонких планок семь футов длиной; снизу, где инструмент ставится на пол, эти планки имеют в ширину от шести до семи дюймов, сверху только два дюйма; они сходятся в виде треугольника, так что инструмент имеет форму ящика, суживающегося по направлению от основания к вершине. Одна из планок снабжена несколькими круглыми дырочками и единственной толстой римской струной. Во время игры, инструмент ставят пред собой немного наискось, прижимая верхнюю его часть к груди. Правой рукой музыкант ударяет смычком по струне, а большим пальцем левой руки прижимает струну там, где нужно вызвать соответствующий звук, прижимает тихо, так же почти, как и струны скрипки, чтобы вызвать нежный звук свирели или флейты. Своеобразный тон этого инструмента, похожий на звук далекой трубы, происходит благодаря так называемой кобылке, на которой покоится снизу струна в том месте инструмента, где производится резонанс. Кобылка эта имеет вид маленького башмака, спереди низкого и тонкого, сзади -- высокого и толстого. На задней стороне этого приспособления прикреплена струна, которая от соприкосновения с смычком покачивается и двигает переднюю легкую часть кобылки взад и вперед по дну инструмента, отчего происходит подавленный звук, точно от трубы.

-- Сделайте мне такой инструмент, мейстер Абрагам, -- воскликнул с пылающим взором тайный советник, -- я заброшу тогда свою скрипку, не прикоснусь больше к эвфону и повергну весь город и двор в изумление, играя чудные мелодии на *trompette marine*!

-- Хорошо, я сделаю, -- проговорил мейстер Абрагам, -- и пусть дух тетушки Фюсхен, одетой в платье из зеленой тафты, снизойдет к вам и будет вашим вдохновляющим гением!

Тайный советник, совершенно восхищенный, обнял мейстера, но Крейслер развел их, говоря почти сердито:

-- Ну, не злые ли вы насмешники и не ведете ли вы себя жестоко по отношению к человеку, которого будто бы любите! Ограничьтесь тем, что вы вылили на меня целый ушат холодной воды, прочитав описание

сказочного инструмента, от чьих звуков трепетало мое сердце! Не говорите больше ничего о Фюсхен, извлекавшей из лютни дивные мелодии! Ты хотел, советник, услышать рассказ о днях моей юности, а мейстер вырезал, кстати, теневые фигуры, напоминающие о далеком минувшем, следовательно, ты можешь быть доволен нарядным изданием моей биографии, украшенным прелестными гравюрами. Когда ты читал отрывок из Коха, мне вспомнился его литературный коллега Гердер, и я уже видел себя мертвецом, распростертым на длинном столе, готовым к биографическому вскрытию. Общий вид как будто гласил: нет ничего удивительного, что в теле этого молодого человека через тысячи жил и жилок течет настоящая музыкальная кровь: точно то же замечалось у многих его родственников, почему он им и был близок по крови. Точней выражаясь, я хочу сказать, что большинство моих дядей и теток, которых было немалое количество, как хорошо знает мейстер и как сейчас узнаешь и ты, занимались музыкой и играли на инструментах, теперь или совсем вышедших из употребления, или сделавшихся крайне редкими. До сих пор я часто слышу во сне дивные концерты, слышанные мной в действительности, когда мне было десять или одиннадцать лет. Быть может, благодаря именно такому обстоятельству, мой музыкальный талант уже в самом своем зарождении получил направление, которое считается слишком фантастичным. Если ты, тайный советник, можешь удерживать слезы, когда слышишь прекрасные звуки какого-нибудь старинного инструмента, например Viola d'Amore, ты должен благодарить Создателя за свою крепкую организацию. Я же порядком хныкал, когда на этом инструменте играл некий полный, высокий человек, к которому ужасно шло духовное одеяние и который тоже был моим дядей. Равным образом хороша и увлекательна была игра одного родственника, игравшего на Viola da Gamba, хотя дядя, который занимался или, вернее, не занимался моим воспитанием и который с дьявольской виртуозностью гремел на шпинетте, сильно сбивался с такта, аккомпанируя ему. Бедняк снискал всеобщее презрение семьи, когда сделалось известным, что он после музыки сарабанты танцевал менуэт а la Pompadour [*В стиле Помпадур -- фр.*]. Вообще я мог бы порассказать вам кое-что о музыкальных увеселениях моей семьи, нередко крайне оригинальных, но с этим связано много потешного, над чем вам пришлось бы хохотать, а предоставить своих дорогих родственников вашему осмеянию мне запрещает respectus parentalis [*Почтение к родственникам -- лат.*].

-- Иоганн, -- начал тайный советник, -- не сердись на меня, пожалуйста, если я затрону твою больную струну. Ты все говоришь о тетках, о дядях и ни словом не вспомнишь ни отца, ни мать!

-- О, друг мой, -- ответил Крейслер с выражением глубокого чувства, -- именно сегодня хотел я... Но довольно воспоминаний, снов! Не будем говорить о забытом горе детских лет! Да, мейстер, вы правы, я стоял под развесистой яблоней и вслушивался в странные, вещие раскаты далекого грома. Ты яснее представишь себе, тайный советник, угнетенное состояние, в котором я два года прожил после смерти тетушки Фюсхен,

если я скажу тебе, что смерть моей матери, относящаяся к этому же времени, не произвела на меня особенного впечатления. Но почему мой отец всецело передал или вынужден был передать меня попечениям брата моей матери, я не могу сказать, потому что объяснение этого ты, если хочешь, прочтешь в любом затасканном романе из семейной жизни или в какой-нибудь комедии Иффланда, изображающей семейные несчастья. Достаточно будет сказать, что добрую часть детских и юношеских лет я прожил среди ужасного однообразия, благодаря отсутствию родительской любви. Самый плохой отец, думается мне, все же лучше, чем самый хороший воспитатель, и мне страшно становится, когда родители в неразумии отсылают от себя своих детей и помещают в каком-нибудь учебно-воспитательном заведении, где бедняжек подгоняют всех под одну норму, не обращая ни малейшего внимания на их индивидуальность, вполне понятную только родителям. Никто не должен удивляться моей невоздержности, неблаговоспитанности. Дядя обо мне совсем не заботился, предоставляя меня всецело произволу домашних учителей, преподавание которых заменяло посещение школы. Если иногда ко мне и приходил какой-нибудь мальчик моих лет -- случайный знакомый -- это не могло нарушить уединение и глубокую тишину дома, в котором дядя-холостяк жил один с своим старым угрюмым лакеем. Я вспоминаю только о трех различных случаях, когда дядя, спокойный и равнодушный почти до тупоумия, предпринял краткий воспитательный акт, наделив меня пощечиной; таким образом, в течение моего детства я получил их три. Я мог бы тебе рассказать романтическую историю этих трех пощечин, благо я сегодня в таком болтливом настроении, но ограничусь пока историей второй пощечины, связанной с моими музыкальными занятиями, которыми ты больше всего интересуешься. У дяди была порядочная библиотека, где я рылся как хотел. Мне попала под руку "Исповедь" Руссо в переводе на немецкий язык. Я с жадностью прочел книгу, написанную совсем не для двенадцатилетнего мальчика. Много в ней могло посеять дурные семена в моей душе; но из всего, что там рассказывается, только одно обстоятельство всецело наполнило мой ум, заставив забыть про все остальное. Подобно электрическому удару, меня поразила рассказ, как мальчик Руссо, увлекаемый могучим гением музыки, звучавшей в его душе, -- лишенный всяких вспомогательных средств, без всяких музыкальных знаний, без знакомства с гармонией и с контрапунктом -- решился сочинять оперу, как он опустил в комнате занавеси, бросился на постель, чтобы всецело отдаться вдохновению творческой силы, и как наконец его произведение стало разворачиваться перед ним подобно волшебному сну. Ни днем, ни ночью меня не покидало сознание блаженства подобной минуты. Часто казалось мне, что и я сам принимаю участие в этом блаженстве, и что только стоит решиться -- и я тоже вознесусь в волшебные райские страны, так как гений гармонии живет и в моей груди. Словом, я пришел к сознанию необходимости подражать моему образцу. Когда однажды в ненастный осенний вечер дядя, против своего обыкновения, вышел куда-то из дому, я тотчас спустил

занавеси и бросился на дядину постель, чтобы, подобно Руссо, создать в уме оперу. Но как ни прекрасны были все приготовления, как я ни старался призвать к себе духа музыки, он упрямо отказывался посетить меня. Вместо чудных образов, которые должны были появиться у меня, в ушах моих начала настойчиво раздаваться старинная жалкая песенка, начинавшаяся плачевными словами:

Любил я одну лишь Йемену,
И Йемена любила меня...

Как я ни отгонял от себя этот мотив, он не хотел оставить меня. Я восклицал:

Спускаются боги с Олимпа
При свете лучистого дня...

а назойливая мелодия неустанно жужжала мне в уши:

Любил я одну лишь Йемену,
И Йемена любила меня...

Наконец я заснул. Меня разбудили громкие голоса в то время, как невыносимый запах лез мне в нос, отчего у меня спиралось дыхание. Вся комната была наполнена густым дымом. Дядя, как в облаке, стоял около гардеробного шкафа, топтал остатки горевших занавесей и кричал: "Воды, воды!", пока, наконец, старый лакей не принес столько воды, что она залила весь пол и совершенно погасила огонь. Дым медленно тянулся через окно. "Где же бедокур?" -- спросил дядя, осматривая с огнем всю комнату. Я отлично знал, про какого бедокура он спрашивал и, как мышь, притаился в постели. Дядя подошел ко мне и заставил подняться гневным окриком "Встать сейчас же!" "Ты что это, злодей, -- продолжал он, хочешь весь дом поджечь!" На дальнейшие расспросы я совершенно спокойно удостоверил, что, подобно мальчику Руссо, написавшему "Исповедь", я лежал в постели, сочиняя *Opera seria* [*То есть серьезную, трагическую оперу.*], и совершенно не знаю, как произошел пожар. "Руссо? Сочинял? *Opera seria*? Олух!" -- лепетал, задыхаясь, дядя и вдруг дал мне пощечину -- вторую по счету -- такую сильную, что я внезапно замолчал от страха и в то же самое мгновение совершенно явственно услышал, точно созвучие к удару: "Любил я одну лишь Йемену..." Как по отношению к этой песне, так и по отношению к композиторскому вдохновению я получил с той минуты живейшее отвращение.

-- Но как же произошел пожар? -- спросил тайный советник.

-- До сих пор я не могу понять, каким образом вспыхнули занавеси, увлекши за собой к гибели прекрасный дядин шлафрок и три или четыре отличных тупея. Мне всегда представлялось, что я получил пощечину не за пожар, в котором вина была не моя, а за предпринятую мной

композицию. Довольно странно, что дядя только настаивал на моих занятиях музыкой, несмотря на то, что учитель, обманутый мгновенным отвращением к ней, проявившимся у меня, счел меня за существо, абсолютно лишенное музыкальных способностей. Что касается другого, дяде было решительно все равно, учусь я или не учусь. Так как он неоднократно высказывал живейшее неудовольствие по поводу того, что меня трудно заставить заниматься музыкой, можно было бы ожидать, что он будет очень обрадован, когда, спустя два года, музыкальный талант проявился во мне необычайно; на самом деле ничего подобного не случилось. Дядя улыбнулся только слегка, когда заметил, как быстро и виртуозно я овладеваю различными инструментами, и когда, к удовольствию знатоков и мастера, я сочинил одну небольшую вещицу. Он только слегка улыбнулся и с лукавой миной сказал на все похвалы: "Да, племянничек у меня забавный".

-- В таком случае мне непонятно, -- проговорил тайный советник, -- почему дядя не предоставил полную свободу твоим склонностям, а заставил тебя избрать другую жизненную карьеру. Насколько я знаю, ты еще очень недавно сделался капельмейстером.

-- Да и недалеко пошел, -- с улыбкой воскликнул мастер Абрагам, представляя на стене изображение какого-то удивительного маленького человечка. -- Я должен теперь заступиться за славного дядю, которого некий бесславный племянник называл O weh Onkel ("Увы, дядя") по первым буквам его имени и фамилии -- Оттфрид Венцель. Перед целым миром могу засвидетельствовать, что, если капельмейстеру Иоганну Крейслеру вздумалось сделаться советником при посольстве и навязывать своей натуре совершенно чуждые ей вещи, никто в этом не был менее виноват, чем O weh Onkel.

-- Будет об этом, мастер, -- сказал Крейслер, -- да уберите заодно дядюшку со стены, потому что, если он и выглядел действительно смешным и жалким, сегодня все же я не могу смеяться над стариком, который давно лежит в могиле.

-- Вы нынче решительно берете на себя тон приличной чувствительности, -- возразил мастер, но Крейслер не обратил на него никакого внимания и продолжал, обращаясь к тайному советнику:

-- Ты расквасишься в том, что заставил меня разговориться, так как, может быть, ты ждешь каких-нибудь необыкновенных рассказов, а я могу предложить твоему вниманию лишь самые заурядные вещи, повседневно встречающиеся в жизни. Не принуждение воспитателей и не упрямство Рока, а просто обычное течение вещей вынудило меня избрать путь, к которому у меня не было склонности. Замечал ли ты, что в каждой семье есть божок, который вознесен до своего исключительного положения или особенными способностями, или счастливой игрой случая; он является героем, центром, около которого все группируются, милые родственники смотрят на него снизу вверх, своим повелительным голосом он раздает приговоры -- и на них нет апелляции. Так было с младшим братом моего дяди, который бежал из музыкального семейного гнезда, отправился в

столицу и в качестве советника при посольстве стал играть довольно важную роль, будучи одним из приближенных князя. Его быстрый успех привел родных в почтительное и не ослабевающее изумление. Имя его стали произносить с серьезной торжественностью, и все мгновенно утихало в немом преклонении, когда кто-нибудь говорил: "Советник при посольстве написал то-то или сказал то-то". Так как с самых ранних лет моего детства я привык смотреть на дядю, живущего в столице, как на личность достигшую высшей цели человеческих стремлений, естественно я не мог сделать ничего лучшего, как идти по его стопам. Портрет знатного дяди висел в парадной комнате, и самым горячим моим желанием было одеваться и завиваться так, как дядя. Это желание было удовлетворено моим воспитателем: я имел забавный вид десятилетнего мальчика с возносящимся высоко над головой тупеем, нарядно завитым, на мне был надет светло-зеленый камзол с серебряным шитьем, шелковые чулки, а сбоку висела маленькая шпага. По мере того как я делался старше, мое ребяческое честолюбие глубже развивалось в моей душе: я ревностно изучал самые сухие науки, стоило только мне сказать, что эти занятия необходимы мне, если я в будущем желаю сделаться советником при посольстве. Видеть жизненную цель в искусстве, наполнявшем мою душу, я не мог уже потому, что всегда в моем присутствии о музыке, живописи и поэзии говорили, как о вещах чрезвычайно приятных, назначенных для развлечения и увеселения общества. На пути моем не оказалось никаких препятствий и благодаря помощи дяди и приобретенным знаниям, я стал быстро идти вперед по житейскому поприщу, избранному в известной степени вполне добровольно. Эта быстрота движения не оставляла мне ни одной свободной минуты, когда бы я мог оглянуться вокруг себя и заметить, что я вступил на ложный путь. Цель была достигнута, и не было возврата, когда самым неожиданным образом искусство, которому я изменил, отомстило за себя, мысль о невозвратно утраченной жизни охватила меня, и с безутешной тоской я увидел, что я закован в цепи, из которых, казалось, нельзя было вырваться.

-- Значит, целебна была катастрофа, освободившая тебя от уз! -- воскликнул тайный советник.

-- Нет, это не совсем так, -- возразил Крейслер. -- Освобождение пришло слишком поздно. Со мной было, как с тем заключенным, который после долгого сиденья в тюрьме был, наконец, освобожден, но до такой степени отвык от людской суеты, от яркого света, что не мог уже больше наслаждаться золотой свободой и предпочел вернуться назад в свое заключение.

-- Это все ваши выдумки, Иоганн, -- вмешался в разговор мейстер Абрагам, -- вы мучаете ими и себя, и других. Подите вы! Судьба всегда чрезвычайно благоволила к вам. Но вы никогда не хотели стремиться вперед по прямой дороге, вам нужно было бросаться то влево, то вправо; кто ж виноват в этом, кроме вас самих? Но вы правы в одном: в дни вашего детства над вами горела необыкновенная, особенная звезда, и...

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Жизненные испытания юноши.

И я родился в Аркадии

(М. прод.) ...Однажды мейстер воскликнул, обращаясь к самому себе: "А ведь было бы забавно и в то же время необыкновенно достопримечательно, если бы маленький седовласый герой, живущий под печкой, обладал всеми качествами, какие приписывает ему профессор! Гм! Думается мне, что он мог бы тогда обогатить меня гораздо больше, чем моя невидимая девица. Я запер бы его в клетку, и он должен был бы показывать свои искусства перед целым светом, который охотно бы заплатил за это хорошую дань. Научнообразованный кот всегда может сделать и сказать гораздо больше, чем скороспелый юноша, напичканный различными экзерцициями. Кроме того, у меня был бы всегда даровой переписчик! Нужно хорошенько исследовать этот вопрос!"

Услыхав слова мейстера, я вспомнил предостережение незабвенной матери моей Мины и, тщательно остерегаясь выказать, что я понял мейстера, твердо решил скрывать свое образование. Я стал читать и писать исключительно ночью, и с благодарностью могу засвидетельствовать при этом, что я увидел особую благодать Провидения, даровавшего нашему презираемому роду много преимуществ в сравнении с двуногими существами, которые, бог знает почему, считают себя царями мироздания: когда я занимался по ночам, мне не нужно было ни свечей, ни фабрикации из масла, так как фосфор моих глаз ярко светил в ночной тьме. Несомненно, следовательно, что мои сочинения свободны от упрека, сделанного какому-то античному писателю, что именно произведения его ума пахнут копотью лампы. Но, будучи твердо убежден в высоком превосходстве, дарованном мне природой, я должен, однако, сознаться, что все здесь, на земле, заключает в себе некоторые несовершенства, которые опять-таки находятся в тесной между собой зависимости. О физической стороне нашего "я", которую врачи никогда не называют естественной, хотя она кажется мне вполне естественной, я совсем не буду говорить, а замечу только о психическом нашем организме, что в нем также замечаются несовершенства, соподчиненные между ними отношения. Разве не верно, например, что наш полет нередко задерживается какой-то свинцовой тяжестью, относительно которой мы не знаем, что собственно она из себя представляет, откуда появляется и кто ее нам навязывает.

Будет, однако, лучше и справедливее, если я скажу, что все зло проистекает от дурного примера; слабость нашей природы именно в том и заключается, что мы не можем не следовать дурному примеру. Убежден я также, что именно человеческий род собственно предназначен судьбой показывать дурной пример.

К тебе обращаюсь, мой читатель, мой благосклонный молодой кот, и спрашиваю тебя: не приходилось ли тебе когда-нибудь впасть в

состояние, непонятное тебе самому, доставившее тебе горькие упреки, а может быть, даже и укусы твоей житейской спутницы? Ты был ленив, сварлив, упрям, обжорлив, ни в чем не находил удовольствия, всегда был там, где не должно, всем доставлял неприятности -- словом, был невыносимым сорванцом! Утешься, кот! Такой беспутный период твоей жизни вовсе не проистекал из глубины свойственной тебе индивидуальности, нет, это была дань, которую все мы платим правящему нами началу, платим в том смысле, что следуем дурному примеру людей, которые ввели в употребление этот переходный период. Утешься, мой кот, и со мною было не лучше!

Среди моих ночных занятий мной стало овладевать какое-то недовольство -- что-то похожее на пресыщение неудобоваримыми вещами: я ложился и засыпал на той самой книге, которую только что читал, на той самой рукописи, которую только что написал. Эта леность овладевала мною все больше и больше; наконец, дошло до того, что я не мог больше ни писать, ни читать, ни совершать прыжки, ни бегать, ни поддерживать отношения с друзьями на крыше или в подвале. Вместо этого я чувствовал непреодолимый порыв делать все, что неприятно мейстеру или друзьям, что могло их обременить. Что касается мейстера, он долгое время ограничивался изгнанием меня, когда я выбирал для лежанья места, где он не терпел моего присутствия. Однажды он принужден был даже несколько постегать меня. Именно, постоянно вспрыгивая на письменный стол мейстера, я однажды так долго вертел хвостом в разные стороны, что наконец кончик его попал в большую чернильницу, и я, как кистью, стал разводить им удивительные узоры на полу и на диване. Мейстер, по-видимому, ничего не смыслящий в этой отрасли искусства, пришел в бешенство. Я бежал на двор, но, пожалуй, очутился там в еще более неприятном положении. Некий большой кот, чрезвычайно почтенной наружности, давно изъявлял недовольствие по поводу моего поведения. Теперь, когда я нелепым образом хотел стянуть у него из-под носа лакомый кусок, который он только что хотел проглотить, старый кот, без дальних слов, надавал мне такую массу пощечин по обеим сторонам лица, что я был совершенно ошеломлен, и из ушей моих потекла кровь. Если я не ошибаюсь, достойный кот был моим дядей, так как в его лице светилось что-то напоминающее Мину, а фамильное сходство бороды было несомненно. Словом, нужно сознаться, что я в это время весь ушел в шалости, так что мейстер Абрагам говорил: "Я, право, не знаю, что с тобой, Мурр! В конце концов я готов думать, что ты вступил в годы юношеских проказ!" Мейстер был прав, это был роковой период проказ, который я должен был пережить по дурному примеру людей, выдумавших этот период, как нечто необходимое их природе и добившихся того, что он вошел во всеобщее употребление. Люди называют его годами юношеских проказ, хотя многие во всю свою жизнь не кончают этого "юношеского" периода; что касается нашего брата, кота, мы можем только говорить о неделях проказ. Сам я кончил этот период одним сильным толчком или,

вернее, прыжком, чуть не стоившим мне ноги или нескольких ребер. Я должен рассказать, как это произошло.

На дворе того дома, где жил мастер, стояла машина на четырех колесах, плотно набитая внутри, как я узнал впоследствии, английская коляска. Мне пришло желание вскарабкаться на эту машину -- желание самое естественное при тогдашнем моем настроении. Подушки, находившиеся там, показались мне такими приятными и привлекательными, что я улегся среди них и в грезах заснул.

Едва только дух мой был осенен сладкими сновидениями о жареном зайце и тому подобном, как вдруг я был разбужен сильным ударом, который сопровождался грохотом, звоном и дребезжаньем. Кто изобразит мой внезапный ужас после того, как мне стало ясно, что вся машина со страшным оглушительным шумом мчалась вперед, кидая меня по подушкам то вправо, то влево. Все сильнее и сильнее охватывал меня страх, превратившийся постепенно в отчаяние, я решился сделать гигантский прыжок из грохочущей машины, услышал за собой, подобный ржанию, насмешливый хохот адских демонов, услышал их грубые, варварские голоса "кац-кац-хуц-хуц", сломя голову помчался сам не знаю куда, вслед мне летели камни, наконец я очутился где-то под темными сводами и упал почти без чувств.

Очнувшись, я услышал над своей головой как будто шаги то удалявшиеся, то приближавшиеся. Я понял, что я нахожусь под лестницей. Так вот какая произошла со мной история!

Когда я опять выполз на свет Божий, передо мной -- о, Небо! -- протянулись необозримые улицы. На них, как волны, двигались толпы людей, из которых я не знал решительно ни одного. Прибавьте еще, что мимо с грохотом мчались кареты, слышался кругом громкий лай собак, и в довершение всего появился целый отряд войска, опоясавший улицу и ярко блиставший на солнце своим оружием. Прямо передо мной внезапно грянул оглушительный барабан, так что невольный страх сковал мою грудь и от мгновенного порыва этого тоскливого чувства я подпрыгнул вверх на целых три фута. Мне стало ясно, что я находился в том самом мире, на который до сих пор не без любопытства, не без томления я глядел издали с высоты моей крыши. Я стоял теперь среди шумного света, как неопытный новичок. Осторожно я стал прогуливаться по улице, держась перед самыми домами, и встретил наконец двоих юношей моей породы. Остановившись, я попытался было завязать с ними беседу, но они ограничились тем, что выпучили на меня свои огненные глаза и, ни слова не говоря, помчались прочь. "Легкомысленная юность, -- подумал я про себя, -- ты и не знаешь, кого ты встретила на пути своем! Таким-то образом проходят в мире великие гении, незамеченные, неузнанные. Это удел земной переходящей мудрости!"

Я рассчитывал на теплое участие со стороны людей и, вскочив на выступ двери, ведущей в какой-то погреб, испускал веселое и -- как я думал -- чрезвычайно симпатичное "мяу". Но все проходили мимо вполне равнодушно, еле бросая на меня мимолетный, холодный взгляд. Наконец я

заметил красивого белокурого мальчика, который дружески посмотрел на меня и, щелкая пальцами, поманил: "Кссс-кссс". "Ты понимаешь меня, о, чудное сердце", -- подумал я и, спрыгнув вниз, приблизился к нему с дружеским мурлыканьем. Он начал меня гладить по спине, и я совсем уже думал подарить ему свою теплую дружбу, но он неожиданно для меня так придавил мой хвост, что я громко закричал от ужасной боли. Коварному злодею это доставило, по-видимому, большое удовольствие, потому что он весело расхохотался и, придерживая хвост, попробовал повторить дьявольский маневр. Тогда меня охватило глубочайшее негодование. Воспламененный мыслью о мести, я вонзил мои когти в руки и лицо преступника. С громким криком он выпустил мой хвост. Но в то же самое мгновение я услышал возглас "Тирас, Картуш, ссс!", и тотчас две собаки со страшным лаем устремились на меня. Я обратился в бегство -- дыхание спиралось у меня в груди -- враги гнались за мной по пятам, спасения не было. Обезумев от страха, я вскочил в окно какого-то подвального помещения, стекла зазвенели, два цветочных горшка, стоявшие на окне, с треском упали на пол, а женщина, сидевшая за работой у стола, вскочила с испугом, закричала "Ах, мерзкая бестия!" и, схватив палку, устремилась на меня. Но моя шерсть, вставшая дыбом, неистовые вопли отчаяния, выпущенные когти и пылающие гневом глаза заставили ее отпрянуть назад; палка, приподнятая для удара, так и застыла в воздухе и -- говоря языком трагедии -- осталась безучастной в борьбе между силой и волей! В это мгновение раскрылась дверь, я совершил решительный шаг -- и, счастливо проскользнув между ногами вошедшего человека, устремился из дома на улицу.

Измученный, изнеможенный, я достиг наконец уединенного уголка, где мог немножко отдохнуть. Меня стал мучить ужасный голод -- и тут-то я вспомнил впервые с глубокою скорбью о добром мастере Абрагаме, с которым я был разлучен жестокой судьбой. Но как его снова найти? Я устремлял вокруг унылые взоры, и, когда увидел, что нет мне пути к возвращению, в глазах у меня заблестали крупные светлые слезы.

Однако во мне сверкнула надежда, когда на углу улицы я увидел молодую приветливую девушку, сидевшую перед маленьким столиком, на котором были разложены аппетитнейшие хлебцы и колбасы. Я медленно приблизился к ней, она посмотрела на меня с улыбкой. Чтобы выказать себя благовоспитанным, галантным юношей, я изогнулся так красиво, как до сих пор еще никогда не изгибался. Улыбка девушки превратилась в веселый смех. Наконец-то было найдено нежное сердце, наконец-то судьба мне послала родную душу! О, небо! Как это отрадно для больной, страждущей груди! Так подумал я, и взял себе одну из колбас. Но в то же мгновение девица громко вскрикнула и замахнулась на меня чем-то, сделанным из дерева... Если бы удар действительно попал в меня, не пришлось бы мне насладиться ни той колбасой, которую я взял себе, полагаясь на честность и дружелюбие девушки, ни какой-либо другой. Все свои последние силы я приложил к тому, чтобы возможно успешнее

ускользнуть от жестокосердой. Это удалось мне, и я достиг местечка, где мог с удобством, спокойно съесть колбасу.

После скромного обеда дух мой просветлел, и солнечные лучи упали теплою лаской на мой пушистый мех и я живо почувствовал, что действительно хорошо здесь, на земле. Но когда настала холодная влажная ночь, когда у меня не оказалось мягкой постели, какая была в доме доброго мастера, когда на другое утро я проснулся, дрожа от холода и снова терзаемый голодом, мной опять овладело безутешное чувство, граничащее с отчаянием. Я разразился громкими жалобами: так вот тот мир, к которому ты так жадно стремился с родной своей крыши! Мир, где ты думал найти добродетель, мудрость и высшую нравственность! О, бессердечные варвары! К чему они способны, кроме раздачи побоев? В чем их разум, как не в наглой насмешке? Чем они заняты, как не коварным преследованием глубоко чувствующих душ?

О, прочь, прочь отсюда, из этого мира лжи и лицемерия! Прими меня снова в твою прохладную тень, родимый подвал! О, чердак! О, печь, о, одиночество! Со сладкою мукой стремится к вам сердце мое!

Мысль о моем несчастном положении, о моем безнадежном бедствии глубоко охватила меня. Закрывши глаза лапками, я горько заплакал.

Знакомые звуки коснулись моего слуха: "Мурр-мурр! Любезный друг, куда ты забежал? Что с тобой приключилось?"

Я раскрыл глаза. Передо мной стоял молодой Понто.

Как ни жестоко я был оскорблен недавним поступком Понто, его неожиданное появление было чрезвычайно утешительно для меня. Забыв о сделанной им несправедливости, я рассказал все происшедшее со мной, объяснил ему, заливаясь слезами, мое печальное, беспомощное положение и кончил жалобным, грустным сообщением, что меня терзает мучительный голод.

Вместо того чтобы выказать мне участие, на которое я рассчитывал, молодой Понто разразился оглушительным хохотом.

-- Ну, любезный Мурр, -- сказал он, -- не глупый ли ты, неисправимый повеса? Извольте посмотреть: садится в коляску, засыпает, уезжает на ней, просыпается с испугом, выскакивает вон, удивляется, что его никто не знает, тогда как раньше он еле выглядывал за дверь своего дома, удивляется, что к его глупым проделкам везде дурно относятся, и, наконец, оказывается так прост, что не может даже найти обратного пути домой, к своему господину. Видишь, приятель, ты всегда хвастался своими науками, своим образованием, всегда держался высокомерно по отношению ко мне, а теперь ты сидишь одинокий, потерянный, и всех великих достоинств твоего духа не хватает на то, чтобы научить тебя, как ты можешь утишить свой голод и найти дорогу к мастеру! И если бы тот, которого ты считал гораздо ниже себя, не принял в тебе участие, ты умер бы в конце концов самой жалкой смертью, и никто ничего бы не спросил о твоём знании, о твоём таланте, и на том месте, где умер бы ты, -- от собственной своей душевной близорукости -- ни один поэт, ни один из твоих мнимых друзей не сделал бы дружеской надписи: "Nie jacet!" [*Здесь покоится!* -- лат.] Ты

видишь, что и я теперь прошел должную школу и могу в разговоре упомянуть какую-нибудь латинскую фразу! Но ты голодаешь, бедный кот!.. Нужно помочь прежде всего этой беде. Пойдем со мной.

Юный Понто весело запрыгал впереди, я последовал за ним, совершенно разбитый, уничтоженный его словами, в которых было много справедливого, как мне показалось при тогдашнем голодном моем состоянии. Но как же я испугался, когда...

(Мак. л.) ...для издателя этих листков самое счастливое обстоятельство, что он мог целиком воспроизвести достопримечательный разговор Крейсlera с тайным советником. Благодаря этому, он был в состоянии представить перед тобой, благосклонный читатель, по крайней мере, два образа из времени ранней юности необычайного человека, чью биографию он в известном смысле должен был написать. Можно надеяться, что эти образы достаточно характерны и оригинальны, что касается рисунка и колорита. Во всяком случае, из всего, что Крейслер рассказывал о тетушке Фюсхен и ее лютне, видно, что музыка с ее удивительной грустью, с ее небесным очарованием, так сказать, срослась с душой ребенка тысячью нитей; нельзя так же удивляться тому, что из этой груди всегда лилась горячая кровь, стоило только ранить ее слегка. Упомянутый издатель в особенности жаждал получить сведения о двух моментах из жизни капельмейстера, именно: во-первых, каким образом мейстер Абрагам вступил в семью Крейсlera и начал оказывать влияние на маленького Иоганна, и, во-вторых, какая катастрофа удалила честного Крейсlera из резиденции, превратив его в капельмейстера. По этому поводу многое было расследовано и о результатах этого изыскания читатель сейчас узнает.

Прежде всего не подлежит никакому сомнению, что в Гениэнемюле, где родился и воспитывался Иоганн Крейслер, жил один человек, совершенно своеобразный и необычайный во всем, что он ни делал. Городок Гениэнемюль вообще издавна был настоящим рудником всяческих раритетов, и Крейслер подрастал, окруженный самыми странными фигурами, которые должны были оказывать на него и тем более сильное впечатление, что он в детстве своем никогда не имел сверстников равных лет. Вышеупомянутый оригинал носил одинаковое с известным юмористом имя Абрагам Лисков и был по профессии органом мастером -- ремесло, которое он иногда сильно бранил, иногда же превозносил до небес, так что трудно было решить, когда он говорил правду.

Крейслер рассказывает, что в его семье о Лискове всегда говорили с большим уважением. Его называли искуснейшим артистом, какой только может быть, и очень жалели, что своими безумными выходками и сумасбродными дурачествами он отдаляет от себя решительно всех. О фантастических проделках Лискова так много рассказывали, что воображение маленького Иоганна было всецело занято этими рассказами, и, совершенно не зная будущего мейстера Абрагама, он нарисовал в уме его портрет, страстно стремился к нему, и, когда дядя говорил, что тогда-то Herr Лисков, может быть, придет для настройки инструмента, мальчик

каждое утро ждал его с нетерпением. Интерес мальчика к неизвестному для него Абрагаму Лискову усилился и превратился в почтительное изумление, когда дядя взял его в первый раз в главную кирку и мальчик услышал могучие звуки великолепного органа, сделанного ни кем иным, как все тем же загадочным Абрагамом Лисковым. С этого мгновения портрет незнакомца, нарисовавшийся еще раньше в душе мальчика, совершенно поблек и уступил место другому, более яркому образу. Мальчик решил, что Лисков должен быть непременно высоким, красивым мужчиной, чрезвычайно статным на вид, что он говорит громко и мелодично, а, главное, одет в сюртук черносливного цвета, с широкими золотыми галунами, как его крестный отец, коммерции советник, к богатому платью которого маленький Иоганн питал глубочайшее почтение.

Однажды, когда дядя стоял с Иоганном у открытого окна, на улице показался маленький худой человечек, одетый в плащ из светло-зеленого баркана; полы этого плаща как-то странно развевались по ветру. На голове этого человека была воинственно надета небольшая треуголка, а от белого напудренного парика отделялся один длинный пучок волос, болтавшийся по спине. Походка его была такая твердая, что мостовая как будто стонала под его шагами; притом он поминутно ударял о землю своей длинной испанской тростью. Проходя мимо окна, он метнул на дядю огненный взгляд своих черных, как уголь, глаз, не отвечая на его поклон. Холодная дрожь пробежала по всем членам маленького Иоганна, ему ужасно захотелось смеяться над маленьким человеком, и в то же время что-то стеснило ему грудь.

-- Это прошел Негг Лисков, -- сказал дядя.

-- Я знал это, -- ответил Иоганн, и он говорил правду.

Абрагам Лисков не был высоким, статным мужчиной, он не носил черносливного цвета сюртука с золотыми галунами, наподобие сюртука крестного отца Иоганна, коммерции советника; и тем не менее, как это ни странно, как ни волшебным, он выглядел совершенно так, как его представлял себе мальчик, еще прежде чем услышал аккорды большого церковного органа. Не успел Иоганн отрешиться от смутного чувства, похожего на испуг, как вдруг Негг Лисков остановился, повернул назад, прошел всю улицу вплоть до окна, у которого стоял дядя, отвесил ему глубокий поклон и удалился с громким хохотом.

-- Ну, разве хорошо вести себя так, -- проговорил дядя Иоганна, -- разве так должен поступать степенный человек, имеющий сведения, так сказать, опытный *in studiis* [Дословно с латыни -- *опытный в штудировании, старательном изучении; литературно можно сказать "опытный в науках"*.], человек, который в качестве привилегированного органного мастера сопричислен к свободным художникам и по законам страны имеет право носить шпагу? Не приходит ли на ум при виде его, что с раннего утра он основательно заложил или что он бежал из сумасшедшего дома? Но я знаю, он теперь придет и настроит наш рояль.

Дядя был прав. На другой же день Абрагам Лисков пришел, но, вместо того чтобы настраивать рояль, он потребовал, чтобы маленький Иоганн

сыграл ему что-нибудь. Мальчик был посажен на стул, на сиденье которого положили целый столб книг; Негг Лисков встал против него, облокотясь обеими руками на узкий край инструмента, и смотрел на мальчика в упор, чем тот был смущен до такой степени, что менуэты и арии, разученные им по старой нотной тетради, мчались одни за другими в беспорядке. Негг Лисков слушал серьезно; вдруг Иоганн соскользнул со стула и скрылся под роялем; Абрагам Лисков, толчком оттолкнувший скамейку из-под его ног, громко расхохотался. Мальчик, переконфуженный, выбрался из-под инструмента, но в то же самое мгновение Негг Лисков уселся за рояль, вытащил из кармана молоточек и стал бить им по бедному инструменту с такой силой, как будто он хотел разбить его в мелкие кусочки.

-- Негг Лисков, что с вами, в уме ли вы? -- воскликнул дядя, а маленький Иоганн, в крайнем раздражении на органного мастера, изо всех сил налег на крышку инструмента, так что она с громким треском закрылась, и Негг Лисков должен был быстро отдернуть голову, а то ее прищемило бы. Потом мальчик воскликнул:

-- Эге, милый дядя, это вовсе не тот искусный художник, который сделал великолепный большой орган, потому что этот глупый человек ведет себя здесь, как уличный мальчишка!

Дядя был изумлен дерзостью мальчика. Но Негг Лисков только посмотрел на него пристально и долго; потом, проговорив "Да он у вас прекуръезный!", открыл тихонько крышку инструмента и начал свою работу; часа через два он ее кончил, не произнеся за все время ни слова.

С этого момента органный мастер возымел решительное пристрастие к мальчику. Чуть не каждый день стал он приходить в дом и вскоре сумел приручить к себе маленького Иоганна, открыв перед ним совершенно новый, пестрый мир, в котором живой дух ребенка мог свободно витать. Нехорошо было, что с течением времени, в особенности когда Иоганн стал подрастать, Лисков приучил его сочинять всякие насмешливые шутки, нередко устремленные и против дяди, который, правда, давал для них богатый материал своей ограниченностью и разными потешными качествами своего характера. Верно, однако, что жалоба Крейсера на безутешное одиночество, пережитое в детстве, на душевную раздвоенность, начавшуюся с этого же времени, должны быть поставлены в связь с его отношением к дяде. Он был не в силах уважать человека, который должен был заступать по отношению к мальчику место его отца и который всем существом своим, всеми поступками производил впечатление жалкое и смешное.

Лисков хотел всецело овладеть душой Иоганна, но благородная натура мальчика возмутилась против этого. Проницательный ум, глубина чувства, необычайная живость характера -- все это были несомненные достоинства в личности органного мастера. Что же касается так называемого юмора, это чувство у него не являлось результатом особенного воззрения на жизнь во всех ее разветвлениях, не являлось следствием борьбы враждебных принципов, а просто желанием оскорблять всякие условности, соединенным с известным талантом и со стремлением ко всему

необычному, экстраординарному. Со злорадством и с насмешкой, полной издевательства, Лисков всегда старался делать диаметрально противоположное тому, что по обычным понятиям считается обязательным. Именно эта-то злорадная насмешливость отравила нежную чувствительность ребенка. Нельзя, впрочем, отрицать и того, что таинственный органный мастер умел лелеять в сердце мальчика присущее этому последнему зерно глубокого природного юмора, постепенно развившееся и пустившее пышные побеги.

Лисков имел обыкновение много рассказывать об отце Иоганна, с которым он был в тесных дружеских отношениях во время своей юности: образ его -- в таких рассказах -- выступал светло и лучезарно, в ущерб дяде-воспитателю, оставшемуся в совершенной тени. Так, например, однажды органный мастер восхвалял глубокое понимание музыки, которым всегда отличался отец Иоганна, и наряду с этим зло издевался над превратными понятиями о музыке, которые внушал мальчику дядя. Иоганн, весь исполненный мыслями о том, кто был к нему ближе всех и кого он не видел никогда, постоянно просил новых и новых о нем рассказов. Но в таких случаях Лисков моментально умолкал и устремлял свой взор на землю, как человек, занятый серьезной, важной идеей.

-- Что с вами, мейстер, -- спрашивал Иоганн, -- что вас так волнует?

Лисков вздрагивал, точно пробуждаясь от сна, и говорил с улыбкой:

-- Помните ли вы, Иоганн, как я вытащил из-под ваших ног скамейку и вы соскользнули под рояль в тот самый момент, когда вы должны были играть мне отвратительные менуэты вашего дяди?

-- Ах, -- возражал Иоганн, -- я просто не могу подумать о том, как я вас увидел в первый раз. Вам было приятно и забавно огорчить ребенка.

-- Ну, а ребенок был достаточно груб после этого. Однако я совсем тогда и не подозревал, что в вас скрывается такой хороший музыкант. Сыграйте-ка мне теперь, сыночек, какой-нибудь добропорядочный хорал на маленьком органчике. Мне хочется усладиться музыкой. Я буду раздувать вам мехи.

Нужно добавить здесь, что у Лискова было сильное пристрастие ко всяким музыкальным игрушкам, которыми он немало забавлял Иоганна. Еще когда Иоганн был совсем маленьким, Лисков имел обыкновение при каждом посещении приносить ему что-нибудь особенное.

Мальчик получал в подарок то какое-нибудь яблоко, распадавшееся на множество кусков, как только с него счищали кожицу, то какое-нибудь пирожное необычайной формы. Когда Иоганн стал подрастать, он постепенно приобрел знакомство с различным реквизитом натуральной магии. Будучи юношей, он помогал Лискову строить оптические машины, варить симпатические чернила и т. п. Но верхом совершенства во всех этих механических ухищрениях, служивших развлечением и забавой для Иоганна, являлся маленький орган на восьми ножках, с бумажными трубочками, похожий на находящийся в королевском венском музее орган, сделанный в семнадцатом столетии Евгением Каспарини. Волшебный инструмент Лискова отличался необыкновенно увлекательной силой и

мелодичностью звука, и Иоганн свидетельствует, что никогда он не мог играть на нем без глубочайшего волнения и без того, чтобы в душе его не возникали настоящие благоговейные церковные мелодии.

Когда Иоганн сыграл однажды на этом органе два хорала, как просил его Лисков, он заиграл разученный за несколько дней перед этим гимн *Misericordias domini cantabo* [*Славлю милосердие Божие*" -- лат.]. После того как Иоганн кончил, Лисков вскочил с своего места, крепко прижал его к своей груди и с громким смехом воскликнул:

-- Чего ты дразнишь меня всегда своими жалобными кантиленами? Если бы я не раздувал мехи органа постоянно, когда ты играешь, ты не мог бы сыграть ничего путного. Но теперь я удаляюсь со всей поспешностью, оставляю тебя одного, и ты можешь поискать в целом свете такого хорошего помощника!

При этих словах на глазах его выступили слезы. Он быстро выскочил из комнаты и, уходя, сильно хлопнул дверью. После этого он из-за двери просунул голову в комнату и сказал мягким голосом:

-- Иначе я не могу поступить. Прощай, Иоганн! Если когда-нибудь дядя хватится своего *Gros de Tour* -- жилета с красными разводами и не найдет его, скажи тогда, что этот жилет украден мной: я заодно заказал себе тюрбан, потому что мне хотелось быть представленным великому султану. Прощай, Иоганн!

Никто не мог понять, почему Негг Лисков так неожиданно покинул прекрасный городок Гениэнсмюль, почему он не сказал ни единой душе, куда он решил отправиться. Дядя говорил:

-- Я уже давно догадывался, что им владеет какой-то беспокойный дух: он хоть и делал прекрасные органы, а на месте ему все-таки не сиделось. Хорошо, что наш рояль теперь в порядке; что касается самого Лискова, так мне, право, нисколько не хочется видеть этого сумасброда.

Иоганн был совсем другого мнения: он чувствовал отсутствие Лискова решительно везде, и Гениэнсмюль стал представляться ему мертвенной, мрачной тюрьмой.

Таким образом Иоганн должен был поневоле последовать совету органного мастера и искать себе другого помощника в занятиях музыкой. Предварительные изучения были им уже все сделаны, дядя полагал, что Иоганн может переселиться теперь в резиденцию, под крылышко к тайному советнику при посольстве, чтобы там окончательно сформироваться. Так и случилось.

Издатель предлагаемых записок обещал представить благосклонному читателю рассказ и о втором периоде в жизни Крейсера, именно о том периоде, когда Иоганн Крейслер потерял свое почетное положение советника при посольстве и, в известном смысле, был удален из резиденции; но, к сожалению, издатель должен признаться, что все находящиеся в его распоряжении сведения касательно этого пункта крайне бедны, ничтожны и отрывочны.

В конце концов нужно, однако, сказать следующее. После того как Крейслер вступил в исправление должности советника при посольстве,

унаследованной им от покойного дяди, князя в его резиденции посетил некий коронованный колосс и так крепко сжал его в дружеском сердечном объятии, в своих мощных железных руках, что князь при этом наполовину утратил свое собственное дыхание. Коронованный колосс отличался какой-то непобедимой притягательной силой, и все слагалось так, как хотел он, хотя бы для этого нужно было поставить все вверх дном. Многие находили дружбу князя с упомянутой коронованной особой довольно странной и опасной, желали расстроить ее, но таким образом становились лицом к лицу с трудной дилеммой: или признать эту дружбу превосходной, или найти вне страны какую-нибудь точку опоры, которая бы дала возможность увидеть могучего колосса в надлежащем свете.

Среди лиц, поставленных в связь такой дилеммой, находился и Крейслер.

Несмотря на свой дипломатический характер, Крейслер сохранил порядочную дозу невинности и, именно благодаря этому бывали моменты, когда он не знал, на что ему решиться и как поступить в том или в другом случае. В один из подобных моментов он спросил некую прекрасную вдову, находившуюся в глубоком трауре, что она полагает насчет советников при посольстве. Она ответила в приличных и даже нарядных выражениях, и, в конце концов, оказалось, что она не может сказать ничего определенного о советнике при посольстве, пока он с энтузиазмом занимается искусством, в то же время не отдаваясь ему вполне.

-- Прекраснейшая из всех вдовствующих женщин, -- сказал ей на это Крейслер, -- я порываю с прошлым и уезжаю!

Когда все приготовления к отъезду были уже сделаны и он со шляпой в руке готов был откланяться, испытывая при этом некое волнение и приличную при отъезде грусть, вдова вложила ему в карман приглашение занять должность капельмейстера при дворе великого герцога, который подобрал себе утраченные князем Ирнеем владеньца.

Вряд ли нужно добавлять, что дама в трауре была советница Бенцон, только что лишившаяся одновременно и мужа, и ранга.

Обстоятельства сложились таким необычайно удивительным образом, что как раз в это время Бенцон...

(М. прод.) ...Понто, недолго думая, устремился к девице, продающей хлеб и колбасы и чуть не убившей меня, в то время как я подошел к ней с самыми дружескими намерениями.

-- Милый пудель, милый Понто, что ты делаешь, будь осторожен, бойся этой бессердечной, жестокой девицы, бойся мстительного колбасного принципа!

Так возглашал я, идя сзади за Понто. Но, не обратив на мои слова ни малейшего внимания, он продолжал свой путь, а я держался в некотором отдалении, чтобы в случае опасности моментально скрыться. Достигнув стола, пудель Понто встал на задние лапы и, делая забавнейшие прыжки, начал плясать около девицы, пришедшей в восторг. Она подозвала его к себе. Понто приблизился, положил свою голову на ее колени, потом опять вскочил, стал весело лаять, прыгать вокруг стола, с скромной

почтительностью поводить носом и устремлять на девушку дружеские взоры.

-- Ты колбаски хочешь, славный мой пудель? -- спросила девица, и, когда Понто, виляя хвостом и громким взвизгиванием выражая утвердительный ответ, стал к ней ласкаться, я, с немалым удивлением, увидел, что она взяла одну из самых больших, прекрасных колбас и подложила ему под нос. Он в виде благодарности протанцевал перед ней еще один небольшой балетный танец и, поспешив в мою сторону с колбасой в зубах, положил ее передо мной и дружески присовокупил:

-- Ешь-ка, любезнейший, подкрепишь немножко!

После того как я съел колбасу, Понто предложил мне следовать за ним, говоря, что он проводит меня до квартиры мейстера Абрагама.

Мы отправились в путь, не торопясь и идя рука об руку, так что нам нетрудно было вести при этом разумную беседу.

-- Вижу теперь ясно, -- так начал я разговор, -- что ты, милый Понто, умеешь держать себя в свете гораздо лучше, чем я. Никогда бы не удалось мне тронуть сердце той жестокосердой, которую ты растрогал так скоро и легко. Но -- прости меня! -- во всем твоём поведении по отношению к продавщице колбас было нечто, против чего возмущается мое внутреннее, прирожденное мне чувство. Какое-то унижительное ласкательство, отречение от чувства самосознания и самоопределения, измена благородным природным качествам. Нет, милый мой пудель, я бы не мог принимать такой дружеский тон, стараться изо всех сил увенчать свои усилия разными ухищренными маневрами и выпрашивать так нищенски. Когда мной овладевает сильный голод или аппетит к чему-нибудь особенному, я ограничиваюсь тем, что вспрыгиваю на стул мейстера и выражаю свое желание нежным мурлыканьем. И даже это скромное мурлыканье есть скорее напоминание о принятой им обязанности заботиться об удовлетворении моих потребностей, чем просьба о каком-то благодеянии.

Понто громко расхохотался на мои слова и потом начал так:

-- О, Мурр, добрейший кот, может быть ты и славный литератор и прекрасно понимаешь разные тонкости, о которых я не имею ни малейшего представления, но насчет практической жизни я скажу, что ты, брат, в ней ничего не смыслишь и мог бы совсем пропасть, так как у тебя нет ни одной капли здоровой житейской мудрости. Во-первых, ты, вероятно, рассуждал бы совсем иначе, когда ты еще не съел колбасу, потому что люди голодные много вежливее и покладистее сытых; потом, насчет моей так называемой унижительной подчиненности ты находишься в большом заблуждении. Танцы и прыжки, как ты сам знаешь, доставляют мне большое удовольствие, и я нередко занимаюсь ими без всякого внешнего к тому поощрения. Если я иногда, собственно для моциона, проделываю свои искусства перед людьми, так я ведь забавляюсь, видя, как эти глупцы думают, что я желаю доставить им развлечение по особому к ним расположению. Они думают так даже тогда, когда совершенно ясно видны намерения противоположные. Ты сейчас имел перед глазами наглядный

пример: не должна ли была девица увидеть сразу, что мне нужно было только получить колбасу, и однако же она пришла в полный восторг, когда я показал свои искусства -- ей, совершенно мне незнакомой, точно лицу компетентному в подобных вещах? Разве она, подчинившись чувству восторга, не сделала того, к чему клонились мои намерения? Человек благоразумный должен стремиться к собственной выгоде, делать вид, что он заботится только о других, в то время как он только стремится к собственной выгоде: тогда всеми этими "другими" можно вертеть, как тебе заблагорассудится. Очень многие выказывают себя услужливыми, любезными, скромными, всецело проникнутыми сознанием общественной пользы, а между тем у них только и есть на уме, что возлюбленное свое "я", которому все служат, незаметно для самих себя. Таким образом то, что ты заблагорассудил назвать уничижительным ласкательством, есть на самом деле истинная житейская мудрость, базисом которой служит познание и насмешливая эксплуатация чужой глупости.

-- О, Понто, -- возразил я, -- ты -- человек эстетский, это несомненно; и опять, я повторяю, что о практической жизни ты имеешь гораздо больше понятия, чем я. Но, несмотря на все это, я с трудом верю, чтобы твои искусства могли доставлять удовольствие самому тебе. По крайней мере, меня до глубины души потряс один твой номер: как-то раз в моем присутствии ты принес к ногам твоего господина лакомый кусок жаркого, держа его в зубах, и не раньше мог съесть, как получил от твоего господина позволение в виде одобрительного кивка.

-- Договори же до конца, милый Мурр, -- проговорил Понто, -- что было дальше?

-- Оба -- и твой господин, и мейстер Абрагам -- хвалили тебя свыше всякой меры и подставили тебе под нос полную тарелку жаркого, которое ты истребил с поразительным аппетитом.

-- Итак, любезнейший кот, -- продолжал Понто, -- неужели ты думаешь, что я получил бы такую богатую порцию, если бы я, неся в зубах маленький кусочек жареного мяса, съел его? Научись же, неопытный юноша, что не нужно бояться маленькой жертвы, когда рассчитываешь посредством нее получить большую выгоду. Удивляюсь, как это ты при всей своей учености не понял еще до сих пор, что большее нужно предпочитать меньшему, что скорее нужно выбрать ветчину, нежели колбасу. Положа лапу на сердце, должен тебе сознаться, что, если я найду где-нибудь в укромном уголке целую часть жаркого, конечно, я немедленно, не дожидаясь разрешения своего господина, пожру его целиком, при соблюдении того условия, что я могу сделать это никем не замеченный. Одним из основных законов нашей природы является тот факт, что в укромном уголке мы поступаем совсем не так, как на открытой улице. Впрочем, правило, почерпнутое из самых глубин житейской мудрости, гласит, что в мелочах рекомендуется быть строго честным.

Несколько мгновений я хранил молчание, размышляя о высказанных пуделем Понто принципах. Припомнилось мне, что как будто бы я читал где-то, что каждый должен действовать, как того требует общественное

начало, что каждый должен поступать так, как он хотел бы, чтобы поступали по отношению к нему самому, -- напрасно пытался я сопоставить этот принцип в гармоническом согласии с житейской мудростью Понто! Мне пришло на ум, что, быть может, вся дружба, которую только что выказал по отношению ко мне Понто, клонится к его выгоде и ко вреду для меня. Предположение свое я без церемонии выразил вслух.

-- Ах ты, плутишка! -- воскликнул со смехом Понто. -- Разве о тебе идет речь? Ты не можешь доставить мне никакой выгоды, не можешь причинить мне никакого зла. Я не завидую твоим мертвым наукам, наши дороги разные. Если бы тебе пришло желание причинить мне какой-нибудь вред, ты был бы не в состоянии даже проявить свои враждебные замыслы, так как и в силе, и в ловкости я превосхожу тебя. Один прыжок, одна славная хватка зубами -- и тут же тебе был бы конец.

Меня охватил великий страх перед собственным моим другом, усилившийся еще больше, когда с ним приятельски поздоровался какой-то большой черный пудель, после чего оба они, поглядывая на меня своими огненными глазами, начали тихо разговаривать между собою.

Прижав уши к голове, я стал в сторонке, как вдруг черный пудель побежал прочь, а Понто опять подскочил ко мне и воскликнул:

-- Ну, пойдем же, любезнейший!

-- Боже мой, -- воскликнул я, -- что это за солидный господин разговаривал с тобой? Он так же искушен в светском образовании, как и ты?

-- Мне кажется даже, -- возразил Понто, -- что ты испугался моего добрейшего дядюшки -- пуделя Скарамуша? [*От нем. Scaramutz -- скоморох, шут.*] Эх, братец, хоть ты и кот, а точно заяц.

-- Но почему же, -- спросил я, -- твой дядя кидал на меня такие огненные взгляды, и о чем он шептался с тобой так таинственно, так подозрительно?

-- Не могу не признаться тебе, добрейший Мурр, -- отвечал Понто, -- что мой дядя, находясь в преклонном возрасте, порядочный брюзга и держится закоренелых предрассудков, как это вообще свойственно людям старым. Он удивился тому, что мы -- вместе, так как различие ранга воспрещает нам всякое сближение подобного рода. Я удостоверил его, что ты -- юноша чрезвычайно образованный, нрава весьма приятного, и что по временам ты развлекаешь меня. После этого он сказал, что я могу время от времени беседовать с тобой наедине, только я не должен водить тебя с собой в Пудель-ассамблею, потому что ты никогда не можешь сделаться правоспособным или, вернее сказать, ассамблееспособным уже по той одной причине, что у тебя слишком короткие уши, явно свидетельствующие твое низкое происхождение и презираемые порядочными длинноухими пуделями. Я обещал последовать его совету.

Если бы я знал тогда что-нибудь о великом моем предке, Коте в сапогах, который достиг высоких ступеней и почестей, и был закадычным другом короля Готлиба, я легко мог бы доказать моему другу Понто, что всякая

Пудель-ассамблея должна быть польщена причастием к ней отпрыска славной фамилии; но, еще не выйдя из темной неизвестности, я должен был терпеть мнимое превосходство надо мной Скарамуша и Понто.

Мы продолжали идти вперед. Как раз перед нами шел какой-то молодой человек, который вдруг с громким, радостным возгласом отступил на шаг назад так быстро, что, не отпрыгни я в сторону, я неизбежно получил бы тяжкое увечье. Точно с таким же радостным возгласом к нему устремился другой молодой человек, который шел навстречу. Оба крепко обнялись, как два друга, давно не видевшиеся, прошли некоторое пространство перед нами, взяв друг друга под руку, потом остановились и расстались так же нежно, как встретились. Тот молодой человек, который был перед нами, долго смотрел вслед ушедшему другу, потом быстро шмыгнул в один из ближайших домов. Понто остановился, я тоже. Во втором этаже дома, куда вошел молодой человек, раскрылось окно, из него выглянула красивая девушка, сзади нее стоял молодой человек, и оба они громко смеялись, смотря вслед другу, который удалялся. Понто посмотрел вверх и пробормотал что-то сквозь зубы, чего я не понял.

-- Почему ты медлишь здесь, милый Понто? -- спросил я. -- Разве мы не пойдем дальше?

Понто, однако же, постоял несколько минут, не отвечая на мой вопрос, потом покачал головой и безмолвно продолжал путь. Когда мы достигли красивой площади, усаженной деревьями и украшенной статуями, Понто проговорил:

-- Подождем здесь немножко, милый Мурр. Знаешь, у меня просто из головы не выходят те два молодых человека, которые так нежно обнялись на улице. Это такие же друзья, как Дамон и Пилад.

-- Дамон и Питиас, -- поправил я, -- Пилад был другом Ореста, которого он в шлафроке относил в постель и отпаивал ромашкой, когда фурии и демоны чересчур жестоко обходились с беднягой. Сразу видно, любезный Понто, что в истории ты не очень силен.

-- Все равно, -- продолжал пудель, -- историю этих двух друзей я отлично знаю и могу рассказать ее со всеми подробностями, как я ее двадцать раз слышал от своего господина. Быть может, наряду с Дамоном и Питиасом, Орестом и Пиладом, ты, как третью пару, назовешь Вальтера и Формозуса. Формозус -- тот самый молодой человек, который чуть не раздавил тебя, обрадовавшись встрече со своим возлюбленным другом Вальтером. Вон там в прекрасном доме со светлыми зеркальными окнами живет старый чрезвычайно богатый президент, к которому Формозус -- своим блестящим умом, своей ловкостью, своими прекрасными знаниями -- сумел так вкратиться в доверие, что вскоре старик стал относиться к нему, как к родному сыну. Случилось так, что Формозус как-то вдруг утратил всю свою веселость, стал выглядеть больным и бледным, начал в течение каждой четверти часа вздыхать по десяти раз так тяжело и глубоко, как будто он умирал, перестал интересоваться чем бы то ни было и всецело погрузился в мир каких-то мечтаний. Долгое время старик тщетно выпытывал у юноши причину его тайной горести; наконец выяснилось, что

Формозус смертельно влюблен в единственную дочь президента. Сперва старик пришел в ужас, потому что насчет своей дочки он имел совсем другие планы, -- у Формозуса не было ни порядочной должности, ни ранга. Но когда бедный юноша продолжал чахнуть все больше и больше, старик ободрился духом и спросил Ульрику, как ей нравится молодой человек, и не говорил ли он ей что-нибудь о своей любви? Ульрика опустила глаза и сказала, что Формозус прямо не признавался ей в любви, конечно, из сдержанности и скромности, но что она давно уже заметила его любовь к ней, так как подобные вещи никогда не проходят незамеченными. Впрочем, молодой Формозус ей очень нравится, и если нет никаких препятствий, если папенька не имеет ничего против -- словом, Ульрика сказала все, что имеют обыкновение говорить в таких случаях девушки, которые находятся уже не в первом расцвете своей красоты и усердно размышляют: "Кто тебя возьмет в жены?" Тогда президент сказал Формозусу: "Подбодрись, приятель! Будь весел и радостен: моя Ульрика будет твоей!" И Ульрика сделалась невестой молодого Формозуса. Все от чистого сердца желали счастья прекрасному, скромному юноше, только один из знавших его впал в уныние и отчаяние: это был Вальтер, с которым Формозус жил душа в душу. Он видел несколько раз Ульрику, говорил с ней и влюбился, быть может, еще сильнее, чем Формозус. Однако я все говорю "любовь", "влюбился" и не спрошу тебя, любезный кот, любил ли ты сам и знаешь ли, что это за чувство?

-- Что меня касается, милый Понто, -- ответил я, -- мне кажется, что я еще не любил и не люблю, потому что до сих пор не испытывал того состояния, которое описывают все поэты. Вполне доверять поэтам, конечно, нельзя, но изо всего, что я читал по вопросу о любви, она представляется мне собственно ничем иным, как психическим болезненным состоянием, проявляющимся у людской породы в виде частичного помешательства: так, человек влюбленный считает тот или другой предмет совсем другой вещью, чем этот предмет является на самом деле, -- например, маленькая толстенькая девчонка, штопающая чулки, представляется ему некоей богиней. Но продолжай, однако, милый Понто, рассказ о двух друзьях, Формозусе и Вальтере.

Понто рассказал далее следующее:

-- Вальтер бросился Формозусу на шею и проговорил, обливаясь слезами: "Ты навсегда похищаешь счастье моей жизни, но ты сам счастлив, и в этом мое утешение. Прощай, друг мой, прощай навеки!"

После этого Вальтер побежал в чащу кустов и хотел застрелиться. Но в отчаянии он забыл зарядить пистолет, благодаря чему он ограничился припадками безумия, повторявшимися ежедневно. Однажды Формозус после нескольких недель, в течение которых он не видел Вальтера, вошел к нему и увидел его распростертым на полу и заливающимся горячими слезами перед пастельным портретом Ульрики, висевшим на стене.

-- Нет, -- воскликнул тут Формозус, прижимая Вальтера к своей груди, -- я не в силах видеть твоих страданий, твоего отчаяния; я охотно жертвую тебе свое счастье. Я отказался от Ульрики и убедил старика, чтобы он

назвал тебя своим зятем. Ульрика тебя любит, быть может, сама того не подозревая. Делай ей предложение, я устраниюсь. Прощай!

Он хотел уйти, Вальтер удержал его. Все, что сказал Формозус, представлялось Вальтеру каким-то сном, и он уверовал в правду слов своего друга только после того, как этот последний вручил ему собственноручное письмо старого президента, гласившее приблизительно следующее:

"Благородный юноша! Ты победил. Неохотно отпускаю я тебя, но чту твою дружбу, равносильную твоему героизму, подобный которому описывается лишь у древних писателей. Пусть господин Вальтер, человек с прекрасными качествами и с отличной должностью, сватается к моей дочери Ульрике. Если она согласится на его предложение, я с своей стороны не имею против этого ничего".

Формозус действительно уехал, Вальтер сделал предложение, и Ульрика стала его женой. Старый президент написал Формозусу письмо, где спрашивал, не возьмет ли тот у него, в виде слабого знака симпатий к его личности три тысячи талеров, конечно, не в качестве награждения, которое немыслимо в подобных случаях, а просто для того, чтобы доставить удовольствие старому президенту. Формозус ответил, что старик знает скромность его потребностей, что деньги не могут сделать его счастливым, и только время его утешит и излечит от сознания потери, в которой не виноват никто, кроме судьбы, зажегшей в сердце дорогого друга любовь к Ульрике. Формозус прибавил, что с его стороны не было никакого благородного героизма, что в его отречении от счастья виновна опять только одна судьба. Впрочем, он готов принять подарок под тем условием, чтобы старик направил его к одной бедной вдове, которая вместе со своей добродетельной дочерью живет в таком-то месте в крайней безысходной нужде. Вдова была найдена и получила предназначенные для Формозуса три тысячи рейхсталеров. Вскоре после этого Вальтер написал Формозусу: "Я больше не в состоянии жить без тебя, вернись в мои объятия!" Формозус так и сделал и узнал по своему возвращении, что Вальтер отказался от своего прекрасного места, под условием, чтобы оно было передано Формозусу, давно уже мечтавшему о такой должности. Формозус занял оставленный Вальтером пост, и, если упустить из виду обманутые его надежды насчет женитьбы на Ульрике, он был в самом отличном положении. Все удивлялись соревнованию в благородстве между обоими друзьями, их поведение было как бы отзвуком давно минувшего времени, примером героизма, на который способны только люди с великим духом.

-- И вправду, -- начал я, после того как Понто умолк, -- сопоставляя твой рассказ со всем, что я читал, я вижу теперь, что Вальтер и Формозус -- благородные, сильные люди, полные самоотвержения и совершенно незнакомые с твоей хваленной житейской мудростью.

-- Гм, -- возразил Понто со злостной усмешкой, -- в том-то весь и вопрос! К моему рассказу нужно присоединить сообщение о двух обстоятельствах, о которых никто в городе не знал и о которых я слышал от своего господина, а отчасти и сам узнал о них, внимательно следя и подслушивая.

Любовь Формозуса к богатой дочери президента вовсе была не так сильна, как думал об этом старик, потому что во время высшего развития этой губительной страсти молодой человек не переставал после дневного отчаяния посещать по вечерам самым аккуратным образом молоденькую, хорошенькую модисточку. Когда Ульрика сделалась его невестой, он вскоре увидел, что эта ангельской доброты фрейлейн обладает специальным талантом при удобном случае моментально превращаться в дьявола. Кроме того из верных источников он получил сведения, что фрейлейн Ульрика имела в резиденции совершенно достаточные опыты в любви и в любовном счастье; тогда Формозусом овладел приступ благородства, вследствие которого он уступил богатую невесту своему другу. Вальтер, видевший Ульрику в различных общественных местах в полном блеске самых нарядных туалетов влюбился в нее по уши. А для Ульрики было довольно безразлично, кто из двоих -- Формозус или Вальтер -- будет ее супругом. У этого последнего действительно была прекрасная должность, однако при исправлении ее он столько покуролесил, что предвидел скорую отставку. Тогда он предпочел заблаговременно отказаться от должности в пользу своего друга и таким образом, посредством акта, имеющего все признаки благородства, Вальтер спас собственный престиж. Три тысячи талеров, вложенные в солидные бумаги, были вручены некоей старой, весьма добропорядочной матроне, которая называла себя то матерью, то кормилицей, то прислужницей хорошенькой модистки. В истории с получением трех тысяч талеров она играла двойную роль: получала деньги как мать, передавала деньги как прислужница, причем за услугу получила хорошее вознаграждение. Названная модистка есть именно та девица, которая, как ты, Мурр, сам видел, только что вместе с Формозусом выглядывала из окна вслед за ушедшим господином. Впрочем оба, и Формозус, и Вальтер, надлежащим образом уразумели благородство взаимного их поведения, и, чтобы устраниваться от обоюдных похвал, долго избегали друг друга. Сегодняшняя встреча их была совершенно случайной и, как мы видели, до крайности сердечной.

В это мгновение раздался шум и поднялась страшная суматоха. Люди бежали вперегонки и кричали: "Пожар, пожар!" Всадники мчались по улицам, кареты катились с грохотом. Из окон одного соседнего дома вырывались клубы дыма вместе с пламенем. Понто быстро помчался вперед, а я, объятый страхом, вскарабкался на высокую лестницу, приставленную к одному из домов, и через несколько мгновений был на крыше в полной безопасности. Но совсем неожиданно...

(Мак. л.) ...Совсем нечаянно, -- проговорил князь Иреней, -- без доклада гофмаршала, без заявления дежурного камергера, могу даже сказать -- я говорю это только вам, мейстер Абрагам, пожалуйста, не разглашайте этого, -- могу даже сказать, что без доклада прислуги (ни одного ливрейного лакея не было в приемных комнатах) негодяи все бездельничали в передней, играли в карты. А это большой порок! К счастью, проходил через комнаты тафельдекер (накрывающий на стол) и в

дверях схватил его за полу сюртука, спрашивая, как о нем доложить князю. Тем не менее он мне понравился, это человек весьма учтивый. Вы, кажется, утверждали, что он ни больше, ни меньше, как простой музыкант? Даже без всякого чина?

Мейстер Абрагам удостоверил, что Крейслер, конечно, жил раньше совсем в иных условиях, дававших ему возможность обедать за княжеским столом, и что только суровая десница времени исторгла его из сферы таких условий, но что, впрочем, он непременно желает сохранять строгое инкогнито относительно своего прошлого.

-- Итак, -- сказал князь, -- быть может, он дворянин, быть может, барон... граф... быть может, даже... Но не будем слишком увлекаться такими призрачными надеждами! Я, знаете ли, несколько *faible* [*Склонен, питаю слабость -- фр.*] к таким таинственным историям. После французской революции были славные времена: маркизы фабриковали сургуч, графы вязали ночные колпаки, каждый хотел быть просто *monsieur* такой-то, и все потешались на грандиозном маскированном балу... Да, так мы говорили о господине Крейслере. Бенцон -- женщина сведущая, она его хвалила, рекомендовала мне, она права. По манере держать шляпу под мышкой я сразу увидел, что имею дело с человеком образованным, с человеком хорошего тона.

Князь присовокупил еще несколько похвал относительно наружности и манер Крейслера. Мейстер Абрагам был уже вполне уверен, что ему удастся привести свой план в исполнение: ему хотелось присоединить в качестве капельмейстера своего закадычного друга к мифическому придворному штату и удержать его таким образом в Зигхартсвейлере. Но когда мейстер опять завел об этом разговор, князь решительно заявил, что из его предложения ровно ничего не может выйти.

-- Посудите вы сами, мейстер Абрагам, -- продолжал он, -- возможно ли мне ввести в тесный круг своей семьи этого приятного человека, если я его приглашу в качестве капельмейстера, то есть сделаю его в известной степени моим чиновником? Я мог бы облечь его придворным званием и сделать его своим *maitre de plaisirs* или *des spectacles* [*Устроитель удовольствий или устроитель зрелищ -- фр.*], музыку он знает основательно и, как вы говорите, опытен, кроме того, в театральном деле. Но я держусь принципов моего любезного покойного родителя, который всегда утверждал, что упомянутый *maitre* прежде всего должен быть совершенно несведущим в вещах, его касающихся, иначе он будет слишком много заботиться как об них, так и о лицах, с ними тесно связанных, например об актерах, музыкантах и так далее.

Мейстер Абрагам хотел удалиться, но князь продолжал:

-- Так как вы, мейстер Абрагам, являетесь в известном смысле *charge d'affaires* [*Поверенный -- фр.*] господина Крейслера, я не скрою от вас, что только две вещи в нем не особенно мне нравятся; может быть, впрочем, это скорее привычки, чем настоящие глубокие черты его характера. Во-первых, он прямо смотрит мне в лицо, когда я с ним говорю. Могу засвидетельствовать, что у меня совсем-таки достопримечательные глаза,

они могут страшно блистать, как глаза покойного Фридриха Великого; ни один камер-юнкер, ни один паж не осмеливается смотреть на меня прямо, когда я устремляю пламенный взор и спрашиваю, не провинился ли опять такой-то mauvais sujet [*Шалонай* -- фр.] или не поел ли он все миндальные конфеты; но господин Крейслер -- как бы на него я ни смотрел -- не обращает на это ни малейшего внимания, смотрит на меня пристально и еще улыбается таким образом, что... что я сам поневоле опускаю глаза. Потом, у него такая странная манера говорить и отвечать, что можно, право, иногда подумать, как будто бы все ваши слова так, какие-то пустячки, как будто бы вы сами -- последняя буква в азбуке. Это, знаете ли, несносно, и вы, мейстер, должны позаботиться, чтобы господин Крейслер оставил подобные привычки.

Мейстер Абрагам обещал сделать все сообразно с желаниями князя и снова вознамеривался удалиться. Тогда князь упомянул еще об особенном недоброжелательстве к Крейслеру, выказанном принцессой Гедвигой, сказал, что девушка с некоторых пор страдает какими-то странными причудами и фантазиями, и что лейб-медик назначил ей на ближайшую весну лечение сывороткой. Гедвига, именно, настаивает на странной мысли, что Крейслер бежал из дома умалишенных и при первом случае натворит всяких злокозненных приключений.

-- Скажите, мейстер Абрагам, -- продолжал князь, -- скажите, пожалуйста, разве человек разумный может иметь хоть малейший признак ненормальности душевного состояния?

Абрагам возразил, что Крейслер столько же сумасшедший, сколько и он сам, но что иногда он, правда, держит себя несколько странно и приходит в душевное состояние, которое можно сравнить с душевным состоянием принца Гамлета и, следовательно, является крайне интересным.

-- Сколько мне известно, -- прервал князь мейстера Абрагама, -- молодой Гамлет был отличный принц, из очень видной правящей фамилии, иногда только носившийся с очень странной идеей, что все придворные должны превосходно уметь играть на флейте. Высокорожденным особам приличествует впадать иногда в эксцентричности, это увеличивает респектабельное к ним отношение. Что нужно назвать абсурдом у человека без положения и без ранга, то у них является лишь очень милой причудой, показывающей необычный ум, который должен вызывать удивление и почтение. Господин Крейслер находится на настоящей, хорошей дороге. Если же он непременно хочет подражать принцу Гамлету, это прекрасное стремление к высшему, рожденное, по всей вероятности, его усиленными занятиями музыкой. Ему, правда, можно извинить, если он иногда ведет себя несколько странно.

По-видимому, мейстеру Абрагаму не суждено было в тот день выйти из комнаты, где он беседовал с князем, потому что едва только он растворил дверь, как опять князь вернул его назад и пожелал узнать, откуда могла бы проистекать антипатия принцессы Гедвиги по отношению к Крейслеру. Мейстер Абрагам рассказал, каким образом Крейслер встретился в придворном парке с принцессой и с Юлией, и выразил предположение, что

возбужденное состояние, в котором находился тогда капельмейстер, могло неприятно подействовать на даму с тонкими нервами.

Князь с некоторой горячностью выразил надежду, что господин Крейслер на самом деле, вероятно, прибыл в Зигхартсвейлер не пешком, вероятно, карета стояла где-нибудь на одной из широких аллей парка, потому что только заурядные искатели приключений странствуют пешком.

Мейстер Абрагам, с одной стороны, упомянул о всем известном храбром офицере, который пробежал от Лейпцига до Сиракуз, ни разу не подбив новые подошвы под сапоги; с другой стороны, сообщил, что Крейслер тем не менее оставил, как надо полагать, где-нибудь карету. Князь был удовлетворен.

В то время как все это происходило в покоях князя, Иоганн сидел у советницы Бенцон перед прекраснейшим роялем и аккомпанировал Юлии, которая пела страстный речитатив Клитемнестры из "Ифигении" Глюка. Пишущий эти строки биограф должен, к сожалению, для верности портрета своего героя, добавить, что этот последний имел вид весьма экстравагантный, и спокойному наблюдателю мог на самом деле показаться безумным, когда приходил в музыкальное вдохновение. Еще раньше, когда Юлия пела в парке, Крейслер выразился образно, что в это время "страстная мука любви, дивные чары таинственных снов, надежда, желание, как волны, промчались среди спящего леса, чтоб пасть серебристой росой на чашечки нежных цветов, на влюбленную грудь соловьев, невольно умолкших". После этого, казалось бы, нельзя придавать особенной цены суждению Крейслера о пении Юлии. Однако биограф в данном случае может засвидетельствовать перед благосклонным читателем, что пение Юлии, которого он, к крайнему своему сожалению, никогда не слышал, должно было поистине заключать в себе что-то таинственное, что-то волшебное. Необычайно солидные люди, которые только совсем еще недавно обрезали свои косицы, которые, после какой-нибудь запутанной тяжбы, после замысловатой болезни или после надлежащего объедения страсбургскими паштетам, приходили в театр и нисколько не теряли душевного равновесия от разговора с Глюком, Моцартом, Бетховеном или Спонтини, так вот такие-то люди нередко уверяли, что, если бы на сцене пела фрейлейн Юлия Бенцон, у них было бы совсем своеобразное настроение -- они сами не могут сказать, какое именно. Ими иногда овладевала какая-то тоска, доставлявшая, однако, их сердцам неопишемое блаженство, и часто они доходили до такого состояния, что готовы были делать всякие дурачества и кривляться наподобие молодых фантазеров или стихотворцев. Достоверно еще следующее обстоятельство: когда Юлия пела однажды при дворе, князь Иреней несколько раз совершенно явственно вздохнул; когда же пение было кончено, он прямо подошел к Юлии, прижал ее руку к своим губам и произнес при этом самым плачевным голосом: "Достойнейшая фрейлейн!" Гофмаршал осмеливался утверждать, что князь Иреней действительно поцеловал у маленькой Юлии руку и что, когда он целовал, две слезы капнули из его глаз. Но по инициативе обер-гофмейстерины такое

утверждение было найдено неприличным и, как противное благу и репутации княжеского двора, было подвергнуто опровержению.

Юлия, обладая металлически-чистым и звучным голосом, пела с чувством, с глубоким вдохновением; в этом именно и могла заключаться чарующая сила, которая непобедимым образом действовала на слушателей, как раньше, так и сегодня, в описываемый нами день. Она пела, и у каждого слушателя останавливалось дыхание, и грудь сжималась от невыразимой сладкой боли; когда она кончила, несколько мгновений длилось молчание, потом восторг выразился в бурном бешеном одобрении. Только Крейслер сидел безмолвно, пристально смотря перед собой и прислонившись к спинке стула. Потом он медленно встал, Юлия повернулась к нему со взором, ясно вопрошавшим: "Это на самом деле так хорошо?" Но тотчас же она вспыхнула и опустила глаза: Крейслер, приложив руку к сердцу, пролепетал дрожащим голосом "Юлия!" и потом, низко склонив голову, скорее выскользнул, чем ушел из толпы дам, сомкнувшихся в тесный кружок.

Советница Бенцон с трудом уговорила принцессу Гедвигу показаться за ужином, на котором она должна была встретить капельмейстера Крейслера. Принцесса согласилась только после того, как советница убедила ее, что было бы чистым ребячеством избегать человека за то, что он не похож на всех других, как монета одной чеканки, а является совершенно самородной, оригинальной личностью. Кроме того, Крейслер нашел уже доступ к князю, и было бы невозможно продолжать упрямыться и стоять на своем.

Принцесса Гедвига весь вечер так искусно и так быстро переходила из одного угла в другой, что Крейслер, желавший с ней помириться, никак не мог к ней приблизиться, несмотря на все свои старания.

Самые искусные маневры она отражала самой изобретательной тактикой. Бенцон, видевшая все это, тем более должна была удивиться, когда принцесса вдруг вышла из круга дам и прямо подошла к Крейслеру. Капельмейстер стоял точно в забытьи, и был пробужден лишь тогда, когда принцесса обратилась к нему и спросила, неужели только он один каким жестом, каким словом не выкажет одобрения, завоеванного Юлией.

-- Милостивейшая государыня, -- возразил Крейслер тоном, избличавшим глубокое внутреннее волнение, -- по справедливому замечанию одного из знаменитых писателей, люди, испытывающие блаженство, выражают свое счастье не словами, а взглядами и мыслями. Мне чудится, как будто я нахожусь на небесах!

-- В таком случае, -- проговорила с улыбкой принцесса, -- наша Юлия -- ангел света, так как она открыла вам райские двери. Теперь, однако, я попрошу вас на несколько мгновений покинуть небеса и выслушать бедное дитя земли, стоящее перед вами.

Принцесса замолчала, точно она ждала, что Крейслер что-нибудь скажет. Но, так как он молчал, смотря на нее своим пылающим взглядом, она опустила глаза и повернулась в сторону так быстро, что с ее плеч слетела легко надетая шаль, которую Крейслер подхватил налету. Принцесса

остановилась и заговорила неуверенным, колеблющимся тоном, как будто бы она боролась с решением, твердо принятым в душе, но трудным для исполнения.

-- Будемте говорить прозаически -- просто о вещах поэтических. Мне известно, что вы даете Юлии уроки пения. С тех пор как она с вами занимается, она сделала громадные успехи в манере петь и в умении владеть голосом. Это подает мне надежду, что вы сумеете развить и посредственный талант, как, например, мой. Я хочу сказать, что...

Принцесса замолчала и вся вспыхнула. К ней подошла Бенцон и сказала, что напрасно принцесса считает свой музыкальный талант посредственным, так как она отлично играет на рояле и очень выразительно поет. Крейслер, которому принцесса показалась чрезвычайно милой в своем смущении, рассыпался в самых дружеских уверениях, говоря, что для него не может быть высшего счастья, если принцесса пожелает позволить ему помогать словом и делом в ее музыкальных занятиях.

Принцесса слушала капельмейстера с видимым удовольствием, и, когда он кончил и Бенцон взглядом упрекнула ее за странную робость перед этим благовоспитанным человеком, Гедвига проговорил вполголоса:

-- Да, да, Бенцон, вы правы, я часто бываю самым неразумным ребенком!

В то же самое мгновение она, не оглядываясь, взяла шаль, которую Крейслер продолжал держать и теперь подал ей. При этом он коснулся руки принцессы, каким образом -- он сам не знал. Крейслер вздрогнул точно от электрического удара, и ему показалось, что он теряет сознание.

Вдруг Крейслер услышал голос Юлии, веселый и светлый, подобный лучу, прорезающему черные тучи.

-- Я должна петь еще, любезный Крейслер, -- сказала она, -- мне не дают покоя. Мне бы хотелось спеть дуэт, который мы разучили в последний раз.

-- Вы не должны отказывать Юлии, -- вмешалась в разговор Бенцон, -- ступайте к роялю, любезный капельмейстер!

Крейслер безмолвно уселся у рояля и, точно охваченный каким-то опьянением, ударил по клавишам, начиная звучные аккорды дуэта. Юлия запела: "Ah che mi manea l'anima in sì fatal momento" [*"О, почему в эту злосчастную минуту не хватает у меня мужества"* -- *ит.*]. Нужно прибавить, что слова этого дуэта по обычной итальянской манере изображали разлуку любящей пары: к momento [*Мгновение* -- *ит.*] естественным образом являлись рифмы sento и tormento [*Чувство и смятение* -- *ит.*], и, как в сотне других подобных дуэтов, не было также недостатка в Abbi pietade o cielo [*О, сжался, Небо* -- *ит.*] и в репа di morir [*Муки смерти* -- *ит.*]. Крейслер, однако, сочинил эти слова, находясь в состоянии самого пылкого поэтически-музыкального вдохновения, и всякий, кому Бог дал сносные уши, должен был непременно испытывать страстное увлечение. Дуэт превосходил силой самые страстные арии в этом роде, и, так как Крейслер старался выразить высший момент скорби разлуки и совсем не имел в виду того, что может быть выражено певицей легко и с удобством, -- исполнительнице было очень трудно попасть сразу

в надлежащий тон. Таким образом произошло, что Юлия начала робким, неуверенным голосом и сам Крейслер -- не лучше. Но скоро голоса обоих певцов выделились из звуковых волн, подобно двум светлым лебедям, которые то раскрывали свои широкие крылья и шумно летели к золотым сияющим тучкам, то, умирая в сладком любовном объятии, терялись в бешеной буре аккордов, пока наконец глубокие вздохи не возвестили близкую смерть, и последнее *Addio* [*Прости -- ит.*] прозвучало воплем безумной муки.

На каждого из слушателей дуэт произвел глубокое впечатление, на глазах у многих блистали светлые слезы, и сама Бенцон созналась, что она никогда не испытывала ничего подобного даже в театре при самом хорошем исполнении прощальной сцены разлуки. И Юлия, и капельмейстер были засыпаны похвалами, слушатели говорили об истинном вдохновении, слышавшемся в пении и в музыке, и ставили композицию, пожалуй, даже выше, чем она заслуживала.

Во время пения принцесса находилась в явном волнении, хотя она старалась оставаться спокойной и не выказывать никакого участия. Рядом с ней сидела молоденькая придворная дамочка, краснощекая и всегда одинаково расположенная и к слезам, и к смеху; она шептала ей на ухо всякую всячину, но не получила в ответ ничего, кроме отрывочных замечаний, сказанных ради придворных конве-нансов. Принцесса обернулась и к госпоже Бенцон, сидевшей по другую сторону, и начала ей шептать на ухо, как будто никто не пел в комнате, но та, со свойственной ей строгостью, попросила превратить разговоры, пока не будет кончен дуэт. Но теперь, когда пение кончилось, принцесса, с пылающим лицом, с сияющими глазами, начала говорить так громко, что заставила умолкнуть все хвалебные возгласы общества.

-- Да будет позволено и мне высказать свое мнение. Я вполне согласна, что дуэт как музыкальное произведение может иметь свою цену, что Юлия пела великолепно. Но разве это хорошо, что в уютном тесном кружке, где на первом плане должна стоять дружеская беседа, откуда должны быть изгнаны всякие возбуждения, пылкие речи, страстное пение, где все это должно походить на тихий ручеек, журчащий между цветочными клумбами, -- разве хорошо, что в таком кружке появляется нечто экстравагантное, разрывающее сердце, такое сильное и захватывающее, против чего нельзя бороться? Я старалась победить страшную скорбь, которую господин Крейслер облек в звуки, с демоническим искусством издевающиеся над нашей слабой чувствительностью, но никто из присутствующих не был настолько добр, чтобы принять мою сторону! Охотно предоставляю свою слабость вашей иронии, капельмейстер! Охотно сознаюсь, что впечатление, произведенное на меня вашим дуэтом, причинило мне почти физическую боль. Разве не существуют на свете Чимароза или Пазиелло, произведения которых как раз написаны для салонного общества?

-- Боже мой! -- воскликнул Крейслер в то время, как все мускулы его лица пришли в особое состояние, предвещавшее, что он впадет в юмор. -- Боже

мой! Милостивейшая принцесса, не несчастнейший ли я капельмейстер, какого только можно себе представить! Разве не противно всем правилам справедливости, что в обществе нужно скрывать свои волнения, или -- выражаясь образно -- нужно свою волнующуюся, тяжело дышащую грудь стягивать косынкой приличия? Разве все эти пожарные заведения, установленные и созданные обществом "хорошего тона", могут совсем погасить пламя, прорывающееся то здесь, то там? Лейте сколько угодно -- и чаю, и сахарной водицы, прибавьте к этому и должную дозу приличных разговоров и приятного брэнчання, делайте, что хотите, но стоит только тому или другому наглому поджигателю бросить вам в душу конгрессовую ракету--и тотчас же вспыхивает яркое, ослепительное пламя, и горит, и даже жжет, чего никогда не случается с чистым светом луны! Да, милостивейшая принцесса, я самый несчастнейший из всех, живущих на земле капельмейстеров. Запевши ужасный дуэт, я постыдно рискнул зажечь дьявольский фейерверк со всеми горящими шарами, змейками и хвостатыми ракетами. И что же я вижу? Везде горит! Пожар, пожар, разбой! Позвать сюда пожарных, воды, воды! Помогите, спасите!

Крейслер устремился к нотному ящику, вытащил его из-под рояля, открыл его, перерыл все ноты, схватил какую-то партитуру -- это была Malinara Paesiello [*"Мельничиха" Паззелло -- ит.*], уселся за рояль и начал ригурнель известной песенки "La Rachelina, molinarina" [*"Ракелина-мельничиха" -- ит.*], открывающей выход на сцену мельничихи.

-- Но, любезный Крейслер! -- проговорила Юлия робко и испуганно.

Крейслер бросился перед Юлией на колени и стал говорить умоляющим голосом:

-- Милая, дорогая Юлия, сжальтесь над высокопочтенным обществом, пролейте бальзам утешения в эти страждущие сердца, спойте Ракелину! Если вы этого не сделаете, мне ничего больше не останется, как у вас на глазах низвергнуться в бездну отчаяния, на краю которой я уже теперь нахожусь, и напрасно тогда вы будете удерживать меня за полу сюртука, напрасно будете стараться отклонить от мрачного решения, напрасно будете ласково и добродушно восклицать потерянному капельмейстеру: "Останься с нами, Иоганн!" Я уже буду находиться у Ахерона. Итак, прошу вас, спойте же, дорогая Юлия!

Юлия уступила просьбе Крейслера, хотя с явной неохотой.

Когда песенка была спета, Крейслер тотчас же начал известный комический дуэт нотариуса и мельничихи.

Юлия по методе и природным голосовым данным имела склонность к музыке серьезной, патетической; тем не менее, когда она пела что-нибудь комическое, она была воплощением грации и причуды. Крейслер усвоил себе странную, но неудержимо увлекательную манеру итальянских buffi [*Комические певцы -- ит.*], доходившую у него почти до преувеличений, потому что, обладая голосом драматическим с тысячью различных нюансов, он делал при этом самые уморительные физиономии, которые могли бы рассмешить самого Катона.

Все весело и громко хохотали.

Крейслер, восхищенный, поцеловал у Юлии руку, которую она быстро отдернула с неудовольствием.

-- Ах, капельмейстер, -- воскликнула она, -- может быть, ваши сумасбродные шутки и остроумны, но я, право, не могу с ними помириться! Такой убийственный переход из одной крайности в другую производит на меня какое-то режущее впечатление. Прошу вас, любезный Крейслер, не требуйте больше никогда, чтобы я пела что-нибудь комическое, хотя бы и такое грациозное, милое, когда в душе моей еще рыдают скорбные звуки, наполняя ее глубоким волнением. Не требуйте больше никогда, -- не правда ли, вы мне обещаете это, любезный Крейслер?

Капельмейстер хотел отвечать, но в это самое мгновение подошла принцесса и обняла Юлию крепче и засмеялась громче, чем это было прилично, по мнению обер-гофмейстерины.

-- Прижмись к груди моей, -- воскликнула она, -- крепче прижмись, о, самая нежная, самая чувствительная, самая прихотливая из всех мельничих! Ты можешь мистифицировать решительно всех баронов, управляющих и нотариусов, ты можешь, кроме того...

Принцесса не договорила и снова разразилась громким смехом. Потом, быстро обращаясь к капельмейстеру, она сказала:

-- Вы совсем примирили меня с собой, любезный Крейслер! О, теперь я понимаю вполне ваши юмористические выходки. Они имеют очень глубокое значение. Только в разладе разнороднейших ощущений и самых враждебных чувств обнаруживается высшая жизнь! Благодарю вас, сердечно благодарю! Вот, я позволяю вам поцеловать мою руку!

Крейслер взял протянутую руку и опять вздрогнул, так что должен был помедлить несколько мгновений, прежде чем решился поцеловать нежные пальчики, затянутые в перчатку, склоняясь при этом так почтительно, как будто он все еще был советником при посольстве. Ему самому показалось чрезвычайно забавным, что он испытывает такое ощущение при прикосновении руки княжны.

-- В конце концов, -- сказал он самому себе, когда принцесса отошла в сторону, -- я должен думать, что принцесса представляет собой нечто вроде лейденской банки, поражающей электрическим ударом всех честных людей, когда только ее сиятельству заблагорассудится!

Принцесса весело прыгала, танцевала, смеялась, напевала *La Rachelina molinagina* и целовала то одну, то другую даму, уверяя, что никогда в жизни ей не было так весело и что этим она обязана славному капельмейстеру. Строгая и серьезная Бенцон смотрела на это с крайним неудовольствием и наконец, отведя принцессу в сторону, шепнула ей:

-- Гедвига, помилуйте, что за поведение!

-- Я думаю, милая Бенцон, -- возразила принцесса, у которой глаза блестели, -- я думаю, что мы не будем сегодня умничать и критиковать, а отправимся лучше спать! Да, спать, спать!

И с этими словами она велела подать себе карету.

В то время как принцесса предавалась лихорадочной веселости, Юлия была безмолвна и печальна. Склонив голову на руку, она сидела у рояля и

ее видимая бледность и затуманенный взор ясно доказывали, что ее грусть причиняет ей даже чисто физические муки.

И Крейсера покинул его юмористический жар. Уклоняясь от всякого разговора, он медленно направился к двери. Бенцон удержала его.

-- Я сама не знаю, -- проговорила она, -- что за странное смущение сегодня...

(М. прод.) ...до меня донесся и знакомый, и таинственный аромат, сам не знаю от какого великолепного жаркого; он струился над крышами в виде каких-то голубоватых облачков, и в туманной дали раздавались милые голоса, шептавшие в вечерней тишине:

-- Мурр, Мурр, возлюбленный мой, где ты медлил так долго?

И в ответ на этот таинственный голос я запел:

О, грудь моя, зачем же снова Ты так трепещешь, так томишься? Ты счастья жаждешь неземного? Ты к небесам, мой друг, стремишься? Воспрянь, о кот! Забыть спеши Госку больной своей души!

И вот надежда оживает, Мой дух исполнен обаянья, Веселье мной овладевает! Восстань на смелые деянья! Стремись бестрепетно вперед: Тебя жаркое где-то ждет!

Так пел я, предаваясь восхитительным снам и совсем забывая об ужасном шуме, суматохе и криках: "Пожар!" Но и здесь, в родном моем царстве, на крыше меня не хотели оставить странные видения того незнакомого ужасного мира, в который я впервые попал игрой рокового случая. Прежде чем я успел принять какие-нибудь меры предосторожности, из дымовой трубы показалось одно из тех странных чудищ, которые у людей называются трубочистами. Заметив мое присутствие, черномазый негодяй воскликнул "Прочь, котище!" и швырнул в меня своим помелом. Уклоняясь от удара, я перепрыгнул на другую, ближайшую, крышу и начал спускаться по водосточной трубе. Но кто изобразит мое радостное изумление, могу сказать, мой радостный испуг, когда мне стало ясно, что я нахожусь на крыше дома, где живет мой славный, добрый господин! Проворно карабкался я от одного слухового окна к другому, но все они были заперты. Я возвысил свой голос -- тщетно, мне никто не внимал! Между тем над горевшим домом все выше и выше поднимались грозные тучи дыма, между ними сверкали светлые струи воды, тысячи голосов сливались в диком, нестройном говоре, а пожар все разрастался, становился все более страшным. Вдруг открылось предо мной слуховое окно, и из него выглянул мейстер Абрагам, одетый в свой желтый шлафрок. Увидев меня, он радостно воскликнул:

-- Мурр, добрый мой кот Мурр, да ты здесь! Ступай скорей, серый плутишка!

Я не преминул всеми способами, бывшими в моем распоряжении, выказать также и мою радость: и мы ликовали в чудный момент свидания. Мейстер гладил меня по спине, и от внутреннего благополучия я изливал все свои сладкие чувства в виде нежных, чарующих звуков, которые только неточно и лишь для насмешки называют люди мурлыканьем.

-- Ха-ха-ха, -- рассмеялся весело мейстер. -- Тебе хорошо, юнец, когда ты вернулся домой из долгих странствий, а ты, брат, и не подозреваешь, что мы сейчас находимся в большой опасности. Глядя на тебя, я и сам, пожалуй, хотел бы сделаться таким беспечальным котом, счастливым котом, который ничуть не заботится ни о пожаре, ни о пожарной команде, ни о том, что может сгореть движимое имущество. Еще бы! Ведь единственная движимость, находящаяся во владении твоего бессмертного духа, -- это ты сам!

Мейстер взял меня на руки и спустился в комнаты.

Едва только мы сошли с чердака, как в комнату мейстера вошел, или, вернее, ворвался профессор Лотарио, за которым следовали еще два какие-то человека.

-- Помилуйте, мейстер, -- воскликнул профессор. -- Ведь вы в опасности, огонь уже перекидывается на вашу крышу. Позвольте вынести ваши вещи.

Мейстер весьма сухо заявил, что во время такой опасности опрометчивое рвение друзей гораздо губительнее самой опасности, так как все, что в подобных случаях бывает спасено от огня, все равно летит к чертям, только еще более верным способом. Он сам помнит, как во время оно, когда одному из его друзей угрожал пожар, он, мейстер, обуянный благодетельным энтузиазмом, выкинул из окна большую группу из китайского фарфора, чтобы она не сгорела. Если им угодно, они могут упаковать в сундук белье, три ночных колпака, два серых сюртука и другие принадлежности одежды, между которыми нужно особенно рачительно хранить шелковые панталоны; могут также уложить в одну или две корзины книги и манускрипты, но что касается инструментов и машин, мейстер покорнейше просит не прикасаться к ним. Если же крыша действительно загорится, он удалится из квартиры, захватив с собой всю свою движимость.

-- Но прежде, -- так заключил он, -- позвольте мне угостить хорошенько моего соквартиранта и сотоварища! Потом хозяйничайте, как вам угодно.

Все громко расхохотались, увидев, что мейстер подразумевает меня.

В комнате разлился чудный аромат кушанья: обольстительная надежда, тешившая меня на крыше и выразившаяся в сладостных звуках, полных ожидания и страсти, дождалась своего осуществления.

Когда я подкрепился пищей, мейстер посадил меня в корзинку. Подле меня, где оставалось еще маленькое местечко, он поставил блюдечко с молоком и тщательно покрыл корзинку.

-- Сиди себе здесь спокойно, кот, -- проговорил мейстер, -- не выходи из своей темной квартиры, а для развлечения лакай время от времени твой любимый напиток, если же ты выйдешь отсюда и вздумаешь прогуляться по комнате, они могут в суматохе отдавить тебе хвост или ноги. Если придется спасаться, я возьму тебя с собой, чтобы ты не забежал куда-нибудь, как это уже случилось раз. Ах, почтенные господа, вы там копошитесь с разным старьем и даже не подозреваете, что за чудный, умный, основательный кот сидит в корзинке. Естествоиспытатели со свойственной им желчностью утверждают, что все коты, даже

образованные, обладая в совершенстве разными отличными качествами, каковы склонность к убийству, воровская ловкость, плутовство, в то же время не имеют, так сказать, чувства направления и, забежавши куда-нибудь, не могут найти настоящую дорогу в разные места. Однако мой славный Мурр представляет в этом смысле блестящее исключение. Вот уже два дня, как я заметил его отсутствие и крайне сожалел о такой потере, тем не менее сегодня он вернулся, и, как я могу догадываться, крыши служили ему как бы приятнейшим шоссе. Добряк доказал таким образом не только свой ум и свою находчивость, но, кроме того, и трогательную верность своему господину, благодаря чему я теперь люблю его еще больше, чем прежде.

Похвалы мастера порадовали меня до глубины души: утешенный и довольный, я почувствовал все мое превосходство над другими представителями моей породы, над целым стадом заблудших котом, лишенных шишки местности. И сильно я подивился, что сам не мог вполне усмотреть все необычайное величие своего ума. Правда, я вспомнил, что в сущности юный Понто показал мне надлежащую дорогу, что в сущности помело трубочиста привело меня на надлежащую крышу, но тем не менее я не смел сомневаться в собственной мудрости и в правдивости похвал, которыми наделил меня мастер. Как сказано, я ощущал в себе внутреннюю силу, и это чувство служило ручательством верности всего, что мне приписывали. Незаслуженная похвала радует гораздо больше, чем заслуженная, так я слышал когда-то или, может быть, читал. Но это справедливо лишь в применении к людям! Разумные коты свободны от подобной глупости, и я твердо верю, что и без Понто, и без трубочиста я нашел бы истинный путь, и что оба они только возмутили правильный ход развития моей идеи. Ничтожная доза практической мудрости, которой так хвастался Понто, была бы приобретена мною и другим способом, хотя, конечно, различные приключения, пережитые мною с моим милым пуделем, с этим *aimable goûte* [*Очаровательный пройдоха -- фр.*], доставили мне материал для дружеских писем, в форме которых я излагаю свои путевые впечатления. Письма эти с большим успехом могли бы печататься во всех утренних и вечерних листках, во всех элегантных и свободомыслящих органах, ибо в них лучезарно светят все ослепительные свойства моего "я", что для каждого из читателей должно представлять наибольший интерес. Но я отлично знаю, все эти господа редакторы и издатели спросят "Кто этот Мурр?" и, когда узнают, что я кот, хотя самый гениальный кот на всем свете, они презрительно скажут: "Кот! И туда же - - хочет писать!" И если бы я обладал юмором Лихтенберга и глубиной Гаманна -- о том и другом я слышал много хорошего: должно быть они недурно писали для людей, тем не менее они успокоились на лоне смерти, а это вещь очень рискованная для писателей, желающих жить в сердцах людей, -- да, так если бы я даже обладал юмором Лихтенберга и глубиной Гаманна, и тогда я получил бы назад свою рукопись, быть может, только по той причине, что, имея в виду мои когти, никто не стал бы ожидать от меня легкого, грациозного стиля. *Quel chagrin!* [*Какое горе! -- фр.*] О,

предрассудки, возмутительнейшие предрассудки, как сковываете вы людей, в особенности тех из них, которые называются издателями!

Профессор и пришедшие с ним люди делали, проходя мимо меня, какие-то страшные гримасы, которые, как мне казалось, были совсем лишними и во всяком случае бесполезными при упаковке ночных колпаков.

Вдруг какой-то глухой голос закричал издалека:

-- Дом горит!

-- Эге, -- сказал мейстер Абрагам, -- теперь, значит, дошла очередь и до меня. Подождите, господа, немножко, я пойду посмотрю, как велика опасность и сейчас же вернусь. Мы будем продолжать упаковку вещей!

С этими словами он поспешно оставил комнату.

Струхнул-таки я, сидя в своей корзинке. Дикая суматоха, дым, начавший проникать в комнату, все усиливало мой страх. В голове моей возникли разные черные мысли. Что, если мейстер позабудет обо мне, и я бесславно погибну в пламени! Я почувствовал смертельный страх, и у меня началась пренеприятная резь в животе. "Ха, -- подумал я, -- что, если мейстер, завидуя знаниям моим, желая отделаться раз навсегда от всяких забот обо мне, посадил меня в эту корзинку нарочно, питая в фальшивой душе самые черные замыслы! Что если даже этот напиток, белый и чистый, точно невинность, есть яд, приготовленный низким коварством, с целью меня умертвить!" О Мурр, восхитительный Мурр, ты даже в смертельной тоске мысли свои облакаешь в нежную форму каданса! Даже в столь важный момент борьбы между жизнью и смертью помнишь ты светлым умом, что когда-то Шекспира читал!

Мейстер Абрагам просунул в дверь голову и сказал:

-- Ну, господа, опасность миновала! Садитесь спокойно за стол и пейте винцо, которое вы нашли в шкафе. Я со своей стороны отправлюсь на крышу и еще попрыскаю там немного. Только нужно посмотреть сперва, что поделявает мой добрый кот.

Мейстер подошел, снял крышку с корзинки, в которой я сидел, начал говорить со мной дружеским тоном, осведомился, как я себя чувствую, и спросил, не хочу ли я поесть жареной дичи. На все эти вопросы я отвечал многократным сладостным "мяу" и растянулся в самой комфортабельной позе, из чего мейстер вполне справедливо заключил, что я совершенно сыт и хочу еще немножко полежать в корзинке. Он закрыл ее опять и отошел.

Как глубоко убедился я теперь, что мейстер Абрагам относится ко мне действительно дружески! Я должен был бы стыдиться своего низкого недоверия, если бы не знал, что личность выдающаяся не считает приличным стыдиться когда бы то ни было и чего бы ни было. В конце концов, подумал я, этот страх, это недоверие, исполненное мрачных предчувствий -- были ни чем иным, как поэтической мечтательностью, которая свойственна всем молодым, гениальным энтузиастам, пользующимся ей, как опьяняющим опиумом. Такое сознание успокоило меня совершенно.

Едва только мейстер вышел из комнаты, как профессор -- я ясно видел это сквозь стены своего обиталища -- бросил на корзинку подозрительный,

недоверчивый взгляд, оглянулся кругом и потом кивнул другим, как бы давая понять, что он имеет сообщить им нечто важное. После этого он начал им что-то говорить таким тихим голосом, что я не мог бы уловить ни одного слова, если бы Небеса не снабдили меня невероятно острым слухом.

-- Знаете, что мне хочется сделать? Мне хочется подойти к корзинке, открыть ее и всадить вот этот острый нож в глотку проклятому коту, который сидит да издевается, вероятно, над всеми нами в наглom своем самодовольстве!

-- Что за фантазии, Лотарио! -- воскликнул другой. -- Вам хочется убить славного кота, любимца нашего уважаемого мастера? И почему вы так тихо шепчете?

Профессор, продолжая говорить таким же подавленным голосом, объяснил, что я все понимаю, что я умею читать и писать, что мастер Абрагам непостижимым, таинственным образом преподал мне различные науки, так что уже теперь, как Лотарио знает от пуделя Понто, я сочинительствую и пишу стихи, и что все это понадобилось лукавому мастеру лишь затем, чтобы потешаться над настоящими учеными и поэтами.

-- О, я вижу отлично, -- продолжал со сдержанным бешенством Лотарио, -- уже и теперь мастер Абрагам вполне завладел доверием великого герцога, а с этим злокозненным котом он добьется всего, что только ему понадобится. Подлая bestия будет называться *magister legens* [*Магистр, имеющий право читать лекции -- лат.*], получит докторскую степень, станет, наконец, читать лекции в качестве профессора эстетики, станет читать об Эсхиле... Корне-ле... Шекспире!.. Я просто готов утратить рассудок! Кот будет рыться в моем святилище, а у него такие подлые когти!

При этих словах Лотарио, господина профессора эстетики, все были поражены крайним изумлением. Один полагал, что совершенно немыслимо, чтобы кот мог читать и писать, так как усвоение этих необходимых элементов всех наук требует не только обладания способностью усвоения, которой наделен лишь один человек, но требует еще и известной доли разума, которым обладают далеко не все люди, хотя они и гордость мироздания, а тем менее бессмысленное животное.

-- Любезнейший, -- заговорил другой, как мне показалось из корзинки, чрезвычайно серьезный господин, -- что разумеете вы под бессмысленным животным? Нередко, погружившись в тихое самосозерцание, я испытываю глубочайшее почтение перед ослами и перед другими полезными животными. Я не понимаю, почему приятное домашнее животное, одаренное счастливыми природными способностями, почему бы оно не могло научиться читать и писать, почему бы оно даже не могло возвыситься до роли ученого или поэта? Разве у нас нет тому примеров? Конечно, я не могу указывать на "Тысячу и одну ночь", как на солидный исторический источник с несомненными прагматическими достоинствами; но разве сами вы, любезнейший, не помните о "Коте в сапогах", о Коте, исполненном благородства, проницательного ума и глубокой учености?

Услышав похвалы коту, бывшему моим достойным предком, как это явственно говорил мне внутренний голос, я так обрадовался, что не мог удержаться и два или три раза чихнул.

Оратор умолк, и все боязливо посмотрели на мою корзинку.

-- Contentement, mon cher! [*На здоровье, дорогой мой!* -- фр.] -- воскликнул наконец серьезный господин, только что говоривший. -- Если не ошибаюсь, вы, достопочтенный эстетик, упомянули тут о пуделе Понто, вы сказали, что он изобличил перед вами поэтические и ученые начинания кота. Это напоминает мне о честнейшем Берганце Сервантеса; недавно в чрезвычайно интересном сочинении были доставлены сведения об его судьбах. Эта собака также представляет собой характерный пример способности животных к образованию и приобретению сведений.

-- Однако, любезнейший друг, -- заговорил другой, -- что за примеры вы приводите? О собаке Берганце говорит Сервантес, а он, как известно, был романист. История Кота в сапогах -- детская сказка. Конечно, Людвиг Тик рассказал ее так живо, представил все так наглядно, что действительно может произойти недоразумение и легко представить себе, что все это было в действительности. Итак, вы ссылаетесь на двух поэтов, как будто бы они были натуралистами или психологами. Неужели вы не знаете, что художники менее всего строгие мыслители, что они неисправимые фантазеры, распространяющие среди публики разные небылицы? Скажите, пожалуйста, каким образом такой рассудительный человек, как вы, мог сослаться на поэтов, чтобы засвидетельствовать вещь, противную всякому здравому смыслу? Лотарио -- профессор эстетики, и ему позволительно иногда сболтнуть вздор, но вы...

-- Погодите, -- заговорил серьезный господин, -- не горячитесь так. Подумайте-ка лучше серьезно о том, что, когда идет речь о чудесном, о невероятном, можно сослаться именно только на поэтов, потому что простые историки ни черта в таких вещах не смыслят. Да-с, когда что-нибудь волшебное приведено в надлежащую форму и должно быть сообщено в виде чисто научных фактов, доказательства известного тезиса всегда с наибольшим удобством почерпают у одного из знаменитых поэтов, на слова которого можно положиться. Я вам приведу один пример, и вы должны быть им довольны, будучи сами ученым доктором! Я приведу вам пример одного знаменитого врача, который, сочиняя научный трактат о животном магнетизме, ссылается на Шиллера и его "Валленштейна" с целью наглядно доказать соотношение человеческой души с мировым духом и существование удивительной способности предчувствия. Он цитирует из Шиллера слова "Есть в жизни человека подобные мгновенья" и потом: "Такие голоса для нас звучат -- сомненья в этом быть не может". Продолжение вы сами можете прочитать в трагедии.

-- Вот в чем дело! -- возразил доктор. -- Но вы уклоняетесь, вы заводите речь о магнетизме и готовы наконец утверждать, что наряду с другими чудесами магнетизер может также преподавать и науки способному коту.

-- Кто же в состоянии точно определить, как магнетизм действует на животных? -- ответил серьезный господин. -- Кот, уже имеющий в себе электрические токи, как вы сами сейчас можете в этом убедиться...

Мгновенно вспомнив о Мине, которая так горько жаловалась на подобные опыты, доставившие ей досаду и мученье, я страшно испугался и громко замяукал.

-- Клянусь адом и его ужасами, -- воскликнул с испугом профессор, -- дьявольский кот слышит нас, он все понимает, я его задушу собственными руками!

-- Вы говорите вздор, -- сказал серьезный господин, -- вы говорите чистый вздор, профессор. Я никогда не потерплю, чтобы вы причинили хотя малейший вред коту, успевшему приобрести мои симпатии уже теперь, когда я еще не имею счастья быть в числе его близких знакомых. В конце концов, я готов думать, что вы ему завидуете, как стихотворцу. Этот кот никогда не будет профессором эстетики, и вы можете успокоиться. Разве в древнейших академических статутах не сказано коротко и ясно, что, благодаря крайним злоупотреблениям, имевшим место в академической жизни, отныне ни один осел не может быть допущен к званию профессора? Разве же эту статью нельзя расширить на животных всех родов и семейств до кота включительно?

-- Быть может, -- ответил профессор недовольным тоном, -- я допускаю, что кот никогда не будет ни *magister legens*, ни профессором эстетики, но писателем он рано или поздно сделается непременно: благодаря новизне он найдет издателей и читателей, похитит у нас гонорары...

-- Я, право, не понимаю, -- возразил серьезный господин, -- какое может быть основание мешать славному коту, любимцу нашего мейстера, вступить на поприще, где уже толкуются столь многие, нимало не взирая на свои силы и способности? Единственная мера, которую нужно, пожалуй, предпринять -- это обрезать у него заблаговременно его острые когти; мне кажется, что мы могли бы это сделать сейчас же, дабы гарантировать свою безопасность на тот случай, если он сделается писателем.

Все встали, эстетик схватил ножницы. Каково было мое положение! Я решил бороться с львиным мужеством против поношения, которое готовилось мне. Я готовился к мощному прыжку, чтобы отметить того, кто первый ко мне приблизится! Я ждал, когда корзинка будет раскрыта!

В это мгновение вошел мейстер Абрагам -- и мгновенно исчез мой страх, готовый превратиться в отчаяние. Мейстер раскрыл корзинку и я, еще вне себя, выскочил оттуда одним прыжком и дико промчался мимо него, устремляясь под печку.

-- Что приключилось с Мурром? -- воскликнул мейстер, недоверчиво смотря на своих посетителей, которые стояли в полном смущении и безмолвствовали, мучимые нечистой совестью.

Как ни печально было мое положение, когда я сидел в корзинке, тем не менее я испытывал живейшее удовольствие по поводу того, что профессор говорил о моей вероятной карьере; радовался также необычайно и очевидной его зависти. Я уже чувствовал на своей голове докторскую

шапочку, я уже видел себя на кафедре! Разве не стала бы жадная к знаниям молодежь посещать мои лекции более, чем лекции других профессоров? Разве какой-нибудь кроткий юноша мог бы дурно истолковать предупреждение профессора, чтобы студенты не водили с собой в аудиторию собак? Разве не стали бы все пудели оказывать мне такую же дружбу, как мой Понто, в то время как теперь эти длинноухие господа исполнены самых коварных побуждений; теперь они постоянно вступают в бесполезные препирательства с образованными людьми моей породы и насильем вынуждают их к самым неучтивым проявлениям гнева, заставляя их выпускать когти, царапаться, кусаться.

Но каким угрожающим образом сложились бы обстоятельства...

(Мак. л.) ...из-за той маленькой краснощекой придворной дамы, которую Крейслер видел у госпожи Бенцон.

-- Сделайте мне удовольствие, Наннэт, -- проговорила принцесса, -- сойдите вниз сами и позаботьтесь, чтобы в мой павильон принесли гвоздики. Прислуга так ленива, что она, пожалуй, ничего не приготовит.

Наннэт быстро вскочила с места, поклонилась очень церемонно и устремилась из комнаты с быстротой птички, выпорхнувшей из открытой клетки.

Принцесса обратилась теперь к Крейслеру:

-- Я не могу ничего сказать до тех пор, пока я не останусь одна с моим учителем, с моим духовником, перед которым я бесстрашно могу рассказать все свои грехи. Вы, любезный Крейслер, находите, конечно, странным и даже несносным наш неумолимый этикет, благодаря которому я всегда окружена придворными дамами, точно королева Испании. По крайней мере, здесь, в прекрасном Зигхартсхофе, нужно побольше пользоваться свободой. Если бы князь был в замке, я не осмелилась бы отослать Наннэт, которая столько же огорчает во время наших занятий музыкой, сколько стесняет меня. Начнемте опять: теперь, вероятно, выйдет лучше!

Крейслер, бывший в музыкальных занятиях воплощением терпения, снова начал арию, которую принцесса хотела разучить. Но сколько ни старалась принцесса, сколько ни старался Крейслер, Гедвига поминутно сбивалась в такте и в тоне, делала одну ошибку за другой. Наконец, она вскочила с пылающим лицом и, подбежав к окну, стала смотреть в парк. Крейслеру показалось, что принцесса горько плакала. Уроки музыки показались ему несколько печальными. Что ему оставалось делать? Он попытался музыкой прогнать враждебного немusикального духа, который, казалось, мешал принцессе. Приятнейшие мелодии лились одна за другой, самые излюбленные известные арии звучали в разнообразнейших прихотливых вариациях, так что в конце концов капельмейстер сам удивлялся, как это он может так чудесно играть на рояле, а принцесса совершенно забыла и свой урок, и свое нетерпение.

-- Как красив Гейерштейн в лучах заходящего солнца! -- воскликнула принцесса, не оборачиваясь.

Крейслер почувствовал некоторый диссонанс, но натурально не выказал этого, однако не мог вместе с принцессой наслаждаться видом Гейерштейна, озаренного лучами заходящего солнца.

-- Есть ли где-нибудь более восхитительные места, чем в нашем Зигхартсгофе? -- опять заговорила Гедвига тверже и громче, чем прежде.

Крейслер сыграл последний заключительный аккорд и должен был подойти к принцессе, чтобы, уступая требованиям приличия, поддерживать разговор.

-- Вы правы, светлейшая принцесса, -- проговорил капельмейстер, -- парк великолепен, в особенности мне нравится, что на всех деревьях, кустах и траве -- совершенно зеленые листья. Каждую весну я удивляюсь этому и благодарю Всемогущего Создателя за то, что все сделалось опять зеленым, а не красным, что достойно порицания в каждом ландшафте и чего никогда нельзя найти в лучших ландшафтах, как, например, у Клода Лоррена, или Бергхема, или даже Гаккерта, хотя этот последний считает нужным несколько напудривать свои луга.

Крейслер хотел еще говорить в том же и духе, но когда в маленьком боковом зеркале, висевшем около окна, он увидел смертельно-бледное, искаженное лицо принцессы, он моментально умолк от трепета, охватившего его. Принцесса прервала, наконец, свое молчание и, не оборачиваясь, продолжая рассеянно смотреть перед собой, заговорила тоном глубочайшей скорби:

-- Крейслер, судьбе было угодно, чтобы я, терзаемая всегда и всюду какими-то странными фантазиями, казалась вам смешной и доставляла вам повод применять ко мне насмешливый юмор. Пора, наконец, объяснить, что вы производите на меня необычайное впечатление и один вид ваш вызывает у меня какое-то нервное состояние, подобное горячке или лихорадке. Узнайте же все! Откровенное признание облегчит мое сердце и даст мне возможность хладнокровно выносить ваше присутствие. Когда в первый раз я вас встретила в парке, все ваше поведение -- сама не знаю почему -- наполнило меня ужасом. В душе моей мгновенно восстало смутное воспоминание из времен моего раннего детства, наполнившее ее страхом, потом это воспоминание мало-помалу приняло отчетливые очертания странного, причудливого сна. Давно при нашем дворе был художник по фамилии Эттлингер, и князь, и княгиня очень дорожили им -- у него был удивительный талант. Вы найдете в картинной галерее его превосходные картины, и на каждой из них увидите княгиню в роли той или другой исторической личности. Но самая замечательная картина, возбуждающая восхищение всех знатоков, висит в кабинете князя. Это портрет княгини, которую Эттлингер нарисовал в расцвете ее молодости, нарисовал так похоже, как будто бы он похитил портрет из зеркала, между тем как княгиня никогда перед ним не позировала. Леонард, так называли при дворе художника, был, кажется, человеком добрым и кротким. Мне было тогда только три года, но всю любовь, на какую было способно мое ребяческое сердце, я устремляла к нему, я хотела, чтобы он никогда не покидал меня. Он неутомимо забавлялся со мной разными играми, рисовал

мне маленькие пестрые картинки, вырезал всякие фигурки... Вдруг менее чем через год после этого он исчез. Женщина, которой были вверены заботы о первоначальном моем воспитании, со слезами на глазах сообщила мне, что Леонард умер. Я была безутешна и не хотела больше оставаться в той комнате, где Леонард играл со мной. Ускользнув из рук моей воспитательницы при первом удобном случае, я бегала по всем комнатам замка и громко звала Леонарда. Я не хотела верить, что он действительно умер, я думала, что он спрятался где-нибудь в замке. Точно также случилось, что раз вечером, когда моя камер-фрау вышла на минуту из комнаты, я ускользнула из своей детской и отправилась отыскивать княгиню, которая должна была сообщить, где находится Леонард, и вернуть его мне. Двери в коридор были отворены, я без труда достигла главной лестницы, и по ней, нимало не смущаясь, вошла в первую комнату. Когда я осмотрелась и хотела постучать в дверь, которая, как я думала, должна была вести в покои княгини, дверь эта шумно распахнулась и в комнату ворвался человек в разорванном платье, с совершенно всклокоченными волосами. Это был Леонард, он смотрел на меня страшными сверкающими глазами. Лицо его осунулось, было смертельно бледно и почти неузнаваемо. "Ах, Леонард! -- воскликнула я. -- Что с тобой, почему ты так бледен, почему у тебя так горят глаза, для чего ты смотришь на меня так пристально? Я боюсь тебя! Будь добр, рисуй мне опять, как прежде, хорошие пестрые картинки!" Тут Леонард бросился ко мне с диким, злорадным хохотом. Цепь, по-видимому, прикрепленная к его телу, потащилась за ним с шумом и звоном. Он сел передо мной на пол и заговорил хриплым голосом: "Ха-ха-ха... маленькая принцесса... пестрые картинки... да, теперь я могу хорошо рисовать, могу отлично рисовать... я нарисую тебе картину, на ней будет изображена твоя красавица мать... Не правда ли, ведь твоя мать -- красавица? Только попроси ее, чтобы она не совершала надо мной никаких превращений, я не хочу быть жалким человеком Леонардом Эттлингером -- он давно уже умер... Я красный коршун и могу рисовать, когда поем цветных лучей! Я могу рисовать, если мне лаком будет служить горячая кровь... Мне нужно крови из твоего сердца, маленькая принцесса!.." С этими словами он схватил меня, привлек к себе, обнажил мою шею, и мне показалось, что в его руке сверкнул маленький нож. На мои пронзительные крики сбежались слуги и бросились все на помешанного. Но он с богатырской силой швырнул их на пол. В это самое мгновение на лестнице раздался шум и стук. Сильный, высокий мужчина вбежал в комнату с громкими возгласами: "Боже мой, он убежал от меня! Боже мой, вот несчастье! Подожди, подожди, проклятый!" Как только помешанный увидел этого человека, внезапно все силы оставили его, и с воем он бросился на пол. На него надели цепи, которые принес с собой высокий мужчина, и увели прочь в то время, как он испускал страшные вопли, подобно связанному дикому зверю.

Вы можете себе представить, какое подавляющее впечатление произвела эта ужасная сцена на четырехлетнего ребенка. Меня начали успокаивать, объяснять мне, что он лишился рассудка. Не вполне поняв, что это значит,

я вся была проникнута чувством глубокого, неизъяснимого ужаса, который и теперь постоянно возвращается ко мне, если случайно я увижу помешанного или хотя бы вспомню о том гнетущем, ужасном впечатлении, похожем на беспрерывную, смертельную тоску. Вы, Крейслер, похожи на этого несчастного, как родной его брат. В особенности ваш взгляд, который часто кажется мне очень странным, живо напоминает мне о Леонарде, и вот почему я так потерялась, увидев вас в первый раз, вот почему и теперь всегда в вашем присутствии я чувствую какое-то беспокойство... какую-то тоску...

Крейслер молчал, глубоко потрясенный. Давно уже его преследовала навязчивая мысль, что его подстерегает сумасшествие, подобно хищному коршуну, готовому каждую минуту растерзать свою добычу. Теперь, после рассказа принцессы, он также проникся ужасом к самому себе, проникся трепетом при мысли, что это как будто действительно он хотел в припадке безумия убить принцессу. Немного помолчав, принцесса продолжала:

-- Несчастный Леонард втайне любил мою мать, и эта любовь, сама будучи уже безумием, разрешилась, наконец, исступлением и помешательством.

-- Да, -- заговорил Крейслер мягким, прочувствованным голосом, -- так, значит, в груди Леонарда не было истинной любви художника.

-- Что вы хотите этим сказать? -- спросила принцесса, быстро повертываясь к нему.

Крейслер ласково усмехнулся и ответил:

-- В одной довольно забавной и сумасбродной комедии остряк-лакей, желая почтить музыкантов приветствием, говорит: "Вы -- хорошие люди и плохие музыканты". Когда я услышал эту формулу, я тотчас, как судья всего мира, разделил людей на две громадные толпы: в одной хорошие люди, но плохие музыканты или даже совсем не музыканты, в другой -- истинные музыканты. Но ни те, ни другие, ни овцы, ни козлица не должны быть осуждены, они все должны быть счастливы, хотя каждый на свой лад. Хорошие люди легко влюбляются в прекрасные очи, с умоляющей нежностью протягивают свои руки к возлюбленной, заключают "свою прекрасную" в круг, который все суживается, суживается и, наконец, делается обручальным кольцом суженого. Такое кольцо "хорошие люди" надевают на пальчик возлюбленной, как *pars prototo*, -- вы, принцесса, ведь понимаете немножко по-латыни, -- я говорю, как *pars prototo*, как звено цепи, на которой они особу, арестованную любовью, приводят в острог законного супружества. При этом они восклицают весьма неумеренно "О Боже!" или "О Небеса!" или ударяются в астрономические излияния: "О звезды!" или выказывают наклонность к язычеству: "О боги! Она моя, она -- воплощение совершенства, все мои сладостные несбыточные надежды осуществлены!" Производя столько шума, "хорошие люди" думают подражать "музыкантам", однако напрасно, потому что эти последние с любовью устраиваются совсем иначе. Случается иногда, что какие-то невидимые руки мгновенно срывают завесу, покрывавшую глаза этих людей с артистической натурой, и тогда, блуждая в земной юдоли, они

видят перед собой небесный образ, который раньше безмолвно покоился в их сердце, подобно загадочной пленительной тайне. И тогда в их душе вспыхивает чистое небесное пламя, которое только светит и греет, но никогда не сжигает губительным огнем. В их душе просыпается восторг, очарование, неизъяснимое блаженство высшей идеальной жизни, и жаркое стремление их сердца опутывает тысячью тонких трепетных нитей ту, чей образ у них загорелся в душе; и они обладают любимым существом, и в то же время никогда не обладают, потому что жадное беспокойное стремление вечно живет в их груди, вечно толкает вперед. И кто та очаровательница, к которой так жадно рвется душа? Кто она? Мечта, поэтическое предчувствие художественной натуры, симфония, картина, поэма! О, поверьте мне, что истинные "музыканты", которые добросовестно музицируют, посредством ли клавишей или пера, или кисти, или резца, -- никогда не протягивают к той, которую они истинно любят, своих телесных рук, они опутывают ее только духовными тонкими нитями, и на этих нитях нет места для обручального кольца; потому в данных случаях никогда нельзя опасаться мезальянса, и довольно безразлично живет ли в душе художника образ княгини или дочери булочника, лишь бы только последняя не была воплощением тупости. Истинные "музыканты", если им случается влюбиться, творят чудные создания, озаренные блеском небесного вдохновения, но не сходят с ума от любви и не умирают, благодаря ей, от чахотки. Таким образом я не могу понять, как это Негг Леонард Эттлингер впал в умоисступление: по манере истинных "музыкантов" он должен был бы, недолго думая, любить ее светлость, как ему было угодно!

Юмористический тон Крейсера ускользнул от внимания принцессы или потерялся в нежных звуках струны, которую он затронул, и которая в женском сердце звучит сильнее и нежнее, чем где-либо.

-- Любовь художника! -- воскликнула она, усевшись в кресло и склонив голову на руку, точно в глубоком раздумьи. -- Любовь художника! Быть любимой так -- это чудный пленительный сон, но не более чем сон!

-- Вы, принцесса, кажется, не очень жалуете сны, -- возразил Крейслер, - а между тем только во сне у нас вырастают хрупкие крылья, подобные крылышкам мотылька, и мы улетаем из темной, тесной тюрьмы на широкий простор, где светло, где мы сами блещем яркими, пестрыми красками. В конце концов, каждому человеку хочется летать, и я знаю многих честных людей, которые поздним вечером наполняли себя шампанским, как некоторым служебным газом, чтобы ночью иметь возможность летать, олицетворяя в своей персоне -- и воздушный шар, и пассажира.

-- Быть так любимой! -- повторила принцесса с еще большим чувством, чем прежде.

-- Что касается любви художника, -- заговорил опять Крейслер, -- вы имеете перед глазами печальный пример Леонарда Эттлингера: он был -- "музыкант", а хотел любить как "хорошие люди"; конечно, его здравый рассудок должен был несколько поколебаться, но именно поэтому-то я и

думал, что господин Леонард не был настоящим "музыкантом". Потому что "музыканты", повторяю, носят в тайниках сердца образ избранной дамы, в честь которой они слагают песни, сочиняют стихи, рисуют картины -- словом ведут себя, как средневековые рыцари, с той только разницей, что они менее кровожадны, не убивают драконов и великанов, не повергают в прах добропорядочных людей, с единственной целью -- прославить даму сердца.

-- Нет! -- воскликнула принцесса, точно пробуждаясь от сна. -- Не может быть, чтобы в груди человека зажглось такое чистое пламя, такие огни весталки! Что такое любовь мужчины, как не изменническое оружие, помогающее ему одержать победу, в которой женщина гибнет, а сам он не испытывает от этого никакого счастья?

Только что Крейслер хотел выразить удивление по поводу такого мнения, несколько странного для семнадцатилетней девушки, как дверь отворилась и в комнату вошел принц Игнац.

Капельмейстер был рад кончить разговор, казавшийся ему похожим на дуэт, где каждый голос должен сохранять неприкосновенными индивидуальными свои особенности. По его мнению, принцесса упорно держалась на меланхолическом адажио, лишь изредка позволяя себе певучее группетто, в то время как он, подобно великолепному buffo или комическому певцу, произносил parlando [*Речитатив -- ит.*] целую кучу отрывистых, коротких нот, так что в конце концов получилась законченная пьеса, мастерская и по композиции, и по исполнению, и ему хотелось слушать себя и принцессу, усевшись с удобством где-нибудь в ложе или в темном, уютном уголке.

Итак, принц Игнац вошел, держа в руках разбитую чашку и заливаясь слезами.

Нужно заметить, что, хотя принцу было уже за двадцать, он все еще не мог расстаться со своими излюбленными детскими играми. В особенности он любил красивые чашки, с которыми он играл по целым часам: он ставил их перед собой на столе длинными рядами, постоянно варьируя их расположение, так что сперва рядом с красными чашками были желтые, потом зеленые и так далее. При этом он радовался и ликовал, как ребенок.

Несчастье, повергшее его в печаль в данную минуту, заключалось в том, что на стол к нему неожиданно вскочил мопс и, уронив, разбил лучшую, любимую его чашку.

Принцесса обещала позаботиться, чтобы ему из Парижа была выписана чашка, разрисованная по самой последней моде. Игнац был обрадован, и все лицо его просияло счастливой улыбкой. Только теперь, по-видимому, он заметил присутствие капельмейстера. Он обратился к Крейслеру с вопросом, есть ли также и у него много красивых чашек. Крейслер уже раньше был предупрежден мейстером Абрага-мом, как нужно отвечать на подобные вопросы. Именно, он удостоверил Игнаца, что у него нет столько хороших чашек, как у его светлости, и что он никаким образом не может тратить на это так много денег, как тратит светлейший принц.

-- Вот видите, -- ответил Игнац в полном восторге, -- я принц и потому у меня много хороших, красивых чашек, а у вас нет хороших, красивых чашек, потому что вы не принц; дело в том, что, если я действительно настоящий принц, тогда красивые чашки...

Чашки и принцы, принцы и чашки следовали друг за другом в нестройной сбивчивой речи, которую Игнац перемешивал веселым смехом, прыжками и хлопаньем в ладоши.

Гедвига, краснея, опустила глаза. Она стыдилась за своего слабоумного брата и боялась насмешек Крейслера, между тем как этот последний, видя в слабоумии принца задаток настоящего помешательства, испытывал глубокое сострадание, еще более увеличивавшее натянутость положения. Чтобы отвлечь несчастного от его чашек, принцесса попросила Игнаца привести в порядок маленькую библиотечку, расставленную в нарядном стенном шкафу. Совершенно довольный принц с веселым смехом немедленно начал вынимать щегольски переплетенные книги, тщательно располагая их потом сообразно с форматом, ставя наружу золотым обрезом и безмерно радуясь на вырастающую блестящую полоску.

Фрейлейн Наннэт шумно вбежала в комнату, громко восклицая:

-- Князь, князь с принцем!

-- Боже мой, -- воскликнула принцесса, -- а мой туалет! Смотрите, Крейслер, мы с вами проболтали целый час, а я об этом и не позаботилась. Я совсем забыла и о князе, и о принце.

Она скрылась вместе с Наннэт в соседнюю комнату. Принц Игнац невозмутимо продолжал свое занятие.

Придворная княжеская карета шумно подъехала. Крейслер сошел вниз по главной лестнице и увидел двух скороходов, одетых в ливрея.

Тут требуются некоторые разъяснения.

Князь Иреней не хотел бросать старых обычаев: и если он не заставлял бегать, наравне с лошадьми, какого-нибудь пестро-разодетого шута, тем не менее в числе его челяди было двое скороходов, учтивых, степенных людей солидных лет, весьма упитанных, хотя и страдавших по временам желудочными болями, благодаря сидячей жизни. Князь был слишком человеколюбив, чтобы заставлять кого-нибудь из слуг превращаться время от времени в дворняжку или борзую. Но для соблюдения надлежащего этикета оба скорохода, когда князь совершал какую-нибудь парадную поездку, должны были ехать впереди, а иногда, в тех местах, где толпились зеваки, скороходы для приличия слезали и несколько беспокоили свои ноги, имитируя настоящий бег. Это было трогательное зрелище.

Итак, скороходы только что слезли с своей повозки, камергеры вошли в главный вход, за ними следом показался князь Иреней, сопровождаемый молодым, статным мужчиной, в богатом мундире неаполитанской гвардии, с крестами и звездами на груди.

Увидав Крейслера, князь сказал:

-- Je vous salue, monsieur de Krosel [*Приветствую вас, господин де Крөзель -- фр.*].

Он всегда говорил Krosel вместо Kreislер, когда в торжественных случаях изъяснялся по-французски и не мог в точности припомнить ни одного немецкого имени. Иностраный принц, о приезде которого так громко возвестила Наннэт, кивнул Крейслеру мимоходом, как бы давая понять самим приветствием, что между Крейслером и знатными персонами лежит бездонная пропасть. Капельмейстер, заметив это, поклонился чуть не до земли таким потешным образом, что толстяк-гофмаршал, вообще считавший Крейслера за страшного шутника, не мог удержаться и фыркнул. Молодой князь устремил на Крейслера огненный взгляд своих черных глаз и, пробормотав "Шут!", быстро пошел вслед за старым князем, который оглянулся с кроткой важностью. Крейслер, громко смеясь и обращаясь к гофмаршалу, воскликнул:

-- Для итальянского гвардейца его светлость довольно сносно говорит по-немецки. Скажите ему, ваше превосходительство, что я за это могу изъясниться с ним на самом изысканном неаполитанском наречии. Скажите ему еще, ваше превосходительство...

Но превосходительство уже важно поднималось по лестнице, высоко вздернув плечи и как бы охраняя ими свои гофмаршальские уши.

Княжеская карета, на которой Крейслер обыкновенно ездил в Зигхартсгоф, остановилась, старый егерь открыл дверцу и спросил его: "Не угодно ли?" Но в это самое мгновение с громкими стенаниями пробежал маленький поваренок, восклицая:

-- Вот беда, вот несчастье!

-- Что случилось? -- спросил его Крейслер.

-- Ах, какое несчастье, -- продолжал поваренок, заливаясь слезами еще больше. -- Господин обер-кухенмейстер в отчаянии, в исступлении, он лежит на полу и хочет проколоть себе живот большим кухонным ножом, потому что светлейший князь приказали подавать ужин, а у него не хватает итальянского салата. Он хотел поскорее съездить в город, а господин обер-шталмейстер не приказывает запрягать лошадей, потому что от его светлости нет соответствующего ордера.

-- Ну, такой беде можно помочь, -- сказал Крейслер, -- пусть обер-кухенмейстер едет в этой карете в город и закупит там всего, что нужно, а я пойду пешком.

С этими словами он отправился в парк.

-- Благородная душа! Золотое сердце! Прекрасная личность! -- воскликнул со слезами на глазах старый егерь.

В ярком сиянии вечера безмолвно стояли далекие горы, и искристый блеск золотистой зари играл и скользил по лугам, по зелени темных кустов, по вершинам деревьев, точно гонимый чуть слышным дыханием вечернего ветра.

Крейслер встал на середине моста, который, будучи перекинут через широкий рукав озера, вел к рыбацкому домику. Он глядел рассеянно вниз в воду, где в каком-то магическом сиянии отражался парк с волшебными группами деревьев и высоко возносящийся над ними Гейерштейн с лучезарными руинами на своей вершине, точно гигант с высокой шапкой

на голове. Ручной лебедь, услышав свое имя Blanche, поднял плеск в озере и, гордо вздымая прекрасную шею, шумя и трепеща светлыми крыльями, поплыл к мосту.

- Blanche, Blanche! - воскликнул Крейслер, протягивая к лебедю обе руки. - Спой мне свою волшебную песню, но не вздумай потом умереть! Только, весь изливаясь в песне, ты можешь прильнуть к груди моей, потому что тогда твои дивные звуки будут моими! Я стою здесь один, я тоскую, а ты качаешься в светлых волнах, которые льнут к тебе с нежной любовью!

Крейслер и сам не знал, почему он был так глубоко взволнован. Опершись на перила, он невольно закрыл глаза. Вдруг услышал он сладкие звуки, это Юлия пела, - сердце его дрогнуло тотчас, объятая нежной печалью.

А в небесах надвигались мрачные тучи, бросая, как черный покров, широкие тени - на горы, на лес. С востока донесся громовой раскат глухим и тяжелым ударом. Листья деревьев сильнее зашептали под ветром ночным, и громче роптал пред грозой серебристый ручей, сливая журчание свое с отрывистым пением золотой арфы, звучавшей подобно органу, а в чаще меж темных деревьев носились с тревожными криками совы.

Крейслер пробудился от поэтического сна и увидел в воде свою темную фигуру. ему показалось, что это глядит на него из глубины безумный художник Эттлингер.

- Ты здесь, мой любезный двойник! - воскликнул Крейслер. - ты здесь, мой товарищ? Ну, приятель, ты имеешь довольно хороший вид для художника, хватившего немного через край и пожелавшего в своей безумной гордости употребить вместо лака княжескую кровь. Я думаю, любезный Эттлингер, что ты в конце концов своими безумными выходками просто-напросто дурачил знатную фамилию. Чем дольше на тебя я смотрю, тем больше вижу, что у тебя прекрасные манеры. Я удостоверю княгиню Марию, что ты теперь человек хорошего чина и ранга, и что она может отныне любить тебя без всяких стеснений. Но если ты хочешь, товарищ, чтобы княгиня и теперь походила на твой портрет, подрисовывая весьма искусно то, кого нужно изобразить. Если княгиня вполне заслуженно отправила тебя в Оркус, так я передам тебе все новости. Знай же, любезный обитатель сумасшедшего дома, что рана, которую ты нанес бедному ребенку, прелестной принцессе Гедвиге, еще не совсем зажила, и принцесса, благодаря своей скорби и боли, нередко поступает не так, как нужно. Зачем ты ранил ей сердце так больно, что даже теперь из него льется горячая кровь, когда она только увидит что-нибудь, напоминающее о тебе, - как из трупа льется кровь, когда к нему подойдет убийца? Не сердись, приятель, что она считает меня за привидение. Когда я хотел доказать ей, что я вовсе не могильный выходец, что я просто-напросто капельмейстер Крейслер, вдруг пришел принц Игнат, который, очевидно, страдает *paranoja*, *fatuitas*, *stoliditas* [*Паранойя, придурковатость, глупость -- лат.*] -- вещь отличная и весьма приятная! Не передразнивай же меня, художник, ведь я с тобой серьезно говорю!

Опять? Если бы я не боялся насморка, я бы непременно спрыгнул вниз и славно бы тебя оттузил. Ступай к чертям, проклятая обезьяна!

Крейслер быстро пошел прочь.

Совсем стемнело, сквозь черные тучи прорезались молнии, слышались раскаты грома, дождь начал падать редкими, крупными каплями. Из рыбацкого домика блеснул яркий, ослепительный свет, и Крейслер поспешил туда.

Близ двери в полном сиянии Крейслер увидел, что рядом с ним идет его "я", его двойник. Охваченный ужасом, Крейслер вбежал в домик и, смертельно-бледный, почти бездыханный, упал в кресло.

Мейстер Абрагам, читавший здесь какой-то громадный фолиант перед столиком, на котором ослепительно-ярко горела астральная лампа, испуганно вскочил с своего места и воскликнул, приблизившись к Крейслеру:

-- Ради бога, что с вами, Иоганн? Что привело вас сюда в такую пору? Чем вы так страшно испуганы?

С трудом оправившись, Крейслер заговорил глухим голосом:

-- Да, это верно, я был не один, меня преследовал мой двойник: он вышел из озера и гнался за мной. Сделайте Божескую милость, мейстер, возьмите свой кинжал и проколите бездельника! Он -- бешеный, поверьте мне, он может погубить нас обоих! Он своими заклятиями призвал сюда непогоду! Вы слышите, слышите -- в воздухе летают духи! Сердце разрывается от их страшного пения! Мейстер Абрагам! Подманите сюда лебедя, пусть он поет, я сам не могу больше петь, мрачный двойник наложил на меня свою белую руку, холодную руку смерти; но, когда лебедь запоет, двойник оставит меня и снова погрузится в озеро!..

Мейстер Абрагам прервал восклицания Крейслера, обратился к нему с самыми дружескими словами, заставил его выпить несколько стаканов крепкого итальянского вина, стоявшего на столике, и потом понемногу расспросил, как все произошло.

Но едва только Крейслер кончил, как мейстер Абрагам громко расхохотался и воскликнул:

-- Скажите на милость, да это настоящий фантазер, настоящий духовидец! Что касается органиста, игравшего в парке страшные мелодии, это был не больше, как ночной ветер, прикасавшийся -- в своем полете -- к струнам эоловой арфы. Да, да, Крейслер, вы совсем и позабыли об эоловой арфе, натянутой между двумя павильонами в конце парка. Что же касается вашего двойника, бежавшего рядом с вами при свете моей астральной лампы, так я вам тотчас докажу, что стоит мне подойти к двери, и сию же минуту около меня появится мой двойник; равным образом и всякий, кто идет ко мне, должен терпеть около себя подобного *chevalier d'honneur* [*Почетный телохранитель -- фр.*].

Мейстер Абрагам подошел к двери, и тотчас же в трепетном мерцании рядом с ним предстал другой мейстер Абрагам.

Крейслер увидел действие скрытого вогнутого зеркала и рассердился, как всякий, перед которым чудесное, казавшееся несомненным, превратилось

в пустой призрак. Чувство глубокого ужаса нравится человеку более, чем естественное разъяснение того, что казалось ему таинственным привидением. Он не хочет примириться с миром реальным, ему хочется увидеть что-нибудь из другого мира, не нуждающегося в телесных формах для своего проявления.

-- Я, наконец, мейстер, не понимаю вашей странной склонности ко всяким шуткам и проделкам, -- заговорил Крейслер. -- Вы устраиваете разные чудесные фокусы, подобно тому, как искусный повар изготавливает из разных острых специй пикантное кушанье и думаете при этом, что люди, фантазия которых так же истощена, как желудок гуляк, получают таким путем надлежащее возбуждение. Но ведь согласитесь, что крайне нелепо, если кому-нибудь, во время таких проклятых фокусов, придет на ум, что все это произошло естественно.

-- Естественно, естественно! -- воскликнул мейстер Абрагам. -- Как человек, не лишенный здравого смысла, вы должны знать, что в этом мире ничего не происходит естественно, -- так-таки решительно ничего! Или не думаете ли вы, дорогой мой капельмейстер, что, получая с помощью известных средств известные результаты, мы ясно понимаем причину действия, проистекающую из неведомого, таинственного "нечто"? Однако раньше вы питали большое почтение к моим фокусам, хотя и не видели того, что в них наиболее замечательно.

-- Вы разумеете невидимую девицу, -- сказал Крейслер.

-- Уже один этот фокус, -- продолжал мейстер, -- а есть много и других, -- мог бы вам доказать, что самая трезвая, самая простая механика вступает нередко в соотношение с таинственными чудесами природы и может вызывать действия, совершенно необъяснимые.

-- Гм, -- проговорил Крейслер, -- если вы будете сообразовываться с известной теорией звука, если вы сумеете искусно спрятать нужный аппарат, а где-нибудь вблизи будет находиться ловкое, искусное существо...

-- О, Кьяра, -- воскликнул мейстер Абрагам в то время, как на глазах у него заблестали светлые слезы, -- о, Кьяра, милое, дорогое дитя мое!

Крейслер еще ни разу не видал старика так глубоко растроганным. Мейстер никогда не выказывал меланхолических ощущений, напротив, имел обыкновение постоянно издеваться над ними.

-- Что это за Кьяра? -- спросил Крейслер.

-- Глупо, конечно, -- отвечал с улыбкой мейстер, -- что я сегодня выказываю себя перед вами какой-то старой плаксой; но Небесам угодно, наконец, чтобы я поговорил с вами об одном моменте моей жизни, о котором я так долго молчал. Подойдите сюда, Крейслер, поближе и посмотрите на эту большую книгу. Это самая достопримечательная драгоценность, которой я обладаю. Я получил ее в наследство от одного большой руки искусника по имени Северино, и вот я сижу здесь и читаю в этой книге о разных волшебных вещах и смотрю на маленькую Кьяру, изображенную в ней, и вдруг врывается вы, совершенно вне себя, и разрушаете мою магию именно в тот момент, когда я весь был проникнут

сладким воспоминанием о самом прекрасном чуде, которое мне принадлежало в лучшие дни моей жизни!

-- Ну, так расскажите же, наконец, в чем дело, -- воскликнул Крейслер, -- тогда и я поплачу вместе с вами!

-- Видите ли, -- начал мейстер Абрагам, -- когда-то, давным-давно, я был молодым, здоровым, обладал прекрасной наружностью и, будучи обуравем чрезмерным рвением и большим славолубием, работал сверх сил над большим церковным органом, что находится в большой кирке в Гениэнсмюле. Врач говорил мне: "Вам нужно проветриться, дорогой мой органый мастер, вам нужно взглянуть на широкий мир, перейти и долины, и горы!" Я, действительно, так и сделал: выдавая себя за механика, я переходил с места на место и показывал людям самые удивительные фокусы. Моя шутка вполне удалась и стала приносить мне большие доходы. Так было до тех пор, пока я, наконец, случайно не натолкнулся на некоего человека по прозванию Северино, который жестоко осмел все мои фокусы и почти заставил меня уверовать, наравне с народом, что он заключил союз с чертом или, по крайней мере, с другими более честными духами. Наибольшее внимание привлекала к себе женщина-оракул, сделавшаяся впоследствии известной под названием невидимой девицы. Посредине комнаты с потолка свободно спускался шар из светлого тончайшего стекла, и из этого шара тихо раздавались ответы на вопросы, обращенные к невидимому существу. Стечение публики всегда было громадное, не только благодаря кажущейся необъяснимости феномена, но и благодаря таинственным, за душу берущим свойствам замогильного голоса, исходившего от невидимого существа, благодаря меткости его ответов и его несомненным пророческим дарованиям. Я много говорил этому чудеснику о своих механических опытах, но он отнесся ко всем моим знаниям с полным презрением, хотя не с таким, как ваше, Крейслер. Он требовал от меня, чтобы я ему сделал для домашнего употребления гидравлический орган, хотя я ему доказывал, так же, как и Негг Гофрат, геттингенский мейстер в своем трактате *de veterum hydraulo* [*О водяных органах -- лат.*], что на таких *hydraulos*, в сущности, ничего не выгадаешь, кроме нескольких фунтов воздуха, который, благодаря Бога, можно еще везде получать безвозмездно. Наконец, Северино удостоверил меня, что нежные звуки такого инструмента нужны ему, чтобы помогать невидимому существу. Он сказал, что откроет мне свой секрет, если только я поклянусь на Библии, что я не воспользуюсь им сам и не передам другим, хотя он думает, что не так-то легко подражать его искусствам... Тут он сделал таинственную, слащавую гримасу, как, бывало, покойник Калиостро, когда он говорил женщинам о своих волшебных очарованиях. Горя нетерпением увидеть невидимую, я обещал Северино приготовить гидравлический орган. Тогда-то он подарил мне свое доверие и даже с удовольствием согласился на мое предложение, когда я вызвался помогать ему в его занятиях. Однажды я собирался идти к Северино и увидел на улице большое стечение народа. Мне сказали, что какой-то прилично одетый господин упал в обморок. Я протеснился вперед и узнал Северино,

которого только что подняли и внесли в ближайший дом. Врач, случившийся поблизости, занялся им. После того как были применены разные меры, Северино с глубоким вздохом открыл глаза. Его взгляд, устремленный из-под судорожно-сморщенных бровей, был страшен, в нем горел мрачный огонь, борющийся с ужасом смерти. Губы его дрожали, он хотел заговорить и не мог. Наконец, он несколько раз с сердцем ударил по карману жилета. Я наклонился и вынул оттуда несколько ключей. "Это ключ от вашей квартиры?" -- спросил я. Он кивнул утвердительно. Я взял другой ключ и опять спросил его: "Это ключ от вашего кабинета, в который вы никогда не хотели впустить меня?" Он опять кивнул головой. Но когда я хотел снова продолжать свои вопросы, он в смертельной тоске начал охать и стонать, на лбу его выступили капли холодного пота, он развел руками и потом сложил их как бы в виде круга, показывая на меня. "Он хочет, -- заговорил врач, -- чтобы вы в сохранности держали все его вещи и аппараты, а если он умрет, чтобы вы владели ими". Северино еще сильнее закивал головой и, наконец, поборовши слабость, крикнул "Согге!" [*Беги! - - ит.*] и снова лишился чувств. Я поспешил на квартиру Северино. Дрожа от любопытства и нетерпения, отворил я кабинет, где должна была скрываться таинственная невидимая, и немало удивился, найдя его совершенно пустым. Единственное окно кабинета было плотно занавешено, так что свет еле-еле пробивался в него. На стене висело громадное зеркало, как раз напротив двери, ведущей в другую комнату. Подойдя к зеркалу и увидя в нем, в слабом мерцании, свою темную фигуру, я невольно дрогнул от странного чувства, точно я находился в разобщительном приборе электрической машины. В то же самое мгновение голос невидимой девицы заговорил по-итальянски: "Отец, отец, пощадите меня хоть сегодня! Не бейте меня так жестоко, ведь вы только что умерли!" Я быстро открыл дверь в другую комнату: весь кабинет наполнился ярким светом, но в нем не было ни души. "Это хорошо, -- заговорил опять смутный голос, -- это хорошо, отец, что вы послали господина Лискова, он не позволит, чтоб вы меня били, он разломает магнитную палочку, и вы не встанете из могилы, в которую он вас положит; сердитесь сколько угодно, все равно, вы теперь мертвец, вы теперь не воскреснете к жизни". Вы можете, Крейслер, представить себе весь мой ужас: я не видал никого, а между тем смутный голос, казалось, говорил над самым моим ухом. "Черт побери, -- воскликнул я громко, чтобы немного ободриться, -- если бы я, по крайней мере, увидел где-нибудь дрянную бутылочку, я сейчас же разбил бы ее и передо мной, освобожденный из своего заключения, предстал, как живой, *diable boiteux* [*Хромой бес -- фр.*], а теперь". Мне вдруг показалось, что слабые вздохи, слышавшиеся в кабинете, доносились из-за перегородки, стоявшей в углу. Я подумал, что эта перегородка слишком мала, чтобы в ней могло скрываться человеческое существо, тем не менее подошел к ней, открыл задвижку и что же вижу? В углу, съжившись червячком, лежит девочка, смотрит на меня удивленными большими, прекрасными глазами... Я кричу ей "Выходи же, овечка! Выходи,

малютка!", она протягивает мне свою руку, я беру ее -- и точно электрический удар поражает меня с ног до головы.

-- Стойте, мейстер Абрагам! -- воскликнул Крейслер. -- Что это значит? Когда я в первый раз случайно коснулся руки принцессы Гедвиги, со мной произошла совершенно такая же вещь, и даже теперь, хотя в более слабой степени, происходит тоже самое каждый раз, когда она милостиво даст мне свою руку?!

-- Эге! -- воскликнул мейстер Абрагам. -- Так, значит, наша принцесса представляет из себя так же, как и милая Кьяра, нечто вроде *gymnotus electricus*, или *raja torpedo* или *trichiurns indicus* [*Электрический угорь, электрический скат, меч-рыба -- лат.*], или нечто вроде той прелестной забавницы, которая дала хорошую пощечину синьору Котунью, схватившему ее за спину и возымевшему желание произвести над ней анатомическое вскрытие, чего, конечно, вы не хотели сделать с принцессой. Но поговорим о принцессе в другой раз, а останемся теперь с нашей невидимой. Когда я, испуганный неожиданным ударом этой маленькой торпеды, отпрянул от нее с поспешностью, девочка сказала мне по-немецки удивительно приятным голосом:

-- Ах, не истолкуйте этого дурно, Негг Лисков, но я не могу иначе: моя скорбь чересчур велика.

Не поддаваясь больше своему изумлению, я тихонько взял малютку за плечи, извлек ее из ужасного ее помещения и увидел перед собой нежное, грациозное создание, которое было, судя по росту двенадцатилетней девочкой, а судя по физическому развитию взрослой девицей не менее шестнадцати лет. Вот посмотрите только в книгу, портрет очень похож, вы непременно признаете, что не может быть более милого, выразительного лица, что ни на каком портрете нельзя увидеть таких прелестных, черных глаз, одушевленных внутренним огнем. Всякий, кто только не будет стремиться во что бы то ни стало требовать белоснежной кожи и светлых, как лен, волос, должен будет признать это личико прекрасным до совершенства, -- только кожа ее была несколько смугла, а волосы черны, как смоль. Кьяра -- так называлась эта "невидимая девица" -- упала передо мной на колени, полная скорби и грусти, и, заливаясь слезами, воскликнула с неизъяснимым выражением:

-- Je suis sauvee! [*Я спасена! -- фр.*]

Я был проникнут чувством глубочайшего сострадания, в душе у меня были страшные подозрения. Принесли тело Северино. Второй припадок удара, поразивший его, как только я его оставил, кончился смертью. Как только Кьяра увидела труп, она перестала плакать, начала смотреть на мертвого Северино суровым взглядом и удалилась, когда люди, принесшие труп, начали с любопытством рассматривать ее и смеяться, полагая справедливо, что вот, наконец, они видят "невидимую девицу". Я нашел невозможным оставлять девушку одну с трупом. Добрые хозяева изъявили готовность принять ее к себе. Однако, когда все удалились и я снова вошел в кабинет, я увидел, что Кьяра в самом странном состоянии сидит перед зеркалом. Подобно лунатику, она устремила в зеркало пристальный,

неподвижный взгляд и, казалось, ничего не видела вокруг себя. Она шептала какие-то загадочные слова, все более и более внятно, пока, наконец, я не разобрал, что она попеременно говорит по-немецки, по-французски, по-итальянски и по-испански, причем все ее слова имеют какое-то соотношение с какими-то далекими от нее людьми. К немалому моему изумлению, я заметил, что был именно тот час, в который Северино заставлял говорить своего оракула. Наконец, Кьяра закрыла глаза и, по-видимому, погрузилась в глубокий сон. Я взял бедного ребенка на руки и снес вниз к хозяевам. На другое утро я нашел мою маленькую приятельницу веселой и спокойной. Только теперь, казалось, она вполне почувствовала свою свободу и рассказала мне все, что я пожелал узнать. Хотя вы, капельмейстер, и придаете значение благородному происхождению, однако ж вы не должны досадовать, если я вам скажу, что маленькая Кьяра была ни больше, ни меньше, как девочкой-цыганкой. Однажды, когда она грелась на солнце, находясь с целой шайкой грязных людей под надзором полицейских сержантов, на рынке какого-то большого города, мимо нее проходил Северино. Восемилетняя девочка остановила его и спросила, не хочет ли он, чтоб она предсказала ему будущее. Северино долго глядел в глаза забавной малютки, потом позволил истолковать значение линий, пересекающихся на ладони его руки, и выразил удивление по поводу предсказаний девочки. Должно быть, она показалась ему очень замечательной, потому что тотчас же он подошел к полицейскому офицеру, сопровождавшему толпу цыган, и заявил, что даст некую сумму, если ему будет позволено взять с собой маленькую цыганку. Полицейский офицер довольно грубо заявил, что "здесь не невольничий рынок", однако прибавил, что "так как девочку нельзя причислять к людям в точном смысле этого слова и так как тюремное заключение только портит нравы, она, пожалуй, будет предоставлена в распоряжение почтенного просителя, если он пожелает уплатить десять дукатов в городскую кассу вспомоществования бедным". Северино немедленно вынул свой кошелек и уплатил десять дукатов. Кьяра и ее старая бабушка обе слышали весь разговор, начали вопить и ни за что не хотели расставаться. Подошли полицейские, схватили старуху и швырнули ее на телегу, готовую к отъезду. Полицейский офицер, принявший в это мгновение свой кошелек за кассу вспомоществования бедным, спрятал в карман блестящие дукаты, а Северино увлек прочь от толпы маленькую девочку, стараясь по возможности утешить ее, купив ей тут же на рынке новое нарядное платьице и всяких сладостей. Северино именно тогда возымел в душе намерение устроить кунштюк с "невидимой девицей" и увидел в маленькой цыганке все необходимые для того данные. Он дал ей самое тщательное воспитание и наряду с этим старался воздействовать на ее организм, как бы приспособленный самой природой для исключительного психического развития. Применяя к несчастной злое операции Месмера, Северино вызывал искусственными мерами такое состояние, при котором у девочки обнаруживался дар пророчества. Роковая случайность дала ему возможность заметить, что девочка становится особенно чувствительна

после того, как ей приходится испытывать физическую боль: в таких случаях дар проникновения в чужое "я" доходит у нее до невероятной степени, и бедняжка совсем как бы превращается в духа. Жестокий фокусник стал теперь каждый раз перед своими "операциями" безжалостно бить ее плетью, после чего она приходила в состояние высшего мистического знания. К этой пытке прибавилась еще другая: целые дни, когда Северино бывал в отсутствии, несчастная девочка вынуждена была сидеть, скорчившись, в тесном помещении за перегородкой, для того чтобы присутствие ее оставалось тайной даже в том случае, если бы кто-нибудь неожиданно вошел в кабинет. Во всех поездках Северино Кьяра принимала участие, сидя все в том же ящике. Положение несчастной девушки было невыносимо!

В конторке Северино я нашел порядочную сумму денег -- в бумагах и в золоте. Благодаря этому, мне можно было обеспечить Кьяре хороший ежемесячный доход. Аппарат для фокуса "женщина-оракул", все акустические аксессуары я уничтожил, что вполне согласовалось с завещанием Северино, желавшего предоставить все, что ему принадлежало, в мое распоряжение. Устроивши все таким образом и оставив Кьяру у хозяев, полюбивших ее как родную дочь, я с грустью простился с милым ребенком и выехал из городка.

Прошел год. Я хотел уже возвратиться в Гениэнсмюль, куда призывал меня городской магистрат для поправки большого органа, но небесам было угодно, чтобы я появился перед людьми в качестве фокусника: какой-то бездельник обворовал меня, стянув кошелек, в котором были все мои деньги, и я таким образом был вынужден ради насущного куса хлеба показывать опять свои искусства в качестве знаменитого механика, снабженного всяческими рекомендациями и аттестатами. Раз я был в небольшом местечке, расположенном вблизи Зигхартсвейлера. Сижу я как-то вечером и постукиваю молотком, поправляя волшебный ящик, вдруг растворяется дверь, в комнату входит какая-то девушка или женщина и восклицает: "Нет, я больше не в силах переносить разлуку с вами, я должна была отправиться сюда, иначе я бы умерла! Вы -- мой господин, располагайте мной, как хотите!" Она бросается передо мной на колени, хочет обнять мои ноги, я поднимаю ее -- это Кьяра! Я едва узнал девушку: она выросла, окрепла, хотя формы ее по-прежнему отличались крайней нежностью. "Милая, милая Кьяра!" -- восклицаю я глубоко тронутый и прижимаю ее к своей груди. "Не правда ли, Негг Дисков, -- говорит она, -- ведь вы позволите мне побыть с вами, ведь вы не прогоните бедную Кьяру, обязанную вам и свободой, и жизнью?" С этими словами она поспешно прыгает к ящику, который только что внес за ней почтарь, дает этому последнему столько денег, что он, не помня себя от радости, катится к двери, восклицая громко "Да благословит тебя Бог!", потом она открывает ящик, вынимает оттуда книгу и подает мне со словами: "Вот, возьмите, Негг Лисков, вы позабыли лучшую вещь из наследства, оставшегося после Северино". Я начинаю перелистывать книгу, а Кьяра, как ни в чем не бывало, начинает распаковывать платья и белье.

Вы можете себе представить, Крейслер, что я был поставлен в немалое затруднение...

...Но теперь, наконец, настало время, чтобы ты, приятель, научился ценить меня как следует! Раньше я тебе только помогал срывать в дядином саду спелые груши и на их место привешивать деревянные, разрисованные, или наполнять лейки померанцевой водой, которой дядюшка поливал на дерне разложенные после стирки канифасовые панталоны, -- словом, я помогал тебе раньше устраивать всякие сумасбродные проказы и ты видел во мне только лукавого проказника, у которого совсем нет в груди горячего сердца или оно бьется так тихо под его шутовской курткой, что это биение ни для кого не чувствительно. Не кичись, приятель, своей тонкой впечатлительностью, своей способностью проливать сочувственные слезы -- я уж и так сейчас расхныкаюсь!.. Но, черт побери, однако, не безобразно ли в преклонном возрасте раскрывать свою душу перед молодыми людьми, превращая таким образом ее в ее какую-то выставку пустяков!..

Мейстер Абрагам встал и подошел к окну, оттуда глянула на него черная ночь. Гроза утихла, и в лепете ночного ветра слышно было падение отдельных дождевых капель. Издалека доносились из освещенного замка веселые звуки танцевальной музыки.

-- Принц Гектор, -- заговорил мейстер Абрагам, -- вероятно, прыжками открывает *partie a la chasse*... [*Охоту* -- *фр.*]

-- А Кьяра? -- спросил Крейслер.

-- Хорошо, что ты, сын мой, напоминаешь мне о Кьяре, -- продолжал мейстер, снова садясь на кресло в каком-то изнеможении. -- Под кровом этой таинственной ночи я должен испить до последней капли горькую чашу своих воспоминаний. Боже мой! Когда я увидел, как Кьяра суежилась, перебегая с одного места на другое, как в ее взорах светилась живая, чистая радость, -- я понял, что мне невозможно расстаться с ней, что она должна быть моей женой. Однако я спросил ее: "Слушай, Кьяра, что же все-таки я должен делать с тобой, если ты останешься здесь, у меня?" Кьяра подошла ко мне совсем вплоть и пресерьезно заявила: "Мейстер, в книге, которую я вам привезла, вы найдете подробное описание оракула, а кроме того, вы сами видели необходимые для этого приготовления. Я хочу быть вашей невидимой девицей!" "Кьяра! -- воскликнул я, совершенно обескураженный. -- неужели ты считаешь меня за человека, подобного Северино!" "О, не говорите мне ничего о Северино!" -- возразила Кьяра... Ну, да что тут рассказывать подробности! Вы сами, Крейслер, отлично знаете, что я весь мир приводил в изумление своей "невидимой девицей". Вы можете мне поверить, что я всегда гнушался какими-нибудь искусственными средствами для возбуждения у Кьяры болезненной впечатлительности. Я никогда не стеснял ее свободу. Она сама назначала мне время, когда она себя чувствовала или, вернее, предчувствовала способной играть роль невидимой. Занятие это в конце концов сделалось для малютки необходимой потребностью. Некоторые обстоятельства -- о них я сообщу потом -- привели меня в Зигхартстейлер. Я имел план появиться в этом городке совершенным инкогнито. Наняв квартиру у

вдовы княжеского повара, я скоро, благодаря ей и благодаря своим искусствам, сделался предметом толков при дворе. Чего я ожидал, то и случилось. Князь -- я разумею отца князя Ирenea -- отыскал меня, и моя пророчествующая Кьяра была чаровницей, одушевленной какой-то неземной силой и не раз раскрывшей князю глубокие тайники его собственной души, так что ему стало ясно многое, что раньше было как бы окутано туманом. Кьяра, сделавшаяся моей женой, жила в Зигхартсгофе у одного моего близкого друга и приходила ко мне под покровом ночи, так что самое ее присутствие в моей квартире было для всех тайной. Люди падки на чудеса, Крейслер, и если даже фокус безусловно нуждается в участии какого-нибудь субъекта, они все-таки будут крайне разочарованы, узнавши, что этот субъект, эта "невидимая девица" является живым человеком, который обладает телом. Таким образом, все обитатели города, где жил Северино, ругали его обманщиком, когда он умер и когда обнаружилось, что он сажал в кабинет маленькую цыганку, между тем как не желали совсем принимать во внимание искусство акустических приспособлений, заставлявших звуки выходить из самого стеклянного шара.

Старый князь умер. Я пресытился своими волшебствами, при которых Кьяра должна была прятаться даже от меня. Мне хотелось пожить на свободе со своей милой женой и отправиться опять в Тениэнсмюль в качестве органного мастера. Ночью, когда Кьяра должна была в последний раз сыграть свою роль "невидимой", она не явилась. Я должен был отослать всех любопытных посетителей неудовлетворенными. Сердце мое сжалось от болезненного предчувствия. Утром я побежал в Зигхартсгоф: Кьяра ушла оттуда в обычный час. Ну, что же ты смотришь на меня так глупо? Надеюсь, ты не будешь мне делать ненужных вопросов... Да, да, Кьяра исчезла: никогда, никогда более я ее не видал!

Мейстер Абрагам вскочил и устремился к окну. Глубокий, тяжелый вздох вырвался из его груди. Крейслер не решался ничего говорить, боясь оскорбить словами глубокоую скорбь старика.

После долгого молчания мейстер Абрагам опять заговорил:

-- Вы сегодня, Крейслер, не ходите в город. На дворе уже полночь; к тому же, вы знаете, теперь там гуляют разные привидения, двойники и тому подобная чертовщина. Оставайтесь со мной! Было бы совсем безумно...

(М. прод.) ...если бы подобные неучтивости случились в священном месте, -- я разумею аудиторию. Что-то стеснило мне сердце... Обуянный высокими мыслями, я больше не в силах писать... пойду, прогуляюсь немножко...

Возвращаюсь опять к письменному столу, мне лучше. Но то, чем так полно сердце, не может свободно вылиться из-под пера поэта. Я слышал, как однажды мейстер Абрагам рассказывал, что в одной старинной книге сообщается о некоем курьезном человеке: в теле у него неугомонно копошилась какая-то особенная *materia pessans* [*Вредное вещество -- лат.*], выходявшая из него не иначе, как через посредство пальцев. Он подложил под руку листок хорошей белой бумаги и вверял ей все, что

диктовал ему этот неугомонный злой дух, называя все презренные остатки такой материи стихотворениями, будто создавшимися в глубине его сердца. Все это в целом кажется мне злостной сатирой, но тем не менее верно, что иногда мной овладевает какое-то странное чувство, я бы мог назвать его духовно-желудочной болью, оно простирается даже на мои лапки, которые против моей воли должны записывать все, что я думаю. Вот точно такая вещь со мной и теперь; быть может, я это делаю напрасно, -- коты с отуманенным чувством в своем ослеплении могут быть очень опасны и могут даже заставить меня почувствовать свои острые когти, но пусть будет, что будет, я должен высказаться!

Мейстер сегодня все утро читал большой том *in quarto* [*В четверть листа -- лат.*], переплетенный в выделанную свиную кожу. Когда же он, наконец, удалился в обычный час, он, уходя, оставил раскрытую книгу на столе. Я быстро вскочил и, жадный до всяческих званий, хотел непременно разнюхать, что это такое за книга, изучаемая мейстером с таким вниманием и напряжением. Это было прекрасное, чудное произведение старика Иоганна Куннспергера: "О естественном влиянии созвездий, планет и двенадцати знаков". И еще бы мне не называть эту книгу прекрасной и чудной: пока я читал ее, предо мной в полной ясности обрисовывались все чудеса моего бытия, моего блуждания здесь, в земной юдоли! Ха! В то время как я пишу эти строки, над головой моей блещет дивное светило и, сливаясь со мною в загадочном странном сродстве, светит мне прямо в душу и потом светит прямо из моей души! О, на челе своем я ощущаю этот палящий, этот пылающий луч длиннохвостой кометы... Да, я сам хвостатая комета, я, кот Мурр -- небесный метеор, который пророчески-грозно мчится над миром в загадочном блеске своем. И подобно тому, как пред яркой кометой меркнут на небе все звезды, так точно померкнете все вы во мраке неизвестности, померкнете вы предо мной, коты, другие животные, а также и люди! Но все же, хоть Божественная природа и просвечивает во мне, в хвостатом духе света, не должен ли я буду разделить участь всех смертных? В моем сердце слишком много любви, я слишком чувствительный кот, чтобы вполне примкнуть к тем слабым душой существам, которые вижу кругом! Потому-то я и грущу, потому и болит мое сердце: повсюду я вижу себя одиноким, как бы в унылой пустыне; я не принадлежу настоящему веку, о, нет, я весь в далеком грядущем, когда всеобщее распространение образованности научит чувствовать тонко и не будет на свете ни единой души, которая бы могла достаточно подивиться мне. А ведь славная это штука, когда мне будут удивляться. Даже похвалы молодых, вульгарных, несведущих котов -- и те доставляют мне неизъяснимое блаженство. Я умею приводить таких юнцов в изумление, достигающее у них крайних своих степеней. Но что в том! Сколько бы они ни напрягали свои силы, они не могут возвыситься до мощных звуков хвалебных труб, они только умеют кричать, что есть мочи "Мяу, мяу!"... Нет! О потомстве должен я думать, оно оценит меня! Пусть я напишу теперь философский трактат. Кто проникнет во всю глубину моего мышления? Если я снизойду до того, что сочиню комедию, где найдутся

актеры, способные ее разыграть? Если я примусь за другие литературные работы, например, буду писать критические статьи, -- занятие вполне меня достойное, так как я парю превыше всего, что называется поэтами, сочинителями, художниками, могу везде выставить себя в качестве образца, конечно, недостижимого, в качестве идеала совершенства, следовательно, могу высказать единственно компетентное суждение, -- кто будет способен разделить мои взгляды, кто сумеет воспарить до моей точки зрения? Есть ли на свете такие лапы или руки, которые бы могли возложить мне на чело заслуженный лавровый венок? Но все-таки я стою настороже, я сам возложу на себя венок, и, если только кто-нибудь посмеет к нему прикоснуться, с целью его растрепать, я покажу ему, как остры мои когти. Ведь существуют же такие завистливые бестии! Как подумаю я, что принужден буду защищаться от их нападений, я сейчас же выпускаю когти и, забываясь, больно раню этим острым оружием свое собственное прелестное лицо. Даже к чувству благородного самосознания примешивается невольно какое-то недоверие... но может ли быть иначе!.. И тут еще разные оскорбления: на днях, например, юный Понто, встретившись на улице с целой толпой таких же, как и он, молодых пуделят, начал им говорить о последних событиях дня, а обо мне и не упомянул, несмотря на то, что я сидел всего в шести шагах от него на слуховом окошечке родного моего погреба. Я немало был раздосадован, когда он на мои упреки ответил утверждением, будто бы он меня совсем и не заметил.

Однако пора обратиться к вам, о, родственные мне души, -- души поколений более прекрасных, чем теперешнее... О, я хотел бы, чтобы эти поколения грядущего были уже здесь, в царстве настоящего, чтобы они питали в уме своем достоюльные мысли о величии Мурра и громко высказывали эти мысли, так громко, чтобы ничего другого не было слышно от оглушительного крика... Так вот, теперь-то хочу я сообщить вам, о родственные души, дальнейшие приключения, пережитые вашим Мурром в годы его юности. Внимание, други мои: приближается важный момент, момент перелома!

Наступили иды марта, и на крышу пали кроткие лучи солнца, вешнего и ясного, и в душе моей зажегся лучезарный, нежный пламень. Два уж дня я весь томился непонятною печалью, неопisanного мукой, болью сладкой души! В третий день я стал спокойней, но затем лишь, чтоб потом впасть в болезненное состояние неизведанной тоски.

Вблизи от меня из слухового окна тихонько, не торопясь, вышло милое создание -- о, если бы я только мог описать прекрасную! Она была одета в белое платье и только ее прелестный лоб был украшен маленькой шапочкой из черного бархата; равным образом на ее ножках были надеты черные чулочки. В чудных обворожительных глазах изумрудного цвета сверкал приветный огонек. Нежные движения тонких остроконечных ушей заставляли догадываться, что в этой красоте живет добродетель и разум, а в волнообразном трепете хвоста сказывалась благородная грация и привлекательная женственность.

Милое дитя, по-видимому, не заметило меня, оно взглянуло на солнце, зажмурилось и чихнуло. О, этот звук мгновенно наполнил меня сладостным трепетом, мой пульс забился сильнее, кровь закипела в моих жилах, сердце мое расширилось и готово было разорваться, неизъяснимая блаженная мука, почти лишавшая меня самообладания, вылилась, наконец, в долгом, протяжном "мяу". Малютка быстро обратила ко мне свой взор, выразивший страх, детский наивный испуг. Чьи-то невидимые лапы с неудержимой силой повлекли меня к ней, но едва только я прыгнул к очаровательной девушке, желая обнять ее, как она с быстротой молнии скрылась за дымовой трубой. В отчаянии и исступлении я носился вдоль и поперек по крыше, испуская самые жалостные вопли, -- тщетно, она не приходила! О, какое состояние! Кусок не шел в мое горло, науки были мне противны, я не мог больше ни читать, ни писать.

-- О, Небо! -- воскликнул я на другой день. -- Я искал свою возлюбленную везде: на крыше, на чердаке, в подвале, во всех коридорах дома -- и после бесплодных поисков, безутешный, вернулся домой, и в мыслях все видел перед собой обворожительную малютку, и, когда мейстер подставил мне под нос блюдо с жареной рыбой, эта последняя глянула на меня милыми глазами, и в безумном восторге воскликнув: "Это ты, желанная?", я одним глотком пожрал рыбу.

"О, Небо, Небо! -- воскликнул я потом. -- Это ли есть любовь?" Я несколько успокоился и как юноша, обладающий известной эрудицией, решил тотчас подвергнуть свои чувства трезвому анализу. Я начал, правда, не без напряжения, основательно штудировать *De arte amandi* Овидия, равно и "Искусство любить" Мансо, но ни один из признаков любви, отмеченных в обоих этих произведениях, не подходил ко мне вполне. Наконец, пришло мне на ум, что, как я читал в какой-то комедии, самыми верными признаками состояния влюбленности являются рассеянный вид и запущенная борода. Я посмотрелся в зеркало. Боже, борода моя была запущена! Боже, вид мой был рассеян!

Когда я теперь узнал нечто определенное относительно своей влюбленности, на сердце у меня стало несколько легче. Я решил надлежащим образом подкрепиться пищей и питьем и потом найти очаровательную красотку, которой было всецело занято мое сердце. Какое-то сладкое предчувствие подсказало мне, что она сидит перед дверью дома. Я спустился с лестницы и действительно обрел ее! О, как я был рад опять ее лицезреть! Как волновалось в груди моей чувство восторга, несказанное блаженство любви! Мисмис (так называлась малютка, я узнал это потом от нее самой) в изящной позе сидела на задних лапках и приглаживала себе щеки и прическу за ушами. С какой неопишуемой грацией она исполняла перед моими глазами то, что требуется опрятностью и элегантностью! Ей не нужно было никаких презренных тайных принадлежностей туалета для увеличения прелести, дарованной ей природой. С большей почтительностью и скромностью, нежели в первый раз, я приблизился к ней и сел рядом. Она не обратилась в бегство, но взглянула на меня испытующим взором и тотчас же опустила глаза.

-- Прелестнейшая, -- начал я тихим голосом, -- будь моей!

-- Отважный кот, -- возразила она смущенно, -- кто ты? Знаешь ли ты меня? Если ты так же чистосердечен, как я, и так же правдив, скажи мне прямо и поклянись, любишь ли ты меня действительно!

-- О, клянусь всеми ужасами Оркуса, -- воскликнул я вдохновенно, -- клянусь священной луной и всеми звездами и планетами, которые засветятся в ближайшую ночь, если только небо будет ясное, клянусь, что я люблю тебя!

-- И я также, -- пролепетала малютка и в стыдливом упоении склонила ко мне головку.

Объятый любовным пламенем, я протер к ней лапы и хотел заключить возлюбленную в свои объятия, как вдруг откуда-то выскочили два гигантские кота, с дьявольским ворчанием устремились на меня, схватили зубами, вонзили в меня когти и в довершение бедственного моего положения сбросили в сточный желоб, где надо мной сомкнули свои волны грязные помои. Еле-еле я спасся от смертоубийственных когтей злодейских бестий, презревших мой сан, и с криком, выразившим смертельную тоску, вбежал вверх по лестнице. Мейстер, увидев меня, с громким смехом воскликнул:

-- Мурр, Мурр, что за вид у тебя? Ха-ха! Я понимаю: ты, подобно некоему рыцарю, блуждал в обманчивых садах любви, ты хотел наделать проказ, а в действительности досталось тебе самому!

И с этими словами мейстер, к крайней моей досаде, опять разразился оглушительным хохотом. Потом он налил в какой-то сосуд теплой воды, без всяких рассуждений погрузил меня туда неоднократно, так что я от чиханья и кашля лишился на время и слуха, и зрения, завернул меня в мягкую фланель и положил в корзинку. От бешенства и скорби я был почти бездыханен: я был не в силах шевельнуть ни одним членом. Наконец, ощущение теплоты оказало на меня благотворное действие, мысли мои стали приходить в порядок. С прискорбием я подумал: "Вот еще новый обман жизни, новое горькое разочарование! Это-то любовь, которую я уже давно воспел так чудно, любовь, долженствующая быть высшим благом, наполнять нас неописанным блаженством, уносить нас в небесные пределы! Увы, меня она низвергла в сточный желоб! Я отрекаюсь от чувства, не принесшего мне ничего, кроме укусов, унижительного купанья и презренного закутывания в подлую фланель!"

Но как только я опять выздоровел и мог вполне располагать собой, снова перед глазами моими стал беспрерывно мелькать образ Мисмис, и я, еще памятуя пережитый мною позор, к ужасу своему заметил, что все продолжаю любить. Я овладел собой и, как разумный кот, стал опять читать Овидия, так как я вспомнил, что в его "Ars amandi" ["*Об искусстве любви*" -- лат.] есть рецепты против любви.

Я прочел стихи:

Любит Венера досуг.

Если больше не хочешь влюбляться,

Страсть прогоняют дела.
Действуй -- и будешь здоров!

Сообразуясь с этим предписанием, я вознамерился с пламенным жаром углубиться в науки... но на каждой странице книги я видел Мисмис! Я думал -- и в уме моем звучало: "Мисмис!" Писал -- и из-под моего пера выливалось слово "Мисмис". Мне пришло в голову: автор разумел, вероятно, другое дело и так как от некоторых котов я слышал, что ловля мышей -- развлечение чрезвычайно приятное и забавное, мне пришло на ум, что, быть может, под *rebus* [*Дело, задача -- лат.*] разумелась также и ловля мышей. Как только стемнело, я отправился в подвал и бродил по всем его мрачным закоулкам, распевая: "Сквозь лес иду, и тих, и дик, взведен курок ружья".

Но что же это? Вместо дичи, за которой я думал охотиться, всюду предо мной выплывает милый, обольстительный образ! И скорбь томительной любви вдруг вспыхнула опять в моей крови! И я сказал: "О, девственный рассвет, склони ко мне приветливые взоры, и в ласковых твоих лучах жених с невестой -- Мурр и Мисмис -- вернутся радостно домой!" Так говорил я, кот влюбленный, в надежде сладостных наград! Бедняк, стремись скорей на крышу, закрыв глаза, беги любви! Она лишь муку поселяет в твоей бунтующей крови!

Таким-то образом, я, несчастный, все больше и больше запутывался в сетях любви, которую, по-видимому, зажгла в моей груди враждебная звезда. Исступленный, гневно возмущаясь против рока, я снова схватил Овидия и прочел там стихи:

Если подруга твоя безголоса -- потребуй, чтоб спела, Струн не касалась -
- проси, чтоб сыграла тебе.

-- Ха, -- воскликнул я, -- к ней, к ней, на крышу! Я найду ее, я обрету волшебную чаровницу там, где видел ее впервые, но она должна петь предо мной, да, петь, и, если только голос ее издаст хоть одну фальшивую ноту, конечно, я исцелен, я спасен!

Надо мною раскинулось ясное небо и заискрился месяц, сиянием которого я клялся в любви перед милой, прелестною Мисмис; на крыше сидел я и ждал. Долго, долго я тщетно томился, не видя ее, и вздохи мои превращались в любовные жалобы.

Наконец я запел унылую песенку в таком элегическом тоне:

К вам я взываю, красоты природы,
Шепчущий лес и шумящие воды,
Плачьте, внемлите,
Скажите, скажите,
Где моя Мисмис, моя чаровница?
Мир мне -- пустыня, мир мне -- темница!
Юноша любит, свидания ждет;
Где же она, о, скажите, скажите,
Грусти внемлите!

Плачет, рыдает тоскующий кот!
Месяц прекрасный,
Светлый и ясный,
Ты мне скажи, куда милая скрылась?
В бездне забвенья
Нет мне спасенья,
Радость навек от меня удалилась!
Тяжко любви безнадежной мученье,
Скорбь все сильнее растет и растет!
Сжался, утешь меня в муке ужасной,
Месяц прекрасный!
Плачет, рыдает тоскующий кот!

Вот видите, любезные читатели, истинный поэт может даже находится и не в шепчущем лесу, и не у шумящих вод, а тем не менее он сумеет их воспевать; где бы он ни находился, к нему всюду донесутся эти шумливые волны и он почувствует своей артистической душой все что угодно. Если кто-нибудь придет в крайнее изумление по поводу вышеупомянутых стихов, замечательных по своему совершенству, я со свойственной мне скромностью обращаю его внимание на то, что я находился в состоянии экстаза, вдохновения влюбленности, а ведь всякому известно, что если кто влюблен, так он непременно сочиняет стихи, хотя, быть может, вообще говоря, он еле способен даже подбирать такие рифмы, как "нежный" -- "мятежный" или "слезы" -- "грезы"; быть может, он даже неспособен без особого напряжения придумать и эти далеко не экстраординарные рифмы, все равно, стоит ему влюбиться, -- и он так же неизбежно будет обуян духом поэзии, как человек, страдающий насморком, неизбежно должен чихать. Мы обязаны уже многими произведениями этим экстазам прозаических натур, и весьма отраднo, что таким путем получают на некоторое время громкую репутацию даже разные Мисмисы человеческой породы, обладающие далеко не выдающейся *beaute* [*Красота* -- *фр.*]. Если такая вещь происходит с помертвелым сухим деревом, что же должно быть со свежей зеленеющей ветвью? Другими словами говоря, если, благодаря чувству любви, даже прозаические собачьи натуры превращаются в поэтов, что же должно быть с истинными поэтами в эту стадию их жизни! Итак, я и не думал сидеть в лесу, исполненном шепота, или у шумящих вод, я просто-напросто сидел на высокой, холодной крыше, месяц едва светил, -- и, однако же, я искренне умолял о помощи, видя пред собой вдохновенным взором и ясный месяц, и плещущие воды и все вообще красоты природы. Довольно трудно было подобрать надлежащую рифму к названию моей породы -- кот. Ведь не мог же я, например, рифмовать это название со словом "скот". Однако я нашел добропорядочные рифмы и тем самым еще раз убедился, что моя порода имеет несомненные преимущества перед человеческой, потому что к слову "человек" немислимо придумать какую-либо рифму, кроме пошлой, избитой рифмы -- "век". Говорят, что какой-то остряк сказал по этому поводу:

Ничтожный жалкий человек
Сидит без рифмы целый век.

Я мог бы добавить:

Питомец муз, ученый кот
Сплетает рифмы круглый год.

Не тщетно расточал я звуки сердечной пламенной тоски, не тщетно умолял и лес, и воды вернуть ко мне царицу дум моих: за дымовой трубой красавица гуляла, чуть слышались ее воздушные шаги.

-- Это ты, мой милый Мурр, сейчас так сладко пел? -- спросила Мисмис.

-- Как, -- воскликнул я с радостным изумлением, -- ты знаешь мое имя, очаровательное создание?!

-- О, конечно! -- воскликнула она. -- Ты полюбился мне с первого взгляда, и больно стало сердцу моему, когда два моих кузена так неделикатно столкнули тебя в сточный желоб...

-- Не будем говорить о сточном желобе, -- прервал я ее, -- лучше скажи мне, прелестное дитя, любишь ли ты меня?

-- Я навела о тебе справки, -- продолжала Мисмис, -- и узнала, что ты называешься Мурром и живешь в полном довольстве у очень доброго господина, пользуясь у него всеми усадками жизни, которые ты мог бы даже разделить с нежной супругой. О, я люблю тебя, милый Мурр!

-- Возможно ли? -- воскликнул я в неземном блаженстве. -- Сон это или действительность? Что с тобой, мой рассудок? Ха! Где я? На земле, на крыше или в облаках? Кто я? Все тот же кот Мурр или кто-нибудь другой? Приди на грудь мою, желанная! Но скажи мне прежде свое имя, прекраснейшая!

-- Я называюсь Мисмис, -- отвечала малютка, пролепетав свое имя в нежной застенчивости и садясь доверчиво рядом со мной.

О, как она была прекрасна! Серебром отливал под луной ее белый пушистый мех, в ее зеленых глазках искрился пламень страсти и нежности. Ты...

(Мак. л.) ...должен был, любезный читатель, знать все это и раньше; но впредь я, наверно, не буду так перескакивать с одного предмета на другой. Итак, с отцом принца Гектора случилось то же самое, что и с князем Иренеом: он выронил из кармана свои владеньица, -- каким образом, он и сам не знал. Принц Гектор был расположен только к тихой, мирной жизни, тем не менее княжеский стул ускользнул из-под него и тогда он, не имея более возможности управлять, пожелал, по крайней мере, командовать: поступил на службу во французские войска, отличился храбростью, но, когда в один прекрасный день некая цитристка пропела ему: "Ты знаешь ли край, где рдеют лимоны", он отправился немедленно в тот край, где лимоны действительно рдеют, то есть в Неаполь, и вместо французского

мундира надел на себя неаполитанский. Он был расторопным генералом, насколько вообще принц может быть расторопным.

Когда отец Гектора умер, князь Иреней открыл большую книгу, куда он собственноручно занес имена всех владетельных князей Европы, и отметил кончину своего сиятельного друга и спутника в несчастье. После этого он долго всматривался в имя принца Гектора, громко вскрикнул: "Принц Гектор!" -- и захлопнул фолиант с таким шумом, что гофмаршал, ужаснувшись, отпрянул на три шага назад. Потом князь встал, начал ходить взад и вперед по комнате и употребил на понюшки столько испанского табаку, сколько нужно, чтобы привести в порядок неизмеримую бездну мыслей. Гофмаршал много говорил о покойнике, который наряду с богатствами обладал мягким сердцем, говорил о молодом принце Гекторе, которого в Неаполе уважают и монарх, и народ. Князь Иреней, по-видимому, не обращал на его слова ни малейшего внимания, но вдруг стал перед самым лицом гофмаршала, бросил на него ужасный взгляд Фридриха, резко проговорил: "Может быть" -- и исчез в смежной комнате.

"Боже мой, -- подумал гофмаршал, -- князя, вероятно, занимают какие-нибудь важные мысли, быть может, даже планы".

Так и было в действительности. Князь Иреней думал о богатстве принца, о его родственных связях с правящими фамилиями, он принял во внимание, что принц Гектор может со временем переменить свою шпагу на скипетр, и подумал, что брак принца с принцессой Гедвигой может иметь самые благотворные последствия. Немедленно был послан камергер с поручением засвидетельствовать перед принцем Гектором прискорбие князя по поводу кончины родителя принца; в то же время у камергера в кармане был спрятан миниатюрный портрет принцессы, замечательно удачный. Нужно добавить, что принцесса Гедвига на самом деле была красоты удивительной и могла бы считаться совершенством, если бы ее кожа была несколько более желта. Поэтому для нее был чрезвычайно выгоден свет восковых свечей.

Камергер чрезвычайно искусно выполнил поручение князя, бывшее совершенной тайной для всех, даже для княгини. Когда принц увидел портрет, он пришел почти в такой же экстаз, как его коллега в "Волшебной флейте". Если он и не спел, то все же воскликнул, как Тамино: "Очаровательнейший образ!" И потом: "Я полон думою одной, любовь, любовь владеет мной!" И действительно, только одна любовь владела принцем Гектором, когда он сел за свой письменный стол и написал князю Иренею, прося руки и сердца принцессы Гедвиги. Князь Иреней ответил, что он с удовольствием согласится на этот брак, которого он желает от всего сердца, уже благодаря одной памяти об умершем друге своем, отце Гектора. Но так как форма должна быть соблюдена, принцу предлагается послать в Зигхартсвейлер какого-нибудь благовоспитанного человека приличного положения, снабженного полномочием совершить обряд обручения. Принц написал, что он приедет сам.

Князю это было несколько неприятно: обручение, совершенное уполномоченным, казалось ему более возвышенным, прекрасным, истинно-княжеским. Он уже заранее предвкушал радость такого торжества и успокоился только на том, что назначил перед бракосочетанием большое празднество орденов. Именно он был намерен торжественнейшим образом украсить принца большим крестом фамильного ордена, который был учрежден его отцом и не украшал больше уже ни одного рыцаря. Итак, принц Гектор появился в Зигхартсвейлере с двойной целью: увезти с собой принцессу Гедвигу и получить большой крест ордена, прекратившего свое существование. Ему, видимо, было желательно, чтоб его намерение сохранялось в тайне, в особенности он просил ни слова не говорить Гедвиге, так как он хотел сперва вполне убедиться в любви Гедвиги и потом уже предложить ей свою руку.

Князь не совсем ясно понял, что разумел под этим принц, и подумал, что, сколько он может припомнить, в княжеских домах никогда не бывает такой формы бракосочетания, никогда не бывает, чтобы сперва спрашивали о любви, а потом соединялись брачными узами. Если же принц имеет в виду явление известного *attachement* [*Привязанность -- фр.*], так этого не может быть, пока принц и принцесса будут только жених и невеста. Легкомысленная юность постоянно желает нарушать требования этикета. Желаемое проявление *attachement'a* может иметь место минуты за три перед тем, как будет происходить обмен колец. Конечно, было бы прекрасно и возвышенно, если бы княжеская молодая чета выказала в это мгновение обоюдную боязнь, но, к сожалению, такие правила высшей порядочности кажутся в настоящее время пустыми снами.

Когда принц увидел Гедвигу, он обратился к адъютанту и прошептал на непонятном для других неаполитанском диалекте: "Клянусь всеми святыми, она прекрасна, но родилась близ Везувия, и его огонь сияет в ее глазах!"

Принц Игнац уже осведомился, весьма кстати, есть ли в Неаполе красивые чашки и сколько их у принца Гектора. Все приветствия были сказаны принцу, и он уже хотел опять обратиться с каким-то вопросом к Гедвиге, как вдруг открылись двери и князь пригласил принца посмотреть на великолепную сцену: он призвал в парадную залу решительно всех, кто только имел хоть что-нибудь, соответствующее придворной пышности. Он был на этот раз менее строг в выборе, чем прежде, так как Зигхартсгоф мог собственно считаться загородным княжеским двором. Бенцон вместе с Юлией также была в числе присутствовавших.

Принцесса Гедвига была сдержанна, задумчива, безучастна и, по-видимому, обращала на прекрасного гостя из южных стран не больше и не меньше внимания, чем вообще на всякое новое лицо, показавшееся при дворе; когда же ее фрейлина, краснощекая Наннэт, не преминула шепнуть ей на ухо, что чужестранный принц удивительно хорош собой и носит мундир, прекраснее которого она в жизни своей не видела, Гедвига довольно сурово спросила ее, не сошла ли она с ума.

Принц Гектор, подобно павлину, распускающему свой пышный хвост, развернул перед принцессой всю свою хвастливую галантерейность. Гедвига, почти оскорбленная неистовством его слащавой восхищенности, спросила об Италии, о Неаполе. Принц нарисовал ей райский сад, в котором она должна была бы играть роль владычицы-богини. Он выказал себя знатоком в деле искусства, говорил со своей дамой таким образом, что все слагалось в гимн, восхваляющий ее красоту, ее очарование! Но как раз на самом интересном месте этого гимна принцесса отвернулась от принца Гектора и подскочила к Юлии, заметив ее вблизи. Прижав ее к своей груди, она надавала ей тысячу ласковых имен и, обратившись к принцу, который только что опять к ней подошел, несколько шокированный ее бегством, воскликнула:

-- Это моя милая, славная Юлия, моя возлюбленная, дорогая сестра!

Принц устремил на Юлию пристальный, странный взгляд, заставивший ее покраснеть до ушей и обернуться к матери, стоявшей сзади. Но принцесса опять обняла ее и воскликнула "Милая, милая Юлия!", и при этом у нее выступили слезы на глазах.

-- Принцесса, -- проговорила тихонько Бенцон, -- к чему такое эксцентричное поведение?

Гедвига, не обращая внимания на слова Бенцон, обратилась к принцу, на уста которого легла печать молчания, и, если раньше она была сдержанна, серьезна и недовольна, зато теперь предалась тем большей веселости. Наконец, туго натянутые струны ослабли, и ее настроение сделалось более мягким, кротким, женственным. Она была любезнее, чем когда-либо, и принц казался совершенно увлеченным. Потом начались танцы. Принц, после того как были исполнены самые разнообразные танцы, вызвался дирижировать национальным неаполитанским танцем, и ему легко удалось дать всем присутствующим ясное о нем представление, так что все пошло хорошо и даже страстный, нежный характер этого танца был удачно выполнен.

Но никто не понял так всецело истинный его характер, как Гедвига, танцевавшая с принцем. Она попросила повторить, и когда танец был окончен во второй раз, Гедвига, не обращая внимания на слова Бенцон, которая увидела на щеках принцессы подозрительную бледность, настаивала, чтобы танец был исполнен в третий раз; она уверяла, что только теперь он удастся ей вполне. Принц был в восхищении. Он носился с Гедвигой, каждое движение которой было воплощением грации. Во время одной из бесчисленных фигур танца, принц страстно прижал к груди свою очаровательную даму, но в то же мгновение Гедвига, покоясь в его объятиях, лишилась чувств.

Князь подумал, что на придворном балу не должно быть такой неприличной помехи и что только дачное положение может извинять многое.

Принц Гектор собственноручно отнес Гедвигу в соседнюю комнату, положил ее на софу, а Бенцон стала тереть ей виски какой-то сильной туалетной водой, оказавшейся у лейб-медика. Последний, впрочем,

сообщил, что это не больше, как нервный припадок, который вызван слишком усердным исполнением танца и который пройдет скоро сам по себе.

Врач был прав: по истечении всего нескольких секунд принцесса с глубоким вздохом открыла глаза. Принц, как только заметил, что Гедвига оправилась, немедленно протеснился через толпу дам, окружавших софу, встал перед принцессой на колени и начал обвинять себя, говоря, что это он виноват во всем и что такое сознание разрывает ему сердце. Но едва принцесса увидела его, она с отвращением и страхом воскликнула: "Прочь, прочь!" -- и опять лишилась чувств.

-- Пойдемте, -- проговорил князь, беря принца за руку, -- пойдемте, любезнейший принц, ведь вы еще не знаете, что принцесса иногда одержима странными фантазиями. Бог знает, в каком виде вы предстали перед ней теперь, когда она в таком состоянии! Вообразите себе: еще в детстве своем -- *entre nous soit dit* [*Между нами говоря -- фр.*] -- принцесса в продолжение целого дня считала меня Великим Моголом и настаивала, чтобы я выезжал в бархатных туфлях, на что я наконец решился, хотя не рискнул отправиться в таком виде дальше собственного сада.

Принц Гектор без обиняков расхохотался прямо в физиономию князю Иренею и кликнул свою карету.

Бенцон вместе с Юлией по желанию княгини осталась в замке ухаживать за Гедвигой. Княгиня знала, что Бенцон имела на Гедвигу большое влияние, которое простиралось даже до такой степени, что излечивало подобные припадки. Действительно, принцесса быстро оправилась, после того как Бенцон начала уговаривать ее самым нежным образом. Принцесса утверждала, что принц во время танца превратился в драконоподобное чудовище и своим острым, пылающим языком причинил ей укол в самое сердце.

-- Боже упаси, -- воскликнула Бенцон, -- в конце концов принц Гектор является сказочным *monstro turchino*! [*Синее чудовище -- ит.*] Что за фантазии! Потом окажется то же самое, что было и с Крейслером, которого вы считали помешанным!

-- Никогда! -- с жаром ответила принцесса, и потом с улыбкой добавила: -- По правде сказать, мне совсем бы не хотелось, чтобы мой добрый Крейслер так же быстро превратился в *monstro turchino*, как принц Гектор!

Когда на следующий день ранним утром Бенцон, проснувшись, пошла в комнату Юлии, она увидела свою дочь бледной, грустной, смущенной, точно больная голубка.

-- Ах, мама, -- воскликнула Юлия совершенно упавшим голосом, -- ах, мама, никогда больше не станем бывать в этом обществе! Сердце мое дрожит, когда я вспомню о вчерашней ночи! В этом принце есть что-то ужасное: я не могу тебе описать, что со мной сделалось, когда он на меня посмотрел. Из его темных, страшных глаз блеснула какая-то страшная молния, чуть не уничтожившая меня. Не смейся надо мной; это взгляд убийцы, избравшего свою жертву, которая умрет от смертельной тоски прежде, чем в нее вонзится кинжал! Повторяю, какое-то странное,

необъяснимое чувство пробежало по всем моим членам. Говорят о василисках, один взгляд которых умерщвляет своим ядовитым огнем. Принц, должно быть, походит на такое чудовище.

-- Ну, -- воскликнула со смехом Бенцон, -- теперь я действительно готова поверить существованию *mostro turchino*, потому что красивый, любезный молодой человек одновременно представился двум девушкам -- драконом и василиском. Я понимаю, что принцесса может предаваться самым диким фантазиям, но чтобы такие сны посетили мою спокойную, рассудительную Юлию...

-- Что касается Гедвиги, -- прервала Юлия свою мать, -- я не знаю, какая враждебная власть хочет отторгнуть ее от моего сердца, хочет и мне передать страшную болезнь, свирепствующую в ее душе! Да, состояние принцессы нельзя назвать иначе, как болезнью, против которой бедняжка ничего не может поделать. Когда она вчера быстро отвернулась от принца, когда она обнимала и целовала меня, я почувствовала, что в ней пылает какой-то лихорадочный жар. И потом этот танец, ужасный танец! Ты знаешь, мама, как я ненавижу танцы, в которых мужчины должны нас обнимать. Мне кажется, что мы как будто должны забывать в это мгновение решительно все требования приличия и нравственности и давать мужчинам какую-то власть, какое-то превосходство над собой. Южный танец, которым Гедвига так увлеклась, казался мне тем отвратительнее, чем больше он продолжался. В глазах принца сияло дьявольское злорадство.

-- Глупая, -- проговорила Бенцон, -- откуда все это пришло тебе в голову? Однако я не могу порицать твоих суждений, но не будь несправедлива к Гедвиге, на время выкинь совсем из головы и принца, и принцессу. Если ты хочешь, я позабочусь, чтобы ты некоторое время не видела их. Нет, нет, твой покой не должен быть нарушаем, дитя мое! Поди ко мне поближе! -- И Бенцон обняла Юлию с истинно материнской нежностью.

Юлия прижалась к ней своим пылающим лицом и продолжала:

-- А благодаря этому ужасному беспокойству родились, вероятно, и те странные сны, которые привели меня в окончательное смущение.

-- А именно? -- спросила Бенцон.

-- Мне приснилось, -- продолжила Юлия, -- будто я гуляю в прекрасном саду: среди темных густых кустарников виднеются цветы фиалок и роз, наполняющих воздух своим сладким ароматом. Над садом покоился какой-то таинственный трепетный свет, точно блеск от луны, он превращался в звуки, в пение, прикасался золотом своих лучей к деревьям и к цветам, дрожавшим от восторга, к кустам, которые шумели, к ручьям, которые шептались и вздыхали. Тогда я заметила, что я сама -- это пение, царящее над сказочным садом, и как только блеск этих звуков поблекнет, я должна буду исчезнуть, превратившись в тоскливую муку. Но едва только эта мысль пришла мне на ум, как чей-то нежный голос сказал: "Нет! Эти звуки означают не смерть, а блаженство: я буду крепко держать тебя в своих сильных объятиях, и в твоей душе будет вечно-вечно покоиться гармония моего поющего голоса!" Это говорил появившийся передо мной Крейслер.

Неземное чувство надежды и отрады охватило меня, и сама я не знаю -- я говорю тебе все, мама, -- сама не знаю, как я упала на грудь к Крейслеру. Вдруг я почувствовала, что меня плотно охватила чья-то железная рука и насмешливый, резкий голос воскликнул: "Чего ты хочешь, несчастная, ведь ты уже давно умерла и должна теперь быть моей!" Это принц говорил. Я проснулась с громким криком ужаса, поскорее набросила на себя утреннее платье и раскрыла окно, потому что в комнате было ужасно душно. Вдали я заметила какого-то мужчину, который смотрел на окна замка в зрительную трубу, потом он начал прыгать по аллее самым странным, можно сказать, нелепым образом, выделявая при этом разные па и антраша, махая руками и, как мне показалось, оглашая воздух пением. Я узнала Крейслера и, от души смеясь на его потешные шутки, сердцем своим приветствовала в нем своего избавителя. Да, я почувствовала, что только теперь ясно поняла Крейслера, увидела, что его юмор, кажущийся насмешливым или злым, проистекает из самых чистых и светлых источников. Мне хотелось побежать в парк и излить перед Крейслером всю тоску, возбужденную страшным сном!

-- Это сон, и больше ничего, -- проговорила серьезно Бенцон. -- Тебе нужен покой, милая Юлия, легкая утренняя дремота очень освежит тебя; я тоже думаю соснуть немножко.

С этими словами Бенцон вышла из комнаты, и Юлия последовала совету матери.

Когда она проснулась, в окно гляделось солнце полудня, и в комнате слышался сильный запах фиалок и роз.

-- Что это, -- воскликнула Юлия с изумлением, -- что это такое? Мой сон?

Однако, посмотрев кругом, она увидела на софе букет фиалок и роз.

-- Крейслер, милый Крейслер, -- воскликнула Юлия с нежностью и, взяв букет, предалась тихим грезам.

Принц Игнац прислал спросить, не может ли он на одну минутку увидеть Юлию. Она быстро оделась и поспешила в комнату, где Игнац уже давно ждал ее с целым множеством фарфоровых чашек и китайских кукол. Юлия, имея от природы доброе сердце, играла по целым часам с принцем, внушавшим ей глубокое сострадание. У нее никогда не вырывалось ни одного слова насмешки или презрения, что бывало нередко с другими, в особенности с принцессой Гедвигой, поэтому принц Игнац больше всего любил общество Юлии и часто называл ее своей маленькой невестой.

Чашки были расставлены, куклы приведены в порядок; Юлия от имени маленького арлекина обратилась с речью к королю Японии (обе куклолки стояли одна против другой), как вдруг в комнату вошла Бенцон.

Посмотрев некоторое время на игру, она поцеловала Юлию в лоб и сказала:

-- Славная ты, милая деточка!

Наступили сумерки. Юлия, заявившая желание не являться к столу, сидела одна в своей комнате и ожидала прихода матери. Вдруг дверь открылась, послышались легкие шаги, в комнату вошла, подобно

привидению, смертельно бледная принцесса, одетая в белое платье. Ее взор был неподвижен, и глухим, тихим голосом она воскликнула:

-- Юлия, Юлия, называй меня, если хочешь, глупой, сумасбродной, безумной, но только не отдаляйся от меня! Я нуждаюсь в твоём сострадании, в твоих утешениях! Я сделалась больна от излишней усталости, вызванной этим ужасным танцем. Но теперь все прошло, мне лучше! Принц уехал! Мне хочется воздуха, пойдем погуляем в парке!

Когда обе девушки находились в конце аллеи, навстречу им из густой чащи блеснул яркий свет и они услышали церковное пение.

-- Это вечерня в Мариен-капелле! -- воскликнула Юлия.

-- Пойдем туда, -- сказала принцесса, -- помолимся там, помолись за меня, Юлия!

-- Пойдем, -- ответила Юлия, глубоко пораженная душевным состоянием подружки, -- помолимся о том, чтобы злой дух никогда не имел над нами власти, чтобы наша душевная чистота никогда не возмущалась соблазнами князя тьмы.

Когда девушки пришли к капелле, находившейся в самом отдаленном углу парка, оттуда выходили молящиеся, украсившие цветами образ Святой Девы и певшие религиозные гимны. Девушки встали на колени около молитвенной скамьи. На небольших хорах, находившихся близ алтаря, раздался гимн Ave maris Stella [*Привет тебе, звезда морей -- лат.*], незадолго перед этим написанный Крейслером.

Начинаясь тихо, чуть слышно, пение мощно и громко звучало в Dei Mater alma [*Милосердная Матерь Божья -- лат.*], потом, замирая в felix coeli porta [*Блаженные небесные врата -- лат.*], последние звуки умчались вдаль на крыльях вечернего ветра.

Девушки продолжали стоять коленопреклоненные, с горячими мольбами на устах. Священник произносил вслух молитвы, а издалека, точно хор ангелов, поющих в туманном вечернем небе, зазвучал гимн O, sanctissima [*Святейшая -- лат.*].

Наконец, священник произнес над ними свое благословение, девушки встали и упали друг другу в объятия. Неизъяснимое чувство, сотканное из восторга и скорби, силилось вырваться из их груди, и капли крови, струившиеся из больного сердца, превратились в горячие слезы, полившиеся из их глаз.

-- Это был он! -- прошептала принцесса.

-- Это был он! -- тихонько ответила Юлия.

И они поняли друг друга.

Полный предчувствия лес стоял молчаливо и ждал, чтобы выглянул месяц и уронил на него свой трепетный свет. Дивное пение как будто еще раздавалось в ночной тишине и мчалось к небу, к далекому облачку, которое вспыхнуло вдруг серебристым сиянием и повисло над вершинами гор, означая тот путь, которым по небу пойдет блистающий месяц, пред чьим лучезарным лицом бледнеют все звезды.

Юлия вздохнула.

-- Что это такое, -- проговорила она, -- что волнует нас, что наполняет наши души такой скорбью? Слышишь, где-то вдали таким утешеньем звучит далекая песня! Это, верно, чистые духи в небесном блаженстве поют нам в своих золотых облаках.

-- Да, милая Юлия, -- отвечала принцесса серьезно, -- за облаками -- мир и блаженство, и мне хотелось бы, чтоб небесные ангелы унесли меня к звездам, прежде чем мной овладеют темные силы. Я, пожалуй, с удовольствием бы умерла, но, я знаю, меня отнесли бы тогда в княжеский склеп, и предки мои, погребенные там, не поверили бы, что я умерла, и, восставши от мертвенного оцепенения к ужасной жизни, выгнали бы меня из могилы. У меня не было бы нигде никакого пристанища, потому что я не принадлежала бы ни к мертвым, ни к живым.

-- Что ты говоришь, Гедвига, ради бога, что с тобой? -- воскликнула Юлия с испугом.

-- Мне раз уже пригрезилось нечто подобное, -- продолжала принцесса тем же равнодушным и серьезным тоном. -- Может быть также, что какой-нибудь страшный прадед превратился в вампира, который сосет мою кровь. Оттого, пожалуй, происходят и мои частые обмороки.

-- Ты больна, -- воскликнула Юлия, -- ты очень больна, Гедвига, ночной воздух вреден тебе, пойдем отсюда поскорей!

Она обняла принцессу и увлекла ее, чему та беспрекословно подчинилась.

Месяц теперь высоко поднялся над Гейерштейном, и в его магическом свете шумели кусты и деревья, целуясь с ночным ветерком, и шепот их превращался в какой-то волшебный напев.

-- Как хорошо, -- воскликнула Юлия, -- как хорошо на земле! Разве природа, как любящая мать, не дарит нам лучших своих чудес?

-- Ты думаешь, что да? -- возразила принцесса и потом, помолчав, сказала: -- Я не хотела, чтобы ты меня поняла вполне. Считай мои слова простым следствием дурного настроения. Тебе еще неизвестна вся страшная скорбь жизни. Природа жестока, она любит и холит только здоровых своих детей, больных она оставляет, больше того: против них она устремляет грозное оружие. Да, ты знаешь, раньше природа казалась мне только картинной галереей, созданной для упражнения сил нашего духа, теперь совсем другое, я ничего не ощущаю, ничего не чувствую, кроме ее ужаса. Мне скорее хотелось бы бродить в освещенных залах среди пестрой толпы, нежели гулять здесь вдвоем в эту лунную ночь.

Юлия совершенно растерялась: она заметила, что Гедвига все больше и больше ослабевала, так что бедняжке пришлось напрягать все свои силы, чтобы не дать ей упасть.

Наконец они достигли замка. Недалеко от него на каменной скамье, стоявшей под кустом бузины, сидела темная закутанная фигура. Гедвига, как только увидела ее, тотчас же воскликнула:

-- Благодарение всем святым и Пресвятой Деве Марии, это она!

Освободившись от объятий Юлии, как бы почувствовав прилив свежих сил, она пошла прямо к темной фигуре, которая поднялась со своего места и сказала глухим голосом:

-- Гедвига, бедное дитя мое!

Юлия увидела, что это была женщина, с ног до головы закутанная в темные одежды. Глубокая тень не позволяла рассмотреть черты ее лица. Юлия остановилась, охваченная внутренним трепетом.

И принцесса, и незнакомая женщина опустились на скамью. Женщина нежно пригладила локоны Гедвиги, положила ей на голову свои руки и заговорила на языке, совершенно незнакомом Юлии! После того как это продолжалось несколько минут, женщина воскликнула, обращаясь к Юлии:

-- Ступай поскорее в замок, позови сюда камер-фрау, пусть они отнесут принцессу: она теперь покоится сладким сном, когда же проснется, будет чувствовать себя здоровой и веселой.

Юлия, ни на минуту не поддаваясь удивлению, сделала тотчас все согласно указаниям.

Когда она вернулась вместе с несколькими камер-фрау, принцесса, действительно, сладко спала, тщательно закутанная в шаль; незнакомка исчезла.

На другой день, когда принцесса проснулась совершенно здоровой и без малейшего душевного беспокойства, Юлия спросила ее:

-- Скажи мне, ради бога, кто была эта загадочная женщина?

-- Не знаю, -- ответила принцесса, -- я видела ее всего раз в жизни. Ты помнишь, когда я была еще ребенком, я раз заболела так серьезно, что врачи от меня отказались. Тогда ночью она появилась передо мной и убаюкала меня, как вчера, и когда я проснулась, я была совершенно здорова. Вчера ночью мне в первый раз ясно вспомнился образ этой женщины, я почувствовала, что она должна опять прийти и спасти меня. Так и случилось. Сделай мне одолжение, не говори никому ни слова об этом чудесном явлении, не делай даже никакого намека на него. Вспомни Гамлета и будь моим преданным Горацио! Очевидно, что тут кроется какая-то загадочная тайна, но мне представляется опасной попытка ее разгадать. Разве недостаточно того, что я здорова, весела, и меня не мучают больше странные и страшные призраки?

Все удивлялись внезапному выздоровлению принцессы. Лейб-медик приписывал его сильному нервному потрясению, бывшему следствием ночной прогулки к капелле, и говорил, что он не мог не знать этого раньше и только забыл настоятельно порекомендовать эту прогулку. Однако Бенцон подумала про себя: "Гм! А ведь старуха, значит, опять здесь была!"

Теперь настало время разъяснить этот загадочный вопрос: Ты...

(М. прод.) ...значит, любишь меня, о, прелестная Мисмис? О, повторяй мне свое признание несчетное число раз, чтобы я снова и снова впадал в восторг и наговорил под его влиянием побольше небылиц, как приличествует герою-любовнику, созданному фантазией изысканного романиста. Но знаешь что, дорогая моя, ты заметила мою удивительную

склонность к пению, мое искусство владеть голосом. Не споешь ли и ты мне какую-нибудь песенку?

-- Ах, -- воскликнула Мисмис, -- я, правда, имею в пении некоторую опытность, но ведь ты знаешь, что чувствуют молодые певицы, когда они в первый раз должны петь перед мастерами и знатоками! Тоска и смущение невольно овладевают ими, их горло сжимается, и самые чудные трели, переходы, капрично застревают в их глотке, как рыбы кости. Спеть арию им невозможно; потому-то всегда в этих случаях начинают с дуэта. Если ты расположен, мой милый, споем вместе небольшой дуэт!

Это было мне по вкусу. Мы тотчас же начали нежный дуэт: "Едва тебя я увидал, к тебе я сердцем устремился". Мисмис начала робко, но скоро мой мощный фальцет ободрил ее. Ее голос был изящен, дикция мягкая, нежная, отчетливая -- словом, она выказала себя отличной певицей. Я был восхищен, хотя заметил, что мой друг Овидий опять был у меня в небрежении. Так как Мисмис прекрасно умела *cantare*, естественно не могло быть никакой речи о *chordas tangere* [*Петь, бряцать по струнам -- лат.*].

После этого Мисмис с необычайной легкостью, грацией и элегантностью спела известное *Di tanti palpiti* ["*От такого трепета*" -- *ит.* -- лирическая каватина из оперы Россини "*Танкред*".]. От героической мощи речитатива она сделала чудесный переход к дивному *andante* [*Идущий, текущий -- основное обозначение среднего по скорости темпа, соответствующего спокойному шагу.*], сладости поистине кошачьей. Ария, казалось, была написана как раз для нее; сердце мое переполнилось, и я разразился громкими воплями радости. Ха! Этой дивной арией Мисмис должна была вдохновить целый мир чувствительных котовских душ. Потом мы запели еще дуэт из одной совсем новой оперы, и опять он великолепно удался нам, потому что был как раз написан для нас. Плавно лились из наших сердец небесные рулады; мы выводили их с таким совершенством потому, что они большей частью состояли из хроматических переходов. По этому поводу я должен заметить, что наш кошачий род вообще -- хроматический, следовательно, каждый композитор, который вознамерится сочинять для нас, сделает очень хорошо, если будет писать хроматически и мелодии, и все прочее. К сожалению, я забыл имя превосходного мастера, сочинившего упомянутый дуэт; это славный, доблестный муж, композит в моем вкусе.

Пока мы пели, на крышу взобрался черный кот, метавший на нас искры из своих пылающих глаз.

-- Любезнейший, убирайтесь-ка отсюда! -- воскликнул я ему. -- Иначе я выцарапаю вам глаза и сброшу с крыши, впрочем, если вы хотите петь в унисон с нами, это вам разрешается.

Я знал, что этот юный господин, одетый в черное, обладал превосходным басом, потому я предложил спеть одну композицию, которая, правда, мне не очень нравится, но которая была очень пригодна в виду предстоявшего моего разрыва с Мисмис. Мы запели: "О, драгоценнейший, увижу ль вновь тебя?" Но едва только я хорошенько удостоверился, что черный певец мне

не опасен, как вдруг близ нас хлопнулся здоровый обломок кирпича, и ужасный голос воскликнул: "Да чего эти проклятые коты так дерут глотки!" Объятые смертельным страхом, мы прыснули в разные стороны и ринулись на чердак. О, бессердечные варвары, лишённые эстетического чувства! Даже к самым трогательным излияниям любовной тоски вы остаетесь совсем нечувствительны и замышляете только мщение, смерть и погибель!

Как было сказано, то, что долженствовало исцелить мою грудь от мук любви, запутало меня еще сильнее в любовные сети. Мисмис обладала таким музыкальным талантом, что мы вдвоем могли сами сочинять самые изящные фантазии. Наконец, она превосходно сумела исполнить мои собственные мелодии, это окончательно лишило меня рассудка; я так терзался любовными муками, что совсем исхудал, побледнел, осунулся. Наконец-то, когда я достаточно настрадался, мне пришлось в голову последнее, хотя и рискованное средство отделаться от любви. Я решил предложить Мисмис сердце и лапу. Она приняла мое предложение, и, как только мы сделались супружеской четой, я тотчас заметил, что все мои муки бесследно исчезли. Молочный суп и жаркое опять получили в моих глазах свою прелесть, снова меня посетило состояние радостного благополучия, борода пришла в порядок, мех заблистал как прежде, потому что я стал теперь больше заниматься своим туалетом, в то время как Мисмис не хотела больше наряжаться. Тем не менее я сочинил еще несколько стихотворений, посвященных Мисмис и удавшихся мне чрезвычайно, потому что чувство мечтательной нежности нашло себе в них самое совершенное выражение (я постоянно прогрессирувал и, так сказать, выписывался). Я посвятил, наконец, моей добрейшей еще толстую книгу и, таким образом, в литературно-эстетическом отношении сделал все, чего можно требовать от добропорядочного, честно влюбленного кота. Впрочем, мы оба -- и я, и моя Мисмис -- вели спокойный домашний образ жизни, пребывая на соломенном коврикe перед дверью моего мастера.

Но разве счастье прочно здесь на земле!

Я скоро заметил, что Мисмис часто бывала рассеяна в моем присутствии. Когда я говорил ей что-нибудь, она отвечала всякий вздор совершенно невпопад, нередко у нее вырывались из груди глубокие вздохи, пела она теперь только тоскливые любовные песни и наконец сделалась совершенно бледной и больной. Однако, если я спрашивал ее, что с ней, она трепала меня по щеке и говорила: "Ничего, право, ничего, папочка!" Но я не мог удовлетвориться таким ответом. Порой я напрасно ждал ее, покоясь на соломенном коврикe, напрасно искал ее в подвале или на чердаке. Если даже я и находил ее и делал ей ласковые упреки, она отговаривалась тем, что ее слабое здоровье требует продолжительных прогулок и что один доктор из котов даже посоветовал поездку на воды. Это опять было мне не совсем по вкусу. Она, вероятно, замечала мое тайное недовольство и начинала в таких случаях засыпать меня своими ласками, но и в этих ласках было что-то особенное, охлаждавшее мой любовный пыл, что, в свою очередь, тоже было мне неприятно. Не догадываясь еще, что такое

поведение моей Мисмис могло иметь свою специальную причину, я заметил, что постепенно последние искры любви к ней погасли во мне и что в ее присутствии мной стала овладевать смертельная скука. Таким образом я шел своей дорогой, она -- своей. Если же мы случайно сходились на соломенном коврике, мы делали друг другу самые ласковые упреки, были нежными супругами и воспевали мирное семейное счастье.

Случилось раз, что меня в комнате моего мастера посетил черноволосый кот, певший басом. Он говорил сперва отрывисто и загадочно, потом вдруг бурно спросил, как я живу со своей Мисмис -- словом, я заметил, что у него есть что-то на сердце, какая-то тайна, которую он хотел мне открыть. Наконец все выяснилось.

Некий юноша, бывший в военной службе, вернулся домой и жил по соседству на небольшой пенсией, который он получал от одного повара в виде рыбных костей и объедков. Он был хорош собой, атлетического сложения, к этому нужно еще прибавить, что он носил богатый иностранный мундир, черно-серо-желтый, а на груди у него был почетный значок, доказывавший его несомненную храбрость, засвидетельствованную им, когда он со немногими своими товарищами очистил от мышей целый амбар. Понятно, что он привлек к себе внимание всех окрестных дам и девиц. Сердца всех устремлялись к нему, когда он куда-нибудь входил, гордый и смелый, высоко подняв голову и бросая вокруг себя огненные взгляды. Он влюбился, как уверял меня черный кот, в мою Мисмис, которая ответила ему взаимностью, и было более, чем очевидно, что они каждую ночь имели тайные свидания за дымовой трубой или в подвале.

-- Меня удивляет, друг мой, -- проговорил черный кот, -- как вы при всей вашей прозорливости не заметили этого до сих пор: впрочем, любящие супруги часто ничего не видят, и мне больно, что долг дружбы вынудил меня раскрыть вам глаза, так как я знаю, что вы влюблены до безумия в вашу превосходную супругу.

-- О, Муций (так назывался черноволосый), о, друг мой, -- воскликнул я, -- какой я глупец, как я люблю ее, милую изменницу! Я молюсь на нее, все мое существо принадлежит ей. Нет, она не могла этого сделать, у нее верное сердце! Муций, черный клеветник, прими должное возмездие за свое позорное деяние!

Я выпустил когти и поднял лапу, но Муций дружески посмотрел на меня и сказал совершенно спокойно:

-- Не волнуйтесь так, любезнейший, ваша судьба -- общая с участью многих почтенных людей, везде вы встретите низкое непостоянство, и, к сожалению, -- в нашей породе оно встречается чаще, чем где-либо.

Я опустил поднятую лапу, несколько раз прыгнул вверх, как бы в полном отчаянии, и потом воскликнул с бешенством:

-- Возможно ли, возможно ли! О, Небо, о, земля, к чему взывать еще? К аду? И кто причинил мне это? Черно-серо-желтый кот? И она, любезная сердцу супруга, когда-то нежная и верная, теперь полная адского обмана, она могла презреть того, кто так часто бывал исполнен блаженных

любовных грез, убаюканный счастьем на груди ее! Лейтесь же, слезы, из скорбных очей! О, тысячу раз проклятие! Пусть черт возьмет этого пестрого мерзавца с его свиданиями за дымовой трубой!

-- Успокойтесь, успокойтесь, -- проговорил Муций, -- вы слишком предаетесь неистовству порывистой скорби. Я не буду больше нарушать ваше сладкое отчаяние. Если бы вы, в своей безутешности, захотели себя лишить жизни, я мог бы вам дать хорошую дозу сильнодействующего порошка против крыс, но я этого не сделаю, вы -- такой прекрасный, любезный кот, было бы очень жаль видеть погибшей вашу юную жизнь. Утешьтесь, пусть Мисмис бегают, куда хочет, на свете много приятнейших кошек. Adieu, mon cher! [*Прощайте, милейший! -- фр.*] -- И Муций выпрыгнул через открытую дверь.

Когда, спокойно лежа под печкой, я поразмыслил на досуге об открытиях, сделанных мне Муцием, я почувствовал что-то особенное, как будто бы тайную радость. Я знал теперь, каковы должны быть мои отношения с Мисмис, знал, что моей беспредметной тоске отныне настал конец. Но если я приличия ради выказал в первую минуту надлежащую скорбь, то же приличие, казалось мне, требовало, чтобы я покусился на жизнь черно-серо-желтого соперника.

В ночное время я подстерег влюбленную парочку за дымовой трубой и с возгласом "дьявол, изменник, скотина!" злобно устремился на соперника. Но он, будучи гораздо сильнее меня, что я, к сожалению, заметил слишком поздно, схватил меня, надавал мне страшных пощечин, так что я утратил многое из своего меха, и после этого быстро умчался прочь. Мисмис упала в обморок, но, когда я к ней приблизился, она вскочила так же быстро, как ее любовник, и умчалась вслед за ним на чердак.

С ослабевшими бедрами, с окровавленными ушами, я проскользнул к мастеру и проклял свое желание сохранить супружеский престиж и несколько не считал позором предоставить Мисмис вполне черно-серо-желтому коту.

"Какой враждебный рок! -- подумал я. -- Из-за романтической любви я был сброшен в сточный желоб, а семейное счастье, в конце концов, ничего мне не дало, кроме жестоких побоев".

На другое утро я был немало удивлен, когда, выйдя из комнаты мастера, я нашел на соломенном коврике Мисмис.

-- Добрый Мурр, -- сказала она спокойно и кротко, -- мне кажется, что я больше не люблю тебя так, как прежде, это меня очень огорчает.

-- О, дорогая Мисмис, -- ответил я с нежностью, -- сердце мое разрывается, но я должен сознаться: с тех пор как стали случаться подобные вещи, и я питаю к тебе полное равнодушие.

-- Не истолкуй моих слов в дурную сторону, -- продолжала Мисмис, -- но, друг мой, уже давно ты стал мне невыносим.

-- О, Небесные Силы! -- воскликнул я вдохновенно. -- Какая симпатия душ! Со мной то же самое, что и с тобой.

После того как мы согласились таким образом в том, что оба мы несносны друг для друга и что нам непременно нужно расстаться навеки,

мы простерли друг к другу лапы, обнялись с необычно нежностью и пролили жаркие слезы восторга и радости.

Потом мы расстались, причем каждый из нас унес воспоминание о нравственном совершенстве другого; и отныне мы оба всем говорим о душевном величии бывшей своей половины.

-- И я родился в Аркадии! -- воскликнул я с большим жаром, чем прежде, опять принимаясь за науки и изящные искусства.

(Мак. л.) ...вам, -- сказал Крейслер, -- я говорю вам от чистого сердца: этот покой представляется мне более грозным, чем самая страшная буря. Это глухое, тяжелое, удушливое спокойствие, предшествующее опустошительной грозе. Этот двор князя Иренея можно сравнить с каким-то альманахом, украшенным золотым обрезом. Напрасно князь беспрерывно устраивает блестящие празднества, напрасно он, как второй Франклин, хочет отвести удары молнии, они все-таки грянут и, быть может, сожгут его собственную одежду. Это верно, принцесса Гедвига походит теперь всем своим существом на светлую, тихую мелодию, и с дружеской гордостью она ходит под руку со смелым неаполитанцем, и Юлия также смеется ему своим очаровательным смехом: ей нравятся его рыцарские галантерейности, которые принц умеет направлять именно к ней, в то же время не спуская глаз со своей будущей невесты, и такие любезности, наподобие ударов рикошетом, поражают неопытное сердце Юлии сильнее, чем его могла бы поразить пуля. И однако, как мне рассказывала Бенцон, Гедвиге сначала казалось, что над ней тяготеет *mostro turchino*, и нежной, спокойной Юлии, этому небесному ребенку, нарядный генерал *en chef* [*Главнокомандующий -- фр.*] показался гнусным василиском. О, наивные сердца, вы томились предчувствием, и вы были правы! Черт побери, разве я не читал всеобщей истории Баумгартена, что змея, лишившая нас Эдема, гордилась своей золотой блестящей чешуей! Мне приходит это на ум, когда я вижу Гектора в его мундире с золотой обшивкой. У меня раньше был славный медеянский пес Гектор, питавший ко мне самую верную, преданную любовь. Как бы хотелось мне, чтоб он был со мной, с каким бы удовольствием я натравил его на сиятельного его тезку, когда тот так важно шагает рядом с этими милыми невинными девушками! Или научите меня, мейстер, -- ведь вы знаете разные фокусы, -- как бы мне превратиться в осу, я бы так ужалил этого подлого князька, что он быстро утратил бы свою величественную осанку!

-- Я дал вам, Крейслер, договорить до конца, -- сказал мейстер, -- и спрошу вас теперь, можете ли вы спокойно меня слушать, если я открою вам нечто, вполне оправдывающее ваши предчувствия?

-- Помилуйте, ведь я степенный капельмейстер, -- возразил Крейслер, -- и, находясь в порядочном обществе, могу спокойно сидеть, когда меня кусает блоха.

-- Итак, -- продолжал мейстер, -- знайте же, Крейслер, странная случайность дала мне возможность хорошо ознакомиться с жизнью принца. Вы правы, сравнивая его с библейской змеей. Под изящной внешностью -- в этом и вы ему не откажете -- скрывается ядовитая

испорченность или, лучше сказать, бесчестность. У него преступные намерения: из многого, что уже случилось, я вижу, что он высматривает себе в жертву нашу милую Юлию.

-- Эге, -- воскликнул Крейслер, бегая взад и вперед по комнате, -- так вот к чему ведут эти сладкие песенки! Бьюсь об заклад, принц -- славный молодчик, своими когтями он загребает сразу и дозволенные плоды, и запретные! Нет, любезнейший неаполитанец, ты еще не знаешь, что около Юлии стоит воплощение музыки -- честный капельмейстер, который сочтет тебя за фальшивый аккорд, если ты к ней приблизишься. Капельмейстер отлично знает свое дело: он пробьет тебе череп пулей или пронзит тебе живот вот этой самой шпагой!

С этими словами Крейслер вытащил из своей трости клинок, встал в позу фехтовальщика и спросил мастера, достаточно ли приличен у него вид, чтобы он мог пронзить этого мерзкого князька.

-- Успокойтесь, Крейслер, -- возразил мастер Абрагам, -- такого героизма совсем не требуется, чтобы испортить принцу всю его игру. Есть для этого другое оружие, и я даю вам его в руки. Вчера я был в рыбацьем домике, принц проходил со своим адъютантом мимо; они меня не заметили.

"Принцесса хороша, -- сказал принц, -- но маленькая Бенцон божественна! Вся моя кровь закипела, когда я ее увидел, -- она должна быть моей, прежде еще, чем я сделаю принцессе предложение. Ты Думаешь, она будет неумолима?" -- "Какая женщина могла вам противостоять, ваша светлость?" -- возразил адъютант. -- "Но, черт побери, -- продолжал принц, -- она, кажется, совсем невинный ребенок". -- "И простодушный, -- добавил, смеясь, адъютант, -- а именно невинные, простодушные дети скорее всего подчиняются терпеливо притязаниям привычного к победам мужчины, считая потом все за волю Божью и питая необычайную любовь к своему победителю! Так может случиться и с вашей светлостью". -- "Это было бы все-таки как-то странно! -- воскликнул принц. -- Но где бы я мог увидеться с ней наедине? Как бы это устроить?" -- "Ничего не может быть легче, -- ответил адъютант. -- Я заметил, что она нередко гуляет в этом парке совершенно одна. Если вы теперь..."

Тут голоса смешались, отдаляясь от меня, и ничего больше я уже не мог разобрать. Вероятно, какой-нибудь дьявольский план сегодня же будет приведен в исполнение; нужно непременно его расстроить. Я мог бы сам это сделать, но по некоторым причинам я теперь не могу показаться принцу; поэтому вы, Крейслер, должны немедленно отправиться в Зигхартсгоф и следить, пойдет ли Юлия в сумерках -- как она это имеет обыкновение делать -- к озеру кормить лебедя. Злодей, вероятно, будет ее подстергать. Но возьмите с собой оружие, Крейслер, а также запомните хорошенько и мои необходимые инструкции, чтобы в борьбе с принцем вы показали себя хорошим бойцом.

Биограф опять находится в крайнем затруднении: он должен снова сделать перерыв в сообщениях, из которых скомпанована предлагаемая история. Разве теперь не самая подходящая вещь -- подробно изложить

инструкции, данные Крейслеру мастером Абрагамом? Если потом в действии рассказа появится и самое оружие, любезный читатель будет все-таки недоумевать, что за приключение с ним произошло. Но в настоящее время злополучный биограф не может ни слова сказать о тех инструкциях, посредством которых (насколько можно догадываться) честный Крейслер оказался посвященным в тайну совсем особого рода. Но потерпи немного, любезный читатель! Упомянутый издатель бьется об заклад и ручается в том, что и эта тайна будет разоблачена прежде, чем кончится книга.

Нужно теперь сообщить, что, когда солнце склонилось к западу, Юлия, взяв небольшую корзинку с белым хлебом, отправилась с песней через парк к озеру и остановилась на мосту, недалеко от рыбацкого домика. В кустах, как в засаде, скрывался Крейслер, держа перед глазами хороший бинокль, посредством которого он мог великолепно видеть все через чашу, делавшую его самого невидимым. Лебедь с плеском подплыл к мосту, и Юлия стала бросать в воду крошки хлеба, которые он ловил с жадностью. Юлия продолжала громко петь и глядеть в воду, так что она совсем не заметила приближения принца Гектора. Когда он внезапно предстал перед ней, она вздрогнула в страшном испуге. Принц взял ее руку, прижал ее к груди, к губам и потом наклонился над перилами, совершенно рядом с Юлией. Принц стал оживленно говорить, между тем как Юлия продолжала кормить лебедя, смотря вниз. А в это самое время Крейслер наблюдал за обоими через свои волшебные стекла и думал про себя: "Не делай таких сладких гримас, сиятельный плут! Разве ты не видишь, что я сижу рядом с тобой на перилах и каждую минуту могу надавать тебе пощечин! О, зачем вспыхивают так твои розовые щеки, милое, очаровательное дитя! Зачем ты так странно смотришь теперь на злодея! Ты улыбаешься? Твоя грудь хочет раскрыться перед ядовитым дыханьем, подобно тому, как под палящим солнцем, среди прекрасных листков, развертывается почка, чтобы тем скорей умереть!"

Принц тоже кинул в воду кусочек хлеба, но лебедь не прикоснулся к нему и испустил громкий, резкий крик. Тогда принц придал своей руке такое положение, что он почти обнимал Юлию и из-за ее спины бросил в воду кусочек хлеба, так что лебедь мог подумать, что это бросает Юлия. При этом щека его почти касалась щеки Юлии.

-- Так, так, проклятый мошенник! -- проговорил Крейслер. -- Ястреб, схвати хорошенько свою жертву острыми хищными когтями! Но знай, что здесь в кустах давно уже целит в тебя отличный выстрел, который пронзит твоё крыло и прекратит твою охотничью экскурсию!

Принц взял Юлию за руку, и они пошли к рыбацкому домику. Но как раз перед самым домиком вышел из кустов Крейслер, подошел к ним и сказал, делая принцу глубокий поклон:

-- Восхитительный вечер, необычайно ясная погода и освежительный аромат в воздухе! Ваша светлость, вероятно, чувствует здесь себя, как в прекрасном Неаполе!

-- Кто вы такой, милостивый государь? -- резко спросил принц.

Но в то же самое мгновение Юлия высвободила у принца свою

руку и, дружески протягивая ее Крейслеру, сказала:

-- Как я рада, милый Крейслер, что вы опять здесь! Вы не знаете, как мне хотелось вас видеть! Право, мама даже бранит меня, что я капризничаю, как избалованный ребенок, когда вы хоть один день находитесь в отсутствии. Я просто заболела бы, если бы вы совсем оставили в небрежении и меня, и мои уроки музыки.

-- Ха, -- воскликнул принц, бросая ядовитые взгляды то на Юлию, то на Крейслера, -- ха, так вы *monsieur de Krosler*! Князь говорил мне о вас очень благосклонно!

Лицо Крейслера покрылось тысячью странных складок, и он воскликнул:

-- Да благословит за это небо светлейшего князя! Теперь, быть может, мне удастся получить от вас то, о чем я хотел умолять вашу светлость, именно ваше милостивое покровительство. У меня есть смелое предчувствие, что вы с первого взгляда обратили на меня благосклонное внимание, так как вы мимоходом удостоили назвать меня шутком, а знаете, шуты годятся решительно на всякие штуки...

-- Вы, однако, большой шутник, -- прервал его принц.

-- Совсем нет, -- продолжал Крейслер, -- я, правда, люблю шутки, но только злые и совсем не шутливые. В данное время мне очень хотелось бы отправиться в Неаполь и там, близ какого-нибудь мола, записать несколько хороших рыбацких и разбойничьих песен *ad usum delphini* [*Для учеников -- лат.*]. Вы, любезнейший принц, расположены к изящным искусствам и, вероятно, не откажете мне в ваших рекомендациях...

-- Вы, -- прервал опять принц Крейслера, -- вы большой шутник, *monsieur de Krosler*, и я люблю шутки, очень люблю, но теперь не смею задерживать вашу прогулку. *Adieu!*

-- О, нет, ваша светлость, -- воскликнул Крейслер, -- я не могу упустить случая выказать себя перед вами в полном блеске. Вы хотели войти в рыбацкий домик, там есть небольшое фортепиано. Фрейлейн Юлия, вероятно, будет так добра спеть со мной какой-нибудь дуэт.

-- Еще бы, с удовольствием! -- воскликнула Юлия, взяв Крейслера за руку.

Принц закусил губы и важно пошел впереди. Идя, Юлия шепнула на ухо Крейслеру:

-- Крейслер! Что за странное настроение духа!

-- Боже мой! -- возразил Крейслер, так же тихо. -- Ты убаюкана обворожительными снами, в то время как к тебе приближается змея, готовая смертельно ужалить тебя!

Юлия посмотрела на него с глубоким удивлением. Только однажды, в момент самого страстного музыкального вдохновения, Крейслер сказал ей "ты".

Когда дуэт был кончен, принц, несколько раз прерывавший пение возгласами "*Bravo, Bravissimo!*", изъявил теперь шумное одобрение. Он покрыл горячими поцелуями руки Юлии, уверял, что никогда пение не проникало так во всю его душу, и просил у нее позволения запечатлеть

один поцелуй на этих небесных устах, с которых только что струился нектар божественных звуков.

Юлия боязливо уклонилась. Крейслер стал перед принцем и сказал:

-- Так как вы, уважаемый, не сказали ни одного слова в похвалу мне, которую, думается мне, я заслужил, композитор и исполнитель, настолько же, насколько и фрейлейн Юлия, я вижу ясно, что со своими слабыми музыкальными познаниями я не могу оказывать на вас надлежащего действия. Но я сведущ также и в живописи и сейчас буду иметь честь показать вам маленький портрет одной личности, достопримечательная жизнь которой и странная кончина известны мне так хорошо, что я подробно могу рассказать об этом всякому, кто меня захочет слушать.

-- Вот навязчивый человек! -- пробормотал принц.

Между тем Крейслер вынул из кармана маленький ящичек, взял оттуда портрет и показал его принцу. Тот страшно побледнел, уставил перед собой неподвижный взор, губы его дрогнули и, пробормотав сквозь зубы "Maledetto!" [*Проклятие!* -- *ит.*], он бросился вон из рыбацкого домика.

-- Что это такое? -- воскликнула Юлия, смертельно перепуганная. -- Ради бога, Крейслер, скажите мне, что все это означает?

-- А так себе, всякая всячина, веселые проказы, заклинание бесов! Посмотрите-ка, милая фрейлейн, как добрейший принц бежит через мост изо всех сил, насколько только ему позволяют его сиятельные ноги! Боже мой, он совсем отринул от себя свою кроткую, идиллическую натуру, он не смотрит больше в озеро, он не хочет больше кормить лебедя! Милый, добрый дьявол!

-- Крейслер, -- сказала Юлия, -- ваш тон предвещает что-то недоброе. Скажите, что сделали вы с принцем?

Капельмейстер отошел от окна, у которого он стоял, и глубоким взглядом посмотрел на Юлию, остановившуюся перед ним со скрещенными руками, как будто она умоляла своего ангела-хранителя осушить слезы, заблеставшие на ее глазах.

-- Нет, -- сказал Крейслер, -- пусть ни один ложный звук не возмутит райской гармонии, которая живет в душе твоей, милое, чистое дитя! Лживые адские духи проходят по миру под лицемерною маской, но они не имеют над тобой никакой власти, и ты не узнаешь их черных деяний! Успокойтесь, Юлия! Позвольте мне обойти ваш вопрос молчанием! Теперь все прошло!

В это мгновение в рыбацкий домик вошла Бенцон, сильно взволнованная.

-- Что случилось? -- воскликнула она. -- Что случилось? Принц, точно бешеный, сейчас промчался мимо, даже не заметив меня. Перед самым замком навстречу ему вышел адъютант, они оживленно переговорили о чем-то, потом, как мне показалось, принц дал адъютанту какое-то важное поручение: потому что в то время, как принц пошел в замок, адъютант поспешил в павильон, где он живет. Садовник сказал мне, что ты стояла с принцем на мосту. Мной овладело страшное предчувствие какого-то несчастья, сама не знаю почему, я поспешила сюда... Что случилось?

Юлия рассказала все.

-- Тайна? -- резко воскликнула Бенцон, бросая на Крейслера испытующий взгляд.

-- Любезная советница, -- отвечал капельмейстер, -- бывают моменты, положения, ситуации, при которых человеку приходится сохранять полное молчание, потому что, если он откроет свой рот, он не будет в состоянии сказать ничего, кроме странной бессмыслицы, которая приведет в раздражение всех здравомыслящих людей.

Этим вопрос был исчерпан, хотя, по-видимому, советница была оскорблена молчанием Крейслера.

Капельмейстер проводил Бенцон и Юлию до самого замка, потом направился к Зигхартсвейлеру. Как только он скрылся в аллеях парка, из павильона вышел адъютант принца и последовал тем же путем, которым ушел Крейслер. Вскоре после этого в глубине леса раздался выстрел.

В ту же ночь принц уехал из Зигхартсвейлера; он письменно простился с князем и обещал скоро вернуться опять. Когда на другое утро садовник со своими помощниками стал обыскивать парк, он нашел шляпу Крейслера, на которой виднелись следы крови. Сам он исчез. Говорят...

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

Месяцы ученья. -- Капризная игра случая.

(М. прод.). Грудь постоянно полна желанием и горячим стремлением, но, когда наконец получаешь то, к чему стремился, чего добивался ценою тяжких усилий и забот, желание сменяется ледяным равнодушием, и завоеванное сокровище отбрасываешь от себя, как изломанную игрушку. Но едва только это случится, за поспешным поступком следует раскаяние, и снова стремишься, и жизнь превращается в смену желаний и пресыщения. Таков-то есть кот.

Это имя вполне справедливо обозначает мою породу, к которой причисляет себя и кичливый лев, называемый поэтому в "Октавиане" Тика -- большим котом.

Да, повторяю, таков есть кот, и вполне непостоянно котовское сердце.

Первейшая обязанность добросовестного биографа заключается в полной искренности, в полном беспристрастии, причем он не должен щадить даже себя. Итак, положив лапу на сердце, я откровенно признаюсь, что, несмотря на несказанный жар, с которым я погрузился в науку и искусства, нередко мысль о прекрасной Мисмис мгновенно осеняла мой ум, и мои занятия немедленно прерывались.

Мне приходила в голову мысль, что я не должен был ее покидать, что я оскорбил верное, любящее сердце, лишь на мгновение ослепленное лживой мечтой. Ах, часто, часто, когда я хотел отдохнуть в обществе великого Пифагора (я в то время много занимался математикой), нежная лапка, облаченная в черный чулочек, сразу сдвигала в сторону все катеты и гипотенузы, и предо мной предстала милая Мисмис с маленькой бархатной шапочкой на голове, и дивный взгляд ее светло-зеленых,

изумрудных глаз блистал самым нежным упреком. Что за чудные, грациозные прыжки, что за обворожительные извивы хвоста! Я простирал к ней лапы; в страстном порыве вновь вспыхнувшей любви я стремился заключить ее в свои объятия. Напрасно! Мгновенно исчезал ее обманчивый лик!

Понятно, что такие грезы, такие призрачные сны не замедлили исторгнуть меня из любовной Аркадии и создать в моей душе известное состояние меланхолии, которое должно было дурно повлиять на достижение избранной мной карьеры поэта и ученого, в особенности после того, как такое состояние выродилось в непонятную, непреодолимую лень. Я решил освободить себя энергически от такого несносного положения, решил немедленно принять меры, чтобы опять отыскать Мисмис. Но как только я поставил свою лапу на первую ступень лестницы, ведущей к высшим сферам, где я мог надеяться найти очаровательницу, меня охватило чувство стыда и боязни, и, объятый печалью, я удалился под печку.

Однако, невзирая на угнетенное психическое состояние, я пользовался необыкновенным физическим благополучием, я стал заметно полнеть, и, если запас моих знаний не увеличился, зато телесное мое развитие делало несомненные шаги вперед; когда я теперь смотрелся в зеркало, я с удовольствием замечал, что в лице моем, вместе с юношеской свежестью, игравшей на округленных щеках, стало появляться нечто внушительное, возбуждавшее невольное уважение.

Сам мейстер не мог не заметить происшедшей во мне перемены. На самом деле раньше, когда он угощал меня вкусными кушаньями, я мурлыкал, делал веселые прыжки; когда утром, вставши с постели, он говорил "С добрым утром, Мурр!", я кувыркался у его ног и вскакивал к нему на колени. Теперь я воздерживался от всего этого и ограничивался лишь дружеским "мяу" и грациозно-гордым поднятием спины. Мало того, я стал даже пренебрегать веселой игрой, носящей название "ловля птиц". Не бесполезно будет сообщить для юных гимнастов и спортсменов моей породы, в чем состоит такая игра. Мейстер привязывал на длинную нитку два-три гусиных пера и заставлял их быстро летать в воздухе вверх и вниз. Сидя в каком-ни-будь уголке и принявши выжидательную позу я улавливал надлежащий момент, прыгал и стремился поймать перья, стремился неустанно, до тех пор, пока мне не удавалось схватить их и мужественно растерзать. Летающие перья нередко сильно увлекали меня, и я действительно считал их за птицу, попадал из-за них в огонь, и таким образом дух мой и тело развивались и укреплялись. Но теперь даже эта игра возбуждала во мне одно лишь презрение, напрасно мейстер заставлял свои перья летать туда и сюда -- я спокойно лежал на своей подушке. "Слушай, кот, -- сказал мне однажды мейстер, когда он заставил перо залететь на мою подушку и пощекотать мой нос, а я только мигнул и чуть-чуть двинул своей лапкой, -- слушай, кот, ты совсем не таков, как прежде: с каждым днем ты делаешься все ленивее и ленивее. Мне кажется, что ты ешь и спишь слишком много!"

При этих словах мастера точно яркий луч солнца упал в мою душу! Я приписывал свою бездеятельную печаль единственно только воспоминанию о незабвенной Мисмис, сожалению об утраченном любовном Эдеме. Теперь впервые я заметил, что будничная, земная жизнь разъединила меня с моими прогрессивными научными занятиями, слишком резко предъявляя по отношению ко мне собственные свои требования. Есть в природе вещи, ясно показывающие, каким образом поработанная психика приносит свою свободу в жертву тирану, именуемому телом. К этим вещам я наипаче причисляю превкусную размазню, сладкое молоко и масло, равно как и широкую подушку, превосходно набитую конским волосом. Упомянутую размазню экономка мастера умела делать в особенности вкусно, так что каждое утро я с большим аппетитом съедал за завтраком две полные тарелки. Но как только такой обильный завтрак поступал в мой желудок, науки становились мне решительно противны, они представлялись моим умственным взорам чем-то вроде зачерствелых кушаний; то же самое я испытывал и по отношению к поэтическим произведениям. Ни прославленные творения новейших романистов, ни знаменитые трагедии высокоталантливых поэтов не могли овладеть моим духом, не могли приковать к себе моего внимания: я впадал в какое-то странное состояние причудливых фантастических грез, искусная экономка невольно вступала в антагонизм с автором, и мне представлялось, что она лучше, нежели этот последний, умеет соблюдать достодолжную градацию и пропорциональность в ощущениях сладости, силы и пикантности. О, злополучная смена духовных и телесных наслаждений! Едва только я позавтракаю, как в душе моей пробуждаются некие мечтательные порывы, заставляя меня отыскивать другую опасную вещь -- подушку, набитую конским волосом; я ложусь на нее и сладко дремлю. И снова прелестный образ возлюбленной Мисмис незаметно встает в моем сердце...

Боже мой, так это все находится в тесной связи -- размазня, пренебрежительное отношение к наукам, меланхолия, подушка, и отчуждение от поэзии, и любовные воспоминания! Мастер был прав: я ел и спал слишком много! С какой стоической твердостью я решился быть воздержаннее! Но слаба натура кота: самые смелые, благородные планы разбивались в прах, когда я ощущал сладкий запах размазни или видел гостеприимно взбившуюся подушку.

Однажды, когда мастер возвращался домой, я услышал, как он, стоя на пороге комнаты, сказал кому-то: "Ну, ну, пойдете, быть может, общество развеселит его. Но если вы будете проказить прыгать на мой стол, кувыркать мою чернильницу или делать что-нибудь подобное -- я вас обоих выкину вон!"

Мастер приотворил немножко дверь и кого-то впустил. Этот кто-то был не кто иной, как Муций. Я едва узнал своего друга. Волосы его, некогда гладкие, были теперь всклокочены и утратили свой блестящий оттенок, глаза глубоко ввалились, вообще вся его наружность, когда-то довольно

сносная, хотя несколько и грубоватая, отличалась теперь чем-то наглым и животным.

-- Ха, -- проговорил он, -- да вы тут? Вы все еще сидите под вашей проклятой печкой? Однако! С вашего позволения...

Немедленно приблизившись к моей тарелке, он пожрал жареную рыбу, которую я припас было к ужину.

-- Скажите на милость, -- бормотал он в то же самое время, -- скажите же, черт побери, где вы запропастились, почему вы не показываетесь ни на одной крыше, не приходите ни в какие увеселительные места?

Я объяснил, что, порвав с очаровательной Мисмис, я всецело увлекся науками, а потому не мог даже и подумать о прогулках. Я сказал, что нимало не стремлюсь к обществу, ибо у мейстера располагаю всем, к чему тяготеет мое сердце: у меня есть размазня, есть жаркое, рыба, мягкая постель... Спокойная, беспечальная жизнь является высшим благом для кота таких дарований и склонностей, как мои; тем более, значит, я должен бояться утратить свое спокойствие и показываться в свете. Строго говоря, мое душевное расположение к малютке Мисмис еще не совсем угасло, и свидание с ней легко могло бы повести меня к увлечениям, которые, пожалуй, приведут потом к горькому раскаянию.

Муций, пригладив немного своей кривой лапой морду, бороду и уши, уселся рядом со мной на подушке. Затем, помурлыкав несколько секунд в виде доказательства душевного своего благополучия, он начал говорить растроганным тоном:

-- Благодарите судьбу, любезный друг Мурр, что мне пришла счастливая мысль посетить вас в этой уединенной келье; хорошо также, что мейстер впустил меня сюда без всяких противоречий. Вы находитесь в величайшей опасности -- опасности, которой подвергаются лишь юноши-коты, обладающие известной долей остроумия и надлежащей крепостью мускулов. Другими словами, вы находитесь в опасности сделаться брюзгой и отвратительным филистером. Вы говорите, что слишком заняты науками, для того чтобы иметь досуг на знакомства с котами. Извините, любезный друг, но, на самом деле, вы имеете вид жизнерадостного, упитанного, гладкого празднотлюбца, а вовсе не какого-нибудь педанта-книгоеда. Поверьте, именно эта проклятая сытая жизнь делает вас таким ленивым и неподвижным. У вас было бы совсем другое настроение духа, если бы вы, как наш брат, бродячий кот, должны были гонимы, пока где-нибудь не найдете пару рыбьих костей или не изловите какую-нибудь жалкую пичужку.

-- Я думал, -- прервал я друга, -- что у вас вполне хорошее, обеспеченное положение. Да ведь ты, братец, раньше был...

-- Об этом как-нибудь в другой раз, -- гневно проговорил Муций. -- А вы все-таки филистер, и я запрещаю вам говорить мне ты, пока мы не выпьем с вами на брудершафт.

Извинившись возможно вежливее перед разгневанным другом, я просил забыть нашу минутную размолвку. Он продолжал более мягким тоном:

-- Итак, приятель, вам нужно переменить образ жизни. Вам нужно проветриться, котов посмотреть и себя показать. Белый свет велик.

-- Муций, друг мой, что вы говорите! -- воскликнул я с испугом. -- Разве вы забыли, что я вам рассказывал в подвале несколько месяцев тому назад, как я однажды выпрыгнул из английской коляски, как, вступив в свет, я натолкнулся на различные пренеприятные приключения? Вы забыли, как я только благодаря доброте Понто был в конце концов спасен и возвращен к моему мейстеру?

Муций злорадно улыбнулся.

-- Да, -- возразил он, -- действительно, вот штука! Добрый Понто! Этот надменный фат, дурак, лицемер, принявший в вас участие потому, что ему нечего было делать, потому, что его самого это позабавило! А попробуйте вы отыскать его в Пудель-ассамблее или на собачьей сходке -- он сделает вид, что не узнал вас или даже искушает! Добрый Понто! Вместо того чтобы ввести вас в истинную сферу светской жизни, он набил вам голову глупейшими человеческими историями! Нет, Мурр, смею вас уверить, вы тогда попали совсем не в свою сферу! Поверьте мне, все ваши занятия в такой изолированной обстановке не принесут вам ни малейшей пользы. Вы все-таки, в конце концов, останетесь филистером, а что может быть скучнее и пошлее ученого филистера!

Я чистосердечно признался Муцию, что, собственно, не вполне понимаю, к чему клонится его речь, а также, что нужно в точности разуместь под выражением "филистер".

-- Эх, приятель, -- отвечал Муций, улыбаясь с приятностью, так что в это мгновение он похорошел и показался мне прежним Муцием, -- эх, приятель, было бы напрасно пытаться объяснить вам все: вы никогда не поймете, что такое филистер, пока сами не перестанете быть филистером! Но, если хотите теперь же ознакомиться с главнейшими чертами котовского филистерства, тогда я...

(Мак. л.) ...необычайное зрелище. Посредине комнаты стояла принцесса Гедвига, лицо ее было смертельно-бледно, взгляд неподвижен. Принц Игнац забавлялся с ней, как с манекеном. Он поднимал ее руку вверх -- и рука неподвижно висела, нагибал ее вниз -- она опускалась. Он тихонько подтолкнул Гедвигу вперед -- она пошла, он остановил ее -- она стала, посадил ее в кресло -- она беспрекословно села! Принц так был поглощен своей игрой, что не заметил, как кто-то вошел в комнату.

-- Что это вы делаете, принц?! -- воскликнула княгиня.

Принц, хихикая и радостно потирая руки, заявил, что сестра Гедвига сделалась теперь доброй и послушной, делает все, что он хочет, и даже не спорит, как прежде, и не бранит его. При этом он опять начал командовать и приводить принцессу в самые различные положения. Каждый раз, когда она беспрекословно вставала или садилась, он громко смеялся и радостно прыгал.

-- Это ужасно! -- проговорила княгиня дрожащим голосом, в то время, как на ее глазах заблестали слезы.

Лейб-медик подошел к принцу и повелительно сказал:

-- Оставьте ее в покое, принц!

Потом он взял Гедвигу на руки, осторожно опустил ее на оттоманку, находившуюся в комнате, и задернул занавеси.

-- Теперь принцессе нужен только безусловный покой, -- проговорил он, обращаясь к княгине: -- Я покорнейше попрошу принца выйти из комнаты.

Принц начал строить разные гримасы и захныкал, говоря, что теперь всякие люди -- совсем не принцы, даже и не дворяне, -- осмеливаются противоречить его желаниям. Он хочет непременно остаться с сестрой, которая сделалась ему милее всех его прекрасных чашек, господин лейб-медик не смеет обращаться к нему ни с какими приказаниями.

-- Уходите отсюда, милый принц, -- проговорила ласково княгиня, -- ступайте в свою комнату! Принцессе нужно теперь поспать, к вам придет фрейлейн Юлия.

-- Фрейлейн Юлия! -- воскликнул принц с детским смехом. -- фрейлейн Юлия! Это отлично, я покажу ей новые гравюры, покажу, как я вышел в истории морского короля, где я представлен, как принц-лосось, украшенный большим орденом.

Почтительно поцеловав руку княгини, он с гордым видом протянул свою руку лейб-медику, чтобы тот ее поцеловал. Но доктор, схватив принца за руку, подвел его к двери и с вежливым поклоном заставил его удалиться.

Княгиня в полном изнеможении печально опустила в кресло, подперла голову рукой и тихонько проговорила с выражением глубочайшей скорби:

-- Какой смертный грех тяготеет над моей душой, что Небо наказывает меня так жестоко? Сын осужден на вечное несовершеннолетие, а теперь и Гедвига... милая Гедвига!..

Княгиня погрузилась в мрачное раздумье.

Между тем лейб-медик с трудом влил принцессе в рот несколько капель какого-то лекарства и позвал камер-фрау, которые перенесли Гедвигу, продолжавшую находиться в автоматическом состоянии, в ее комнату. Затем, дав им инструкцию, чтобы немедленно позвали его, если с принцессой что-нибудь случится, он сказал княгине:

-- Ваша светлость! Как ни странно состояние принцессы, сколько опасений оно ни внушает, однако, по-видимому, я с полным правом могу вас уверить, что это состояние скоро пройдет, не оставив никаких опасных последствий. Принцесса страдает спазмами совсем особого рода. Болезнь эта так редко встречается в медицинской практике, что многие прославленные врачи в течение всей своей жизни ни разу не имели случая ее наблюдать. Я должен поэтому считать себя необыкновенно счастливым... -- лейб-медик поперхнулся.

-- Я узнаю в вас врача-практика, -- проговорила с горечью княгиня, -- вы не обращаете внимания на самые безграничные муки, лишь бы вам представился случай обогатить ваши познания.

-- Еще недавно, -- продолжал врач, не обращая внимания на упрек княгини, -- я натолкнулся в одном специальном сочинении на описание совершенно аналогичного случая. Одна дама приехала в Безансон с целью поддержать судебный иск. Важность дела, мысль, что проигранный

процесс может прибавить новое, горшее испытание к постигшим ее бедствиям, может привести ее к совершенной нищете, наполнила ее живейшим беспокойством, возросшим до экзальтации. Ночи она проводила без сна, почти ничего не ела, с необычайной горячностью молилась, постоянно посещая церковь -- словом, у нее проявилось ненормальное состояние. Наконец, в тот самый день, когда должен был решиться процесс, она пришла в полное оцепенение, и все присутствующие решили, что у нее удар. Пригласили врачей. Больная сидела в кресле, сложив руки и устремив к небу неподвижный взор помертвевших глаз. Бывшее раньше бледным и печальным, лицо ее сделалось цветущим, ясным, спокойным, пульс стал равномерным и медленным, почти как у человека, который спит невозмутимым сном. Члены ее приобрели такую мягкость и гибкость, что им можно было придавать самые разнообразные положения, без всякого с их стороны сопротивления. Но болезнь с очевидною ясностью проявлялась в одном обстоятельстве: члены, раз получив какое-нибудь положение, не переменили его без внешнего вмешательства. Больной оттягивали подбородок -- рот оставался открытым. Поднимали руки, одну за другой -- они не падали вниз; выгибали ей спину или приподнимали пациентку вверх, придавая ей самую неудобную позу, которую немислимо сохранять долго, и однако она оставалась в этой позе. По-видимому, больная лишилась всякой способности к восприятию впечатлений: ее трясали, щипали, кололи, ставили ее ноги на горячую жаровню, кричали ей в уши -- все напрасно, она не выказывала ни малейшего признака жизни. Мало-помалу она пришла в себя, но все ее разговоры были совершенно бессвязны. Наконец...

-- Продолжайте, -- воскликнула княгиня, когда лейб-медик остановился, -- продолжайте, не умалчивайте ни о чем, даже о самом ужасном! Не правда ли, эта дама сошла с ума?

-- Достаточно будет сообщить, -- продолжал лейб-медик, -- что это зловещее состояние продолжалось всего четыре дня. По возвращении в родную обстановку больная совершенно выздоровела, и от ужасной болезни не осталось ни малейшего следа.

Княгиня опять погрузилась в мрачное раздумье, а лейб-медик начал пространно объяснять, какие он думает применить медицинские средства, чтобы помочь принцессе, -- говорил, говорил и, в конце концов, запутался в разных научных рассуждениях, как будто он произносил речь на консилиуме перед докторами, искушенными в глубочайшей учености.

Княгиня, наконец, прервала словоохотливого доктора.

-- К чему, -- сказала она, -- все эти средства, если они не могут сохранить в невредимости страждущий дух больного?

Помолчав несколько мгновений, лейб-медик продолжал:

-- Ваша светлость, рассказанный мною случай показывает, что болезнь психического происхождения. Когда пациентка немного пришла в себя, первое лечение состояло в мерах чисто морального свойства: больную старались ободрить, ей сообщили, что процесс выигран. Равным образом

все врачи были согласны в том, что подобное психическое состояние проистекало прежде всего из какого-нибудь сильного потрясения. Принцесса Гедвига обладает организмом в высшей степени впечатлительным; нервная ее система, пожалуй, даже ненормальна. Весьма вероятно, что какое-нибудь сильное душевное волнение и вызвало подобное болезненное состояние. Нужно отыскать причину, и потом сообразно с ней оказать на пациентку психическое влияние. Внезапный отъезд принца Гектора... Ваша светлость, материнское сердце иногда способно понять сущность болезни гораздо глубже, чем самый хороший врач. Быть может, вы сами укажете мне лучшие лекарственные средства.

Княгиня встала.

-- Даже мещанка бережет тайны своего сердца, -- сказала она гордо и холодно. -- Княжеская фамилия открывает святая святых своего дома только представителям церкви, к которым, я думаю, врач не осмелится причислить себя!

-- Как, -- возразил с живостью лейб-медик, -- кто может так резко разграничивать благо душевное от блага физического? Врач -- второй духовник, ему должны быть открыты глубочайшие тайны сердца, иначе каждую минуту он подвергается опасности сделать ошибку. Вспомните историю того больного принца...

-- Довольно! -- прервала княгиня лейб-медика, почти с негодованием. -- Ни слова об этом! Никогда я не позволю убедить себя в необходимости совершить непристойность, никогда, кроме того, не допущу мысли, чтобы непристойность могла быть причиной болезни принцессы.

Княгиня удалилась, оставив лейб-медика одного.

"Странная женщина эта княгиня! -- подумал доктор. -- Ей хочется убедить и себя, и других, что цемент, скрепляющий душу и тело, совершенно иного сорта у лиц княжеского происхождения, чем у нас, бедных обитателей земли, в жилах которых течет мещанская кровь. Нельзя, по ее мнению, допускать и мысли, что у принцессы бьется в груди человеческое сердце... Невольно вспомнишь, как один испанец, служивший при дворе, пренебрег шелковыми чулками, поднесенными в дар его государыне одним добропорядочным бюргером-нидерландцем, ибо, по мнению этого придворного, неприлично было напоминать испанской королеве, что у нее, наравне со всеми людьми, есть ноги. И однако, можно биться об заклад, что причину страшной нервной болезни принцессы нужно искать в ее сердце, этом источнике всех женских печалей и мук".

Лейб-медик сопоставлял быстрый отъезд принца Гектора с болезненной впечатлительностью принцессы, с ее неровным поведением по отношению к нему, и решил, что болезненное состояние Гед-виги вызвано какой-нибудь любовной коллизией. С течением времени будет выяснено, имели догадки лейб-медика основание или нет. Что касается до княгини, она предполагала именно такую вещь, потому все расспросы врача и показались ей неприличными: на каждое сильное чувство смотрели при дворе, как на нечто неуместное и вульгарное. У княгини было, впрочем,

впечатлительное сердце, но причудливое, наполовину жалкое, наполовину гнусное чудовище, называемое этикетом, налегло на него, как кошмар, и давило каждый свободный порыв этого сердца. В конце концов она научилась спокойно выносить даже сцены, подобные той, которая только что разыгралась между ней и лейб-медиком, научилась отклонять от себя с гордостью руку помощи.

В то время, как в замке происходило все вышеизложенное, в парке также случилось многое, что подлежит нашему рассказу.

Среди кустарников, налево от входа в парк, стоял гофмаршал. Он вынул из кармана золотую табакерку, взял оттуда щепотку табаку, потом несколько раз провел рукой по золотой крышке и протянул табакерку княжескому лейб-камердинеру, говоря:

-- Любезнейший друг, я знаю, вы любите подобные драгоценности, возьмите эту табакерку как слабый знак моего неизменного к вам благоволения, на которое вы всегда можете рассчитывать. Но скажите же мне, любезнейший, что произошло во время этой необычайной прогулки?

-- Всепокорнейше благодарю! -- проговорил лейб-камердинер, пряча в карман золотую табакерку, потом, откашлявшись, он сказал: -- Смею уверить, ваше высокопревосходительство, что его светлость, князь, чрезвычайно обеспокоены с тех пор, как принцесса Гедвига неизвестно каким образом лишилась всех своих чувств. Они изволили стоять здесь у окна целые полчаса и так барабанили пальцами по стеклам, что кругом звон шел. Но такой походный бодрый марш, как имел обыкновение выражаться покойный мой зять... Ведь вы, ваше превосходительство, знаете, что мой зять, придворный трубач, был человек искусный, голос его гремел, как раскатистая соловьиная песня, а что касается...

-- Да я все это знаю, любезнейший, -- прервал гофмаршал словоохотливого лейб-камердинера. -- Покойный ваш зять был превосходным придворным трубачом, но теперь вы мне скажите, что делал и говорил светлейший князь, когда он изволил наигрывать военный марш?

-- Что делал, что говорил? -- переспросил лейб-камердинер. -- Гм! Не очень-то много. Его светлость обернулись ко мне, посмотрели на меня пристально, поистине огненными глазами, изо всей силы дернули звонок и при этом громко воскликнули: "Франсуа! Франсуа!" -- "Я здесь, ваша светлость!" -- воскликнул я. Но светлейший князь изволили гневно сказать: "Осел, зачем ты тотчас этого не сказал?" И потом: "Костюм для прогулки!" Я исполнил приказание. Его светлость изволили надеть на себя зеленый шелковый сюртук без звезды и отправились в парк. Они запретили мне следовать за собой, но... ведь нужно же, ваше превосходительство, знать, где находится его светлость, может случиться несчастье... Я следил издалека и заметил, что его светлость направились к рыбацьему домику.

-- К мейстеру Абрагаму? -- воскликнул гофмаршал с изумлением.

-- Точно так, -- ответил лейб-камердинер, состроив важную, таинственную мину.

-- В рыбацкий домик, к мейстеру Абрагаму, -- повторил гофмаршал. -- Еще ни разу светлейший князь не посещал мейстера в рыбацьем домике.

Наступило многозначительное молчание, потом гофмаршал опять продолжал:

-- И князь не подал ни малейшего вида?

-- Ни малейшего! -- ответил глубокомысленно лейб-камердинер. -- Однако, -- продолжал он, хитро улыбаясь, -- окно в рыбацьем домике выходит прямо в густой кустарник, там есть такое углубление, где слышно решительно все, что говорится в домике, можно было бы...

-- Любезнейший, если бы вы это устроили! -- воскликнул гофмаршал в полном восхищении.

-- К вашим услугам, -- проговорил камердинер и тихонько скользнул в сторону.

Но только что он вышел из-за куста, как столкнулся с князем, который именно в это время возвращался в замок. Камердинер в боязливом почтении отпрянул назад.

-- Vous etes un grand [*Вы большой* -- фр.] болван! -- прогремел князь, обращаясь к нему, потом, холодно сказав гофмаршалу "Dormez bien" [*"Спокойной ночи"* -- фр.], он удалился в замок вместе с лейб-камердинером.

Гофмаршал стоял совершенно обескураженный. "Рыбачий домик, мейстер Абрагам, dormez bien", -- пробормотал он и решил немедленно отправиться к государственному канцлеру посоветоваться насчет значения этого таинственного события и возможных из него последствий.

Мейстер Абрагам проводил князя именно до того самого куста, где находились гофмаршал и камердинер. Здесь он вернулся назад по приказанию князя, не желавшего, чтобы из окон замка увидели его светлость в обществе мейстера.

Благосклонный читатель уже знает, насколько князю удалось замаскировать тайный визит к мейстеру Абрагаму. Но кроме камердинера еще одна особа выследила князя незаметным для него образом.

Мейстер Абрагам почти дошел до своего домика, как вдруг совершенно неожиданно прямо перед ним показалась советница Бенцон на одной из аллей, уже начинавших темнеть.

-- Ха, -- воскликнула Бенцон с горьким смехом. -- Князь совещался с вами, мейстер Абрагам. Вы на самом деле являетесь опорой княжеской фамилии: и на отца, и на сына вы распространяете благодеяния своей мудрости и опытности, и если какой-нибудь добрый совет окажется слишком дорогим или неисполнимым...

-- Тогда, -- прервал мейстер Абрагам госпожу Бенцон, -- найдется некая советница, являющаяся настоящим светилом, которое все здесь озаряет своим лучезарным блеском, и под благодетельным покровительством которого может вести беспечальную жизнь и бедный старик -- органый мастер.

-- Не смейтесь так, мейстер Абрагам, -- проговорила Бенцон. -- Светило, озаряющее здесь все своим лучезарным блеском, может скрыться с нашего горизонта, побледнеть и совсем погаснуть. Странные события, по видимому, готовятся в уединенном семейном кружке, который называется

здешним двором. Быстрый отъезд жениха, которого ждали с таким нетерпением, -- ужасное состояние Гедвиги... Это должно было глубоко поразить князя, если бы только он не был совершенно бессердечным человеком.

-- Вы не всегда были такого мнения о нем, госпожа советница, -- возразил мейстер Абрагам.

-- Я вас не понимаю, -- презрительно проговорила Бенцон, бросив на мейстера уничтожающий взгляд и потом быстро отвернув свое лицо.

Князь Иреней, питая к мейстеру Абрагаму чувство доверия и даже признавая его умственное превосходство над собой, отбросил в сторону всякие конвенансы и, сделав визит в рыбацкий домик, излил перед мейстером все свое сердце в то время, как на все замечания Бенцон о злополучных событиях дня он упорно отмалчивался. Так как мейстер об этом знал, взволнованное состояние советницы не было для него неожиданностью, хотя он был несколько удивлен тем, что Бенцон, обыкновенно холодная и замкнутая, не сумела скрыть свое волнение.

Но советница, конечно, не могла не чувствовать себя оскорбленной, так как она опять увидела поколебленными свои права на монополию опекунских забот о князе, -- поколебленными в такой важный критический момент!

По причинам, которые, быть может, вполне выяснятся впоследствии, брак принца с Гедвигой был предметом самого горячего желания со стороны советницы. Этот брак, по-видимому, был поставлен теперь на карту, и каждое вмешательство третьего лица казалось ей помехой. Кроме того, в первый раз она увидела себя окруженной непроницаемыми тайнами, в первый раз князь безмолвствовал перед ней, могла ли она быть оскорблена более -- она, главная двигательная пружина в механизме сказочного двора?

Мейстер Абрагам знал, что сохранение самого невозмутимого спокойствия -- наилучшее оружие против всяких женских волнений: он безмолвно стоял около Бенцон, которая в глубоком раздумье облокотилась о перила моста (уже известного благосклонному читателю) и устремила свой взор на далекие кустарники, облитые последними лучами заходящего яркого солнца.

-- Какой чудный вечер! -- проговорила Бенцон, не оборачиваясь.

-- Очень, очень хорошая погода! -- ответил мейстер Абрагам спокойным, веселым тоном, точно у него было что-то радостное на душе.

-- Вы, милый мейстер, -- продолжала советница, -- не должны сердиться на меня: я была так глубоко огорчена, когда князь вдруг подарил вам одному все свое доверие и пожелал услышать только от вас совет в таком деле, где искушенная житейским опытом женщина может посоветовать гораздо лучше. Но теперь я совершенно победила всякое чувство мелочного самолюбия -- чувство, которое я была не в силах скрыть. Правда, князь должен был сам сказать мне все, но я теперь сама узнала его тайну другим способом и, в конце концов, могу только одобрить возражения, сделанные вами князю. Я готова сознаться, что я поступила не

совсем похвально. Но меня может извинить одно: я повиновалась не столько женскому любопытству, сколько чувству глубокого участия ко всему, что касается княжеской фамилии. Узнайте же, мейстер: я подслушала весь ваш разговор с князем, поняла каждое слово.

Мейстером Абрагамом овладело странное чувство иронической насмешливости и горького раздражения. Так же, как и лейб-камердинер, он отлично заметил, что в углублении, покрытом кустами и находящемся перед окном рыбацкого домика, слышно каждое слово, которое здесь говорится. Однако, благодаря искусным акустическим приспособлениям, ему удалось сделать так, что разговоры, которые велись в домике, представлялись лицам, стоящим вне его, смутным, неопределенным гулом, где нельзя было разобрать ни одного слова. Мейстеру показалось поэтому очень жалким, что Бенцон прибегла ко лжи с целью узнать тайну, о которой она могла только подозревать. Впоследствии будет сообщено, о чем в рыбацком домике князь говорил с мейстером Абрагамом.

-- О, многоуважаемая, -- воскликнул мейстер, -- не что иное привело вас к рыбацкому домику, как живой дух предприимчивости и любознательности. Как мог бы я, хотя старый, но неопытный человек, обойтись без вашей помощи, находясь в столь затруднительном положении. Я мог бы теперь подробно рассказать вам все, что мне доверил князь, но дальнейшие рассуждения на эту тему излишни, так как вы сами уже все знаете.

Мейстер Абрагам так удачно принял тон сердечной доверчивости, что Бенцон, несмотря на всю свою проницательность, не могла сразу решить, мистификация это или нет. Попав в такое затруднительное положение, она лишилась всякой возможности изловить на слове мейстера и подставить ему ловушку. Она стояла, как прикованная к мосту, и смотрела в озеро, тщетно придумывая, что бы ей сказать.

Мейстер Абрагам наслаждался некоторое время замешательством Бенцон, потом мысли его перенеслись к событиям дня. Он живо чувствовал, что Крейслер являлся пунктом средоточия в круге этих событий; глубокое чувство скорби об утраченном друге охватило его и невольное восклицание сорвалось с его уст: "Бедный Иоганн!"

Советница быстро обернулась к мейстеру и горячо начала:

-- Как, мейстер Абрагам, неужели вы допускаете ребяческую мысль, что Крейслер погиб? Что, собственно, доказывает окровавленная шляпа? Что могло бы так неожиданно побудить его к ужасному решению покончить с собой?.. Наконец, труп его был бы найден!

Мейстер немного удивился, когда Бенцон заговорила о самоубийстве в то время, как, по-видимому, здесь можно было иметь совсем иного рода подозрение. Однако, прежде чем он успел ответить, советница продолжала:

-- И хорошо, очень хорошо, что он уехал: где он ни поселится, он всюду создает несчастья. Его необузданность, его озлобленность, его хваленый "юмор" раздражают каждого, с кем бы он ни заговорил. Если пренебрежительная насмешка над светскими правилами и борьба с формальностями служат доказательством умственного превосходства,

тогда мы, конечно, должны преклоняться перед капельмейстером. Но только пусть уж он оставит нас в покое и не стремится восстановить нас против того, что признается необходимым условием житейских отношений. Потому-то я и говорю: слава богу, что он удалился от нас! Надеюсь никогда с ним не встретиться!

-- И однако, -- мягко возразил мейстер, -- вы, госпожа советница, были прежде истинным другом Иоганна, вы приняли в нем участие в трудный момент его жизни; вы сами направили Крейсlera на тот путь, с которого он был совращен именно теми условностями, которые находят в вас такую горячую защитницу! Что за внезапная немилость постигла нашего доброго Крейсlera? Что же он сделал дурного? Разве его за то нужно ненавидеть, что, когда он вступил в новую сферу жизни, судьба сразу встретила его неблагоприятно, что он столкнулся лицом к лицу с преступлением, что его выследил итальянский бандит?

Советница вздрогнула.

-- Почему, мейстер, вам приходят на ум такие страшные мысли? -- спросила она дрожащим голосом. -- Но если это действительно так, если он погиб, тогда, значит, невеста, погибшая из-за него, отомщена. В глубине души я твердо верю, что единственной причиной теперешнего ужасного состояния принцессы является именно Крейслер. Он безжалостно натягивал нежные струны ее души до тех пор, пока они не порвались.

-- В таком случае, -- возразил язвительно мейстер Абрагам, -- этот итальянский принц -- человек весьма решительный и поспешный, потому что его месть предвосхитила самую вину. Вы слышали все, что я говорил с князем в рыбацьем домике, следовательно, вам известно, что принцесса Гедвига впала в болезненное состояние именно в тот момент, когда в лесу раздался выстрел.

-- На самом деле, -- проговорила Бенцон, -- теперь, чего доброго, уверуешь во всякие химеры и в психическое воздействие. Но еще раз скажу: слава богу, что он удалился от нас! Состояние принцессы может измениться и действительно изменится. Судьба исторгла из нашей среды нарушителя нашего покоя, и скажите вы сами, мейстер Абрагам, разве в глубине души Крейслер не является до такой степени раздвоенным, что покой -- вещь для него совершенно невозможная? Значит, на самом деле хорошо, что...

Советница не кончила, но мейстер Абрагам почувствовал, что гнев, который он удерживал с трудом, готов вырваться наружу.

-- Скажите, пожалуйста, -- заговорил он возбужденным голосом, -- скажите, пожалуйста, что вы все имеете против Иоганна? Что дурного он сделал вам, что вы так преследуете его и не хотите, чтобы он нашел где-нибудь приют. Вы сами не знаете, что сказать на это. Так я отвечаю за вас. Видите ли, в чем дело: Крейслер говорит иным языком, чем вы, держится иного образа мыслей, чем вы, вам хочется дать ему место где-нибудь сзади, где узко и тесно; вы не хотите считать его равным себе, а он не хочет признать нормальными те принципы, которых вы неизменно держитесь, мало того, он думает, что фантазии, которые владеют вами всецело,

мешают вам ясно рассмотреть настоящую жизнь. Вы называете озлоблением его шутки, между тем как этот дар шутки является одним из лучших даров природы и проистекает из самых светлых и чистых источников. Но вы -- солидные, знатные люди, вы шутить не умеете. В нем жил дух истинной любви, но может ли эта любовь согреть сердце, которое охвачено мертвенным холодом, которое не носит в себе ни малейшей искорки огня? Вы не терпите Крейсlera, потому что вам неприятно сознание его превосходства, потому что вы чужды тех высших сфер, в которых вращается его дух.

-- Мейстер, -- начала Бенцон глухим голосом, -- мейстер Абрагам, одушевление, с которым ты защищаешь своего друга, заводит тебя слишком далеко. Ты хотел оскорбить меня? Ну что ж?! Тебе это удалось, так как ты пробудил в моем уме мысли, которые долго, долго дремали. Ты назвал мое сердце холодным? Но заглянул ли кто-нибудь в мое сердце, пробил ли кто тот лед, который служит ему благодетельным панцирем? Если для мужчин любовь не является зиждительным началом жизни, если любовь приводит их только к известному пункту, от которого начинается для них еще много путей, -- для нас, женщин, первая любовь является лучезарным моментом, пересоздающим все наше существо. Если первая любовь окажется несчастной, вся жизнь слабой женщины будет разбита, она будет проходить тускло и бесцветно, в то время, как личность, одаренная более сильным характером, тем успешнее выдвигается вперед и добивается покоя и счастья. Дай мне высказаться пред тобою, старик... Теперь, когда ночь так темна, мне нетрудно будет открыть тебе свою душу. Когда в моей жизни наступил этот момент, когда я увидела, кто зажег в моем сердце пламя любви, на какую только способна женщина, я должна была предстать пред алтарем рука об руку с Бенцонем. Он оказался очень хорошим мужем. Будучи человеком недалеким, он доставил мне решительно все, что нужно для мирной, благополучной жизни. Никогда не слышал он от меня ни упрека, ни жалобы. Но условности наложили на меня свое тяжелое бремя, и незаметно для себя самой я стала на ложный путь. Однако пусть меня осудит женщина, которая пережила такую же суровую борьбу, -- борьбу, губящую всякое высшее счастье, все сладостные, светлые мечты! Со мной познакомился князь Иреней... Но не буду говорить о прошлом, теперь речь только о настоящем... Я дала тебе, мейстер, возможность глубоко заглянуть в мою душу. Ты знаешь теперь, почему я боюсь всякого постороннего вмешательства в свои дела. Передо мной, как страшный замогильный призрак, встает воспоминание о моей судьбе. Я должна спасти дорогих мне людей, и у меня для этого есть свой план. Смотрите, мейстер Абрагам, если вы захотите вступить со мной в борьбу, я сумею испортить лучший ваш фокус!

-- Несчастливая женщина! -- воскликнул мейстер Абрагам.

-- Ты называешь меня несчастной, -- возразила Бенцон, -- тогда как я сумела побороть враждебный рок и нашла покой и довольство там, где, по-видимому, все было потеряно?

-- Несчастливая женщина! -- воскликнул опять мейстер Абрагам тоном глубочайшего волнения. -- Ты называешь покоем и удовольствием то, что в действительности является отчаянием, которое, подобно скрытому вулкану, сожгло всю твою душу... и что же теперь? В этой мертвой золе не может вырасти ни листка, ни цветка, а ты ждешь плодов! Ты хотела построить искусственное здание, возведя его на камне, разбитом молнией, и ты не боишься, что это здание рухнет в ту самую минуту, когда пестрые ленты, обвивающие пышные венки, возвестят торжество искусного строителя? Юлия, Гедвига, я знаю, в твой план входит именно их судьба. Несчастливая женщина, смотри, чтобы твоя собственная душа не оказалась охваченной тем озлоблением, в котором ты обвиняешь моего друга Иоганна, тем беспокойным чувством, которое приносит лишь одно горе! Подумай, не являются ли твои мудрые планы просто-напросто враждебным протестом против счастья? Ты никогда его не испытала и хочешь теперь отворотить от него людей тебе дорогих! Я больше знаю о твоих планах, чем ты это думаешь, я хорошо знаю о хвалёных житейских отношениях! Они должны были принести тебе покой, а в действительности навлекли на тебя страшный позор!

При последних словах мейстера из груди Бенцон вырвался глухой крик, выказавший ее глубокое волнение. Мейстер умолк, но так как Бенцон тоже безмолвствовала, он продолжал небрежным тоном:

-- Я нимало не желаю вести борьбу против вас, многоуважаемая советница. Что касается моих фокусов, вы, достопочтенная, отлично знаете, что, с тех пор как меня покинула моя невидимая девица...

В это самое мгновение мысль об утраченной Кьяре с небывалой дотоле силой охватила мейстера Абрагама, ему почудилось, что он видит в темной дали ее фигуру, он как бы услышал милый голос.

-- О, Кьяра! Милая Кьяра! -- воскликнул он с чувством глубокой тоски.

-- Что с вами? -- спросила Бенцон, быстро оборачиваясь к нему. -- Что с вами, мейстер Абрагам? Чье имя произносите вы? Но еще раз прошу вас: оставимте прошлое в покое, не применяйте ко мне тех странных взглядов, которых держитесь вы и Крейслер, обещайте мне не злоупотреблять доверием, оказанным вам князем Ирнеем, не противьтесь мне в моих планах!

Мейстер Абрагам был так глубоко проникнут скорбными воспоминаниями о Кьяре, что он еле понял просьбу советницы и в возражение мог произвести лишь несколько бессвязных слов.

-- Не отталкивайте меня, -- продолжала Бенцон, -- не отталкивайте меня, мейстер Абрагам! Вы, по-видимому, знакомы со многим, на самом деле гораздо более, чем я могла предполагать, но ведь возможно, что и я обладаю какой-нибудь тайной, которая окажется полезной для вас, возможно, что я в состоянии оказать вам сердечную услугу, о которой вы и не помышляете. Будемте вместе господствовать над этим двором, он настоятельно нуждается в руководительстве. Вы с чувством глубочайшей скорби восклицаете: "Кьяра"...

Сильный шум, донесшийся из замка, прервал слова советницы. Мейстер точно пробудился от каких-то сонных грез...

(М. прод.) ...могу сообщить следующее. Кот-филистер, даже тогда, когда он мучается жаждой, лакает молоко с блюдечка с самого краешка так, что не обмочит себе ни мордочку, ни бороду, он будет всегда благопристойен, потому что благопристойность для него важнее самого удовлетворения жажды. Если ты сделаешь визит коту-филистеру, он предложит тебе все, что только возможно, когда ты будешь уходить от него, уверит тебя в совершеннейшей своей дружбе, а потом тайком один съест все лакомые кусочки, которыми тебя не потчевал. Благодаря неизменной своей тактике, кот-филистер умеет занимать лучшее место решительно везде: и на чердаке, и в подвале он растянется с большим удобством, чем кто-либо. Он много рассказывает о своих прекрасных качествах и о том, как он, слава богу, не может пожаловаться, что судьба его обошла. Весьма пространно расскажет тебе, как он достиг своего прекрасного положения, и что он еще намерен сделать, чтобы добиться большего. Но если, наконец, выслушав его, и ты скажешь что-нибудь о своем менее блестящем положении, кот-филистер немедленно закроет глаза, прижмет уши к голове и притворится, что он спит или мурлыкает. Кот-филистер всегда держит свой мех в чистоте и опрятности, и даже, если он ловит мышей, отряхает лапки, проходя по сырым местам; если он при этом и упустит дичь, зато во всех событиях жизни останется изящным, порядочным, прилично одетым господином. Кот-филистер боится и избегает малейшей опасности; если ты, находясь в критическом положении, взываешь к нему о помощи, он рассыплется в трогательных уверениях, что дружба его к тебе неизменна, но в то же время засвидетельствует, что именно в тот момент, когда он был тебе нужен, у него случились дела и что он никак не мог оказать тебе помощь в виду некоторых соображений. Вообще все поведение, все поступки кота-филистера зависят от тысячи различных соображений. Если даже какой-нибудь маленький мопс укусит его в хвост самым чувствительным образом, он будет вежлив и учтив по отношению к нему, чтобы не испортить отношений с дворовой собакой, протекцией которой пользуется этот мопс... и только ночью, под покровом тьмы, он решится выцарапать глаза своему врагу. На следующий день он от всего сердца будет жалеть дорогого друга-мопса, возмущаясь предательской низостью коварных врагов. Все "соображения", на которые ссылается кот-филистер, очень похожи на искусную лисью нору, дающую коту возможность улизнуть именно тогда, когда ты думаешь его изловить. Охотнее всего он остается дома, под печкой, вольный простор крыши причиняет ему головокружение. Вы видите теперь, друг Мурр, все это очень похоже на вас. Но я скажу вам еще, что кот-бурш всегда честно, открыто, бескорыстно готов помочь сердечному своему другу, что он не знаком ни с какими "соображениями", исключая соображений чести и справедливости -- словом, кот-бурш является прямым антиподом коту-филистеру; я думаю, что после этого вы не будете колебаться ни минуты и, выйдя из состояния

филистерства, захотите сделаться настоящим, добропорядочным котом-буршем.

Живо почувствовал я всю справедливость слов Муция. Я увидел, что, хотя слово "филистер" раньше было мне незнакомо, но я ясно представлял себе такой характер. Я не раз встречал уже этих мерзких филистеров, гнусных котов, вызывавших мое искреннее презрение. Тем более почувствовал я свое заблуждение, благодаря которому чуть было не попал в категорию презренных людей; я решил во всем последовать советам Муция и постараться сделаться истинным буршем котовского рода.

Один молодой человек, говоря с моим мейстером о вероломном друге, употребил относительно этого последнего какое-то странное, непонятное для меня выражение, он назвал его равнодушнойнейшей скотиной. Мне показалось, что это выражение весьма подходит в применении к филистеру, и я спросил об этом друга Муция. Но только я выговорил слово "равнодушнойнейший", как Муций подпрыгнул с громким хохотом и, крепко обнимая меня, воскликнул:

-- Дорогой друг мой, я вижу теперь, что ты меня прекрасно понял. Именно, равнодушнойнейший филистер! Это такая подлая натура, которая возмущается против всяких благородных стремлений! Мы должны гнать и преследовать ее везде, где только встретим. Да, милый Мурр, ты выказал теперь искреннее влечение ко всему великому и прекрасному. Прижмись еще раз к этой груди, в ней бьется верное немецкое сердце!

С этими словами Муций опять обнял меня и сообщил, что в ближайшую ночь он думает ввести меня в общество буршей. В полночь я должен быть на крыше, он отведет меня на банкет, который будет устроен одним синьором котовской породы по прозванию Пуфф.

В комнату вошел мейстер. Я вскочил по привычке со своего места, стал ласкаться и кататься по полу, желая засвидетельствовать перед ним свои радостные чувства. Муций также уставился на него глазами, выражавшими довольство. После того как мейстер почесал мне голову за ухом, он осмотрелся в комнате и, найдя все в надлежащем порядке, сказал:

-- Ну, это хорошо! Ваша беседа была тихая и мирная, как приличествует благовоспитанным людям. Это заслуживает награды.

Мейстер вышел через дверь, ведущую в кухню, и мы оба, угадывая его намерение, пошли за ним, испуская радостное "мяу-мяу-мяу". Действительно, мейстер отворил кухонный шкаф и вынул кости двух цыплят, мясо которых он съел вчера. Как известно, цыплячьи косточки, по нашим понятиям, являются самым гастрономическим кушаньем, какое только может существовать. Поэтому, когда мейстер подставил нам такое лакомое блюдо, в глазах Муция заблестало пламя радости, хвост его принял причудливые и грациозные извивы, а сам он испустил громогласное мурлыканье. Памятуя хорошо, что есть бездушный филистер, я придвинул к Муцию лучшие куски, шейки, внутренности, гузки, на свою же долю оставил более грубые кости. Когда мы покончили с цыплятами, я хотел было спросить Муция, не желает ли он чашку сладкого молока. Но твердо имея перед глазами образ бездушного

филистера, я не сказал ни слова и вместо этого без всяких рассуждений выдвинул ее из-под шкафа, где она всегда находилась и, чокнувшись с Муцием, предложил ему полакать. Муций вылакал все до последней капли, потом пожал мне лапу и проговорил, между тем как на глазах его выступили светлые слезы:

-- Друг мой Мурр, живя с лукулловской роскошью, вы, однако, открыли мне свое верное, честное, благородное сердце. Ничтожные мирские страсти не увлекут вас к презренному филистерству. Спасибо вам, сердечное спасибо!

Мы простились, обменявшись, по обычаю предков, честным немецким лапопожатием. Очевидно, для того чтобы скрыть свое глубокое волнение, невольно вызывавшее слезы на его глаза, Муций одним прыжком выскочил через открытое окно на близко находящуюся крышу. Даже меня, одаренного от природы великолепной способностью воспарять кверху, привел в крайнее изумление этот рискованный скачок; еще раз я нашел повод восхвалить свою породу, сплошь состоящую из ловких гимнастов, которые не нуждаются ни в балансирных шестах, ни в других каких-нибудь приспособлениях. Кроме того, друг мой Муций представил мне явное доказательство того, что нередко под грубой, отталкивающей внешностью скрывается нежное, теплое чувство.

Я вернулся назад в комнату мастера и улегся под печку. Здесь в тишине уединения обдумывая прежнее состояние своей душевной жизни, я ужаснулся при мысли, что стоял на самом краю пропасти, и друг Муций, несмотря на свой взъерошенный мех, предстал предо мною как спасительный гений. Я должен был вступить в новый мир, должен был наполнить пустоту своего сердца и сделаться совершенно другим котом... Сердце мое забилося от боязливого и радостного предчувствия.

Еще задолго до наступления полночи, я попросил мастера выпустить меня из комнаты, испустив обычное "мяу". -- "Ступай, ступай, Мурр, -- сказал он, открывая дверь, -- я тебя не удерживаю. Из этого вечного спанья и лежанья под печкой не может выйти ничего путного. Ступай, тебе нужно увидеть общество. Быть может, ты встретишь юношей по своему вкусу и вы вместе позабавитесь и повеселитесь".

Ах, мастер знал, что мне предстояла новая жизнь!

Когда, наконец, приблизилась полночь, явился Муций и повел меня по разным крышам, пока мы не дошли до одной, почти совершенно плоской итальянской крыши, где нас приветствовал радостными воплями целый десяток представителей котовской молодежи, одетых так же странно и небрежно, как и Муций. Этот последний представил меня своим друзьям, похвально отозвался о моих хороших качествах, о моей неподкупной честности, с необыкновенным выражением упомянул о том, как я радушно угощал его жареной рыбой, цыплячьими косточками, сладким молоком, и в заключение сказал, что я желаю вступить в их общество в качестве добропорядочного кота-бурша. Все изъявили свое согласие.

Последовали различные торжественные манифестации, о которых я, однако, умалчиваю. Благосклонный читатель моей породы, пожалуй, будет

злобствовать и подумает, что я вступил в какой-нибудь запрещенный орден. Даю ему честное слово, что здесь не может быть речи ни о каком ордене, ни о каких-либо других вещах, безусловно связанных с тайным обществом, каковы: статуты, тайные символические знаки и прочее. Наш союз основывался исключительно на общности убеждений. Ибо каждый из нас, как оказалось, отдавал предпочтение сладкому молоку перед водой и жаркому перед хлебом.

После того как были окончены торжественные церемонии, я получил ото всех по братскому поцелую и лапопожатию, и все стали говорить со мной на "ты". Потом мы уселись за простую, но радостную трапезу, за которой последовала славная попойка. Муций приготовил хороший кац-пунш. Если какой-нибудь жизнерадостный представитель котовской молодежи пожелает узнать рецепт этого чудного напитка, я, к сожалению, не могу дать ему надлежащих указаний. Но достоверно, во всяком случае, что тонкий вкус напитка, равно как сокрушительная его крепость, могут быть получены преимущественно благодаря примеси селедочного рассола в большой дозе.

Засим сеньор Пуфф голосом, мощно грянувшим над окрестными крышами, затянул славную песню: "Gaudeamus igitur!" С отрадой подумал я в сердце своем, что я настоящий juvenis [*Юноша -- лат.*] и совсем не захотел думать о tumulus [*Могила, могильная насыпь, захоронение -- лат.*], которое мрачный рок редко дарует нашей породе в тихой мирной земле. Мы пели еще много других хороших песен, как, например, "Пусть там политики болтают". Наконец, сеньор Пуфф мощной лапой ударил по столу и возвестил, что теперь должна быть пропета настоящая песнь посвящения -- *Esse quam bonum* [*Смотри, как славно -- лат.*]. Он тотчас сам дал тон и запел *Esse etc., etc.* [*И так далее, и все в том же роде -- лат.*]

Еще никогда я не слышал этой песни, композиция которой задумана настолько же глубоко и таинственно, насколько исполнение чудно, музыкально и гармонично. Сколько мне известно, мейстер ничего об ней не знал. Однако многие приписывают эту арию великому Генделю, другие, напротив, утверждают, что она существовала еще задолго до Генделя, так как, сообразно с виттенбергскими хрониками, ее пели еще в то время, когда принц Гамлет был студентом. Но кто бы ее ни сочинил, все равно, произведение грандиозно и бессмертно, и в особенности заслуживает внимания то обстоятельство, что отдельные сольные партии, эпизодически вставленные в хор, побуждают исполнителей к самым грандиозным и неистощимым вариациям. Некоторые из таких вариаций, которые мне пришлось услышать в эту ночь, я твердо удержал в памяти.

Когда хор кончил, один пятнистый черно-белый юноша запел:

Много разных песьих лиц
В мире кот увидит;
Нас, котов, боится шпиц,
Пудель ненавидит!

Хор:

Esse quam etc., etc.

Потом серый:

Кот-филистер на веку
Сто раз снимет шапку;
Кот-гуляка к козырьку
Не подносит лапку.
Esse quam etc., etc.

Хор:

Esse quam etc., etc.

Потом желтый:

Рыбка плавает в водах,
Птичка в небе мчится;
Сердце наше впопыхах
Им вослед стремится!

Хор:

Esse quam etc., etc.

Потом белый:

Громким "мяу" огласим
Крыш уединенье;
Но галантность сохраним
Даже в опьяненьи!

Хор:

Esse quam etc., etc.

Потом друг Муций:

Обезьяна иногда
Мнит с котом сравняться,
Но за нами никогда
Ей не угоняться!

Хор:

Esse quam etc., etc.

Я сидел рядом с Муцием, следовательно, теперь очередь была моя. Все соло, слышанные мною, до того отличались от стихов, которые я сочинял до сих пор, что я впал в беспокойство и боялся нарушить общий тон. Поэтому, когда хор кончил, я еще молчал. Некоторые уже подняли стакан и провозгласили: "Pro роена!" [Штраф! -- лат.] Как вдруг я собрался с духом и грянул:

Лапу в лапу! Прочь, беда!
Будем смелы, братья!
Буршам -- слава навсегда!
Их врагам -- проклятья!

Хор:

Esse quam etc., etc.

Моя вариация встретила самые громкие, восторженные приветствия. Благородные юноши с шумными возгласами устремились ко мне, заключили в лапы, прижимая меня к взволнованным своим сердцам. И здесь также признали присутствие высокого гения в душе моей. Это был один из чудных моментов моей жизни! Потом мы провозгласили громкие тосты в честь славных великих котов, в особенности же тех, которые, несмотря на свое величие и славу, удалялись всякого филистерства, доказав это и словом, и делом. Затем мы расстались.

Пунш, однако, сильно подействовал на меня; мне чудилось, что крыши колеблются, я еле мог держаться на ногах, употребляя свой хвост, как балансирный шест. Верный Муций, заметив, в каком я состоянии, взял меня под лапу и благополучно провел домой через слуховое окно.

В голове у меня страшно шумело, и я долго не мог...

(Мак. л.) ...так же хорошо знал, как и проникательная фрау Бенцон, но, чтобы я получил от тебя известие именно теперь, именно сегодня, этого не предчувствовало мое сердце". Сказав это, мейстер Абрагам взял письмо, которое только что получил и по почерку которого он узнал руку Крейслера, положил его, не распечатывая, в ящик письменного стола и отправился в парк. Мейстер Абрагам уже с давних лет имел привычку не распечатывать письма, которые он получал, по целым часам, иногда даже по целым дням. Он рассуждал, что, если содержание письма безразличное, тогда все равно, когда его ни распечатать; если там какие-нибудь плохие известия, тогда, не читая их тотчас, можно провести еще несколько часов радостных или, по меньшей мере, спокойных; если же в письме приятные известия, солидный человек должен воздерживаться от слишком радостного чувства. Пишущий эти биографические повествования полагает, что, хотя стоическое хладнокровие мейстера Абрагама не подлежит никакому сомнению, тем не менее подобная привычка является известного рода боязнью проникнуть в тайну запечатанного письма. Получать письма -- совершенно своеобразное удовольствие, и потому, как

замечает один остроумный писатель, нам чрезвычайно приятны те лица, которые являются непосредственными виновниками этого удовольствия, именно -- почтальоны. Пишущий сии строки помнит, как некогда во время пребывания в университете он, после долгих и напрасных ожиданий получить какие-либо известия от одной дорогой особы, со слезами на глазах умолял почтальона принести письмо из родного города, обещая дать за это хорошее вознаграждение. Почтальон с лукавой миной обещал исполнить просьбу и действительно через несколько дней принес письмо, притом вид у почтальона был такой торжественный, как будто бы получение письма было делом его личной предприимчивости, -- понятно, что он получил надлежащее вознаграждение! Но, быть может, биограф слишком подчиняется чувству самообмана: он не знает, свойственно ли такое чувство и благосклонному читателю, испытывает ли читатель некий трепет, когда ему приходится распечатывать письмо. Весьма вероятно, что в данном случае нами овладевает чувство беспокойства перед темным грядущим, нам страшно тайны, которую разоблачит малейшее движение нашей руки. Сколько чудных надежд разбивается после того, как роковая печать сломана, сколько жарких стремлений угасает навсегда! На ничтожном листке бумаги мы прочли какое-то таинственное проклятие... и что же -- сад, где мы думали совершать поэтические прогулки, вдруг утратил всю свою красоту, жизнь предстала перед нами, как безутешная пустыня. Если, действительно, хорошо собраться с духом, прежде чем заглянешь в будущее, тогда привычка мастера Абрагама заслуживает извинения; той же привычкой обладает и автор данной биографии, именно с той поры его жизни, когда он получал письма, похожие на ящик Пандоры: едва только он их раскрывал, на него сыпались тысячи несчастий. Но хотя мастер Абрагам ушел гулять в парк, не распечатав письма, благосклонный читатель должен тем не менее теперь же узнать, что именно написал Иоганн Крейслер. Вот содержание письма:

"Дорогой мастер!

"La fin couronne les oeuvres!" [*Конец венчает дело! -- фр.*] Мог бы я воскликнуть, наподобие лорда Клиффорда в шекспировском "Генрихе VI". Шляпа моя, сильно раненная, полетела в куст, а я вслед за ней упал навзничь. Кто падает таким образом в битве, тот редко встает. Однако, любезный мастер, ваш Иоганн встал и немедленно. О тяжелораненом товарище, упавшем с моей головы, я не мог позаботиться, так как мне нужно было позаботиться кое о чем другом: я должен был посредством некоего прыжка уклониться от дула пистолета, направленного против меня шагах в трех. Кроме того, я сделал еще нечто, именно: из оборонительного положения перейдя в наступательное, я бросился прямо на стрелка и вонзил в него кинжал. Вы, мастер, всегда упрекали меня в неспособности к историческому стилю, в наклонности к пышным фразам и ненужным отступлениям. Но что скажете вы о подробном описании моего итальянского приключения в зигхартсгофском парке, в княжеских

владениях, которыми его светлость так кротко управляет, что для разнообразия позволяет даже разным бандитам хозяйничать в них?

Любезный мейстер, все сказанное представляет собой лишь беглый намек на содержание главы того исторического повествования, которое я намерен написать вам вместо ординарного письма. Относительно лесного приключения можно добавить лишь немного. Рана в голову была поверхностная, и я немедленно решил не терять ни минуты. Но скажите мне, мейстер, -- теперь же, или сегодня вечером, или завтра утром, -- скажите, в чье тело вонзился мой кинжал? Мне было бы очень отрадно думать, что я пролил не обыкновенную человеческую кровь, а сиятельную, кажется, я не ошибаюсь в своем предположении.

Мейстер! Если это действительно так, судьба, значит, заставила меня совершить то, о чем мы говорили с вами в рыбацьем домике! Быть может, этот маленький клинок, поднятый мною для самозащиты, был незримым мечом Немезиды, всегда мстящей за пролитую кровь! Напишите мне обо всем, мейстер, а главное, сообщите, что это за оружие, которое вы дали мне? Почему оно имеет такое магическое действие? Впрочем, нет, нет, не говорите мне о нем ни слова! Пусть этот образ Медузы, пред чьим видом каменеет грозное злодеяние, останется для меня самого необъяснимой тайной. Мне кажется, что ваш талисман потеряет свою силу, если я узнаю его секрет! Поверите ли вы мне, мейстер: до сих пор я еще не решился хорошенько взглянуть на портрет, который вы мне дали! Придет час, и вы расскажете мне все, и я возвращу вам талисман. Итак, пока ни слова! Будем продолжать историческое повествование. Вонзив кинжал в неизвестного любителя стрельбы и видя, что он упал безмолвно на землю, я тотчас же с поспешностью Аякса бежал прочь, ибо услышал приближающиеся голоса и подумал, что опасность еще не миновала. Мне хотелось скрыться в Зигхартсвейлер, но благодаря ночной темноте я сбился с дороги. Я перелезал через овраги, взбирался на крутые пригорки и, наконец, в полном изнеможении опустившись в чаше кустарника, забылся мертвым сном. Вдруг, точно все засверкало перед моими глазами, сильная режущая боль заставила меня пробудиться. Из раны открылось кровотечение. Сделав, с помощью своего платка, перевязку, которая могла бы послужить рекомендацией самому опытному военному хирургу, я весело и радостно осмотрелся кругом. Недалеко от меня виднелись развалины какого-то внушительного замка. Я был в Гейерштейне. Это вызвало во мне немалое удивление.

Рана больше не болела, я чувствовал себя бодрым и вышел из кустарника, служившего мне ночным ложем. Солнце бросало на луг и на лес косвенные лучи, точно оно посылало радостный утренний привет. Пробудившиеся птички купались в прохладной росе и с громким чириканьем порхали среди кустов. Внизу, подо мною, лежал Зигхартсгоф, еще объятый ночным туманом, но скоро последний покров рассеялся, и деревья предстали предо мною, облитые трепетным золотом. Озеро, находящееся в парке, походило на зеркало, испускавшее ослепительный блеск: точно маленькое беленькое пятнышко, виднелся рыбацкий домик, даже мост совершенно явственно

выделялся из зелени. Вчерашний день показался мне далеким прошлым, от которого у меня не осталось ничего, кроме скорбного и в то же время сладкого воспоминания о чем-то навеки утраченном. Я слышу, мейстер, ваш возглас: "Зачем ты болтаешь пустяки? Что ты утратил?"

Ах, мейстер, еще раз я представляю себя стоящим на вершине Гейерштейна, еще раз, как могучий орел, взмахивавший своими крыла-ми, я простираю руки, и хочется мне улететь туда, где живут волшебные чары, где любовь, не знающая условий времени и пространства, вечная, как мировой дух, вспыхнула предо мной, воплотившись в небесные звуки, полные неги, тоски и желания! Пусть люди думают обо мне что хотят, но я должен сказать вам, мейстер, что у меня в голове нет ничего, кроме звуков, а в сердце ничего, кроме гармонии! Но, однако, я должен приступить опять к моему историческому рассказу.

Я расслышал вдали пение сильного мужского голоса. Оно все больше и больше приближалось ко мне. Вскоре я увидел бенедиктинского монаха. Он спускался по горной тропинке и пел латинский гимн. Остановившись недалеко от меня, он перестал петь, вытер платком лицо и, осмотревшись кругом, скрылся в кустах.

Мне захотелось присоединиться в нему; монах был весьма упитан, зной усиливался, и я подумал, что странник, вероятно, отыскивал себе местечко в тени. Предположение мое было справедливо: приблизившись к одному из кустов, я увидел, что святой муж уселся на камень, обросший мхом. Более высокий обломок скалы, вздымавшийся как раз напротив, служил монаху столом. Разостлав на нем белый платок, странник вынул из своей дорожной сумки хлеб и какую-то жареную птицу и начал уписывать все это с большим аппетитом. "*Sed praeter omnia bibendum quid!*" [*Но прежде всего надо выпить! -- лат.*] -- воскликнул он, обращаясь к самому себе и наливая из плетеной бутылки вино в серебряный стаканчик. Только что хотел он выпить, как я подошел к нему с возгласом: "Да благословенно будет имя Божие!" Держа стаканчик у рта, монах взглянул на меня, и в это мгновение я узнал в нем моего старого закадычного друга из бенедиктинского аббатства в Канцгейме, это был честный патер и *praefectus chori* [*Регент хора -- лат.*] Гилариус. "Господи Иисусе Христе!" -- воскликнул он, вытаращив на меня глаза. Я тотчас вспомнил о моем головном уборе, быть может, придававшем мне совсем особенный вид, и начал: "О, достопочтеннейший и дражайший друг мой Гилариус! Не считайте меня за какого-нибудь беглого бродягу или разбойника, ибо я не кто иной, как ваш нежнейший, закадычнейший друг, капельмейстер Иоганн Крейслер!"

-- Клянусь святым Бенедиктом! -- воскликнул радостно патер Гилариус. -- Я узнал вас сразу! Ведь это вы, великолепный композитор и мой прекрасный друг! Но, *per Diem* [*Бога ради -- лат.*], скажите мне, откуда и куда вы направляетесь? Что с вами случилось? Спрашиваю сие с удивлением, ибо предполагаю, что вы *in floribus* [*Процветаете -- лат.*] при дворе великого герцога!

Без всяких предисловий я рассказал ему вкратце все, что со мной произошло, рассказал о том, как я был принужден вонзить свой кинжал в неизвестного джентльмена, пожелавшего пустить в меня пулю, причем высказал предположение, что это, вероятно, был итальянский принц Гектор.

-- Ну, что же мне теперь делать? -- спросил я его. -- Вернуться ли назад в Зигхартсвейлер или... Посоветуйте мне, патер Гилариус!

Этой просьбой я закончил свой рассказ. Патер Гилариус, во время моего повествования испускавший возгласы вроде "Гм... так, так... эге... клянусь святым Бенедиктом!", потупил глаза и, пробормотав "Bibamus!" [*Выпьем! - лат.*], залпом выпил свой кубок. Потом он воскликнул со смехом:

-- Правду говоря, капельмейстер, лучший совет, который я вам могу пока дать, это сесть рядом со мной и позавтракать. Предлагаю вам отведать от сих куропаток! Они застрелены лишь вчера достопочтенным братом Макариусом, который, как вы, верно, помните, попадает во всякую цель, если только он не задается целью спеть гимн. Если вам нравится соус, под которым приготовлена сия дичь, вы должны быть благодарны за это брату Эвсебиусу: он собственноручно изжарил куропатку для моего удовольствия. Что касается вина, оно может надлежащим образом усладить вкус беглого капельмейстера. Старейшее вино, *carissime* [*Дражайший -- лат.*] Иоганес, старейшее вино из вюрцбургского госпиталя святого Иоанна. Ergo bibamus! [*Итак, выпьем! -- лат.*]

Он налил свой кубок до краев и протянул мне. Не заставляя себя просить, я пил и ел как человек, весьма нуждающийся в подкреплении. Патер Гилариус выбрал для отдыха прекрасный, живописный уголок. Густая листва молодых берез роняла тень на цветущую лужайку, а лесной ручей со своими кристальными, холодными струями еще более усиливал освежительную прохладу. Уединенный, таинственный характер местности навеял мне на душу тихое спокойствие. Пока патер Гилариус рассказывал все, что произошло за последнее время в аббатстве, причем он не преминул пересыпать свою речь шуточками и забавной кухонной латынью, я прислушивался к лесным звукам, к пенью струй, говоривших со мной на своем особом языке, полном чудных мелодий. Патер Гилариус думал, что и озабочен всем происшедшим я потому безмолвствую. Наливши мне снова полный стакан вина, он сказал:

-- Не падайте духом, капельмейстер! Вы пролили кровь, а кровопролитие, конечно, есть вещь греховная, однако *distinguendum est inter et inter* [Надо отличать одно от другого -- лат.], каждому своя жизнь милее всяких благ: ведь она дается лишь в единственном числе. Вы защищали свою жизнь, а это отнюдь не запрещено церковью. Ни высокочтимый наш аббат, ни другой служитель церкви не откажет вам в отпущении грехов, если вы нечаянно вонзили кинжал хотя бы и в княжеские внутренности. Ergo bibamus! Vir sapiens non te abhorrebit Domine! [*Итак, выпьем! Мудрый муж не отвернется от тебя, господин! -- лат.*] Но, дражайший мой Крейслер, если вы возвратитесь назад в Зигхартсвейлер, вам предложат гнуснейшие вопросы *si, quomodo, quando, ubi* [Почему, как, когда, где -- лат.], и, если

вы захотите указать на смертоубийственное покушение со стороны принца, кто вам поверит? *Ibi jacet lepus in pipere!* [Вот где собака зарыта! -- лат.] Но вы замечаете, капельмейстер, как... Однако *bibendum quid...* [*Надо выпить - лат.*]

Он опорожнил полный кубок и продолжал:

-- Да, вы замечаете, капельмейстер, как добрый совет невольно приходит в голову, когда выпьешь славного старого винца? Я хотел сейчас отправиться в монастырь Всех Святых, чтобы ввиду предстоящих праздников застаться музыкой от тамошнего *praefectus chori*. Неоднократно уже я перерыл все свои ящики, ничего в них нет, кроме старья: что же касается музыки, сочиненной вами во время пребывания в аббатстве, она, конечно, прекрасна и нова, но не истолкуйте моих слов дурно, капельмейстер, она написана так замысловато, что нельзя глаз оторвать от партитуры. Если захочется стрельнуть взглядом в ту или другую хорошенькую дамочку и посмотреть через решетку, тотчас сделаешь ошибку, собьешься в такте, и стоп машина! *Ad patibulum cum illis!* [*На виселицу их! -- лат.*] Итак, я хотел... Однако *bibamus!*

После того как мы оба выпили, наш разговор продолжался с новым воодушевлением.

-- *Desunt* [Отсутствуют -- лат.] те, которые отсутствуют, -- проговорил патер Гилариус, -- а те, которые отсутствуют, не могут быть допрашиваемы. Мне думается поэтому, что самое лучшее, если вы отправитесь сейчас со мной назад в аббатство. Если идти прямым путем, такое путешествие отнимет у нас всего часа два. Там вы будете вполне гарантированы против всяких розысков, *contra hostium insidias* [От вражеских козней -- лат.]; я представлю вас в виде ходячей музыки, и вы можете оставаться в аббатстве до тех пор, пока вам не надоест. Высокоцитимый аббат снабдит вас всем необходимым. Вы оденетесь в тончайшее белье, а сверху украсите себя одеждой бенедиктинского монаха, которая будет вам очень к лицу. Но пока будет продолжаться наш путь, вам не нужно напоминать своей персоной раненого, изображенного на картине "Сострадательный самаритянин". Посему наденьте-ка мою дорожную шляпу, а я пока натяну на свою лысину капюшон. *Bibendum quid, любезнейший!*

Он осушил еще раз свой кубок, выполоскал его в ручье, быстро уложил все в дорожную сумку и, надев мне на голову свою широкополую шляпу, радостно воскликнул:

-- Пойдемте, капельмейстер, мы будем идти не торопясь и придем как раз к тому времени, когда зазвонят *Ad conventum conventuales* [*Собирайтесь, братья -- лат.*], то есть когда господин аббат сядет за стол.

Вы, конечно, понимаете, дорогой мейстер, что я не имел решительно ничего против предложения веселого патера Гилариуса, напротив, мне очень улыбалась перспектива отправиться в такое мирное и тихое пристанище.

Мы шли медленно, продолжая обмениваться различными замечаниями, и прибыли в монастырь именно к обеду, как предсказывал патер Гилариус.

Чтобы предупредить излишние расспросы, патер Гилариус сообщил аббату, что, узнавши случайно о моем пребывании в Зигхартсвейлере, он счел лишним идти в монастырь Всех Святых и предпочел привести компониста, носящего в своем уме целый магазин музыкальных мелодий.

Аббат Хризостомус (помнится, я не раз вам рассказывал о нем) принял меня с тем радушием, которое свойственно только людям жизнерадостным. Решение патера Гилариуса ему очень понравилось. И вот я превратился в истого бенедиктинского монаха, сижу себе в высокой, просторной комнате, в главном здании аббатства, и тщательно работаю над разными вечернями и гимнами, записываю наброски для торжественной обедни, учу подростков-певчих, стою за решеткой и дирижирую хором. Я в полном уединении; мне приходит на ум Тартини, который, опасаясь мести со стороны кардинала Корнаро, бежал в ассизский монастырь миноритов, где его, наконец, открыл, по истечении нескольких лет, один падуанец: он совершенно случайно увидел утраченного друга, когда порыв ветра на мгновение распахнул занавеску, скрывающую хор от посетителей церкви. То же самое могло бы произойти со мной и с вами, мейстер; однако я должен был известить вас о своем местопребывании, иначе вы могли подумать бог знает что.

Может быть, шляпу мою нашли и много удивлялись, куда же затерялась голова? Мейстер! Мою душу осенило необычайное спокойствие; быть может, я надолго останусь в этой тихой пристани! Недавно, гуляя в монастырском саду, около небольшого озера, находящегося в нем, и видя, как в воде, рядом со мной, движется мое собственное изображение, я проговорил: "Человек, расхаживающий там внизу, весьма спокоен и рассудителен, он не хочет больше предаваться расплывчатым фантастическим снам, напротив, он хладнокровно и твердо держится раз намеченного пути; как хорошо, что человек этот я сам!" Из другого озера на меня некогда глянул роковой двойник... Но будет, будет об этом! Мейстер, когда вы будете мне писать, не называйте ничьих имен, не рассказывайте мне ничего, не говорите даже, кого я проколол кинжалом, но о себе напишите побольше! Братья-монахи начинают сходиться для спевки, я кончаю мое историческое повествование, кончаю и письмо. Живите счастливо, добрый мой мейстер! Не забывайте меня!

Ваш etc., etc".

Бродя одиноко в отдаленных запущенных аллеях парка, мейстер Абрагам размышлял о судьбе своего возлюбленного друга, размышлял о том, как, едва найдя Крейслера, он тотчас же его потерял. Мейстер видел пред собою маленького мальчика Иоганна, который жил у старого дяди в Гениэнсмюле и с гордым видом барабанил по клавишам, разыгрывая своими маленькими ручонками труднейшие сонаты Себастьяна Баха. Мейстер вспоминал, как он за это тайком клал в карман мальчику целые пакеты сладостей. Ему чудилось, что все это происходило лишь несколько дней тому назад, и странно было ему подумать, что этот мальчик был ни кто другой, как Иоганн Крейслер, запутавшийся теперь в самые сложные отношения. Но

вместе с мыслью о прошлом и о таинственных осложнениях настоящего, перед мастером встала картина его собственной жизни.

Отец мастера Абрагама, упрямый, суровый человек, почти насильно заставил его заняться органным мастерством, которым и сам старик занимался всю жизнь. Старик требовал, чтобы орган был всегда приготовлен самим мастером, а не подмастерьями. Поэтому ученики его, прежде чем приступить к изготовлению таинственного механизма, обязаны были пройти предварительную стадию работ столярных, слесарных... Старик заботился главным образом о прочности инструмента. Относительно же тона, относительно души инструмента он не прилагал никаких стараний, благодаря чему звук органов, изготовлявшихся у него, отличался резкостью и пронзительностью. Кроме того, старик всецело предавался различным старомодным ухищрениям. Так, например, на одном органе он сделал изображения Давида и Соломона. Во время игры изображения эти вертели головами, выражая крайнее изумление. Точно так же на каждом инструменте были неизбежные ангелы, играющие в трубы и бьющие в литавры, были петухи, хлопающие крыльями и поющие во все горло, и многое другое. Нередко Абрагам, чтобы смягчить строгого отца и избавиться от заслуженных или не заслуженных побоев, должен был изобрести какое-нибудь новое ухищрение, заставить традиционного петуха пропеть какое-нибудь особенно замысловатое ку-ка-ре-ку. С нетерпеливой тревогой ожидал Абрагам того времени, когда согласно с обычными требованиями ремесла он должен будет отправиться странствовать. Это время наконец пришло, и Абрагам оставил родительский дом с тем, чтобы никогда более в него не возвращаться.

Во время странствий, предпринятых им с другими подмастерьями, большей частью грубыми, необузданными сорванцами, он однажды пришел в Шварцвальден, в аббатство святого Блазиуса, и услышал там знаменитый орган старого мастера Иоганна Андреаса Зильбермана. Наслаждаясь мощными, звучными аккордами, Абрагам впервые узнал очарование гармонии, проникающей всю душу, и с этого мгновения он с любовью отдался тому ремеслу, которым раньше занимался с отвращением. Вся прежняя жизнь показалась ему жалкой и ничтожной. Он приложил теперь все свои силы к тому, чтобы вырваться из узкой мелкой среды. Его природный ум, прекрасные способности к усвоению дали ему возможность двигаться быстрыми шагами в сфере научного образования, и, однако, нередко он чувствовал несносные последствия прежнего воспитания, последствия жизни среди низости и тины. Личность Кьяры и связь с этим странным и загадочным существом была вторым светлым моментом его жизни: таким образом и ощущение музыкальной гармонии, и сладкое чувство любви произвели свое облагораживающее влияние на грубую, но здоровую, поэтическую натуру. Благодаря случайности или, вернее сказать, благодаря искусству в механических ухищрениях, юноша Абрагам был перенесен в совершенно иную обстановку, покинул навсегда кабачки и харчевни, где атмосфера насыщена табачным дымом и звуками непристойных песен. Вступив в новую среду, совершенно чуждую,

Абрагам сохранил свое положение исключительно в силу известной природной самоуверенности, которая с годами росла все больше и, будучи следствием ясного ума и едкой иронии, заставляла всех питать к Лискову искреннее уважение. Ничего нет легче, как производить импонирующее впечатление на людей высокопоставленных, которые почти никогда не оправдывают своей репутации. Именно об этом думал в данную минуту мейстер Абрагам, вернувшись с прогулки в свой рыбацкий домик.

Воспоминания о монастырской церкви Святого Блазиуса и об утраченной Кьяре навеяли на него глубокую, непривычную грусть.

"Отчего, -- думал он, -- рана, которая, по-видимому, зажила, до сих пор продолжает болеть? Зачем и теперь я увлекаюсь пустыми мечтами, отдаюсь обманчивым чарам злого духа?"

Смутное болезненное предчувствие какой-то опасности овладело мейстером, но, подумав о лживой репутации высокопоставленных особ, он не мог удержаться от смеха и весело принялся за чтение письма, полученного от Крейсера.

В княжеском замке в это время происходили странные вещи. Лейб-медик восклицал:

-- Удивительно, непостижимо! Ни теория, ни практика не дают никаких указаний относительно подобного случая!

Княгиня говорила:

-- Этого нужно было ожидать! Никакое осуждение не может коснуться репутации принцессы!

Князь гневался:

-- Разве же я не запретил этого строго-настрога? Но, должно быть, вся стариле прислуживающих ослов лишена чувства слуха! Хорошо же, теперь сам обер-гофмейстер должен будет смотреть, чтобы у принца никогда больше не было пороку в руках!

В то же время советница Бенцон восклицала:

-- Слава Богу, она спасена!

Между тем принцесса сидела в своей спальне у окна и брала отрывочные аккорды на гитаре, которую Крейсера некогда бросил в куст и получил назад "освященной" из рук Юлии. На софе сидел принц Игнациус, плакал и кричал "Больно, больно!", а Юлия, сидя перед ним, тщательно терла сырой картофель в серебряное блюдечко.

Все это находилось в логической связи с удивительным случаем, находившимся, по справедливому выражению врача, вне всяких указаний теории и практики. Принц Игнациус, как уже давно известно благосклонному читателю, продолжал неизменно сохранять милую шаловливость шестилетнего ребенка и живейшую склонность к детским играм.

Больше всего он любил маленькую металлическую пушку. Играть ею, однако, приходилось ему очень редко, ибо для этого нужно было много принадлежностей: достать сразу и порох, и дробь, и птичку представлялось затруднительным. Если же принцу случалось всем этим раздобыться, он выстраивал свои войска во фронт, судил военным судом маленькую

птичку, поднявшую бунт в утраченных владениях князя, потом привязывал ее к подсвечнику, приклеив ей к груди билетик с изображением черного сердца, заряжал пушку и подвергал изменницу расстрелу. Если после выстрела смерть не была мгновенной, принц с помощью перочинного ножика довершал достойную казнь государственной преступницы.

Десятилетний сын садовника Фриц достал принцу хорошенькую пеструю коноплянку, получив за нее обычную крону. В отсутствии егерей Игнациус забрался в их помещение, отыскал там мешочки с порохом и дробью и запасся всем необходимым. Он хотел уже приступить к экзекуции, не терпевшей отлагательства ввиду отчаянных попыток ускользнуть, выказанных пестрой чирикающей изменницей. Вдруг ему пришла в голову мысль, что необходимо позабавить зрелищем казни принцессу Гедвигу, сделавшуюся за последнее время такой послушной. Взяв в руку ящичек с войсками, а в другую -- пушку и птичку, принц проскользнул в комнату Гедвиги, соблюдая всяческие предосторожности, ввиду запрещения князя входить к принцессе. Гедвига, одетая, лежала на своей постели, продолжая находиться в каталептическом состоянии. К несчастью, или, вернее, к счастью, камер-фрау только что вышла из комнаты.

Недолго думая, принц привязал птичку к подсвечнику, выстроил армию, зарядил пушку, потом поднял принцессу с постели, подвел ее к столу и объяснил, что она должна представлять из себя командующего генерала, а он, со своей стороны, возьмет на себя роль сиятельного распорядителя и откроет артиллерийский огонь, долженствующий убить бунтовщика. Но принц зарядил пушку слишком сильно, кроме того, от переизбытка чувств он рассыпал порох по всему столу. Последовал громкий выстрел, рассыпанный порох вспыхнул, принц получил довольно сильный ожог и закричал изо всей силы, совсем не заметив, что принцесса в момент выстрела как сноп упала на пол. Выстрел раздался по всем коридорам. Прислуга, придворные -- все устремились в комнату принцессы, предчувствуя какое-нибудь несчастье, даже князь и княгиня прибежали вместе с прислугой, позабывши всякий этикет. Камеристки подняли принцессу с полу и положили ее на постель, прислуга побежала за лейб-медиком. Князь, увидев на столе разную военную амуницию, тотчас понял, в чем дело, и с гневно сверкающим взором сказал принцу, продолжавшему громко плакать:

-- Вот видишь, Игнац, к чему приводят твои глупые проделки! Вели положить себе мази на ожог и не смей реветь, как уличный мальчишка! Выпороть бы тебя розгами но...

Князь умолк, губы его дрогнули, затем, испустив несколько нечленораздельных звуков, он с важностью вышел из комнаты. Глубокий ужас охватил всю прислугу: лишь в третий раз в жизни князь говорил принцу "ты", "Игнац", и каждый раз при этом он выказывал дикий, неукротимый гнев.

Когда лейб-медик объяснил, что наступил кризис и можно надеяться на полное и скорое выздоровление принцессы, княгиня весьма хладнокровно сказала:

-- Dieu soit loue! [*Хвала Господу!* -- *фр.*] Сообщите мне дальнейшие новости.

После сего она заключила принца в свои объятия, утешила его самыми нежными словами и последовала за князем.

В это самое время в замок приехала Бенцон с Юлией с целью посетить несчастную Гедвигу. Услыхав о происшедшем, обе поспешили в комнату больной. Советница опустилась на колени около постели, взяла принцессу за руку и стала смотреть ей в глаза. Юлия начала горько рыдать, думая, что ее нежная подруга умирает. Вдруг Гедвига глубоко вздохнула и проговорила глухим, еле слышным голосом:

-- Он умер?

Принц Игнац, несмотря на свою боль, перестал плакать и воскликнул с радостным хихиканьем по поводу удавшейся экзекуции:

-- Да, да, умер, убит наповал, прямо в сердце!

-- Я это знала... -- сказала принцесса, закрывая глаза. -- Я видела каплю крови, вылившуюся из его сердца. Она упала ко мне в грудь, я оцепенела, как холодный кристалл, и только эта капля жила в моем трупe.

-- Гедвига, -- начала советница нежным голосом, -- Гедвига, стряхните с себя чары злого сна! Гедвига, вы узнаете меня?

Принцесса сделала легкий знак рукой, как бы желая сказать, чтобы ее оставили одну.

-- Гедвига, -- продолжала советница, -- Юлия здесь!

Лицо Гедвиги озарилось бледной улыбкой. Юлия наклонилась и тихонько поцеловала ее в безжизненные губы.

-- Теперь все прошло, -- прошептала Гедвига чуть слышно, -- я чувствую, что через несколько минут совершенно поправлюсь.

Никто еще не позаботился принять какие-либо меры относительно маленького государственного изменника: с растерзанной грудью он лежал на столе. Только теперь Юлия увидела его и тотчас догадалась, что принц Игнац опять забавлялся таким отвратительным для нее способом. Вся вспыхнув, она воскликнула:

-- Принц, как вам не стыдно? Что сделала вам бедная птичка? За что вы ее убили? Это глупая, гадкая игра! Вы давно обещались мне никогда больше так не играть, что же вы не держите свое слово? Если вы хоть раз еще сделаете такую вещь, никогда не буду расставлять ваших чашек, никогда не буду вам рассказывать историю морского царя!

-- Не сердитесь, фрейлейн Юлия, -- простонал принц, -- ради бога не сердитесь! Эта шельма наделала много разных штук, она тайком отрезала фалды у всех моих солдат и, кроме того, затеяла бунт... Ах как больно, ах как больно!..

Советница посмотрела на принца и Юлию, и на лице ее показалась какая-то странная улыбка. Потом, обращаясь к Игнац, она воскликнула:

-- Чего вы так кричите! Ведь вы чуть-чуть обожгли себе пальцы! Однако, действительно, этот доктор никогда не может приготовить вовремя мазь. Да, впрочем, и без мази все пройдет: нужно приложить к ожогу сырой картофель.

Бензон пошла было из комнаты, но тотчас же, точно вспомнив что-то, вернулась назад и, обняв Юлию, сказала:

-- Милое дитя мое, ты всегда будешь на своем месте; бойся только сумасшедших эксцентричных глупцов, в их оболстительных речах постоянно кроется что-нибудь дурное.

С этими словами она вышла из комнаты, еще раз взглянув на принцессу, которая, по-видимому, задремала.

Вошел врач, неся в руках огромный пластырь и рассыпаясь в уверениях, что уже давно ожидал светлейшего принца в его комнатах, что никак он не мог надеяться найти его здесь, в этой спальне...

Тут врач приблизился к принцу со своим пластырем, но в то же время одна из камеристок, принесшая несколько крупных картофелин на серебряном блюде, заступила доктору дорогу и начала говорить, что лучшее средство против всяких ожогов -- это сырой тертый картофель.

-- Я сама натру его для вас и приготовлю вам пластырь, -- проговорила Юлия, беря блюдечко из рук камеристки.

-- Ваша светлость, -- воскликнул испуганный врач, -- подумайте! Домашнее средство против ожога пальцев такой высокой особы! Искусство, только одно искусство может помочь в данном случае!

Он снова ринулся было к принцу, но тот отпрянул от него с возгласом:

-- Прочь, прочь! Пусть фрейлейн Юлия приготовит мне пластырь! Искусство может убираться вон!

Искусство откланялось и удалилось, унося свои препараты и бросая злобные взгляды на камеристок.

Дыхание принцессы все более и более учащалось, Юлия с удивлением...

(М. прод.) ...уснуть. Я перекатывался на своей постели с боку на бок, принимая самые разнообразные позы: то вытягивался во всю длину, то свертывался клубком, то клал голову на лапки, красиво изгибая свой хвост и закрывая им глаза, то поворачивался на бок, вытягивал лапы, как палки, и свешивал хвост с постели, придавая ему позу безжизненного равнодушия. Все, все напрасно! Видения мои становились все фантастичнее и фантастичнее; наконец, я впал в особое состояние бреда, которое нужно назвать не сном, а скорее борьбой между сном и бодрствованием, как справедливо утверждают Мориц, Давидсон, Нудов, Тидеман, Вингальт, Рейль, Шуберт, Клюге -- словом, все физиологи, которые писали о сне и которых я не читал.

Солнце уже ярко светило в комнату мастера, когда ко мне возвратилось сознание и я вполне пробудился от бреда, очнулся от борьбы между сном и бодрствованием. Но каково же было мое пробуждение! О, юноша-кот, читающий эти строки, навостри хорошенько уши и будь весь -- внимание, дабы от тебя не ускользнула мораль события! Прими к сердцу все, что ты узнаешь о моем состоянии, несказанную безутешность которого я могу пред тобой изобразить лишь слабыми красками! Повторяю тебе, прими слова мои к сердцу и будь осторожен, когда в первый раз тебе придется пить кац-пунш в обществе буршей! Лакомься им осторожно, а если другие

будут протестовать, сошлись на мой опыт! Да будет кот Мурр твоим авторитетом. Надеюсь, что каждый признает его!

Итак, прежде всего касательно физического моего состояния: должен признаться, что не только я чувствовал себя весьма вяло, но, кроме того, меня терзала какая-то странная меланхолия; причиной того было дурное состояние моего желудка, который не мог делать свое привычное дело, а только наполнялся бесполезным урчаньем; в этом болезненном процессе принимала участие и вся нервная узловая система, мучительно сотрясавшаяся от физического хотения, соединенного с бессильной немощью. О, ужасная, несказанная пытка!

Но, пожалуй, еще более мучений причиняло мне мое психическое состояние. Я не мог отнестись с порицанием ко вчерашним событиям, а между тем мной овладело смутное раскаяние, соединенное с малопонятным презрением ко всем благам земным, с чувством равнодушия по отношению ко всем великим дарам природы, как то: мудрость, рассудок, остроумие и прочее. Величайшие философы, талантливейшие поэты представлялись мне пошлыми куклами, шутами, и -- что всего хуже -- я простер свое презрение даже на собственную личность, мне показалось, что я -- не больше, как самый обыкновенный, жалкий кот-мышатник. Нет сознания более уничижительного. Я повергся в безутешную скорбь, мне казалось, что я попал в великую беду, вся наша земля представлялась мне юдолью плача. Зажмурив глаза, я горько заплакал!

-- Ты подгулял, Мурр, и у тебя сквернейшее расположение духа! Да, да, обычная штука! Эх, братец, выспись-ка хорошенько: все как рукой снимет!

Так говорил мне мейстер, когда, не прикасаясь к завтраку, я испустил несколько жалобных звуков.

О, мейстер! Он и не знал о причине моих страданий! Он и не подозревал, как буршество в соединении с кац-пуншем действует на сердце чувствительное!

Должно быть, наступал уже полдень, а я все еще не решался покинуть постель. Вдруг передо мной предстал друг мой Муций -- как только он хитрился проникнуть ко мне, не понимаю. Я стал ему жаловаться на свое невыносимое состояние, но, вместо того чтобы пожалеть и утешить меня, как я рассчитывал, он разразился оглушительным хохотом и воскликнул:

-- Хо-хо, брат Мурр, это все пустяки, ты вовсе не болен, это только кризис, необходимый при переходе от пошлого, мальчишеского филистерства к состоянию зрелого буршества. Ты еще не привык к банкетам! Но, сделай милость, не говори ни слова мейстеру о своих страданиях! Наша порода и без того уже приобрела дурную репутацию, благодаря такой мнимой болезни; злоязычный человек дал этому недомоганию имя, порочащее честь нашего рода, не хочу его повторять. Однако соберись с силами и встань. Пойдем со мной! Свежий воздух подействует на тебя благотворно. Кроме того, тебе нужно первым делом опохмелиться. Ступай же, ты по опыту узнаешь, что это за штука.

Друг Муций пользовался неограниченной властью надо мной, с тех пор как извлек меня из сферы филистерства: я должен был исполнить его

желание. С трудом поднявшись на ноги, я потянулся, насколько позволяли мне мои ослабевшие члены, и последовал за верным другом на крышу. Мы прошлись несколько раз взад и вперед, и действительно я почувствовал себя лучше. Затем Муций отвел меня за дымовую трубу, и там я должен был, несмотря на протесты со своей стороны, выпить две-три рюмки чистого селедочного рассола. Это-то и было опохмеление, о котором говорил мне Муций. Волшебное и чудно было влияние этого сильнодействующего средства! Могу ли я все описать? Утихли ненормальные боли в желудке, умолкло урчание, успокоилась ганглиозная система, снова я понял все прелести жизни, понял, что значит наука, мудрость, рассудок, остроумие. Снова я сделался самим собой, превратился опять в великолепного, превосходного кота Мурра.

О, природа, природа! Что же это значит, что два-три лишних глотка, выпитые легкомысленным котом в состоянии игровой необузданности, могут вызвать бунт против тебя, могут возмутить все против твоего зиждительного гения? Не говоришь ли ты ясно этому коту, что земной мир со всеми своими радостями -- каковы жареная рыба, цыплячьи косточки, размазня и прочее, -- есть наилучший из миров, а сам он, кот, -- лучшее создание, ибо все земные радости сотворены только для него?

Однако не следует упускать из внимания одного обстоятельства: кот, философически настроенный, должен сознавать глубоко и интенсивно, что упомянутое страдание есть только противовес, обуславливающий благодетельную реакцию, которая вполне необходима для развития бытия; следственно, страдание сие неизбежно проистекает из самого принципа вечного мироздания. Опохмеляйтесь же, о юноши котовской породы, и старайтесь обрести утешение в этом философически-эмпирическом тезисе, выработанном вашим ученым, глубокомысленным собратом!

Не могу не сообщить, что вслед за всем вышеизложенным, я в течение некоторого времени предавался веселому образу жизни, разгуливая по окрестным крышам в обществе Муция и других честнейших бравых буршей -- белых, желтых и пестрых.

За сим приступаю к рассказу о происшествии, имевшем весьма важные для меня последствия.

Однажды в прекрасную лунную ночь, когда я с приятелем Муцием направлялся к знакомым буршам на пирушку, со мной повстречался тот самый черно-серо-желтый изменник, низости которого я обязан утратой моей милой Мисмис. Кажется, я несколько оторопел при виде ненавистного соперника, которому я некогда должен был уступить позорнейшим образом. Во всяком случае верно то, что он прошел совсем рядом со мной, не кланяясь и даже, как почудилось мне, улыбаясь насмешливо, как бы сознавая свое превосходство. Вспомнил я об утраченной Мисмис, об оскорбительных побоях, и кровь закипела в моих жилах. Муций заметил мое взволнованное состояние. Когда я сообщил ему свои наблюдения, он согласился со мной и сказал:

-- Да, да, это, брат, верно. Он состроил ужасную харю, когда шел мимо тебя, я думаю, что он просто хотел тебя тушировать. Впрочем, мы скоро

разузнаем это дело в точности. Если я не ошибаюсь, пестроцветный филистер завязал здесь поблизости новую интрижку: каждый вечер он шляется по этой крыше. Подождем немного, быть может, мсье донжуан отправится скоро назад, тогда все выяснится.

И действительно, немного погодя пестрый негодяй показался опять, нагло выступая и еще издали смеривая меня презрительным взглядом. Гордо и бестрепетно устремился я ему навстречу; мы прошли друг мимо друга так близко, что хвосты наши ударились весьма нелюбезно. Я тотчас же остановился и, обернувшись, проговорил твердым голосом: "Мяу!" Он точно также остановился и, обернувшись с наглостью, заявил: "Мяу!" После этого мы разошлись.

-- Несомненный туш, -- гневно воскликнул Муций, -- завтра же вызываю этого пестрого негодяя.

На другое утро Муций отправился к нему и спросил от моего имени, коснулся ли он моего хвоста. Тот велел мне ответить, что он коснулся моего хвоста! Затем я: "Если он коснулся моего хвоста, должен ли я принять это за туш". Затем он: "Пусть принимает за что хочет". Затем я: "Принимаю за туш". Затем он: "Да он и не знает, что такое туш". Затем я: "Отлично знаю, лучше даже, чем он". Затем он: "Очень мне нужно тушировать такого ничтожного человека". Затем я: "Все-таки принимаю это за туш". Затем он: "Мурр -- глупый мальчишка". Затем я, чтобы превзойти его: "Если я глупый мальчишка, тогда ты -- подлый шпиц!" За сим последовал решительный вызов.

(Примечание издателя. О, Мурр! Любезный кот мой! Или понятие о чести не изменилось со времени Шекспира, или ты повинен в писательской лжи, т. е. в такой лжи, которая должна придать твоему рассказу больше блеска и живости. Прелиминарии твоего дуэлиста, пестроцветного пенсионера, не являются ли настоящей пародией на отраженную семь раз ложь Пробштейна в комедии "Как вам будет угодно?". В этих прелиминариях мы видим все ступени постепенного перехода от вежливого вопроса к учтивой колкости, от грубого возражения к смелому отрицанию, кончая даже наглым противоречием. Мурр! Славный кот мой! Рецензенты обрушатся на тебя, но, по крайней мере, ты доказал, что читал Шекспира не без толку, а это извиняет многое.)

Откровенно говоря, я несколько смутился, когда получил серьезный вызов на царапанье. Я вспомнил, как жестоко обошелся со мной пестрый изменник, когда, обуянный ревнивым пылом, я напал на него. При чтении кровожадной записки я невольно побледнел. Муций, должно быть, заметил мое волнение.

-- Ну, брат Мурр, -- сказал он, -- ты, кажется, немножко струхнул перед первой дуэлью?

Я не постеснялся открыть душу дорогому другу и сообщил ему о причинах своей тревоги.

-- Эх, братец! -- сказал Муций. -- Ты совсем забыл, что в те времена, когда наглец оттузил тебя, ты еще был молокосос, мальчишка, между тем как теперь ты настоящий, бравый бурш. Кроме того, тогдашнюю твою борьбу

с пестрым мерзавцем отнюдь нельзя назвать не только дуэлью, состоявшейся по всем правилам искусства, но и обыкновенным поединком. Это, братец, была просто-напросто филистерская потасовка, совершенно неприличная для серьезного кац-бурша. Заметь, Мурр: ничтожные люди, столь завистливые по отношению к нашим дарованиям, упрекают нас в позорной склонности к подлым, неприличным дракам и презрительно называют свои собственные драки -- кошачьими. Уже по этому одному всякий добропорядочный, благовоспитанный кот всегда будет избегать поединков дурного тона. Итак, приятель, оставь все свои страхи и опасения, будь тверд и сохрани в душе гордое убеждение, что во время правильной дуэли ты отомстишь ему за все несправедливости, сумеешь исцарапать этого пестрого глупца так основательно, что он позабудет надолго свои любовные интрижки и пошное фатовство. Однако позволь! Мне думается, что именно после всего происшедшего между вами поединок на царапанье будет недостаточным, нужно придумать что-нибудь более решительное -- ну, там, кусанье, что ли. Надо поговорить об этом с буршами!

На ближайшем собрании буршей Муций изложил в превосходной речи инцидент, происшедший между мной и пестрым котом. Все единогласно одобрили мнение оратора, после чего я через Муция известил пестреца, что принимаю его вызов, но лишь на том условии, чтобы поединок происходил на кусанье в виду исключительности тяжкого оскорбления, мне нанесенного. Тот стал было отнекиваться, ссылаясь на тупость своих зубов, но, в конце концов, должен был принять мое условие, ибо Муций твердо и серьезно заявил ему, что здесь дело идет о решительном поединке, и что, если он откажется, тогда он, пестрец, будет не кто иной, как подлый шпиц.

Настала ночь дуэли. В урочный час я вместе с Муцием появился на крыше дома, находившегося на границе нашего округа. Вскоре пришел и мой противник в сопровождении статного кота: этот последний был, пожалуй, еще пестрее и обладал еще более дерзкой, вызывающей физиономией. Как мы могли догадаться, статный кот был секундантом моего противника: с этим закадычным своим другом он совершил вместе несколько походов и участвовал в завоевании амбара, за что и получил орден подпаленной ветчины. Кроме того, благодаря предусмотрительности Муция, о чем я узнал впоследствии, при дуэли была приглашена присутствовать маленькая светло-серая кошка, имевшая превосходные познания по хирургии и искусно залечивавшая самые опасные раны в короткий период времени. Было условлено, что дуэль будет состоять из трех прыжков. Если после третьего прыжка не произойдет ничего решительного, секунданты условятся, нужно ли продолжать новые прыжки или считать дело поконченным. Секунданты отмерили известное количество шагов, и мы сели друг против друга в должной позитуре. Сообразно с обычными правилами дуэли, наши секунданты испустили оглушительный вопль, и мы прыгнули друг на друга.

Только что я хотел схватить моего противника, как он вцепился в мое правое ухо и пребольно укусил его. Я не мог удержаться и против воли громко закричал.

-- Разойдитесь! -- воскликнул Муций.

Пестрый выпустил меня, и мы стали на свои места.

Новый визг секундантов, новый прыжок. Я думал, что теперь-то мне удастся хорошенько схватить моего противника. Но коварный присел и укусил меня в левую лапу так сильно, что кровь полилась крупными каплями.

-- Разойдитесь! -- воскликнул вторично Муций.

-- Собственно говоря, -- обратился ко мне вражеский секундант, -- дело можно считать порешенным, так как благодаря серьезной ране вы, любезнейший, поставлены, так сказать, hors de combats [*Вне битв -- фр.*].

Гнев и глубокая обида заглушили во мне всякое чувство боли. Я возразил, что третий прыжок покажет, насколько я лишен возможности бороться.

-- Ну, что ж, -- сказал он с насмешливой улыбкой, -- если вы непременно хотите пасть от лапы вашего мощного, искусного противника, пусть исполнится ваше желание.

Муций между тем воскликнул, ободрительно похлопывая меня по плечу:

-- Смелей, смелей, братец! Истинный бурш не обращает внимания на такие пустяки.

В третий раз взвизгнули секунданты, мы совершили третий прыжок. Несмотря на овладевшее мною бешенство, я заметил, в чем состояла хитрость моего противника: он каждый раз несколько уклонялся в сторону, благодаря чему я давал промах, а он хватал меня наверняка. На этот раз я поостерегся, уклонился также в сторону, и, когда противник хотел схватить меня, я вцепился ему в шею с такой силой, что он не мог даже крикнуть, а только глухо застонал.

Теперь уже не Муций, а секундант противной стороны воскликнул: "Разойдитесь!"

Я тотчас отпрыгнул назад, а пестрей повалился наземь без чувств, кровь сильной струей хлынула из его глубокой раны. Светло-серая кошка поспешила на помощь, чтобы остановить хотя несколько кровотечение, пока будет наложена повязка. Она воспользовалась неким домашним средством, имевшимся всегда в ее распоряжении, как уверял меня потом Муций. Именно, она полила на рану некоторую жидкость, обрызгав ею также и все тело обеспамятевшего кота. Судя по резкому, острому запаху, жидкость эта представляла из себя сильнодействующее средство. Впрочем, это была не теденовская примочка и не Eau de Cologne [*Одеколон -- фр.*].

Муций заключил меня в пламенные объятия.

-- Ну, брат Мурр, -- воскликнул он, -- ты защитил свою честь, ты поступил, как истинный кот, сердце которого находится в надлежащем месте. Знаешь, Мурр, ты сделаешься со временем главой буршей, не потерпишь ни малейшего пятна на нашей репутации, всегда будешь готов мужественно защищать нашу котовскую честь.

Секундант противника, до этой минуты помогавший хирургическим заботам светло-серой кошки, подошел ко мне и с вызывающим видом заявил, что третий прыжок я совершил не по правилам дуэли. Друг Муций немедленно стал в позытуру, сверкнул глазами и, выпустив когти, ответил, что всякий, кто осмелится сказать подобную вещь, будет иметь дело с ним лично, и что этот вопрос может быть теперь же решен практически. Секундант счел за лучшее умолкнуть, взвалил к себе на спину раненого друга, который начал понемногу приходить в сознание, и удалился с ним через слуховое окно.

Пепельноцветный хирург спросил меня, не хочу ли также и я испробовать на себе надежное домашнее средство. Но как ни болели у меня лапа и ухо, я отклонил предложение и отправился домой с радостным сознанием одержанной победы и с чувством удовлетворенной мести.

Для тебя, о, читатель, юноша-кот, описал я так добросовестно-подробно историю моего первого поединка. Достопримечательная эта история, во-первых, даст тебе истинное понятие о чести; во-вторых, наделит тебя многими практически-полезными сведениями; так, например, ты не можешь не видеть, что храбрость и мужество -- ничто в сравнении с хитростью; следственно, изучение и полное проникновение в тайны хитрости безусловно необходимо тому, кто хочет твердо стоять на ногах и не быть сбитым с собственной позиции. "Chi no se ajuta, se nega" [Кто себе не помогает, тот себе вредит -- ит.], говорит Бригелла в "Счастливом нищем" Гоцци, и это вполне справедливо. Пойми же меня, о, юноша-кот, и не гнушайся хитростью: в ней, как и в золотом руднике, скрыто сокровище истинной житейской мудрости.

Спустившись с крыши, я нашел дверь к мейстеру запертой. Пришлось расположиться на соломенном коврике, лежавшем перед нею. Сильное кровотечение истощило меня, и я на некоторое время лишился чувств. Мне почудилось, что кто-то тихонько несет меня. Это был мой добрый мейстер: вероятно, в беспамятстве, я, сам не зная, громко взвизгнул, он нашел меня и увидел мои раны.

-- Бедный Мурр, -- воскликнул он, -- что они, однако, с тобой сделали! Здоровые укусы! Ну, да и ты, верно, дал им хорошую потасовку!

"О, мейстер! -- подумал я. -- Если б ты знал!"

Снова воспрянул я духом при мысли об одержанной победе и о славе, увенчавшей меня. С помощью доброго мейстера я улегся на свою постель, после чего он вынул из шкафа маленькую баночку с мазью, приготовил пластырь и положил мне эти целебные тряпочки на ухо и на лапу. Я перенес всю операцию спокойно и терпеливо, испустив только тихое, еле слышное "Мррр!", когда первая повязка причинила мне некоторую боль.

-- Славный кот Мурр, -- проговорил мейстер, -- ты исполнен мудрости. Добрые намерения твоего господина вполне понятны тебе, ты в этом отношении совершенно не сходишься с другими сердитыми ворчунами твоей породы. Лежи теперь спокойно до поры до времени; когда же нужно будет снять повязку и зализать поджившую рану, ты сам сумеешь все это

сделать. Что касается больного уха, тут уж, брат, ты и сам ничего не поделаешь. Потерпи немного и носи пластырь.

Я обещал мейстеру исполнить его советы и в знак благодарности и довольства протянул ему свою здоровую лапу, которую он потряс с обычной ласковостью, совсем не сжимая ее и не сдавливая. Мейстер умел хорошо держать себя, обращаясь с образованными котами.

Пластырь не замедлил оказать на меня свое благодетельное действие, и я был весьма рад, что отказался от фатального домашнего средства, предложенного мне светло-серым маленьким хирургом. Муций, навестив меня, нашел, что я имею здоровый, веселый вид. Вскоре я оправился настолько, что мог пойти с ним на товарищескую пирушку. Можете себе представить, какое неописанное ликование возбудил мой приход! Я стал вдвойне мил всем и каждому.

С той поры я вполне наслаждался шумной жизнью веселого бурша. В вихре увеселений я и не заметил даже, как выпали лучшие волосы моего меха, как шерсть моя утратила свой блеск. Но разве есть здесь, на земле, прочное счастье? Разве за каждой утехой не скрывается...

(Мак. л.) ...виднелся высокий, крутой холм, который в стране плоской и низменной мог бы, пожалуй, сойти за гору. Широкая, удобная дорога лежала среди кустов, осенявших ее своим благоуханием; ведя вверх, она вся была усеяна, то там, то сям, каменными скамьями и беседками, обнаруживавшими гостеприимную заботливость по отношению к странствующим пилигримам. Только дойдя до вершины холма, можно было видеть все величие и великолепие здания, казавшегося издали обыкновенной церковью, затерявшейся в уединении. В камне над дверью были высечены гербы, епископская шапка, посох и крест, знаки, указывавшие, что здесь была когда-то резиденция епископа. Надпись "Benedictus, qui venit in nomine Domini" [*Благословен грядый во имя Господне -- лат.*], гостеприимно приглашала в обитель набожных посетителей. Но всякий, войдя в эту дверь, невольно останавливался с изумлением: посредине двора в качестве главного здания возвышалась великолепная церковь с прекрасным фасадом, в стиле Палладио, с двумя высокими, полувоздушными колокольнями и с флигелями по обеим сторонам. В главном здании, кроме церкви, находились еще комнаты аббата; боковые же здания заключали в себе помещения для монахов, трапезную, другие залы для собраний, а также комнаты для приема посетителей. Невдалеке от монастыря были расположены хозяйственные строения, мыза, дом управляющего. Ниже, в долине, лежало живописное селение Канцгейм, раскинувшееся вокруг холма в виде пестрого, роскошного венка.

До подошвы далеких гор простиралась эта долина. По лугам, покрытым сетью блестящих, зеркальных ручьев, паслись бесчисленные стада; весело шли крестьяне из деревень, разбросанных там и сям между богатыми нивами; из душистых кустов раздавалось звучное пение ликующих птиц; пленительно грустные звуки рогов порой доносились из лиственной чащи далекого, темного леса; светлые воды широкой реки прорезали долину, и

скользили по ним тяжелые лодки, паруса, развеваясь, сияли, и с быстро плывущих судов раздавались веселые возгласы. Везде роскошный избыток даров благодетельной, щедрой природы, везде живая, кипучая жизнь. Кто смотрел с холма, из окон аббатства, на этот смеющийся ландшафт, тот невольно чувствовал, как грудь его вздымается от сознания полноты внутреннего довольства.

Однако несмотря на благородную величественность грациозных контуров здания, внутренние украшения церкви отличались чисто монашеским безвкусием, обилием пестрой, позолоченной резьбы и мелкой живописи, которая производила впечатление чего-то обременительного. Тем больше зато взор поражался строгим стилем отделки, украшавшей комнаты аббата. К церковным хорам примыкала непосредственно обширная зала, служившая одновременно местом собраний для духовных лиц и помещением для инструментов и музыкальных нот. Зала эта соединялась с комнатами аббата длинным коридором, в виде ионической колоннады. Шелковая обивка стен, избранные картины лучших мастеров самых разнообразных школ, бюсты и статуи великих мужей церкви, ковры, нарядные полы живописной кладки, дорогая утварь -- все указывало на изобилие и богатство монастыря.

Но это богатство не имело ничего общего с такой пышностью, которая ослепляет глаз, не радуя его, поражает чувства, внушая лишь удивление, но не возбуждая ощущения внутреннего довольства. Каждая вещь была на своем месте, ничто не вырисовывалось с назойливой хвастливостью. Ни одна из отдельных частей не заставляла остановиться на себе с особенным, исключительным вниманием, между тем как все в целом производило чарующее впечатление. Причиной этого была полная гармоничность обстановки -- именно такое чувство гармонического соответствия и можно назвать хорошим вкусом. Уютность покоев аббата граничила с роскошью, не будучи, однако, роскошной: таким образом, никто не мог быть шокирован тем, что все это принадлежит духовной особе и устроено исключительно для нее. Поселившись в Канцгейме несколько лет тому назад, аббат Хризостом сам устроил здесь все по своему вкусу, и весь характер его высказался в этой обстановке: прежде чем его узнали лично, он уже зарекомендовал себя, как человека высокообразованного. Ему еще не было сорока лет. Стройный, высокий, он своими манерами, мягкими и полными достоинства, своим прекрасным лицом, мужественным и вдумчивым, производил на всех впечатление, вполне соответствующее его сану. Пылкий ревнитель церкви, неустанный защитник прав своего ордена, прав своего монастыря, он, однако, казался уступчивым и терпеливым. Но именно эта кажущаяся уступчивость была в его руках сильным оружием, побеждавшим всех. Если за учтивыми, безыскусственными словами, как бы идущими из глубины сердца, чувствовалась монашеская хитрость, все же в его поведении видели только умелость выдающегося церковного деятеля, глубоко проникшего во все тайны церковной жизни. Аббат был воспитанником Рима. Не будучи сам расположен отказывать себе в тех удобствах, которые не противоречили требованиям его сана, он и всем

своим подчиненным предоставлял полную свободу, в границах соответствия с положением монаха. Одни, склонные к изучениям, занимались в уединенных кельях излюбленными науками, другие весело бродили в монастырском парке, отдаваясь шумным беседам. Лица, склонные к религиозной мечтательности, проводили все время в молитве и посте, другие не отказывали себе ни в каких лакомствах и ограничивали свои религиозные требы лишь исполнением правил ордена. Одни никогда не выходили из монастыря, другие отправлялись в дальние странствования, а иногда переменяли длинную монашескую одежду на короткую охотничью куртку и весело бродили по лесам. Но, несмотря на различие вкусов и мнений, которое разделяло монахов, все они сходились в одном: каждый из них с энтузиазмом любил музыку. Почти все они были прекрасные музыканты, а некоторые являлись даже виртуозами, способными сделать честь любой княжеской капелле. Богатое собрание музыкальных нот, выбор превосходнейших инструментов, частые исполнения избранных произведений, все это давало обитателям монастыря возможность заниматься музыкой практически и с большой тщательностью.

Когда теперь в монастыре появился Крейслер, музыкальным увлечениям был дан новый толчок. Ученые анахореты бросили свои книги, набожные мистики сократили часы молитв; как вокруг центра, монахи собирались около Крейсlera, которого все они полюбили с первых дней. Сам аббат относился к нему с чувством сердечного расположения и старался, как и все другие, выказать ему свою любовь и уважение. Обстоятельства как бы соединились для того, чтобы успокоить взволнованную, всегда беспокойную душу Крейсlera: местность, в которой было расположено аббатство, могла назваться чисто райскою, монастырская жизнь предоставляла все удобства, начиная с успокоительной веселости аббата и монахов и кончая вкусным столом и благородными винами, о чем неукоснительно заботился патер Гилариус, наконец, постоянные занятия музыкой были истинным лекарством для человека, который видел в искусстве родную стихию. Крейслер притих, как ребенок. Даже неизменный спутник его, гневный юмор,, покинул своего обладателя. Но, главное, он уверовал в себя, он избавился от всех призраков, мучивших его больную душу.

В одном месте о капельмейстере Иоганне Крейслере сказано, что его друзья никогда не могли убедить упряма заносить свои композиции на бумагу; если же это иногда и случалось, он, порадовавшись сперва на свое произведение, тотчас же бросал его в печь. Должно быть, такие вещи происходили в то самое злосчастное время, которое предвещало бедному Иоганну неизбежную гибель и о котором пишущий эти строки биограф до сих пор не мог узнать ничего достоверного. Но теперь, во время пребывания в монастыре, Крейслеру жалко было уничтожать произведения, выливающиеся из глубины его души: в них сказалось сладостно-грустное настроение, резко отличавшееся от тех ощущений,

которые он раньше вкладывал в музыку, -- от нестройных ощущений страха, глубокого ужаса, томительных мук безнадежной тоски.

Однажды вечером, после окончательной репетиции торжественной обедни, которая была назначена на следующее утро, монахи удалились в кельи, и Крейслер, оставшись совершенно один среди высоких колоннад, устремил свой взор на пейзаж, расстилавшийся перед ним в последних лучах заходящего солнца. Ему чудилось, что еще носятся где-то вдали звуки мелодий, только что исполненных им перед толпой монахов. Когда снова прозвучал в душе его *Agnus Dei* [*Агнец Божий* -- лат.], им овладела неизъяснимая нега: он вспомнил о тех мгновениях, в которые создавал этот гимн. Из глаз его брызнули слезы.

-- Нет, -- воскликнул он, -- это не я! Это ты, только ты! Единственная моя дума, единственное мое стремление!

Этот религиозный гимн, в котором и аббат, и все монахи нашли выражение самой небесной любви, самой горячей молитвы, вылился из души Крейслера необычайным, удивительным образом. Раз, когда он всецело был занят мыслями о задуманной им, но еще не вполне созданной торжественной обедне, в тишине ночи ему приснилось, что настал торжественный день: вот уже кончился и благовест, аббат, сам исправляя службу, начал читать свое *Kyrie* [*Господи, помилуй* (греч.)], Крейслер стоит перед пюпитром, на котором виднеется готовая партитура... Мощная, звучная музыка льется, захватывает душу. Наступил момент, когда нужно петь гимн *Agnus Dei*... Тут Крейслер с ужасом видит, что в партитуре -- белые листы, там дальше не записано ни одной ноты... Опускается бессильно его капельмейстерская палочка, монахи смотрят и ждут, когда же кончится замешательство, но свинцовая тяжесть налегла ему на грудь, и он не в силах стряхнуть ее, не в силах занести в партитуру гимн *Agnus Dei*, мощно звучащий в его душе... Вдруг около пюпитра вырастает фигура ангела и начинает петь небесным голосом *Agnus Dei*. Это Юлия!..

В состоянии самого сильного, высокого вдохновения Крейслер проснулся и немедленно записал гимн в том виде, как он звучал ему в блаженном сне. Снова переживал теперь Крейслер свой сон, снова слышался ему голос Юлии, звучней и звучней проносились, вздымаясь, волны чудесного пения, когда же в душе его вновь прозвучал примирительный гимн *Dona nobis pacem* [*Даруй нам мир* -- лат.], он весь погрузился в какое-то нежное море святых небесных восторгов.

Кто-то слегка потрепал Крейслера по плечу -- он очнулся от состояния экстаза. Перед ним стоял аббат, улыбаясь довольной улыбкой.

-- Иоганн, сын мой, -- начал аббат, -- не правда ли, ведь то, что вылилось из твоего сердца так мощно, так чудно, охватывает теперь всю твою душу сладостным восторгом? Я хотел сказать, что ты, вероятно, думал сейчас о своей обедне, -- это лучшее из произведений, которые ты когда-либо написал!

Крейслер безмолвно смотрел на аббата, не будучи в силах сказать хоть слово.

-- Ну, ну, -- продолжал аббат с улыбкой, -- будет, опустишь с заоблачных высот, куда воспарил твой дух. Мне кажется, ты опять что-то сочинишь в уме, не хочешь отдохнуть от работы; правда, это для тебя даже не работа, а наслаждение, но наслаждение опасное, -- оно может вконец истощить твои силы. Стряхни с себя на время всякие творческие мечты, встанем и походим по этим прохладным галереям, поговорим о чем-нибудь беззаботно.

Аббат начал рассуждать об учреждениях ордена, о монастырской жизни, о веселой приветливости, отличающей всю монашескую братию, и, в конце концов, сказал капельмейстеру, что, по-видимому, он, Крейслер, стал гораздо спокойнее и уравновешеннее с тех пор, как поселился в монастыре, стал с большим рвением заниматься высоким искусством, прославляющим служение церкви.

Крейслер не мог не согласиться с аббатом, заявив, что, действительно, он нашел в монастыре тихую пристань и в глубине души считает себя членом ордена и рассчитывает никогда не покидать его гостеприимную обитель.

-- Досточтимый отец, -- сказал он, -- не лишайте меня моей мечты. Дайте мне верить, что я выброшен губительной бурей на остров, где мне улыбается судьба, где я нахожусь в тайном убежище, где ничто не грозит смутить мой чарующий сон, в котором свершилось слияние души со святым, вдохновенным искусством.

-- Правда, -- ответил аббат, в то время, как все лицо его озарилось выражением дружеской приветливости, -- правда, сын мой Иоганн, платье, которое ты надел с тем, чтобы походить на нас, чрезвычайно идет к тебе, и я очень бы хотел, чтоб ты никогда не снимал его. Ты -- достойнейший из всех бенедиктинцев, когда-либо существовавших!

Аббат помолчал немного и потом опять продолжал, взяв Крейслера за руку:

-- Шутки в сторону. Вы знаете, Иоганн, как полюбил я вас, с тех пор как узнал. Вы знаете, что дружеское мое расположение к вам, соединенное с преклонением перед вашим превосходным талантом, постоянно возрастало. Если кого-нибудь любишь, всегда заботишься о нем, вот почему, с того дня, как вы сделались гостем нашей обители, я наблюдал за вами с заботливостью, близкой к боязни, и пришел таким путем к убеждению, в котором никто не разуверит меня. Давно я хотел сообщить вам его, раскрыть свою душу... я ждал подходящей минуты -- она пришла! Крейслер! Отрекитесь от света, вступите в наш орден!

Крейслеру очень нравилась жизнь в аббатстве, где он мог беспрепятственно заниматься любимым искусством. Ему очень хотелось продлить свое пребывание в монастыре, среди этой мирной, спокойной обстановки, однако предложение аббата изумило его почти неприятным образом. Никогда он не думал серьезно покинуть свободу и скрыться в толпе монашеской братии, хотя по временам в виде фантазии ему приходила в голову подобная мысль, что, быть может, и не осталось незамеченным со стороны аббата. Исполненный удивления, Крейслер хотел возразить, но аббат продолжал, не дав ему выговорить ни слова:

-- Выслушайте меня спокойно, Крейслер, прежде чем вы мне ответите. Конечно, для церкви всегда приятно приобрести нового хорошего служителя, но она гнушается всяким искусственным уговариванием и обольщением. Она хочет только, чтобы внутренняя искра истинного познания с помощью внешнего воздействия вспыхнула ярким пламенем веры, уничтожая все заблуждения. Поэтому я хочу только прояснить для вас самих то, что скрывается в груди вашей в виде темных смутных образов. Нужно ли говорить с вами, любезный Иоганн, о тех предубеждениях против монастырской жизни, которые так распространены среди светских людей! Думают, что только какая-нибудь ужасная судьба может привести человека в монастырь, где он, лишенный всех наслаждений, ведет жизнь печальную и безутешную. С этой точки зрения монастырь должен представлять из себя мрачную тюрьму, где живет отчаяние с вечной скорбью об утраченном счастье, где бледные призраки, полные мучительных дум и упреков, влачат жалкое существование, выливая свою сердечную тоску в глухих, унылых мольбах!

Крейслер не мог удержаться от улыбки, вспомнив о некоторых упитанных бенедиктинцах, в особенности о краснощеком весельчаке Гилариусе, который страдал только в тех случаях, когда ему приходилось пить плохое вино или когда он не мог сразу разобрать партитуру.

Аббат продолжал свою речь:

-- Вы улыбаетесь при мысли о контрасте между картиной, нарисованной мною, и образом жизни, который отличает здешний монастырь. Вы правы. Случается иногда, что человек, потерявший все радости, истерзанный муками, утративший навеки земное счастье, прибегает к тишине монастырской обители; благо ему тогда, что церковь принимает его в свое лоно, где он обретает душевный мир, вознаграждающий за пережитые невзгоды и возносящий его высоко над мирскою непрочною долей. Это так. Но сколько есть других, кто приходит в монастырь, побуждаемый внутренним влечением к набожной, созерцательной жизни. Им чужд мир со всеми своими отношениями, назойливыми и мелочными. Они чувствуют себя спокойно лишь при условии полного одиночества, добровольно ими выбранного. Но есть и такие люди, которые, не имея решительной склонности к монастырской жизни, все же нигде не могут чувствовать себя так хорошо, как в монастыре. Я разумею людей, которые в мире являются пришельцами, -- все им чуждо там, они душой своей стремятся к высшему бытию и не могут жить спокойно без нравственного соприкосновения с интересами этого высшего бытия; вечно тоскуя, вечно томясь никогда ненасытною жаждой, они бродят в мире, тщетно стремясь найти покой; в их открытую грудь каждый спешит вонзить ядовитые стрелы; для ран, получаемых ими, нет никакого бальзама, они всюду подвержены опасности встретить злобные насмешки врага, который всегда против них наготове. Только уединение, однообразная жизнь, чуждая враждебных посягательств, а главное, вечно-невозмутимое созерцание свободного светлого мира, к которому они принадлежат, -- только это может доставить им душевное равновесие, озарив их сердце неземным

блаженством, которого нельзя достичь никогда в суетном шуме тревожного света. И вы, Иоганн, принадлежите именно к числу таких людей, которых из-под гнета земных тревог вечная сила возносит в небесные сферы. Живое ощущение принадлежности к высшему бытию ставило и должно было вечно ставить вас во враждебные отношения с мирскими интересами. Оно лучезарно проявилось в искусстве, которое принадлежит к иным сферам и живет в вашей душе, как небесная тайна священной любви, соединенной с неустанным порывом, с вечным стремлением. Это искусство является проявлением высшего религиозного благочестия, и, отдавшись ему, вы так же порвали навсегда с пестрой сутолокой мирской суеты, как мальчик, сделавшись юношей, презрительно отбрасывает от себя детские игрушки. Бегите навсегда от гонений нагло хохочущих глупцов, которые нередко мучили вас очень больно, мой бедный Иоганн! Друг простирает к вам свои верные объятия, он хочет принять вас в мирную, тихую пристань, где не страшны угрозы невзгод!

Аббат умолк. Мрачным суровым голосом заговорил теперь Крейслер:

-- Я глубоко чувствую, -- сказал он, -- справедливость ваших слов, досточтимый друг мой. Я не гожусь для жизни в том мире, который всегда представлялся мне таинственным, загадочным недоразумением. И однако же -- признаюсь откровенно: меня приводит в трепет мысль навсегда облечься в эту одежду, поступиться убеждениями, всосанными мною с молоком матери. Страшно заключить себя в тюрьму, откуда потом никогда не будет выхода! Мне чудится, будто тот самый мир, в котором капельмейстер Иоганн Крейслер находил столько душистых цветов, предстанет пред монахом Иоганном в виде обнаженной, негостеприимной пустыни. Мне чудится, что отречение...

-- Отречение? -- прервал аббат Крейслера, возвысив свой голос. -- Ты говоришь, отречение? Разве для тебя, Иоганн, может быть отречение там, где тобой все сильней и сильней будет овладевать дух искусства? Разве ты что-нибудь потеряешь, если на мощных крылах воспаришь к светлой небесной лазури? Какая земная утеха может быть настолько привлекательна, чтобы затуманить твой разум? Однако, -- голос аббата сделался более нежным, -- однако Высшая Сила вложила нам в грудь чувство, потрясающее все наше существо: это таинственная связь духа и тела; дух, стремясь к высшему идеалу невозможного блаженства, приводит только к удовлетворению необходимых требований тела, и таким образом проистекает взаимодействие сил, обуславливающее продолжение человеческого рода. Мне не нужно, конечно, добавлять, что я говорю о физической любви и что полное отречение от нее я считаю далеко не легкой вещью. Но, Иоганн! Если ты отречешься, ты будешь спасен от гибели: никогда, поверь мне, никогда не будешь ты в силах отдаться обманчивой мечте земной любви!

Последние слова аббат произнес таким торжественным, назидательным тоном, как будто бы перед ним лежала раскрытая книга судьбы, и он пророчески предсказывал Крейслеру все грядущие бедствия, для избежания которых необходимо укрыться под сень монастырской обители.

Вдруг физиономия Крейсlera изменилась: все его лицевые мускулы пришли в какое-то странное состояние, всегда предсказывавшее какую-нибудь ироническую выходку с его стороны.

-- Эге! -- воскликнул он. -- Ваше высокопреподобие ошибается, решительно ошибается. Ваше высокопреподобие введено в заблуждение относительно моей персоны, виной этому -- одежда, надетая мной с целью некоторое время побродить среди людей en masque [Под маской -- фр.]. Да разве же я не добропорядочный мужчина, молодых лет и весьма сносной наружности? Разве я не образован, не учтив? Право, я могу немедленно надеть прекрасный черный фрак, а под фраком облечь себя в шелковое белье и смело выступить пред каждой краснощекой профессорской дочкой, пред всякой голубоглазой или черноглазой дочерью советника, могу изобразить превосходнейшего amogoso [Любовника, влюбленного -- ит.] в лице, в манерах, в тоне -- и без дальнейших околичностей сказать: "Прелестнейшая из прелестных, не удостоите ли вы даровать мне вашу руку, равно как вашу драгоценную персону в качестве необходимого атрибута к этой прекрасной руке?" Потупив взор, профессорская дочка немедленно пролепечет: "Поговорите с папенькой!" А дочь советника ответит на мое предложение мечтательным взглядом, удостоверив за сим, что давно уже она заметила тайком ту нежную любовь, о которой я теперь заговорил впервые: туг же кстати она заведет речь о подвенечном платье. А что же сказали бы в таких обстоятельствах почтенные родители? О, Боже, да они были бы бесконечно рады сбыть своих дочерей на руки такой уважаемой особе, как экс-капельмейстер великого герцога. Но я мог бы начать всю эту музыку и в высокоромантическом стиле предложить свою руку и сердце идиллической дочери поселянина в тот самый момент, когда она изготавливает козий сыр, или -- второй Пистофолус -- я мог бы устремиться на мельницу и искать там свою богиню среди таинственных облаков мучной пыли! Кто бы решился отвергнуть честное, верное сердце! Ведь оно ничего не жаждет, ничего не алчет, кроме законного брака -- законного брака! Нет счастья в любви? О, ваше высокопреподобие, вы, вероятно, и не заметили, что я как раз -- человек, созданный для безмерного брачного счастья, будучи переведено на простое определение, оно выражается в следующих словах: "Пожелай меня -- я возьму тебя!" После свадебного *allegro brillante* этот мотив может разыгрываться всю жизнь с разными вариациями. Далее, досточтимый отец, вы не изволите знать, что я уже давно серьезно думал сочетаться узами законного брака. Правда, я был тогда еще молод и неопытен, мне было всего семь лет, но тем не менее избранница моего сердца, тридцатитрехлетняя девица, доподлинно обещала мне не отдавать своей руки никакому другому мужчине, почему дело впоследствии расстроилось, я и сам теперь хорошенько не припомню. Заметьте же, ваше высокопреподобие, счастье любви улыбалось мне с самого детства и теперь... Пусть же дадут мне скорее шелковые чулки, башмаки! Хочу со стремительностью жениха помчаться к той, которая уже давно ждет, уже протянула мне свой милый пальчик, чтобы я его украсил золотым кольцом! О, досточтимый отец, если б с саном бенедиктинского

монаха были совместимы прыжки, подобные скачкам обрадованного зайца, я тотчас перед вашими глазами протанцевал бы мателот, гавот или бешеный вальс -- так полон я чистейшего восторга при мысли о невесте и о свадьбе! Да-с, что касается брака и счастливой любви, -- я молодец хоть куда! Мне очень хотелось бы вам это доказать, мой досточтимый отец!

Крейслер, наконец, остановился.

-- Я не хотел прерывать вашей странной, шутливой речи, -- проговорил аббат. -- Но, поверьте, капельмейстер, она только подтвердила лишний раз справедливость моих слов. Я почувствовал и ваше желание уязвить меня, -- желание напрасное. Благо мне, что никогда я не верил в химеру любви, витающую в воздухе наподобие бестелесного призрака. Было бы лучше, если б такая любовь не соединялась логически с принципом земного существования! Возможно ли, чтоб вы при таком болезненном, напряженном душевном состоянии... Но довольно об этом! Пора стать лицом к лицу с грозным врагом, который вас преследует. Скажите, во время пребывания вашего в Зигхартсгофе, вы ничего не слышали о некоем несчастном художнике Леонарде Эттлингере?

Услыхав это имя, Крейслер невольно вздрогнул, охваченный внутренним трепетом. Исчезло с его лица выражение шутливой иронии.

-- Эттлингер? -- проговорил он глухим голосом. -- Эттлингер? Какое мне до него дело? Что я имею с ним общего? Никогда я не знал его и, только благодаря игре разгоряченной фантазии, мне показалось однажды, что он говорил со мной из воды.

-- Успокойся, успокойся, сын мой, -- проговорил мягким голосом аббат, ласково беря Крейслера за руку. -- У тебя нет ничего общего с несчастным, который был низвергнут в бездну благодаря страсти, слишком мощно охватившей его. Но ужасная судьба его должна послужить тебе предостережением. Иоганн, сын мой, ты находишься на пути, еще более скользком, чем тот несчастный! Беги, пока еще есть время, беги от гибели! Гедвига... Иоганн! Принцесса окована чарами злого сна, и никто не страхнет их, кроме человека со свободной здоровой душой! А ты, сын мой?

Тысячи мыслей и догадок зашевелились в душе Крейслера при этих словах. Он понял, что аббат не только знаком со всеми происшествиями, связанными с княжеской фамилией, но знает также и все, приключившееся во время его пребывания в Зигхартсгофе. Ему стало ясно, что его сближение с принцессой считалось опасным в виду болезненного состояния Гедвиги. Очевидно, не кто иной, как Бенцон, питала такие опасения и полагала в силу этого необходимым удалить капельмейстера из Зигхартсгофа. Очевидно также, что советница находилась в тесных отношениях с аббатом, узнала о пребывании Крейслера в монастыре и была главной двигательной пружиной в затее святого отца. Иоганн живо припомнил все те моменты, когда принцесса, действительно, как бы выказывала все признаки зарождающейся страсти; но при мысли о том, что он мог быть предметом этой страсти, им овладевало чувство какого-то смутного ужаса, точно страх перед привидением. Мгновенно восстал перед ним образ принцессы Гедвиги с ее странным, неподвижным взглядом, и

тотчас же он почувствовал, что пульс его бьется сильнее; как бы охваченный воздушным полусном, он тихо проговорил:

-- Зачем ты дразнишь меня опять, шаловливая Raja torpedo? [Электрический скат -- лат.] Неужели ты не знаешь, что я сделался бенедиктинским монахом из одной любви к тебе?

Испытующим взглядом посмотрел на Крейслера аббат, как будто он хотел заглянуть в самую глубь его души.

-- С кем это ты говоришь, сын мой? -- спросил он серьезным, торжественным тоном.

Крейслер пробудился от своих грез. Ему пришло в голову, что, если аббат знает о всех происшествиях, случившихся в Зигхартсгофе, так он должен знать и дальнейшие подробности катастрофы, заставившей его удалиться в монастырь.

-- Как, разве вы не слыхали, досточтимый отец? -- проговорил Крейслер с иронической улыбкой. -- Я говорил с Raja torpedo, с шалуньей, вмешавшейся в наш солидный разговор и увеличившей мое замешательство, которое и раньше было очень сильно. Однако из всего вышеизложенного я, к крайнему своему прискорбию, заключаю, что разные господа считают меня таким же превеликим глупцом, каков, например, блаженной памяти придворный портретист Леонардус Эттлингер, вздумавший не только срисовывать некую особу, но и воспылать к ней любовью, самой простой любовью, какой Ганс любит свою Гретхен; особа, конечно, не знала, что с ним поделаться. О, Боже мой! Разве я когда-либо нарушал должную респектабельность, когда сопровождал прелестнейшими аккордами жалчайшее пицание? Говорил ли я когда-нибудь что-нибудь неподобающее о восторге и скорби, о любви и ненависти? Нет! А между тем маленькое княжеское сердечко упорно предавалось самым странным фантазиям, которые могли вывести из терпения любого здравомыслящего человека! Скажите...

-- Однако же, -- прервал его слова аббат, -- ты, сын мой, говорил некогда о любви художника...

Крейслер устремил на аббата пристальный взгляд и потом, поднимая глаза к небу, воскликнул:

-- Так вот что! Боже, Боже! Неужели честные люди не слышали никогда, что говорил принц Гамлет одному добропорядочному господину по имени Гильденштерн: "Вы можете меня расстроить, но вам не удастся играть на мне!" Бьюсь об заклад, со мной совершенно такой же казус! Зачем вам, о, честные люди, захотелось подслушивать беззаботного Крейслера? Ведь любовь, живущая в тайниках души его, кажется вам дисгармонией, хотя она -- само благозвучие! О, Юлия!

Аббат, как бы пораженный какой-то неожиданностью, безмолвствовал, тщетно подыскивая, что бы сказать. Между тем как Крейслер, отдавшись душой чувству восторга, глядел в окно и наслаждался видом вечерней зари, пылавшей огненным заревом.

На монастырских башнях загудели колокола, и точно звуки небесных голосов наполнили молчание золотистых сумерек.

-- Улетел бы я с вами, о, чудные аккорды! -- воскликнул Крейслер, простирая вперед свои руки. -- Понесли бы вы меня далеко, далеко! И забыл бы я муку, забыл бы печали, ваши небесные голоса возвестили бы мне, что исчезло все, что терзало меня, возвестили бы торжество надежды и вечной любви!

-- Эти звуки зовут к вечерней молитве, -- проговорил аббат. -- Я слышу, там уже собирается братия. Завтра, друг мой, мы, быть может, поговорим о кое-каких событиях, происшедших в Зигхартсгофе.

-- Да? -- воскликнул Крейслер. -- Так я, знаете ли, хотел бы услышать о чем-нибудь веселом, о свадьбе, к примеру! Вероятно, принц Гектор не будет больше медлить и уцепится за ту руку, на которую он давно посматривал с вожделением. Вероятно, с прекрасным женихом ничего не приключилось неприятного?

С лица аббата исчезло выражение торжественности. Он заговорил веселым тоном, исполненным добродушного юмора:

-- С женихом-то ничего, а вот что касается его адъютанта, так я должен сказать вам, любезнейший Иоганн, что его ужалила оса.

-- Да, -- проговорил Крейслер. -- Оса, которую он хотел прогнать огнем и дымом!

Монахи вступили в коридор и...

(М. прод.) ...злой дух, стремящийся стянуть лакомый кусочек прямо из-под носу у честного, прямодушного кота? Недолго нам улыбались золотые мгновения: наш дружеский союз был расторгнут тяжелым ударом. Злой дух, губящий всякое котовское благополучие, появился в виде мощного, обуреваемого бешенством филистера по имени Ахилла. Лишь в немногих отношениях этот последний может быть сравниваем со своим тезкой, упоминаемым у Гомера; вообще говоря, он выказал несколько тяжеловесное геройство и грубое красноречие, напоминающее звяканье глиняного горшка. Собственно, этот Ахилл был не кто иной, как самая простая дворняга. Хозяин, во внимание к разным услугам, оказанным этим псом, присовокупил его к числу своих домочадцев, приковав цепью к конуре. Свободное передвижение было предоставлено ему только на время ночи. Многие из нас питали к нему искреннее сострадание ввиду его нестерпимого положения, однако же сам он нимало не беспокоился о потере свободы; он был настолько глуп, что видел в своих цепях некое украшение и знак отличия. Ахилл был сильно раздосадован на наши ночные сборища: мы мешали ему спать, и он грозил нам смертью, говоря, что мы -- крамольники. Но так как, благодаря своей полной беспомощности, он не мог проникнуть не только на крышу, но даже и на чердак, мы не обращали на его угрозы ни малейшего внимания и продолжали по-прежнему наши сходки. Тогда Ахилл переменял план действий: как опытный генерал, он начал с ложных нападений и кончил открытой схваткой.

Он призвал к себе на помощь разных шпицев, с которыми иногда позволял себе поиграть, барахтаясь с ними и размахивая при этом неуклюжими лапами. Как только мы начинали петь, подлые шпицы по его

настоянию заводили такой гнусный вой, что мы лишались возможности разобрать хотя одну ноту. Мало того: некоторые из этих низкокровных филистеров пробрались даже на самый чердак; однако мы мужественно выказывали свои когти, и они, не дерзая вступить с нами в честный бой, поднимали такое визжание, такой лающий крик, что не только дворовая собака, а и сам домохозяин не мог сомкнуть глаз: благодаря тому, что этот дьявольский концерт, казалось, никогда не должен был окончиться, домовладелец взялся за арапник и порешил разогнать всех смутьянов.

О, кот-читатель, к тебе я взываю! Если в груди твоей бьется сердце истого мужа, если светел и ясен твой разум, если твой слух не извращен -- словом, если ты истинный кот, может ли быть для тебя что-нибудь более мерзкое, гнусное, отвратительное, нежели крикливый, дисгармоничный лай взбешенных шпицев?! О, эти постылые, мелкорослые, вертлявые создания! О, эти сладкие гримасники! Бойся их, кот, не доверяй им! Верь мне, дружба шпица неизмеримо опаснее, чем свирепые когти тигра!

Но умолчим о горьком опыте, неоднократно сделанном нами в данном отношении, будем продолжать начатое повествование.

Как было сказано, хозяин дома схватил арапник и отправился на чердак разогнать всех смутьянов. Но что же произошло? Шпицы, виляя хвостами, устремились навстречу разгневанному хозяину, стали лизать ему ноги и представили все дело в таком свете, как будто бы они подняли суматоху ради его спокойствия. Они, видите ли, затем лаяли, чтобы прогнать нас с крыши и помешать нам бесчинствовать, петь слишком пронзительные песни и тому подобное. Хозяин не преминул справиться у дворового пса, верно ли все это, и тот, конечно, питая к нам тайную ненависть, подтвердил показания шпицев; таким образом болтливое красноречие дрянных собачонок привело к самым желанным для них результатам. И начались гонения! Отовсюду устремились на нас разные прислужники с метлами, в нас метали кирпичи, повсюду были расставлены ловушки и капканы, куда мы должны были попадаться и куда мы -- увы! -- действительно, попадались. Даже дорогой моему сердцу друг Муций попал в беду, то есть в капкан, что сопровождалось серьезным осложнением: правая задняя лапа его была раздроблена самым плачевным образом!

Умчались наши восторги; я удалился под печку, в квартиру мастера, с тем, чтобы в полном одиночестве оплакать горькую участь несчастных друзей моих.

Однажды в комнату мастера вошел Негг Лотарио, профессор эстетики, а вслед за ним -- Понто.

Просто описать даже не могу, какое неприятное, враждебное чувство зашевелилось во мне при виде этого пуделя. Правда, он не был дворовым псом, он не был и шпицем, однако же он все-таки принадлежал к той породе, чьим злобным, коварным замыслом я был обязан утратой веселых забав в дружеском обществе буршей; это одно делало все его прежние услуги, оказанные мне, какими-то двусмысленными. Кроме того во взгляде Понто и во всех его манерах было что-то надменное, насмешливое, -- я счел поэтому за лучшее совсем не заводить с ним разговора. Тихонько, тихонько

сполз я с подушки, одним прыжком шмыгнул в печь и задвинул за собой заслонку.

Нерг Лотарио начал беседовать с мастером о всякой всячине, мало меня заинтересовавшей, тем более что все свое внимание я устремил на юного Понто, который как истый франт прошелся несколько раз по комнате, напевая песенку, и потом вскочил на подоконник. С фанфаронским видом он начал кланяться поминутно проходившим знакомым, время от времени выпуская ворчание, очевидно, с целью привлечь на себя внимание хорошеньких дамочек собачьей породы. Обо мне легкомысленный юноша, по-видимому, даже и не вспомнил. Хотя я, как сказано, нимало не желал вступать с ним в разговор, тем не менее его полное невнимание оскорбило меня.

Совсем иначе и, как показалось мне, гораздо учтивее и благоразумнее был настроен профессор эстетики, Лотарио: осмотревшись кругом, он обратился к мастеру:

-- Да где же ваш превосходнейший monsieur Мурр?

Для честного кота-бурша нет наименования, более оскорбительного, чем это фатальное слово monsieur. Но ведь от господ эстетиков много приходится терпеть в жизни! Так и быть, я простил профессору его невежливость.

Мейстер Абрагам сообщил, что с некоторого времени я веду себя вполне самостоятельно и часто отлучаюсь из дому, в особенности по ночам, после чего бываю утомлен. Я только что лежал на подушке, и мейстер сам не знает, куда я исчез так быстро.

-- Я подозреваю, -- продолжал профессор, -- я подозреваю, мейстер Абрагам, что ваш Мурр... Но не здесь ли он? Не спрятался ли он где-нибудь, чтобы подслушивать? Посмотримте-ка еще хорошенько.

С соблюдением полнейшей тишины я заполз в самую глубь печки. Можете, однако, представить, как я наострил уши: ведь говорили обо мне. Профессор тщательно, но безуспешно освидетельствовал все уголки, к немалому удивлению мастера, который с громким смехом воскликнул:

-- Ну, профессор, право же, вы моему Мурру оказываете слишком большую честь!

-- Нет, мейстер, -- возразил Лотарио, -- у меня окончательно не идет из головы ваш план произвести педагогический эксперимент, сделав из кота поэта и сочинителя. Разве вы забыли о сонете, о рукописи, которую Понто вырвал у Мурра прямо из-под носу. Однако, как бы там ни было, я пользуюсь отсутствием Мурра, чтобы сообщить вам свои печальные догадки и обратить ваше особенное внимание на поведение этого кота. Как ни мало интересуюсь я кошачьим родом, однако от внимания моего не ускользнуло, что некоторые коты, бывшие в прежнее время учтивыми, благовоспитанными, теперь вдруг переменяли тон и ведут себя самым возмутительным образом. Вместо прежнего смиренного ласкательства, они являются воплощением гордости и упорства, бросают на всех огненные взгляды и не стесняются выказывать свою дикую натуру, гневно мурлыкая и даже выпуская когти. Не желая быть скромными молодыми

людьми, они даже и внешним своим видом не хотят напоминать юношей *comme il faut* [*Приблизительно переводится "такой, как должно", то есть "светский", культурный и цивилизованный, благовоспитанный" -- фр.*]. Нет больше и речи о приглаживании бороды, они не прилизывают свой мех, пренебрегая его лоском. Они не обкусывают когтей, которые слишком отросли. Грязные и грубые, они бегают везде со своими взъерошенными хвостами, возбуждая ужас и отвращение всех благовоспитанных кошек. Но что заслуживает особого порицания, так это их ночные тайные сборища, во время которых они поднимают ужаснейшие вопли, именуя их пением, между тем как в этой разноголосице нельзя разобрать ни такта, ни мелодии, ни гармонии. Сильно опасаюсь я, мейстер, что и ваш Мурр, поддавшись дурному влиянию, принимает участие в этих предосудительных забавах, которые не могут дать ему ничего, кроме побоев. Мне было бы весьма больно, если бы все старания, приложенные вами к его воспитанию, пропали даром. Было бы крайне прискорбно, если бы этот маленький седовласый господин, несмотря на всю свою ученость, унился до обычных диких проказ заурядных и распутных котов.

Увидев подобное непонимание по отношению ко мне, к моему другу Муцию, ко всем моим возлюбленным братьям, я был так глубоко огорчен, что невольно скорбный возглас вырвался из груди моей:

-- Это что такое! -- воскликнул профессор. -- Значит, верно, что Мурр спрятался где-нибудь здесь в комнате! Понто, ici! Cherche, cherche! [*Сюда! Ищи, ищи!* -- фр.]

Одним взмахом Понто спрыгнул с подоконника и стал обнюхивать всю комнату. Перед заслонкой печи он остановился, заворчал, залаял и начал кидаться на нее.

-- Он в печке, не может быть больше никакого сомнения! -- говорил мейстер, открывая заслонку.

Как ни в чем не бывало, я продолжал сидеть на своем месте, взирая на мейстера ясным, блистающим взором.

-- Смотрите-ка, да он, в самом деле, сидит в печке, -- продолжал мейстер. -- Ну-с, не угодно ли вам пожаловать сюда? Прошу покорно!

Как ни мало желал я покинуть свою засаду, однако, повинаясь приказанию моего господина, не захотел заставить применить к себе насилие, тем более что в этом случае я оказался бы слабейшим. Медленно выполз я из печки. Но как только упал на меня дневной свет, мейстер и профессор, оба одновременно, воскликнули:

-- Мурр! Мурр! В каком ты виде! Что это за штуки!

Действительно, я с ног до головы был покрыт золой. Кроме того, я с некоторого времени не занимался своей наружностью, приближаясь по внешнему виду к тем еретическим котам, которых описывал профессор; могу себе представить, что я на самом деле являл из себя фигуру весьма жалкую. А как глянул я на своего друга Понто, как увидел его чудный, блестящий мех с тонкими завитками, стыдно мне стало, и, полный огорчения, я тихонько поплелся в первый попавшийся угол.

-- Неужели, -- воскликнул профессор, -- скажите, неужели это тот самый умный, высокообразованный Мурр, остроумный поэт, элегантный прозаик, автор прекрасных сонетов? Нет, это самый заядлый, обыкновенный кот, валяющийся в золе и умеющий только гоняться за мышами в погребах и на чердаках! Эге-ге! Скажи-ка мне, почтеннейший зверек, когда же ты приобретешь ученую степень и взойдешь на кафедру в качестве профессора эстетики? Нечего сказать, хороший у тебя докторский костюм!

Издевательства и насмешки так и сыпались на мою голову. Что мне было делать? Я плотно прижал свои уши к голове -- обычный мой прием, неукоснительно применявшийся мною во всех тех случаях, когда меня бранили.

В конце концов, и профессор, и мейстер разразились громким смехом, который, как острое оружие, пронзил мое сердце. Но чуть ли не еще оскорбительнее показалось мне поведение Понто. Не говоря уже о его сочувственном отношении к насмешкам профессора, которое он выказал минами и ужимками, приближаясь ко мне, он тотчас отпрыгивал в сторону, очевидно, опасаясь запачкать свой прекрасный щегольской мех. Для кота, глубоко убежденного в своем нравственном превосходстве, весьма оскорбительно подвергаться подобному пренебрежению со стороны какого-нибудь фата-пуделя.

Профессор вступил в длинный разговор с мейстером, по-видимому, несколько не касавшийся ни меня, ни лиц моей породы и потому оставшийся для меня почти совершенно непонятным. Однако мне удалось разобрать, что речь шла об экзальтированной молодежи и средствах ее обуздать. Был поставлен вопрос, что лучше: противопоставить ли необузданности открытую силу или искусным, незаметным образом только ограничить ее, дав эксцентричным юношам возможность сознать собственные заблуждения и отрешиться от них. Профессор стоял за открытое противодействие: он говорил, что человек возможно ранее должен быть втиснут в известную форму, несмотря ни на какое с его стороны сопротивление, в противном случае будет нарушено гармоничное соотношение частей к целому и появится некая монстриозность, крайне губительная по самой своей сущности. Профессор говорил еще что-то такое о битье оконных стекол, о провозглашении *percat* [*Да сгинет -- лат.*], вообще о чем-то, совершенно для меня непонятном. Мейстер, наоборот, полагал, что экзальтированные юноши похожи на людей, страдающих частичным помешательством: всякое насилие только обостряет болезнь, между тем как собственное сознание своей ошибки приводит к радикальному излечению, не допускающему ни малейших опасений рецидива.

-- Ну-с, -- воскликнул, наконец, профессор, вставая и беря шляпу и трость, -- как бы то ни было, но вы, мейстер, должны согласиться со мной, что открытое, беспощадное противодействие, безусловно, необходимо там, где разные сумасбродные проделки нарушают общественную тишину и спокойствие. Говоря опять применительно к вашему коту Мурру, я

полагаю, что очень хорошо сделали те бравые шпицы, которые, как я слышал, разогнали толпу проклятых котов, визжавших самым дьявольским образом и воображавших при этом, что они бог весть какие виртуозы.

-- Это, знаете ли, как взглянуть, -- возразил мейстер. -- Если бы им позволили петь, они, быть может, и действительно сделались бы хорошими виртуозами, между тем как теперь они, пожалуй, совсем усомнятся в музыкальных своих дарованиях.

Профессор откланялся, за ним прыгнул и Понто, не удостоив меня даже обычным кивком головы, что раньше он делал всегда с самой дружеской приветливостью.

Мейстер обратился ко мне.

-- Я сам, -- сказал он, -- был до сих пор недоволен твоим поведением, Мурр. Пора, братец, образумиться, остепениться, чтобы снова достигнуть более хорошей репутации. Если бы ты мог меня вполне понять, я посоветовал бы тебе быть всегда приветливым и ласковым, и все, что ты ни задумаешь, совершать без шума, втихомолку: именно таким способом вернее всего можно приобрести себе добрую славу. Я мог бы тебе представить для пояснения следующий пример: один человек сидит целый день смиреннько в своем уголке и потягивает себе винцо, бутылку за бутылкой, пока, наконец, не дойдет до состояния полного опьянения, которое, однако, он, благодаря долгой практике, умеет скрывать решительно от всех; другой выпьет иногда немного в обществе веселых друзей, вино развяжет ему язык, по мере его оживления, и разговор его делается более оживленным, и, хотя он никого не оскорбляет каким-либо нарушением приличий, весь мир именно его-то и считает пьяницей, а того тихоню все называют умеренным, воздержанным человеком. Ах, добрый Мурр! Если бы ты обладал житейской опытностью, то увидел бы, что лучше всего живется филистеру, который, наделав плутней, искуснее всех сумеет спрятать концы в воду. Но можешь ли ты понять, что из себя представляет филистер, тип нередкий и среди представителей твоей породы!

Вспомнив при этих словах мейстера все свои отличные познания в области котовских отношений, вспомнив все, чему научил меня Муций, а также и собственный опыт, я не мог удержаться от громкого, радостного мурлыканья.

-- Эге, братец, -- воскликнул с веселым смехом мейстер, -- эге, любезнейший Мурр! Да ты никак меня понимаешь! Верно, прав профессор, непременно желающий открыть в тебе особый разум и опасющийся встретить в твоей персоне конкурента на поприще эстетики.

В подтверждение того, что это действительно так, я испустил ясное, благозвучное "мяу" и без дальнейших обвиняков прыгнул к мейстеру на колени. Не подумал я при этом, что могу запачкать его желтый шелковый шлафрок с широкими разводами. "Прочь!" -- воскликнул мейстер и с такой силой отшвырнул меня, что я перекувырнулся и, совершенно обескураженный, присел на полу, съежив уши и зажмурив глаза. Но да будет превознесено до небес добродушие моего господина!

-- Ну, ну, -- проговорил он дружески, -- не огорчайся, Мурр! Я не хотел тебя обидеть! Я знаю, что твои намерения были самые хорошие: ты желал выказать мне свою благосклонность, но сделал это самым неловким образом, а в таких случаях о намерениях не спрашивают! Ну, ступай сюда, замарашка! Я тебя почищу, принаряжу, и ты снова будешь иметь вид честного кота!

Сняв шлафрок, мейстер взял меня к себе на руки и не побрезговал тщательно вычистить мой мех мягкой щеточкой, после чего великолепно расчесал мои волосы маленьким гребешком.

Туалет был кончен, и я, пройдя мимо зеркала, немало удивился, увидев, как быстро я сделался совершенно другим котом. Так прелестен показался я сам себе, что невольно из груди моей вырвалось благодушное мурлыканье, и не могу отрицать, что в этот момент я сильно усомнился в полезности и благопристойности клуба буршей. Заползать в печку было с моей стороны чистым варварством, которое я мог приписать только известной одичалости; таким образом, предостережение мейстера "В печку не лазить!" было совершенно излишним.

Ночью представилось мне, будто за дверью слышится легкое царапанье и чей-то знакомый голос испускает боязливое мяуканье. Я проскользнул к двери и спросил, кто там. Оказалось, что это был сеньор Пуфф (я тотчас узнал его по голосу).

-- Это я, любезный Мурр, -- воскликнул он. -- Я должен сообщить тебе крайне печальную новость.

О, Небо! Что я...

(Мак. л.) ...чрезвычайно несправедливо, моя славная Юлия, мой милый друг. Нет, ты больше мне, чем друг, ты верная моя сестра! Я недостаточно любила тебя, недостаточно доверяла тебе. Лишь теперь пред тобой открывается вполне мое сердце, лишь теперь, когда я знаю...

Принцесса умолкла и, заливаясь слезами, опять прижала к себе Юлию с удвоенной нежностью.

-- Гедвига, разве ты раньше не любила меня всем сердцем? -- кротко возразила Юлия. -- Разве у тебя были какие-нибудь тайны, которых ты мне не открыла? Что это такое, о чем ты только теперь впервые узнала? О, нет, нет! Ни слова больше, до тех пор пока твой пульс не станет биться ровнее, пока твои глаза не перестанут смотреть так мрачно!

-- Я не знаю, не знаю, чего вы все хотите от меня, -- заговорила принцесса, поддаваясь опять мгновенному порыву раздражения. -- Вы говорите мне, что я еще больна, а между тем никогда я не чувствовала себя более бодрой и здоровой. Вас испугал странный припадок, случившийся со мной, но, может быть, такие электрические удары, задерживающие на время всякую работу организма, гораздо полезнее для меня, чем жалкие средства, предлагаемые близоруким, обманчивым искусством. Как противен мне этот лейб-медик! Он думает, что с человеческой природой можно обходиться, как с часовым механизмом, который вычищают от пыли и заводят ключиком. Он просто ужасен со своими каплями и эссенциями. Неужели мое благополучие должно зависеть от подобных вещей? В таком

случае земная наша жизнь была бы какой-то ужасной насмешкой, капризной игрой мирового гения!

-- Однако же, -- прервала принцессу Юлия, -- уже это нервное напряжение твоего организма свидетельствует, что ты еще больна, милая Гедвига. Ты должна щадить себя, относиться к себе более тщательно.

-- Ты так же, как все, хочешь непременно огорчать меня! -- воскликнула принцесса, вскакивая с места.

Она стремительно подошла к окну и, открыв его, стала глядеть в парк. Юлия последовала за ней, обняла ее и стала умолять, чтобы Гедвига остерегалась, по крайней мере, сурового осеннего ветра и старалась быть спокойной, как настойчиво рекомендовал лейб-медик. Принцесса возразила, что именно это течение холодного воздуха освежает и укрепляет ее. Юлия стала говорить теперь с самой сердечной откровенностью о том, что ей пришлось перечувствовать за последнее время: какой-то злой дух угрожал ей, она должна была напрягать все свои силы, чтобы не поддаться чувству, похожему на глубокий, смертельный страх привидений. Она упомянула о загадочной ссоре между принцем Гектором и Крейслером, заставлявшей догадываться о чем-то ужасном. Слишком очевидно, что бедный Иоганн должен был пасть от руки мстительного итальянца, и что, как уверяет мейстер, только особенное чудо могло спасти его.

-- И этот ужасный человек, -- проговорила Юлия, -- должен был сделаться твоим супругом? Нет, никогда! Благодарение Высшим Силам! Ты спасена! Он никогда не вернется сюда! Не правда ли, Гедвига, никогда?

-- Никогда! -- ответила принцесса глухим, еле слышным голосом.

Потом, глубоко вздохнув, она продолжала, как бы во сне:

-- Да, это небесное пламя должно только светить и согревать, не подвергая гибельному уничтожению... из души художника вырывается светлое осуществление его предчувствий: она сама -- его любовь... Так говорил ты тогда на этом самом месте...

-- Кто? -- воскликнула Юлия с изумлением. -- О ком ты говоришь? О ком ты вспоминаешь, Гедвига?

Принцесса провела рукой по лицу, точно желая опомниться и возвратиться к действительности, которая ускользнула от ее сознания. Потом с помощью Юлии она слабыми шагами дошла кое-как до софы и опустилась на нее в изнеможении. Озабоченная состоянием принцессы, Юлия хотела позвать камер-фрау, но Гедвига тихонько привлекла ее к себе на софу и прошептала:

-- Нет, милая, нет, голубчик, оставайся ты со мной, не думай, что у меня начинается припадок. Это мысль о бесконечном блаженстве осенила мою душу, и так было сильно восхищение, что оно почти превратилось в смертельную скорбь. Оставайся со мной, ты сама не знаешь, какое удивительное, чарующее влияние оказываешь ты на меня! Дай мне заглянуть в твою душу, как в чистое, светлое зеркало, чтобы я вновь могла узнать свой собственный образ. Юлия! Мне кажется порою, что ты полна какого-то неземного вдохновения, твои нежные слова представляются мне

утешительным пророчеством. Юлия! Друг мой, останься со мной, не покидай меня никогда, никогда!

Держа руки Юлии в своих руках, принцесса закрыла глаза и прилегла на софе. Юлия привыкла видеть, как Гедвига нередко поддавалась полному душевному изнеможению, но пароксизм [Внезапный и сильный приступ.], овладевший принцессой теперь, показался ей совершенно новым и загадочным. В прежнее время Гедвига выказывала страстное озлобление, являвшееся результатом антагонизма между внутренним чувством и внешними явлениями жизни. Это озлобление возрастало почти до ненависти, оскорблявшей детское сердце Юлии. Теперь, наоборот, принцессой овладело тихое чувство глубокой, неизъяснимой скорби. Юлия была вся охвачена волнением и страхом за свою любимую несчастную подругу.

-- Гедвига! -- воскликнула она. -- Милая моя Гедвига, я не расстанусь с тобой. Ничье сердце не привязано к тебе так верно и нежно, как мое! Но скажи, доверься мне, скажи, какая скорбь разрывает твое сердце? Я буду с тобой грустить, я буду вместе с тобой плакать!

На лице Гедвиги показалась смутная, странная улыбка, нежная краска выступила на ее щеках, и, не открывая своих глаз, она прошептала:

-- Не правда ли, Юлия, ведь ты никого не любишь?

Юлия вздрогнула, как бы охваченная чувством внезапного испуга. В груди каждой девушки живет смутное предчувствие страсти, которая является главным элементом жизни женского сердца: ибо только любящая женщина может быть названа вполне женщиной. Но чистая, детски ясная душа не возмущает этих предчувствий никаким анализом, не позволяет излишнему любопытству сорвать покров со сладостной, нежной тайны, которая раскрывается только в исключительный момент, предвещаемый смутным порывом сердца. Точно таким образом Юлия услышала теперь то, о чем она даже не смела подумать. Смущенная, точно ее обвинили в грехе, не ясном для нее самой, она старалась глубоко заглянуть в собственную свою душу.

-- Юлия, -- повторила принцесса, -- ты никого не любишь? Скажи мне откровенно.

-- Какой странный вопрос! -- возразила Юлия. -- Что я могу тебе ответить на это?

-- О, говори! -- умоляющим голосом воскликнула принцесса.

Вдруг в душе Юлии сделалось светло, точно туда заглянул луч яркого солнца. Она нашла слова для выражения того, что ясно представилось ей в собственной ее душе.

-- Скажи мне, Гедвига, -- заговорила она твердым голосом, -- что происходит в собственной твоей душе в то время, когда ты предлагаешь мне этот вопрос? Как понимаешь ты любовь, о которой говоришь? Не правда ли, если любишь кого-нибудь, стремишься к нему с такой непобедимой силой, что только и живешь мыслью о нем, теряешь в нем всю свою личность, в нем видишь все свои надежды, желания, стремления, -- целый мир! И эта страсть должна вести нас к высшим ступеням

блаженства? Мне страшно этой высоты, невольно кружится голова, взору представляется внизу безграничная пропасть, где грозно чернеется неизбежная гибель. О, нет, Гедвига, эта любовь, столь же ужасная, сколько греховная, не возмутила мою душу, и я твердо верю, что душа моя останется навсегда чистой и свободной от такого чувства. Но может случиться, что какой-нибудь мужчина возбуждает в нас особенное уважение или даже изумление перед могучей силой своего духа. Больше того: мы чувствуем, что в его присутствии нами овладевает загадочное состояние какой-то душевной уютности; мы как будто впервые пробуждаемся, дух наш высоко парит, жизнь впервые кажется нам светлой, и мы радуемся, когда этот человек приходит, грустим, когда он уходит. Ты называешь это любовью? Если да, то для чего стала бы я скрывать, что утраченный нами Крейслер возбудил во мне такое чувство, и что я теперь болезненно ощущаю его отсутствие.

-- Юлия! -- воскликнула принцесса, быстро вскакивая с своего места и устремляя на Юлию пылающий взгляд: -- Юлия, можешь ли ты представить его в объятиях другой женщины и не испытывать при этом бесконечной, неизъяснимой муки?

Юлия вспыхнула.

-- Я никогда не представляла себе, что он находится в моих объятиях, -- возразила она тоном, ясно свидетельствующим, что она чувствовала себя глубоко оскорбленной.

-- О, ты не любишь его, ты не любишь его! -- громко воскликнула принцесса, снова опускаясь на софу.

-- Ах, если бы только он вернулся! -- возразила Юлия. -- Чисто и безгрешно то чувство, которое я испытываю по отношению к этому дорогому мне человеку, если никогда уже более я не увижу его, мысль о нем, незабвенном, будет светить в моей жизни, как прекрасная, лучезарная звезда. Но нет, он вернется! Впрочем, как может...

-- Никогда, -- возразила принцесса резким, суровым голосом, -- никогда не посмеет он вернуться; я слышала, что он находится в аббатстве Канцгейм и намерен, отрекшись от мира, вступить в орден святого Бенедикта.

Юлия встала и подошла к окну, на глазах у нее заблистали слезы.

-- Твоя мать права, совершенно права, -- продолжала принцесса. -- Мы должны радоваться, что этот сумасшедший удалился. Он, как злой дух, ворвался к нам в душу, чтобы расстроить и измучить нас. Музыка была волшебным средством, с помощью которого он запутал нас в свои сети. Я никогда больше не хочу его видеть!

Слова принцессы терзали Юлию. Она хотела уйти и взяла шляпу и шаль.

-- Ты хочешь покинуть меня, -- воскликнула принцесса, -- ты хочешь уйти от меня, милая моя Юлия? Остайся, остайся, утешь меня, если ты можешь! Что-то ужасное соединяется для меня с этими залами, с этим парком! Знаешь...

Гедвига подвела Юлию к окну и, показывая на павильон, в котором жил адъютант принца Гектора, начала глухим голосом:

-- Посмотри туда, Юлия! В этих стенах скрывается какая-то ужасная тайна: кастелян и садовники уверяют, что с отъезда принца там никто не живет, что двери там наглухо забиты, а между тем... но погляди, погляди! Разве ты не видишь там у окна?

Действительно, у окна, расположенного во фронтоне павильона, Юлия заметила темную фигуру, которая быстро исчезла в то же самое мгновение.

Рука Гедвиги судорожно дрогнула в руке Юлии.

-- Не может быть никакой речи о страшной тайне или о привидениях, -- сказала Юлия, -- весьма возможно, что кто-нибудь из прислуги самовольно пользуется незанятым павильоном. Можно сделать внезапный осмотр павильона, тогда видно будет, что это за фигура, выглядывающая из окна.

Принцесса удостоверилась, однако, что старый, преданный кастелян давно уже исполнил ее желание и говорит, что, осмотревши весь павильон, он не нашел там ни малейшего следа человеческого существования.

-- Слушай, -- проговорила принцесса, -- я расскажу тебе, что произошло три ночи тому назад! Ты знаешь, у меня часто бывает бессонница, я встаю тогда и хожу взад и вперед по комнатам до тех пор, пока вместе с утомлением не придет сон. Три ночи тому назад со мной случилась бессонница, и я отправилась в эту комнату. Вдруг по стене скользнуло отражение света; я посмотрела в окно и увидела четырех мужчин, из которых один нес потайной фонарь; все они скрылись около павильона, причем я не успела заметить, вошли они в него или нет. Прошло немного времени, в окне павильона показался свет, и чьи-то тени начали скользить туда и сюда. Потом в окне опять стало темно, но сквозь куст прорезался ослепительный свет, который, должно быть, выходил сквозь отворенную дверь павильона. Свет все приближался и приближался, наконец, из куста показался бенедиктинский монах; в левой руке у него был факел, в правой -- распятие. За ним шло четверо мужчин. На плечах они несли носилки, покрытые черным покровом. Только они прошли несколько шагов, как навстречу им вышла новая фигура, закутанная в длинную мантию. Они остановились и опустили носилки на землю: темная фигура отдернула покров, из-под него показался труп. Я чуть не лишилась чувств, я едва успела заметить, что носилки были снова подняты, и вся группа быстро удалилась вслед за монахом, скрывшись в широкой боковой аллее, которая ведет через парк по направлению к аббатству Канцгейм. С тех пор темная фигура показывается у окна, и я думаю, что, быть может, это призрак убитого пугает меня.

Юлия была очень склонна счесть весь рассказ Гедвиги за сон или за обман взволнованных чувств. Кем мог быть этот мертвец, вынесенный из павильона при таких таинственных обстоятельствах? Никто не пропал из числа обитателей Зигхартсгофа. Потом, кто мог бы поверить, что невероятный мертвец, как привидение, бродит в том здании, откуда вынесен был труп! Юлия представила принцессе все эти соображения, присовокупив предположение, что загадочный призрак у окна мог быть просто оптическим обманом или шуткой старого мага, мастера Абрагама,

который, нередко забавляясь подобным образом, быть может, и в данном случае пожелал населить пустой павильон привидениями.

-- Как быстро люди объясняют все чудесное, сверхъестественное! -- проговорила с улыбкой принцесса, уже вполне овладев собой. -- Что касается мертвеца, ты, по-видимому, забыла о происшествии, которое случилось в парке перед тем, как Крейслер покинул нас.

-- Боже мой, -- воскликнула Юлия, -- неужели же, действительно, тут кроется злодеяние? Но кто мог его совершить? Кто пал жертвой?

-- Ну, ну, -- продолжала принцесса, -- ведь ты знаешь, что Крейслер жив. Но жив и тот, кто сгорает любовью к тебе. Не смотри на меня так испуганно! Ты сама должна была давно уже подозревать то, что я скажу тебе, то, что могло бы тебе очень повредить, оставаясь для тебя тайной. Принц Гектор любит тебя, тебя! Любит со всей страстностью, присущей его нации. Я была его невестой, я и теперь -- его невеста, но ты, Юлия, его возлюбленная.

Последние слова принцесса произнесла резким тоном, не придавая им, однако, какого-либо особенного оскорбительного смысла.

-- О, Господи! -- воскликнула Юлия, заливаясь горячими слезами. -- Гедвига, ты хочешь меня сегодня совсем измучить? Какой злой дух говорит твоими устами? Нет, нет, я охотно допущу, чтобы ты на мне выместила всю муку, охватившую твою душу под влиянием мрачных снов, но никогда я не поверю в истинность этих угрожающих фантомов! Гедвига, одумайся же, ты уже больше не невеста этого ужасного человека, явившегося нам живым воплощением гибели! Он больше не вернется! Ты никогда не будешь принадлежать ему!

-- Как бы то ни было, -- возразила принцесса, -- но ты должна понять, что только тогда, когда церковь соединит меня с принцем, может разрешиться загадка жизни, делающая меня несчастной! Тебя спасает веление неба! Мы расстанемся: я последую за супругом, ты останешься здесь!

Принцесса умолкла, охваченная глубоким волнением. Юлия также не могла говорить ни слова, и обе девушки горячо обнялись, заливаясь слезами.

Вошла камер-фрау и доложила, что подан чай. Юлия была более взволнована, чем этого можно было ожидать ввиду ее рассудительного, спокойного характера. Она была не в силах оставаться среди общества, и мать позволила ей отправиться домой, тем более, что и принцессе хотелось отдохнуть.

На расспросы княгини фрейлейн Наннэт удостоверила, что все послеобеденное время и весь вечер принцесса чувствовала себя очень хорошо, но непременно хотела остаться наедине с Юлией. Насколько можно было судить, находясь в соседней комнате, принцесса и Юлия рассказывали друг другу разные истории, разыгрывали даже какую-то пьесу, и то смеялись, то плакали.

-- Милые девушки! -- тихонько проговорил гофмаршал.

-- Добрая принцесса! Милая девица Юлия! -- поправил князь, устремляя на гофмаршала грозный взгляд.

Смущенный страшной своей ошибкой, гофмаршал сразу проглотил большой кусок сухаря, основательно размоченного в чае, но кусок стал в горле, вызывая ужасный кашель. Бедный старик поспешил оставить залу и спасен был от презренного, смертоносного удушения лишь благодаря помощи гоффурыера, который опытной рукой пробарабанил на его спине весьма внушительное соло.

Совершив таким образом две неловкости, гофмаршал побоялся в третий раз скомпрометировать себя: не решившись поэтому возвратиться в зал, он послал сказать князю, что извиняется внезапно приключившейся болезнью. Благодаря отсутствию гофмаршала, обычная партия виста расстроилась. Но так как игорные столы были уже расставлены в полном порядке, все напряженно ожидали, что предпримет князь в данном критическом положении. Он с честью вышел из затруднения, -- сделал кивок своим приближенным, означавший разрешение садиться играть в карты, сам же предложил руку советнице Бенцон, подвел ее к канапе и уселся с ней рядом.

-- Однако, -- заговорил он тихим нежным голосом, что всегда имел обыкновение делать во время бесед с Бенцон, -- мне было бы неприятно, если б гофмаршал серьезно подавился сухарем. Но он, кажется, совсем лишен рассудка, что я не раз уже замечал. Возможно ли принцессу Гедвигу называть девушкой! Он и в висте оказался бы самым жалким партнером. Вообще, любезнейшая Бенцон, мне сегодня крайне приятно и желательно уклониться от карточной игры и поболтать с вами в уединении, как в былые времена. Вы знаете, конечно, дражайшая, мое неизменное к вам благорасположение! Никогда оно не может измениться. Княжеское сердце постоянно являет пример верности, если только неотвратимые соображения иного порядка не вмешиваются в сердечные дела.

С этими словами князь поцеловал у Бенцон руку гораздо нежнее, чем позволяли сан, возраст и обстановка. У советницы от удовольствия заискрились глаза. Она начала уверять князя, что уже давно искала случая поговорить с ним откровенно, так как она может сообщить многое, что князю не будет неприятно.

-- Да будет вам известно, ваша светлость, -- начала Бенцон, -- да будет вам известно, что я получила письмо от тайного советника посольства. Он снова пишет мне, что дела наши внезапно приняли благоприятный оборот...

-- Довольно, довольно, достойнейшая, -- прервал князь, -- не будем ничего говорить о делах государственной важности! Даже и светлейший князь надевает шлафрок и ночной колпак, когда он, изнеможенный бременем управления, отправляется на покой. Фридрих Великий, король прусский, представляет, понятно, исключение: вам, как женщине начитанной, должно быть известно, что, ложась в постель, он надевал поярковую шляпу. Ну-с, я и полагаю, что даже в душе князя есть много такого... э-э, как бы это сказать... ну, того, что в общежитии называется гражданскими добродетелями, супружескими чувствами, родительскими заботами... Он не может вполне отрешиться от них и потому, по меньшей

мере, простительно, если он порою отдается им, когда государственные нужды и приличия двора не предъявляют на его особу никаких требований. Добрейшая Бенцон! В данную минуту я нахожусь именно в таком настроении. В моем кабинете лежат семь подписанных бумаг. Дайте же мне позабыть совсем о княжеских делах, дайте мне побыть просто отцом семейства, отдыхающим за чайным столом, дайте побыть мне бароном фон Гемминген! Поговоримте вместе о моих, да, о моих детях, которые причиняют мне столько хлопот, что я нередко впадаю в некое душевное беспокойство, совсем не подобающее моему сану.

-- Вы хотите, князь, говорить о ваших детях? -- резким тоном спросила Бенцон. -- Точнее, вы хотите говорить о принце Игнаце и принцессе Гедвиге! Говорите, ваша светлость, говорите, быть может, и я, подобно мастеру Абрагаму, могу вам дать какой-нибудь совет!

-- Да, -- продолжал князь, -- я очень нуждаюсь в ваших советах. Вот видите ли, добрейшая Бенцон, прежде всего, что касается принца, так он, конечно, не нуждается ни в каких особенных умственных дарованиях. Природа обыкновенно наделяет таковыми разных безвестных людей, которые оказались бы без дарования в положении вполне беспомощном. Однако принцу не мешало бы иметь побольше *esprit* [*Ума -- фр.*], а то он продолжает быть несколько *simple*! [*Дурачком -- фр.*] Вон посмотрите, сидит он там себе, болтает ногами, играет один в карты и хохочет, как семилетний мальчишка! Бенцон! *Entre nous soit dit!* [*Между нами говоря! -- фр.*] Даже искусство писания нельзя ему преподавать в той мере, в какой это необходимо для него, княжеская его подпись имеет вид каких-то совиных каракуль. Боже милосердый, что из всего этого может выйти! Недавно, занимаясь делами, я был встревожен страшным лаем, раздававшимся под моим окном. Выглядываю, чтобы увидеть шпица и прогнать его, и что же вижу! Поверите ли, достойнейшая, это принц лаял, как сумасшедший, и гонялся за сыном садовника, изображавшим зайца! Есть ли тут какой-нибудь смысл? Княжеские ли это страсти? Может ли таким образом принц достичь когда-либо хоть ничтожной степени самостоятельности?

-- Чтобы достичь ее, -- отвечала Бенцон, -- необходимо возможно скорее соединить принца брачными узами с какой-нибудь девушкой, которая бы своей грацией, красотой, своим ясным умом пробудила его дремлющие чувства и имела бы достаточно доброты -- снизойти до него и постепенно возвысить принца до своей личности. Женщина, которая будет принадлежать принцу, непременно должна обладать такими качествами, чтобы спасти его и извлечь из состояния, грозящего, -- говорю это с крайним прискорбием, ваша светлость, -- грозящего со временем перейти в настоящее помешательство. Потому в вопросе о браке принца нужно иметь в виду только душевные качества невесты и не быть слишком разборчивым относительно ее сословного происхождения.

-- Никогда, -- воскликнул князь, хмуря свой лоб, -- никогда в нашей фамилии не было примера мезальянса! Оставимте мысль, которую я не могу одобрить. Во всем другом я всегда готов исполнять ваши желания!

-- Еще бы, я это отлично знаю, ваша светлость! -- отвечала Бенцон резким тоном. -- Как часто справедливые желания должны были умолкать ради всяких химерических соображений. Но есть требования, чуждые всяких счетов с условностями.

-- *Laissons cela* [*Оставим это* -- *фр.*], -- проговорил князь, откашливаясь и нюхая табак. Помолчав несколько мгновений, он продолжал: -- Еще больше печалит меня принцесса. Скажите, Бенцон, каким образом могло случиться, что у нас родилась дочь с таким странным характером, мало того, с такой странной болезнью, которую сам лейб-медик затрудняется определить? Разве княгиня не пользовалась всегда цветущим здоровьем? Разве она была когда-либо склонна к загадочным нервным припадкам? Не был ли я сам всегда мощным князем во всем, что касается духа и тела? Как мог у нас родиться ребенок, который, должен признаться с крайним прискорбием, кажется мне нередко совершенно сумасшедшим и вполне лишенным княжеского достоинства?

-- Для меня также, -- отвечала Бенцон, -- состояние принцессы представляется совершенно непонятным. Ее мать была всегда спокойна, рассудительна, свободна от всяких губительных увлечений.

Последние слова Бенцон произнесла глухо, как бы про себя.

-- Вы разумеете княгиню? -- спросил князь с особенным выражением: ему показалось неприличным, что перед словом "мать" был опущен предикат "княгиня".

-- Кого же другого я могла разуметь? -- с усилием проговорила Бенцон.

-- Разве последний роковой припадок не расстроил брак принцессы с принцем, предмет моих чаяний и хлопот? Ибо, *entre nous soit dit*, я должен сообщить вам, добрейшая Бенцон, что причиной внезапного отъезда принца Гектора была именно внезапная каталепсия, приключившаяся с принцессой и происшедшая, на мой взгляд, от сильной простуды. Он намерен порвать, и -- *quste ciel!* [*Ах, негодяй!* -- *фр.*] -- даже я не могу упрекнуть его за это, я сам почти готов отказаться от всяких дальнейших попыток к осуществлению моего задушевного желания. Посудите сами, любезнейшая, разве не страшно обладать супругой, которая подвержена подобным припадкам! Вдруг такая сиятельная и в то же время каталептическая супруга, находясь среди блестящей толпы придворных, подвергнется припадку и будет стоять, как автомат, -- все присутствующие должны будут подражать ей и стоять недвижимо! Положим, двор, охваченный состоянием общей каталепсии, представил бы из себя нечто возвышенное, торжественное; самый легкомысленный из всех присутствующих не был бы в состоянии нарушить общее высокое настроение. Но отеческие мои чувства неукоснительно дают мне понять, что подобное состояние невесты может внушить сиятельному жениху некий душевный холод, и посему... Бенцон! Вы женщина славная и рассудительная, не найдете ли вы возможным поправить дело, не придумаете ли какое-нибудь средство вернуть назад принца...

-- В этом нет никакой нужды, -- с живостью перебила князя Бенцон. -- Ваша светлость, не болезнь принцессы была причиной столь быстрого

отъезда принца, здесь кроется иная тайна, и с ней связан капельмейстер Крейслер.

-- Как?! -- воскликнул изумленный князь. -- Что вы говорите, Бенцон? Капельмейстер Крейслер? Так, значит, это верно, что он...

-- Да, -- продолжала советница, -- да, ваша светлость, причиной отъезда принца Гектора была его ссора с Крейслером, ссора, которая, может быть, должна была кончиться весьма героическим образом.

-- Ссора, -- пробормотал князь, -- ссора... кончиться героически? Выстрел в парке, окровавленная шляпа? Бенцон, но это невозможно, принц, капельмейстер, дуэль, поединок -- немыслимо ни то ни другое!

-- Ваша светлость, -- продолжала Бенцон, -- несомненно одно: Крейслер оказал такое сильное впечатление на принцессу, что она стала испытывать в его присутствии странную тоску, неизъяснимый страх -- словом, разнородные чувства, способные развиться в гибельную страсть. Возможно, что принц был настолько проницателен, чтобы заметить это. Крейслер при первой же встрече отнесся к нему с враждебной иронией -- естественно, что принц увидел в нем противника, от которого нужно было отделаться решительным образом: отсюда как результат ненависти ревности и оскорбленного самолюбия, создался кровавый план, благодаря Богу, не удавшийся. Правда, все это еще не объясняет быстрого отъезда принца, как сказано, тут кроется еще другая тайна. Юлия рассказала мне, что принц бежал, будучи утрачен портретом, который ему показал Крейслер. Ну, как бы там ни было, Крейслера больше здесь нет и кризис принцессы миновал! Поверьте, ваша светлость, если бы Крейслер оставался здесь, в груди принцессы вспыхнуло бы пламя страстной любви к нему, и она предпочла бы лучше умереть, чем отдать свою руку принцу. Теперь все складывается совершенно иначе: принц Гектор возвращается сюда, и брак его с принцессой вознаградит нас за все заботы.

-- Скажите! -- воскликнул князь гневно. -- Скажите, Бенцон, какова наглость презренного музыканта! В него влюбится принцесса, из-за него отвергнет предложение прекраснейшего принца! Ah, le coquin! [*Праведное небо!* -- *фр.*] Теперь я понимаю вас, мейстер Абрагам, вполне понимаю! Вы должны раз навсегда избавить меня от этого злополучного человека!

-- Излишни всякие меры, которые мог бы по этому поводу предложить мудрейший мейстер Абрагам, -- возразила советница, -- должные предосторожности уже приняты. Крейслер находится в аббатстве Канцгейм, и, как мне пишет аббат Хризостомус, вероятно, отречется от мира и вступит в орден. В удобную минуту я уже сообщила об этом принцессе, и, так как она не выказала при этом никакого особенного волнения, можно поручиться, что опасный кризис миновал.

-- Чудная, прекрасная женщина! -- воскликнул князь. -- Какое великодушие выказываете вы по отношению ко мне и к моим детям! Как неукоснительно печетесь вы о благе и процветании моего дома!

-- В самом деле? -- сказала Бенцон с горечью в голосе. -- Я забочусь о вас? Я всегда могла заботиться о ваших детях?

Бенцон произнесла последние слова с особенным выражением, князь молча посмотрел перед собой и поиграл перстами сложенных рук. Потом он тихонько пробормотал:

-- Анжела! Все еще нет никаких следов? Неужели она исчезла навсегда?

-- Да, -- отвечала Бенцон, -- и я опасуюсь, что несчастный ребенок сделался жертвой какой-нибудь гнусности. Говорили, будто бы видели ее в Венеции, но это, вероятно, ошибка. Признайтесь, князь, с вашей стороны было жестоко, бессердечно оторвать ребенка от груди матери и отправить его в безутешное изгнание! Никогда не могла я залечить рану, нанесенную вами так хладнокровно!

-- Бенцон, -- проговорил князь, -- разве я не назначил вам и ребенку ежегодную солидную пенсию? Мог ли я сделать что-нибудь еще? Если бы Анжела осталась с нами, я каждую минуту мог бы опасаться, что наши *faiblesses* [Слабости -- фр.] будут обнаружены, и спокойствие нашего дома будет нарушено самым неприятным образом! Вы знаете княгиню, добрейшая моя Бенцон! Вы знаете, что нередко у нее бывают странные причуды.

-- Значит, -- сказала Бенцон, -- ежегодная пенсия вполне вознаграждает мать за всю ее муку, за всю ее скорбь и тоску об утраченном ребенке? Нет, князь, можно было иным способом вознаградить и успокоить огорченную мать!

Князь был приведен в смущение взглядом Бенцон и тоном, которым она произнесла последние слова.

-- Достоинейшая женщина, -- начал он смущенно, -- к чему эти странные выдумки? Разве вы не уверены, что и для меня бесследное исчезновение нашей милой Анжелы в высшей степени неприятно и огорчительно? Должно быть, она теперь милая, приятная девица, ибо родилась она от прекрасных, изящных родителей.

Снова князь нежно поцеловал руку Бенцон, но советница быстро ее отняла и, устремляя на князя сверкающий пристальный взгляд, прошептала ему на ухо:

-- Признайтесь же, князь, вы поступили несправедливо, жестоко, когда настаивали на необходимости удалить ребенка. Ваша обязанность не отклонять теперь желание, исполнение которого я сочту до известной степени вознаграждением за все мое долгое горе!

-- Бенцон, -- возразил князь голосом, еще более тихим, чем прежде, -- добрая, милая Бенцон, быть может, наша Анжела еще найдется! Я предприиму героические меры, чтобы исполнить ваши желания, достоинейшая женщина! Я доверюсь мейстеру Абрагаму, я посоветуюсь с ним. Он разумный, опытный человек, быть может, он будет в состоянии оказать помощь.

-- О, да премудрый мейстер Абрагам! -- воскликнула Бенцон. -- Вы думаете, ваша светлость, что мейстер Абрагам в самом деле искренне расположен к вам и к вашему дому, что он захочет что-нибудь сделать для вас? И что может он разузнать об Анжеле, если все поиски, предпринятые в Венеции и Флоренции, оказались тщетными и, что хуже всего, если у него

похищено самое средство, с помощью которого он раньше умел раскрывать всякие тайны!

-- Вы говорите об его жене, -- проговорил князь, -- об этой злой волшебнице Кьяре?

-- Весьма возможно, -- возразила Бенцон, -- что она и не заслужила такого имени, быть может, это была просто вдохновенная женщина, одаренная высшими, таинственными силами. Во всяком случае, было несправедливо и бесчеловечно похищать у мастера его возлюбленную жену, с которой он сжился всем сердцем, так что она как бы сделалась частью его самого.

-- Бенцон, -- воскликнул князь, совершенно испуганный, -- Бенцон, я вас сегодня не понимаю! У меня голова идет кругом! Не сами ли вы были за удаление опасного существа, с помощью которого мастер легко мог овладеть всеми нашими тайнами? Не сами ли вы одобрили мое письмо к великому герцогу, где я представлял, что всякие волшебства давно запрещены в стране и что всякие лица, ими занимающиеся, должны быть до известной степени лишены свободы в виду интересов безопасности? Не из особенной ли милости по отношению к мастеру Абрагаму против этой загадочной Кьяры не было возбуждено судебного преследования? Ее просто взяли и без всякого шума посадили -- куда? -- я и сам не знаю, так как нимало этим не интересовался. Чем же меня можно упрекнуть во всем этом?

-- Прошу извинения, ваша светлость, вас можно упрекнуть в излишней поспешности. Но, да будет вам известно, князь! Мастер Абрагам знает, что Кьяру взяли по вашему желанию. Он кроток, он сдержан, но в груди его кипит горячее желание отомстить тому, кто отнял у него самое дорогое сокровище! И этому-то человеку вы хотите довериться, открыть свою душу?

-- Бенцон, -- проговорил князь, отирая крупные капли пота, выступившего на его лбу, -- Бенцон, вы окончательно испортите мне кровь, вы огорчаете меня неописуемым образом! Господи Боже, неужели князю позволительно допускать такое нарушение этикета! Неужели, черт побери... О, небо, я кажется начинаю клясться, как драгун, и это здесь, за чайным столом... Бенцон, зачем не сказали вы мне этого раньше? Он уже знает все! В рыбацьем домике в тот день, как я был вне себя по причине болезни принцессы, я раскрыл ему всю свою душу. Я говорил с ним об Анжеле, сообщил ему... Бенцон, это ужасно! J'etais un osel! Voila tout! [Я был... Вот и все! -- фр.]

-- А что же он? -- с усилием спросила советница.

-- Сколько мне помнится, -- продолжал князь, -- мастер Абрагам начал говорить о нашем прежнем *attachement* [*Привязанности* -- фр.], говорил, что я мог бы быть счастливейшим отцом, между тем как теперь я -- семьянин самый несчастный. Явственно помню кроме того, что, когда я кончил свою исповедь, он объявил с улыбкой, что ему уже все известно. "Я надеюсь, -- сказал он, -- что в весьма непродолжительном будущем разъяснится, куда исчезла Анжела: не одна тайна тогда раскроется, не один обман уничтожится".

-- Это сказал мейстер? -- спросила Бенцон дрожащим голосом.

-- Sur mon honneur [*Клянусь честью -- фр.*], -- ответил князь, -- он говорил именно так. Тысяча проклятий! Pardonnez moi [*Простите -- фр.*], Бенцон, меня душит гнев... Что если старик вздумает мне мстить! Бенцон, que faire? [*Что делать? -- фр.*]

Оба собеседника устремили друг на друга немой, вопрошающий взор.

-- Ваша светлость! -- тихонько прошептал камер-лакей, подавая князю чай.

Но князь воскликнул "Bete!" [*Скотина! -- фр.*] и, вскочив с своего места, вытолкнул из рук лакея поднос вместе с чашкой; все придворные в ужасе моментально выскочили из-за столов, карточная игра прекратилась, князь, кое-как овладев собой, с улыбкой пробормотал испуганной толпе "Adieu!" и направился вместе с княгиней во внутренние покои. На всех лицах явственно виднелся вопрос: "Господи, что же это означает? Князь уклонился от карточной игры, так долго и так конфиденциально говорил с советницей и, наконец, впал в страшный гнев!"

Что касается советницы, она даже и приблизительно не могла представить себе неожиданности, которая ждала ее дома, в боковом флигеле, примыкающем к главному зданию замка. Едва только она вошла в свою квартиру, как навстречу ей выбежала, совершенно вне себя, Юлия и...

Пишущий эти строки очень рад, что может рассказать обо всем происшедшем с Юлией во время княжеского чая, рассказать гораздо подробнее и полнее, чем рассказаны до сих пор другие факты этой несколько запутанной истории.

Нам известно, что Юлия получила позволение вернуться домой раньше обыкновения. Лейб-егерь факелом освещал ей путь. Однако не прошли они и нескольких шагов, как лейб-егерь остановился и высоко приподнял факел.

-- Что случилось? -- спросила Юлия.

-- А вы, фрейлейн Юлия, не заметили фигуры, прошмыгнувшей мимо нас? -- спросил в свою очередь лейб-егерь. -- Не знаю, право, сам, что и подумать: вот уже несколько дней, как здесь по вечерам бродит кто-то; судя по его таинственности, незнакомец замышляет что-то недоброе. Мы уж его подстерегали всеми способами, но он ускользает из рук и даже делается невидим, как призрак или как сам нечистый.

Юлия вспомнила о призраке, явившемся в окне павильона, и невольно вздрогнула, охваченная каким-то неприятным чувством.

-- Пойдем, пойдем поскорее дальше! -- воскликнула она, обращаясь к лейб-егерю.

Тот с улыбкой возразил, что фрейлейн нечего бояться: привидение может обидеть ее лишь в том случае, если свернет шею ему, лейб-егерю. Кроме того, это привидение, по всей видимости, имеет и плоть, и кровь, как все прочие честные люди, да притом еще и трусливо, как заяц.

Юлия отослала горничную, жаловавшуюся на головную боль и лихорадку, и без ее помощи надела на себя ночное платье.

Теперь, когда она была одна, в душе ее снова встало все, что говорила Гедвига. Юлия думала, что то состояние, в котором находилась Гедвига, было следствием болезненного возбуждения; однако вполне было очевидно, что самое болезненное возбуждение могло иметь какую-нибудь причину психического происхождения. Девушка с таким чистым, наивным сердцем, как Юлия, редко угадывает правду, видя перед собой такие случаи, где все запутано. Юлия решила, что принцесса проникнута по отношению к принцу Гектору тем ужасающим чувством страсти, которую она сама обрисовала, предчувствуя ее. Кроме того, Юлия решила, что Гедвига, бог знает каким образом, заподозрила принца в увлечении другой девушкой; по мнению Юлии, эта фантазия и произвела такое болезненное состояние.

-- Ах, -- сказала Юлия самой себе, -- добрая, милая Гедвига! Если бы только принц вернулся назад, ты скоро убедишься бы, что тебе нечего опасаться своей подруги!

Но в то самое мгновение, когда Юлия проговорила эти слова, в душе ее с ужасающей живостью встала мысль, что принц действительно ее любит. Ее охватила невыразимая тоска и как бы сознание неизбежной гибели. Снова вспомнилось ей странное впечатление, которое произвел на все ее существо взгляд принца, и она невольно вздрогнула. Вспомнила она о том мгновении, когда принц на мосту кормил лебедя, почти обнимая ее. Вспомнила все загадочные его слова, которые тогда не произвели никакого впечатления, но теперь показались очень многозначительными. Припомнился ей и страшный таинственный сон, когда ей приснилось, что принц сжал ее в крепких, железных объятиях, и как, проснувшись, увидела она в саду капельмейстера и почувствовала, что он защитит ее от принца.

-- Нет, -- громко воскликнула Юлия, -- этого не может быть! Сам адский дух возбудил во мне такие ужасные сомнения! Нет, ему не удастся завладеть мной!

При мысли о принце в душе Юлии поднимались чувства, которые казались угрожающими: взволнованная кровь прилиwała к ее щекам, и стыд овладевал ею до такой степени, что на глазах ее выступали слезы. Благо было скромной, сдержанной Юлии, что она еще могла заклинать злого духа, могла не впускать его в свою душу. Еще раз нужно заметить, что принц Гектор был красивейшим, элегантнейшим мужчиной. Его уменье нравиться основывалось на глубоком знании женского сердца, давшем ему возможность наполнить свою жизнь счастливыми приключениями: неудивительно, что молодая, неопытная девушка была испугана его победоносным взглядом и вообще его манерой держаться.

-- О, Иоганн, -- проговорила она с нежностью, -- добрый, чудный человек, окажи мне обещанную помощь! Заговори со мной своим небесным языком, в душе моей всегда готов отклик!

Открыв фортепьяно, Юлия начала петь и играть любимые свои композиции Крейсера. Музыка оказала на нее свое благотворное действие и унесла в светлые области, где не было ни принца, ни принцессы Гедвиги,

где не было ничего, способного своим болезненным характером возмутить душевный покой.

-- Теперь еще мою любимую канцонетту! -- проговорила Юлия и начала известную всем *Mi lagnero tacendo* [*Жалуюсь молча -- ит.*].

Эта ария удалась Крейслеру более, чем что-либо. Сладостная скорбь пламенной любви была выражена в простой мелодии с такой глубиной, с такой силой, что каждое чувствующее сердце поддавалось неотразимому обаянию. Юлия окончила, погрузившись всецело в воспоминание о Крейслере, она взяла еще несколько аккордов, казавшихся как бы эхом ее задушевных мыслей. Вдруг двери растворились, она оглянулась, и, прежде чем успела опомниться, принц Гектор был уже у ее ног и крепко сжимал обе ее руки. В страшном испуге она громко вскрикнула, но принц заклинал ее всеми святыми успокоиться и дать ему две минуты времени, чтобы он мог взглянуть на нее, чтобы он мог услышать ее небесный голос. В выражениях, продиктованных, по-видимому, самой безумной страстью, он стал говорить, что он любит ее, только ее, что мысль о браке с Гедвигой кажется ему ужасной, мучительной. Потому он и хотел бежать, но, побежденный страстью, которая может кончиться только со смертью, он вернулся назад, чтобы увидеть Юлию, поговорить с ней, сказать, что только она составляет для него и жизнь, и все, все!

-- Прочь от меня! -- воскликнула Юлия в смертельной тоске. -- Уйдите, принц, вы убьете меня!

-- Никогда! -- воскликнул принц, прижимая к своим губам руки Юлии и целуя их с бешеной страстью. -- Роковой миг, который должен решить вопрос жизни и смерти, настал... Юлия, неземное божество, можешь ли ты отвергнуть меня, ты моя жизнь, ты мое блаженство! Нет, ты любишь меня, Юлия, я это знаю, ты любишь меня, и райские двери открыты предо мной!

Принц обнял полуобезумевшую от страха и тоски Юлию и страстно прижал ее к своей груди.

-- Горе мне, несчастной! -- воскликнула она еле слышным голосом. -- Неужели никто не сжалится надо мной!

Вдруг за окном мелькнул блеск факела, и снаружи раздались голоса. Юлия почувствовала на своих губах горячий поцелуй... В то же мгновение принц исчез.

Вне себя выбежала Юлия навстречу матери, и та с ужасом выслушала от нее рассказ обо всем, что произошло. Бенцон начала всячески утешать свою дочь, говоря, что пристыдит принца и выведет его на чистую воду.

-- О, нет, -- воскликнула Юлия, -- не делай этого, мама! Я умру, если князь, если Гедвига узнают...

Рыдая, она спрятала свое лицо на груди матери.

-- Ты права, -- ответила Бенцон, -- ты справедливо рассудила, милое, славное дитя мое! Никто пока не должен знать, что принц здесь и что он преследует тебя своими ухаживаниями. Его соумышленники будут молчать поневоле, а что у него есть соумышленники, в этом не может быть ни малейшего сомнения: иначе он не мог бы оставаться здесь, в Зигхартсгофе, незамеченным, не мог бы и проникнуть в наш дом.

Удивительно, однако, каким образом принц мог ускользнуть отсюда, не встретившись ни со мной, ни с Фридрихом, светившим мне! Когда мы пришли, старик Георг спал очень неестественным сном. А где же Нанни?

-- В том-то и беда, что она больна, -- пролепетала Юлия, -- я должна была отослать ее.

-- Быть может, я ее вылечу! -- проговорила Бенцон, быстро отворяя дверь в соседнюю комнату.

Там стояла Нанни, совершенно одетая, и подслушивала разговор. В ужасе она упала на колени перед госпожой Бенцон.

Несколько вопросов советницы было вполне достаточно, чтобы узнать, что старый кастелян, которого считали таким преданным...

(М. прод.) ...должен был узнать! Муций, мой верный брат, мой закадычный друг скончался, вследствие жестокого поранения задней ноги. Глубоко поразила меня печальная весть: лишь теперь впервые я почувствовал, чем был для меня Муций! В следующую ночь, как я узнал, в погребе того дома, где жил мейстер, должны были совершиться похороны. Я обещал не только быть там в надлежащее время, но и позаботиться о яствах и напитках, дабы, по старому благородному обычаю, устроить заупокойную трапезу. На самом деле, весь следующий день я понемножку перенес в погреб весь свой богатый запас, состоявший из рыб, куриных костей и зелени. Для читателя, который жаден до мелочей и непременно желает в подробности узнать, как я достал напитки, я могу сообщить, что без всяких особых затруднений я получил их от знакомой служанки. Я ее частенько видел в погребе, навещал и в кухне; эта служанка питала исключительную симпатию ко всему нашему роду и в особенности ко мне: видаясь, мы постоянно играли самым приятнейшим образом. Она неукоснительно предлагала мне в виде угощения кусок чего-нибудь из съестного, и, хотя эти куски были менее лакомы, чем кушанья мейстера, однако я их всегда съедал из вежливости. Растроганная служанка приглашала меня к себе на колени и так нежно почесывала мне за ухом, что я представлял собой чистейшее воплощение блаженства. Когда теперь эта приятнейшая особа хотела вынести из погреба большой горшок с молоком, я, находясь в это время там же, самым вразумительным образом выказал ей мое живейшее желание получить молоко в собственное пользование.

-- Ах ты, потешный Мурр, -- сказала служанка (она, как и все, жившие по соседству, знала мое имя), -- ах, ты, потешный кот, уж верно ты хочешь угостить кого-нибудь, не один же ты выпьешь все это молоко! Ну, так и быть, возьми его себе, я достану другую крынку!

С этими словами она поставила горшок с молоком на землю и вышла из погреба, погладив меня по спине, причем я живописнейшими прыжками выразил ей свою радостную благодарность. Заметь при сем, юноша-кот: знакомство и даже сентиментально-фамильярное обращение с дружелюбной служанкой может быть столько же приятно, сколько и плодотворно для всех молодых людей нашего рода и нашего сословия! Около полуночи я спустился вниз и направился в погреб. Печальное, душу терзающее зрелище! В середине подвала лежал труп моего дорогого,

возлюбленного друга на катафалке, который состоял всего-навсего из пучка соломы (сообразно с простыми, скромными привычкам покойного). Все коты уже собрались; глубоко взволнованные, мы молчаливо пожали друг другу лапы, со слезами на глазах уселись вокруг катафалка и затаили плачевную песнь: раздирающие звуки с ужасающими раскатами грянули под сводами погребца. Это были печальнейшие, безутешные вопли, ни один человеческий орган не мог бы выразить такую страшную скорбь.

По окончании похоронной песни из круга присутствующих котов вышел весьма приличный юноша, одетый довольно нарядно -- в черное с белым. Ставши у изголовья покойника, он произнес речь, которую я привожу здесь целиком (хотя оратор сказал ее экспромтом, однако он мне сообщил ее письменно).

"НАДГРОБНОЕ СЛОВО ПАМЯТИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО СКОНЧАВШЕГОСЯ КОТА МУЦИЯ,

студента философских и исторических наук, сказанное верным его другом и собратом, котом Гинцманом, студентом поэзии и красноречия.

Дорогие скорбящие братья! Достославные, доблестные бурши! К вам взываю!

Что есть кот? Тленное существо, недолговечное, как и все, что рождается на земле! Если знаменитейшие врачи и физиологи справедливо утверждают, что смерть, которой подвержены все существа, заключается главным образом в полном прекращении всякого дыхания, тогда нет сомнения, что ваш честный друг, наш доблестный собрат, верный и мужественный сотоварищ в превратностях жизни, наш благородный Муций мертв! Вот, лежит он на земле, на холодной соломе, протянувши все свои четыре ноги! Сквозь уста, сомкнувшиеся навеки, не проскользнет даже самое слабое дыхание! Ввалились глаза, которые некогда блистали нежнейшим пламенем любви, а порою горели золотисто-зеленоватым огнем всепокрушающего гнева! Смертная бледность покрывает лицо его, бессильно повисли уши, повис его хвост! О, Муций, о, брат наш, куда же девались теперь твои беззаботные прыжки, твоя веселость, твоя приветливость, ясное, дружеское "мяу", веселившее все сердца, твое мужество, стойкость и острый рассудок? Все похитила мрачная смерть, и, быть может, теперь ты даже не знаешь, жил ли ты когда-нибудь или нет! А между тем ты был воплощением здоровья и силы, ты был настолько чужд всяких болезней, как будто ты должен был жить целую вечность! В часовом механизме твоего существа не повредилось ни одно колесико; ангел смерти занес свой меч над головой твоей не потому, что этот часовой механизм остановился и не мог быть больше заведен. Нет, враждебное начало ворвалось нагло в твой цветущий организм, обещавший долгую жизнь! Да, еще долго могли бы сиять дружелюбным огнем эти глаза, еще долго могли бы эти застывшие уста петь, улыбаясь, веселые песни, еще долго мог бы извиваться этот хвост, возвещая волнистыми движениями внутреннюю мощь, еще долго могли бы эти сильные, ловкие лапы упражняться в могучих прыжках! А теперь! Как может допускать природа,

чтоб то, что создавалось ею с таким трудом, разрушалось преждевременно! Или и вправду существует злой дух, именуемый случаем и деспотически-нагло вмешивающийся в те колебания, которым, соответственно с вечным природным принципом, подвержено всякое бытие? О, если бы ты, усопший брат, мог поведать об этом нам, огорченным, но еще полным жизни! Однако, дорогие собратья, не будем слишком долго останавливаться на таких глубокомысленных соображениях, обратимся лучше всем сердцем к скорби о преждевременно скончавшемся друге нашем Муций! Вошло в обычай, чтобы оратор, произносящий надгробную речь, излагал перед присутствующими полную биографию умершего, украшая ее хвалебными добавлениями и замечаниями. Такой обычай весьма хорош, ибо подобного рода речь в самых огорченных слушателях вызывает непобедимую скуку, доходящую до тошноты, -- тошнота же, по единогласному приговору всех знаменитых психологов, является лучшим лекарством от огорчения. Следственно, оратор исполняет таким путем сразу две обязанности: воздает усопшему достодолжную честь и утешает осиротевших друзей. Есть много примеров, свидетельствующих, что особы наиболее угнетенные уходили с похорон бодрыми и веселыми: радость по поводу избавления от необходимости слушать скучнейшую речь неволью заставляет забывать самую скорбь об утрате друга. Дорогие собратья! Охотно бы я последовал похвальному обычаю, охотно бы рассказал подробно биографию скончавшегося друга и собрата, прогоняя таким образом вашу котовскую печаль, но увы, увы! Дорогие, возлюбленные мои братья, я не солгу, если скажу вам, что, собственно, ничего я не знаю о рождении, воспитании и образовании покойного. Я должен был бы сочинять перед вами, что неуместно в виду нашего торжественного настроения и похоронной обстановки. Итак, не осудите, бурши: вместо длинной, скучной проповеди я скажу всего несколько слов о том, какой печальный конец был предназначен судьбой этому злополучному коту, лежащему перед нами в мертвенной неподвижности, и о том, какой это был славный, бодрый юноша во время своей недолгой жизни! Но, что же это! О, Небеса! Я сбиваюсь с тона, теряю красноречие, хотя и подвизаюсь в оном в качестве студента, с тем чтобы со временем, если угодно будет року, получить степень *professor poeseos et eloquentiae!*" [Профессором поэзии и красноречия -- лат.]

Гинцман умолк, пригладил правой лапой уши, лоб, нос и бороду, устремил на труп долгий и пристальный взгляд, откашлялся, еще раз провел по лицу лапой и продолжал в патетическом тоне:

"О, беспощадный рок! О, ужасная смерть! Зачем столь жестоко похищен тобою блаженной памяти юноша, скончавшийся во цвете лет? Братья, оратору не возбраняется повторять перед слушателями вещи, уже известные; посему еще раз скажу вам то, что вы уже знаете: усопший брат наш пал жертвой бешеной ненависти филистера-шпица. Вон там, на той крыше некогда мы веселились мирно и радостно, там звучали беззаботные песни, лапа в лапу и к груди грудь, мы там составляли одну нераздельную душу... Туда-то хотел наш друг взобраться, чтобы в тихом одиночестве

поскорбеть вместе с сеньором Пуффом, предаться воспоминаниям о минувших веселых днях, о прекрасных днях в Аранжуэце, но филистеры-шпицы, желавшие всячески воспротивиться возрождению нашего котовского союза, понаставили капканов во всех темных углах чердака, в один из них и попал кот Муций. Несчастный раздробил себе заднюю лапу и должен был умереть! Тяжелы и опасны те раны, которые наносятся филистерами, потому что оружие их -- тупое и зазубренное. Однако, обладая здоровой и крепкой натурой, покойный мог бы еще оправиться от опасных повреждений; но скорбь, глубокая скорбь, причиненная сознанием, что он пострадал от презренных шпицев, мысль о разбитой карьере, улыбавшейся раньше ему, мысль о позоре, испытанном нами, -- вот что подточило его организм! Повязки с себя он срывал! Лекарств не желал принимать! Говорят, он хотел умереть!"

При последних словах Гинцмана, не будучи в силах преодолеть бесконечную скорбь, мы все подняли такой жалостный визг, испустили такие пронзительные вопли, что сами скалы могли бы растрогаться. Когда мы понемногу утихли и успокоились, Гинцман продолжал с пафосом:

"О, Муций! Воззри на нас! Взгляни на слезы, проливаемые нами, услышь безутешные вопли -- в память о тебе раздаются они, наш усопший возлюбленный брат! Взгляни на нас сверху или снизу, как удобнее для тебя, будь духом своим между нами, если ты еще обладаешь каким-нибудь духом! Братья! Как было упомянуто, я умалчиваю о биографии покойного, ибо ничего по этой части не знаю, но тем живее встают в моей памяти превосходные душевные качества покойного, о них-то я вам и буду говорить, дабы вы, мои дорогие друзья, почувствовали во всем объеме ужасную потерю, понесенную вами вместе со смертью этого чудного кота! Внемлите, о юноши, и никогда не уклоняйтесь со стези добродетели! Немногие в жизни являются тем, что представлял из себя Муций, этот достойный член котовского общества, хороший и верный супруг, превосходный, любящий отец, ревностный поборник истины и справедливости, неутомимый благотворитель, опора бедняков, надежный друг в беде! Он был достойным членом котовского общества, ибо всегда выказывал склонность к прекрасному образу мыслей и был даже расположен к некоторому самопожертвованию -- в тех случаях, когда исполнялись его желания. Враждовал же исключительно против тех, кто противоречил ему и не хотел подчиняться его приказаниям. Он был хорошим и верным супругом, ибо он бегал лишь за теми кошками, которые были моложе и красивее его жены, и только в тех случаях, когда его к тому влекла непреодолимая страсть. Он был превосходным отцом, ибо никогда не слышно было, чтобы он пообедал кем-нибудь из своих юных котят, что нередко бывает с бессердечными, грубыми отцами нашего рода. Напротив, он бывал очень рад, что мать уносила их с глаз долой, после чего он никогда больше не интересовался их судьбой. Он был ревностным поборником истины и справедливости, ибо готов был отдать за них жизнь свою, но, зная, что жизнь дается однажды, он нимало не беспокоился ни об

истине, ни о справедливости. Он был неутомимым благотворителем, опорой бедных, ибо неукоснительно в первый день каждого нового года он сносил на двор для бедных братьев-котов маленький селедочный хвостик или две-три сублильных косточки. Исполнив таким образом обязанности кота-филантропа, он сердито ворчал на всех, кто в нужде своей требовал от него большого. Он был верным другом в беде, ибо, попадая в какую-нибудь беду, он не забывал даже о тех друзьях, которыми раньше совершенно пренебрегал. Усопший брат, что должен я еще сказать о твоём героическом мужестве, о твоём благородном, изысканном вкусе ко всему высокому и прекрасному, о твоей эрудиции, о твоём эстетическом, чувстве, о всех тех многосложных, разнородных добродетелях, которые соединились в лице твоём? Зачем говорить, зачем увеличивать нашу и так превеликую скорбь, скорбь о твоей безрадостной кончине! Друзья, огорченные братья! Да будет усопший примером для нас, приложите все наши силы к тому, чтоб идти по его благородным стопам, к тому, чтоб сравняться с ним в совершенстве, -- и в смерти тогда мы найдем такой же глубокий покой, -- невозмутимый покой истинно мудрого мужа-кота, полного всех добродетелей! Взгляните вы только, как он безмятежно лежит, не двинется с места, не шевельнет своей лапкой, не улыбнется довольной улыбкой, услышав мои похвалы! Знайте, скорбящие братья, что даже и брань не возмутила бы нисколько его безучастья! Мало того, если б даже сюда, в мирный наш круг, ворвался филистер, презренный, губительный шпиц, усопший не стал бы ему в стремительном гневе царапать глаза, не возмутился бы он и тогда в своём безмятежном, глубоком покое!

Наш друг, наш превосходный Муций -- теперь превыше всех похвал и порицаний, превыше всех насмешек, издевательств и вражды, всей суеты житейской; нет более для друга у него ни приветливой улыбки, ни пламенных объятий, ни честного лапопожатия, но также нет и для врага ни острых зубов, ни когтей! В силу своих добродетелей, он достиг покоя, которого тщетно искал при жизни! Правда, мне представляется, что все здесь собравшиеся и трогательно оплакивающие друга должны прийти к состоянию этого покоя, даже и не будучи подобными ультрадобродетельными котами; следовательно, должен быть какой-нибудь иной мотив, побуждающий нас к добродетели, но это мысль, которую я предоставляю собственной вашей обработке. Что касается меня, я, собственно, хотел бы глубоко внедрить в ваше сердце желание научиться умирать героически, как Муций. Но, пожалуй, вы представите мне ряд серьезных возражений. Вы можете, чего доброго, сказать, что, напротив, покойный должен был научиться большей осторожности, дабы не попасть в капкан и не умереть преждевременно. Сверх сего припоминаю еще, как один весьма юный котенок, услышав увещания учителя, что кот всю свою жизнь должен готовиться к тому, чтоб умереть, -- крайне пренебрежительно заявил: "Это, должно быть, совсем нетрудно, ибо каждому удастся сразу! Итак, омраченные юноши, посвятим несколько мгновений безмолвному созерцанию!"

Гинцман умолк и опять провел правой лапой по ушам и по лицу, потом, закрыв глаза, по-видимому, погрузился в глубокую задумчивость. Наконец, сеньор Пуфф, видя, что это длится слишком долго, толкнул его и тихонько сказал: "Гинцман, да ты, брат, кажется, заснул. Кончай поскорей свою речь, мы все дьявольски проголодались". Гинцман воспрянул духом и, приняв ораторскую осанку, продолжал:

"Возлюбленные братья! Я надеялся уловить в уме своем еще несколько высоких мыслей, которыми бы можно было блистательно закончить сию речь, но мне ничего не приходит в голову -- думаю, что великая скорбь, которую я пытался ощутить, несколько притупила мой мозг. Итак, да будет считаться законченным надгробное мое слово, которому вы никак не можете отказать в заслуженных похвалах. В заключение грянемте теперь *De* или *Ex profundis!*" ["Из бездны" -- лат.]

Так кончил свою речь этот учтивейший юноша-кот. В риторическом отношении она показалась хорошо сочиненной и эффектной, но в других отношениях я нашел в ней много недостатков. Именно, мне показалось, что Гинцман был побуждаем не столько скорбью о печальной кончине несчастного Муция, сколько желанием выказать свой блестящий ораторский талант. Все сказанное мало подходило к характеру друга Муция, честного, доброго и простого. Кроме того, самые похвалы Гинцмана были весьма двусмысленны, так что в глубине сердца речь его мне совсем не понравилась, и я был пленен только ораторским изяществом Гинцмана и его, действительно, сильной, выразительной декламацией. Сеньор Пуфф был, по-видимому, одного со мной мнения: мы обменялись с ним взглядами, свидетельствующими общность впечатления, вызванного в нас речью Гинцмана.

Согласно с концом речи, мы затянули *De profundis*. Эта песнь звучала, кажется, еще более скорбно, еще более раздирательно, чем тот зауспокойный гимн, который мы пропели перед началом речи. Давно известно, что певцы нашей котовской породы, будучи обуреваемы какой-либо скорбью, будь то безутешная мука страстной, несчастной любви или печаль о дорогом существе, навеки утраченном, -- имеют способность выражать эту скорбь с такой подавляющей силой, что даже холодный, бесчувственный человек бывает глубоко потрясен звуками котовских песен и облегчает взволнованную грудь загадочными, странными проклятиями. Окончив *De profundis* мы подняли труп покойника и похоронили его в углу погреба.

Но в это мгновение произошло нечто, явившееся самым неожиданным и самым трогательным моментом во всем погребальном торжестве. Три молодые кошечки, прекрасные, как день, грациозно подскочили к отверзтой могиле и устремили туда целый дождь из трав картофеля и петрушки, собранных заблаговременно в огороде. В то же самое время одна, более зрелая кошка запела простую, сердечную арию. Мотив показался мне знакомым. Если не ошибаюсь, оригинальный текст песни начинается словами: "О, сосна! Сосна! Сосна!" Сеньор Пуфф шепнул мне

на ухо, что это дочери покойного, пожелавшие принять участие в печальном торжестве.

Я не мог отвести своих глаз от певицы. Она была обворожительна. Глубоко тронутый ее сладостным голосом и прелестной, печальной мелодией, я не мог удержаться от слез. Но скорбь, охватившая меня, была совсем особого рода, ибо она возбудила во мне сладчайшее душевное благополучие.

Короче говоря, все мое существо устремилось к певице, -- чудилось мне, что никогда я не видел столь привлекательной дамы кошачьей породы, никогда не встречал такого благородства в осанке и взгляде, такой чарующей, победоносной красоты!

Четыре здоровенных кота с великой тщательностью засыпали могилу Муция, нацарапав отовсюду песку и земли; похороны были окончены, и мы перешли к трапезе. Прекрасные дочери Муция хотели удалиться, но мы воспротивились этому: они должны были принять участие в поминальном обеде, и я обделал дело так искусно, что мне досталось вести к столу прекраснейшую девицу, равным образом мне пришлось и за обедом сидеть с ней рядом. Если раньше я был ослеплен ее красотой, очарован ее сладостным голосом, то теперь я был поражен ее светлым, ясным умом, сердечностью, нежностью чувств, неподдельной женственностью, озарявшей все ее существо и приводившей меня в состояние небесного блаженства. В ее устах решительно все принимало совершенно своеобразное очарование: разговор превращался в нежнейшую идиллию. Так, например, она с душевной теплотой говорила о некоей молочной каше, которую она не без аппетита ела за несколько дней перед смертью отца, и когда я сказал, что у моего мейстера отлично готовится такая каша и притом с доброй порцией масла, она взглянула на меня своими чудными зеленоватыми глазами, глазами невинной голубки, и спросила меня тоном, от которого дрогнуло мое сердце: "Правда, mein Herr? И вы также любите молочную кашу?" "С маслом!" -- повторила она потом задумчиво, как бы отдаваясь мечтательным снам. Кто не знает, что легкая мечтательность как нельзя более идет к красивой, цветущей девушке месяцев шести-восьми (приблизительный возраст моей красавицы); более того, полувоздушная тень мечтательности нередко делает ее совершенно неотразимой. Весь вспыхнув пламенем любви и страстно сжимая прелестную лапку красавицы, я громко воскликнул: "О, ангел, о, прелестное дитя, позавтракай со мной молочной кашей, и я не променяю своего блаженства ни на одно из благ земных!" Она казалась смущенной, краснея, опустила глаза, однако, оставила свою лапку в моей, что преисполнило меня блаженных надежд. Я слышал раз, как один старый господин, если не ошибаюсь, адвокат, говорил мейстеру, что молодой девице опасно оставлять свою руку в руке мужчины, ибо сей последний с полным правом может усмотреть в этом *traditio brevi manu* [*Вручение без церемоний -- лат.*] всей ее персоны и обосновать на этом всяческие притязания, которые можно отвергнуть лишь с большим трудом. Именно к таким притязаниям

возымел я охоту и только что хотел приступить к делу, как вдруг разговор наш был прерван тостом в честь усопшего.

Между тем три младшие дочери Муция привели всех котов в восхищение своей веселой непринужденностью и плутоватой наивностью. Уже одни яства и напитки, видимо, уменьшили скорбь: общество становилось все оживленнее и веселее. Зазвучал смех, посыпались шутки, и, когда обед был кончен, сам сеньор Пуфф, при всей своей солидности, предложил устроить танцы. Быстро все расчистили; три кота настроили свои глотки, и через несколько мгновений развеселившиеся дочери Муция мастерски кружились вместе с юными котами.

Ни на минуту я не покидал красотки; я попросил ее на танец, она мне протянула лапку, мы понеслись среди толпы. О, как волшебно касалось щек моих ее дыханье! Как трепетала грудь моя, касаясь ее груди! Как ласково своею лапой я обнимал ее чудесный стан! О, счастье, о, волшебный миг небесного блаженства!

Сделав два-три тура, я отвел прелестнейшую в угол погребца и сообразно с требованиями галантности предложил ей кое-какие фрукты и прохладительные напитки, все, что только я мог найти. Теперь-то я дал своим чувствам полную волю. Неоднократно прижав ее лапку к своим губам, я удостоверил ее, что был бы счастливейшим из смертных, если бы она захотела полюбить меня хоть немного.

-- Несчастный, -- проговорил внезапно чей-то голос как раз за моей спиной, -- несчастный, что ты делаешь! Ведь это твоя дочь Мина!

Я дрогнул, я узнал голос Мисмис! Какова капризная игра случая: в ту самую минуту, когда, по-видимому, я совсем забыл о Мисмис, я узнал то, о чем не мог и думать, узнал, что я влюблен в свое дитя! Мисмис была в глубоком трауре; я сам не знал, что подумать об этом.

-- Мисмис, -- проговорил я с нежностью, -- Мисмис, что привело вас сюда? Почему вы в трауре и... О, Боже, неужели эти девушки сестры Мины?..

Я услышал самые необычайные вещи! Мой ненавистный соперник, черно-серо-желтый кот, расстался с Мисмис немедленно вслед за поединком, во время которого он был поражен моим рыцарским мужеством; оправившись от своих ран, он скрылся неизвестно куда. Муций предложил ей свою лапу и получил ее согласие; умолчав передо мной об этих отношениях, он только доказал свою честность и деликатность. Наивные, веселые кошечки были сводными сестрами моей Мины!

-- О, Мурр, -- проговорила с нежностью Мисмис, рассказав мне обо всем этом, -- о, Мурр! Ваша чудная душа лишь немного заблуждалась относительно чувства, охватившего вас. Любовь нежнейшего отца, отнюдь не страсть любовника, проснулась у вас в груди, когда вы увидели нашу Мину. Наша Мина! О какое сладкое слово! Мурр! Неужели можете Вы оставаться совсем безучастным, неужели в душе у вас совсем угасла любовь к той, которая так сердечно вас любила, -- о небеса! -- так сердечно любит и теперь? Неужели у вас не осталось ни капли теплого чувства к той, которая была бы верна вам до гроба, если бы не вмешался презренный

обольститель, соблаздивший ее своими тайными чарами? О ничтожество! Имя твое есть кошка! Так думаете вы, я это знаю, но разве не должен истинно добродетельный кот простить слабую кошку? Мурр! Вы видите меня печальной, безутешной, согбенной под бременем утраты нежного третьего супруга. Но в самой безутешности вдруг вспыхнула опять любовь, которая когда-то являлась для меня и гордостью, и счастьем, и блеском моего существования! Мурр! Мурр, услышите же мое признание! Я вас еще люблю, и думается мне, что мы могли бы снова соединиться...

Рыдания заглушили ее голос.

Во время всей этой сцены состояние души моей было самое прескверное. Мина сидела, бледная и прекрасная, точно молодой, сейчас выпавший снег, который в осеннюю пору нередко целует последние цветы с тем, чтобы тотчас растаять, превратившись в горькую воду!

(Примечание издателя: Мурр! Мурр! Опять плагиат! В "волшебной истории Петера Шлемиля" герой книги описывает совершенно такими же словами свою возлюбленную, тоже именуемую Миной.)

Безмолвно созерцал я и мать, и дочь, последняя, однако, казалась мне гораздо более привлекательной, и так как в браках представителей нашей породы близкие родственные отношения отнюдь не являются каноническим препятствием... Должно быть, взгляд мой выдал меня: Мисмис, по-видимому, проникла в тайники моих помыслов.

-- Душегубец! -- воскликнула она, быстро подсакивая к Мине и бурно привлекая ее к себе на грудь. -- Душегубец! Что ты замышляешь? Ты хочешь отринуть от себя это любящее сердце и громоздить преступление на преступление!

Хотя я, собственно говоря, не понял совсем, на чем основываются притязания Мисмис и о каких преступлениях она говорит, однако, дабы не нарушать празднества, последовавшего за траурным торжеством, я счел за лучшее *faire bonne mine a mauvais jeu* [Сделать хорошую мину при плохой игре -- фр.]. Поэтому я сообщил Мисмис, которая была совершенно вне себя, что только несказанное сходство Мины с ней повлекло меня к заблуждению и заставило думать, что в груди моей вспыхнуло чувство, направленное в действительности всегда и неизменно на нее, на все еще прекрасную Мисмис. Немедленно осушив свои слезы, Мисмис уселась рядом со мной и начала такой дружеский разговор, как будто между нами никогда ничего не происходило. Тут еще подлетел юный Гинцман и ангажировал прелестную Мину... Можете себе представить, в каком мучительном положении я находился!

Я благословил судьбу, когда сеньор Пуфф подошел и пригласил Мисмис на последний танец; иначе каких странных предложений могла бы она еще наделать мне! Незаметным образом потихоньку и полегоньку я улизнул из погреба, думая про себя: "Утро вечера мудренее!"

На это погребальное торжество я смотрю, как на поворотный пункт, заключающий месяцы моего учения. После этого я вступил в совершенно иной круг жизни.

(Мак. л.) ...заставило Крейсlera отправиться в покои аббата в столь ранний час. Святой отец, с топором и долотом в руках, суетился около большого ящика, в котором, судя по его форме, была запакована картина.

-- А, капельмейстер, добро пожаловать! -- воскликнул аббат при входе Крейсlera. -- Вы можете оказать мне помощь в хлопотливой, трудной работе. Ящик заколочен бесчисленным количеством гвоздей, как будто он должен был целую вечность оставаться невскрытым. Я получил его прямым трактом из Неаполя. В нем находится некая картина, я хочу ее повесить в своем кабинете и до поры до времени не показывать никому из братии. Потому-то я никого и не позвал помочь мне. Но вы, капельмейстер, должны оказать мне помощь.

Крейслер принялся за работу, и, немного спустя, из ящика была вынута большая прекрасная картина в роскошной золоченой раме. Крейслер удивился, увидя, что из кабинета аббата вынесена прелестная картина Леонарда да Винчи, изображающая Святое семейство; раньше она всегда висела в кабинете, над маленьким алтарем. Аббат считал эту картину одним из лучших сокровищ своей богатой коллекции произведений старых мастеров, и, однако же, она должна была уступить место другой картине, красота которой и необычайная оригинальность поразили Крейсlera с первого взгляда.

С помощью Крейсlera аббат повесил картину на стену, укрепив ее винтами; став после этого в должную позицию, он начал смотреть на нее с таким внутренним удовлетворением, с такой нескрываемой радостью, что, по-видимому, кроме мастерского исполнения, картина имела еще особый тайный интерес.

Сюжетом произведения являлось чудо. Озаренная лучами небесного сияния, виднелась Пресвятая Дева; в левой руке она держала ветку лилии, а двумя средними пальцами правой руки касалась обнаженной груди юноши, и видно было, как сочилась густая кровь из отверзтой раны. Наполовину приподнявшись с своего ложа, юноша как будто только что пробудился от смертного сна, еще он не открыл своих глаз, но блаженная, разлитая по его прекрасному преображенному лицу улыбка свидетельствовала, что он видит Матерь Божию в каком-то чудном сне, что боль от раны ослабела, что смерть над ним уже не властна.

Каждый знаток поразился бы правильностью рисунка, искусной группировкой лиц, умелым распределением света и тени, манерой схватить характер величественности в одежде, возвышенной грацией фигуры Пресвятой Девы, в особенности же живостью красок, столь редкой в произведениях современных художников. Но более всего яркий гений артиста сказался в манере передавать выражение лиц. Пресвятая Мария представляла собой прелестнейшую, грациознейшую женскую фигуру, какую только можно где бы то ни было встретить; и в то же время на ее высоком челе виднелось что-то небесное, величественное, повелительное; в ее темных глазах сияло неземное кроткое блаженство. Точно так же и небесное очарование юноши, вновь пробудившегося к жизни, было изображено с необычайной силой творчества. Крейслер не знал

решительно ни одной современной картины, которую можно бы было поставить вровень с этой; он сообщил свою мысль аббату, подробно распространяясь о всех красотах произведения.

-- Видите ли, капельмейстер, это имеет свои особые причины, -- проговорил с улыбкой аббат. -- С нашими молодыми художниками происходит странная вещь, они штудируют и штудируют, сочиняют и рисуют, истребляют полотна и картоны -- и все толку мало: в конце концов получается нечто мертворожденное, что никак не укладывается в рамки жизни. Вместо того чтобы выбрать за образец какого-нибудь великого мастера и, тщательно копируя его, стараться проникнуть в его своеобразный гений, они желают сами с первого абцуга сделаться такими же мастерами и создавать нечто подобное знаменитым художественным произведениям; при этом, естественно, они впадают в жалкую, чисто внешнюю подражательность -- все равно, как если бы кто-нибудь, желая подражать великому человеку, стал так же, как он, горбиться, кашлять, картавить... Нашим молодым художникам недостает истинного вдохновения, которое вызывает творческий образ из глубины души во всем его лучезарном жизненном блеске. Нередко можно видеть, как тот или другой из этих несчастных напрасно тиранит себя, чтобы прийти в то возвышенное состояние духа, без которого не может быть создано ни одно истинно-художественное произведение. Но не вдохновение владеет современными художниками, а странная смесь надменного самопреклонения и трусливого, мелочного, рабского подражания классическим образцам. Поэтому нередко образ, который мог бы явиться в полном блеске жизненности, имеет у них вид какого-то ничтожного обрывка. Наши молодые живописцы никогда не могут дойти до ясного внутреннего созерцания задуманного образа, и потому им никак не удается создать в картине достодолжный колорит, хотя бы все остальное им и удалось. Словом, они умеют вырисовывать, но не умеют творить. Неверно, будто бы это происходит оттого, что художники наши ленятся и утратили знание красок. Что касается последнего обстоятельства, оно немыслимо уже потому, что живопись, с самого начала христианской эры, строго говоря, с самого момента ее истинного зарождения, постоянно шла вперед, давая целый ряд учителей и учеников; многое, понятно, с течением времени менялось, но приемы чисто механические остались по существу те же и отнюдь не пришли в упадок. Относительно же упрека в лености можно сказать, что недостатком современных художников является скорее излишек прилежания. Я знаю, например, одного молодого живописца, который, начав картину, перерисовывает ее снова и снова, пока, наконец, все не сольется в одну сплошную бесформенную массу какого-то свинцового цвета; картина является, таким образом, как бы олицетворением известной мысли, которая никак не может принять реальных жизненных очертаний. А вы посмотрите сюда, капельмейстер, вот картина, где каждая черта дышит, живет и почему? Потому что она является созданием истинного вдохновения, соединенного с религиозным чувством! Вам, конечно, понятно чудо, изображенное здесь. Юноша,

совершенно беззащитный, поднимаясь со своего ложа, застигнут убийцами и поражен ими насмерть. Он, раньше всегда бывший богохульником, безумно всегда презиравший все веления церкви, воззвал о помощи к Пресвятой Деве Марии, и Божия Мать услышала его, и ей благоугодно было пробудить его от смертельного сна с тем, чтобы он снова жил, чтобы понял свои заблуждения и, исполненный набожных чувств, отдал свои силы на служение церкви. Этот самый юноша, столь чудесно спасенный милосердием Неба, нарисовал данную картину, столь поразившую вас.

Крейслер выразил крайнее удивление по поводу всего, что рассказал аббат. Он присовокупил при этом, что хорошо было бы, если бы и теперь продолжали совершаться подобные чудеса.

-- Так, значит, и вы, любезный Иоганн, -- кротко и добродушно возразил аббат, -- значит, и вы придерживаетесь безумного заблуждения, что врата небесной благодати замкнулись ныне навсегда, что сострадание и любовь, о которых с тоской молит гибнущий, никогда уже больше не являются в образе какого-нибудь святого, приносящего мир и утешение. Поверьте мне, Иоганн, чудеса никогда не оскудевают, только человеческие взоры ослепли во мраке греховных заблуждений и не в силах уже больше выносить небесное сияние, не в силах лицезреть благодать Вечного Духа, проявляющуюся самым очевидным образом. Но, милый мой Иоганн, самые непостижимые. Божественные чудеса происходят в тайниках души человеческой, и кто их пережил, тот должен громко возвещать о них, как может: в слове, в звуках, в красках. Таким-то образом монах-художник, нарисовав эту картину, прекрасно возвестил о чудесном своем обращении; таким же образом, Иоганн, -- мне хочется от всей души сказать вам это -- и вы в волшебных звуках возвещаете дивное чудо познания, озаряющего небесным светом вашу взволнованную душу. И разве то, что вы властны сказать это светлыми звуками, не является благим неземным чудом, ведущим вас к спасению?

Крейслера необычайно тронули слова аббата, он вдруг почувствовал глубокую веру в свой творческий талант, сладостное чувство наполнило его сердце.

Между тем он не отрывал глаз от чудной картины. Но подобно тому, как мы часто, будучи поражены сильными световыми эффектами, помещенными на переднем или среднем фоне, не замечаем с первого взгляда фигур, поставленных на заднем фоне, видных нам лишь позднее, Крейслер только теперь заметил на картине темную фигуру, закутанную в длинный плащ и убегающую через дверь; в руках убийцы сверкал кинжал, озаренный небесным лучом, сам же он, убегая, оглянулся назад, и лицо его приняло страшное выражение ужаса.

Как молния, поразила Крейслера мысль о необычайном сходстве лица убийцы с лицом принца Гектора; кроме того, ему показалось теперь, что и выздоравливающего юношу он видел где-то, хотя мельком. Какая-то странная боязнь, непонятная ему самому, удержала его от желания сообщить эту мысль аббату. Он спросил его только, не находит ли он

неподобающим, неприличным, что художник поместил на картине разные принадлежности современного костюма, хотя и в тени.

Действительно, на переднем фоне картины виднелся в тени, столик, рядом с ним стул, на спинке которого висела турецкая шаль, на столике же виднелась офицерская фуражка с султаном и сабля. На юноше была современная рубашка, жилет, застегнутый доверху, и темный, тоже наглухо застегнутый, сюртук, покроем которого, однако, был очень живописен. Одевание Мадонны напоминало картины лучших старых мастеров.

-- Я не вижу во всем этом решительно ничего шокирующего, -- возразил аббат на вопрос Крейсера, -- напротив, я думаю, что, если бы художник, хотя в частностях, уклонился от истины, он доказал бы этим, что не Божественной благостью он руководится, а мирской суетностью. Он должен был представить чудо так, как оно произошло, правдиво передать место, обстановку, одежду изображаемых лиц; всякий с первого взгляда должен видеть, что чудо произошло в наши дни, и картина набожного монаха является, таким образом, прекрасным трофеем торжествующей церкви в эти дни неверия и развращенности.

-- И однако же, -- проговорил Крейслер, -- эта фуражка, сабля, шаль, стол, стул -- словом, все это производит на меня какое-то отталкивающее впечатление; мне кажется, что художник поступил бы очень благоразумно, если бы удалил с картины все, что в ней нарисовано на переднем фоне, и, кроме того, сам, сняв с себя сюртук, надел какое-нибудь драпировочное одеяние. Согласитесь, досточтимый отец, можете ли вы представить себе лиц из Священного Писания в современных костюмах. Разве все это не показалось бы вам возмутительной профанацией? И однако же старые мастера, в особенности немецкие, беря сюжетом библейские и евангельские сцены, всегда рисовали костюмы своей эпохи; существует мнение, что те одежды были живописнее, пригоднее для целей художника, нежели современные, нелепые и совершенно не эстетические, но это ошибка, многие старые моды доходили до крайних преувеличений, можно сказать, до чудовищности. Вспомните высокие башмаки с кривыми загнутыми носками, оттопыривающиеся шаровары, куртки с разрезными рукавами; женские одежды были еще безобразнее: на многих старых картинах мы видим, что молодая, цветущая, прекрасная девушка имеет вид старой, суровой матроны, и все это благодаря одному платью. Однако же картины эти никому не казались шокирующими.

-- Видите ли, любезнейший мой Иоганн, -- возразил аббат, -- я могу в немногих словах объяснить вам разницу между прежним временем, исполненным религиозности, и теперешним, гораздо более развращенным. Раньше образы Священной истории так глубоко коренились в жизни человека, так всецело проникали ее, что каждый как бы видел чудеса перед собой, ежедневно на глазах у каждого чудеса как бы совершались вновь, свидетельствуя о славе Господней. Таким образом для религиозного живописца события Священной истории, к которым он был обращен всем сердцем, совершались в современной для него обстановке; царство

благости совершалось среди людей, которых он всегда видел, и то, что созерцал, он тотчас заносил на полотно. В наши дни события Священной истории далеки от нас, они уже являются для нашего ума, как слабое воспоминание о далеком прошлом. Напрасно борется с самим собой художник, желая достичь ясного созерцания задуманных образов: он не в силах этого сделать, так как светские влияния испортили его, хотя, быть может, он сам того не сознает. Но объяснять невежеством манеру старых мастеров рисовать современные им костюмы так же нелепо и смешно, как в наше время достойно смеха стремление молодых художников, беря сюжеты из Священного Писания, рисовать средневековые костюмы, безвкусные и странные; этим они показывают только, что образы, которые они хотят создать, не представляются им в сфере действительности, а просто являются результатом подражания образцам старого искусства. Итак, любезный Иоганн, реальная обстановка нашей жизни -- слишком пошлая, она идет решительно в разрез с чудесными легендами, мы никак не можем представить себе эти чудеса совершающимися среди нас; потому-то изображение подобных сцен наряду с изображением современной обстановки, кажется нам безвкусным, нелепым, даже кошунственным. Но раз Высшей Силе угодно, чтобы среди нас свершилось чудо, нельзя допускать изменений в костюме. Отлично, повторяю я, вполне уместно и похвально поступил автор этой картины, сделав явное указание на современную действительность, именно те самые предметы, которые шокируют вас, любезный Иоганн, наполняют меня священным трепетом. Мне чудится, что я сам был в этой тесной комнатке, в Неаполе, где, два года тому назад, совершилось чудесное пробуждение этого юноши.

Слова аббата вызвали в уме Крейслера самые разнородные суждения. Во многом он должен был с ним согласиться. Однако, ему показалось, что, говоря о высокой религиозности старого времени и развращенности нового, аббат выказал себя чересчур монахом, выказал излишнюю склонность к нездоровому культу предзнаменований, чудес, болезненного экстаза, -- всего того, в чем вовсе не нуждается набожный, детски-верующий христианин.

Однако все свои соображения Крейслер сберег про себя и продолжал безмолвно созерцать картину. Но при ближайшем рассмотрении физиономия убийцы все более и более убеждала Крейслера, что живым оригиналом этой фигуры был не кто иной, как принц Гектор.

-- Досточтимый отец, как будто бы я вижу там, на заднем фоне, удалого вольного стрелка, который охотится за благороднейшим животным, именно за человеком. На этот раз он взял прекрасную заостренную рогатину и метко попал в цель. С огнестрельным оружием он обращается, очевидно, гораздо хуже, так как недавно он дал чертовски скверный промах по весьма прекрасному оленю. Мне очень хочется поразузнать, хотя бы в беглом эскизе *curriculum vitae* [Жизнеописание -- лат.] этого решительного и почтенного мужа!

-- Оставьте это пока, капельмейстер, -- сказал аббат. -- В скором времени для вас ясно станет многое, что теперь находится под покровом

неизвестности. Многое вас должно обрадовать, я хорошо вижу это теперь. Странно, очень странно, что в Зигхартсгофе находятся относительно вас в большом заблуждении. Кажется, один только мастер Абрагам хорошо понимает вас.

-- Мастер Абрагам! -- воскликнул Крейслер. -- Разве вы знаете этого старика?

-- Вы забываете, что наши прекрасные органы обязаны мастеру своей новой, отличной структурой, -- с улыбкой проговорил аббат. -- Но будет об этом! Подождите только терпеливо, пусть все пойдет собственным течением.

Крейслер распротился с аббатом. Ему захотелось пойти в парк, чтобы разобраться в мыслях, которые смутно поднялись в его душе. Но, едва сойдя с лестницы, он услышал за собой возглас: "Domine, domine, capellmeister! paucis te volo!" [*Господин, господин капельмейстер, на минутку!* -- лат.]

Это был патер Гилариус, сообщивший, что он с нетерпением ожидал конца продолжительной конференции, наконец-то он видит опять своего капельмейстера, Крейслер обязательно должен отправиться с ним немедленно и осушить перед завтраком бокал превосходного старого вина, только что вынесенного из погреба для разливки; вино чудное, благородное, огнистое, сердцекрепительное -- словом, как раз пригодное для истого музыканта и композитора.

Крейслер по опыту знал, что напрасно было бы стараться уйти от вдохновенного патера Гилариуса; кроме того, стакан доброго вина казался ему совсем не лишним при том настроении, в котором он находился. Последовав за радостным монахом в его комнату, Крейслер увидел уже приготовленную бутылку с благородным напитком: она стояла на маленьком столике, покрытом чистой салфеткой. Тут же виднелись свежеиспеченный белый хлеб, соль и тмин.

-- Ergo bibamus! [*Итак, выпьем!* -- лат.] -- возгласил патер Гилариус, налил нарядные бокалы зеленого стекла и дружески чокнулся с Крейслером.

-- Не правда ли, -- начал он, когда бокалы были выпиты, -- не правда ли, капельмейстер, наш досточтимый отец охотно бы завербовал вас в длинную рясу? Не делайте этого, Крейслер! Мне хорошо в клобуке, ни за что не хотел бы я снять его снова, но -- *distinguendum est inter et inter!* [*Практически непереводаемая латинская идиома, переданная монастырской так называемой кухонной, то есть сильно искаженной латынью; приблизительный перевод: "Что подходит одним, не годится для других", "нет общности среди разных мнений" и т. п.* -- лат.] Для меня добрый стакан вина и хорошее церковное пение -- целый мир; но вы, вы... Вы предназначены совсем другому, вам жизнь еще смеется, вам блещут не церковные свечи, а совсем иные огни! Словом, Крейслер, чокнемся! Vivat девица, избранница вашего сердца. Знайте, когда будет ваша свадьба, Негг аббат очень рассердится, но тем не менее не преминет послать вам через меня лучшего вина, какое только найдется в наших подвалах!

Крейслера неприятно поразили слова патера Гилариуса: это было такое ощущение, какое мы испытываем, если кто-нибудь грубыми, неловкими руками прикоснется к нашим нежным, чутким струнам.

-- Чего только вы не знаете, сидя в своих четырех стенах! проговорил Крейслер, отнимая свой бокал.

-- Domine, -- воскликнул патер Гилариус, -- Domine Kreislere [*Господин, господин Крейслер -- лат.*], не сердчайте! Video mysterium [*Вижу тайну -- лат.*], но молчу, молчу! Если вы не хотите... Ну, что говорить! Давайте-ка позавтракаем in camera et faciemus bonum cherubim и bibamus [*В келье и славно подзаправимся и выпьем -- лат.*] за то, чтобы Господь сохранил по-прежнему покой и благолепие, царившие до сих пор в нашей обители.

-- А разве нам что-нибудь угрожает? -- спросил Крейслер с напряженным вниманием.

-- Domine, -- тихонько сказал Гилариус, конфиденциально склоняясь к Крейслеру, -- Domine dilectissime! [*Любезнейший господин! -- лат.*] Вы долго прожили у нас и достаточно сами знаете, как велико согласие, в котором мы здесь все живем, как самые разнородные наклонности братии соединяются в одном чувстве общего благодушия. Причиной тому служат и самая местность, и отсутствие строгости в монастырском уставе, и образ жизни, которого мы придерживаемся. Быть может, мы слишком долго вкушали мир. Узнайте, Крейслер! Сюда только что прибыл отец Киприанус, его ждали, и теперь он здесь, с лучшими рекомендациями из Рима. Это совсем еще молодой священник, но на его исхудавшем, неподвижном лице нет ни малейшего проблеска добродушия; напротив, суровые, мрачные черты говорят о неумолимой строгости аскета, достигшего высших ступеней самоистязания. Притом во всех его манерах сквозит полное презрение к тому, что его окружает, которое, правда, проистекает, быть может, из сознания духовного превосходства. В немногих беглых словах он уже расспросил о монастырском уставе и, по-видимому, остался крайне недоволен нашим образом жизни. Вот увидите, Крейслер, этот пришлец перевернет вверх дном все порядки, с которыми мы так сжились! Вот увидите, nunc probo! [*Теперь я докажу! -- лат.*] Те из братии, кто склонен к строгому образу жизни, легко могут примкнуть к нему; против аббата может образоваться партия, и тому придется сдаться, так как я уверен, что отец Киприанус, просто-напросто эmissар Его Святейшества папы, воле которого аббат должен подчиняться. Крейслер, что будет тогда с нашей музыкой, что будет с вашим пребыванием здесь? Я говорил ему о нашем хоре, так хорошо организованном, о том, что мы отлично можем исполнять произведения величайших авторов, но мрачный аскет страшно нахмурился и сказал, что подобная музыка прилична среди мирской суеты, а не в церкви, откуда ее вполне справедливо хотел совершенно изгнать папа Марцеллус Второй. Per Diem, если у нас таким образом не будет хора, да, кроме того, закроят и подвалы с вином, тогда... Но пока -- bibamus! До поры до времени можно отрешиться от всяких забот ergo gluc-gluc [*Ради выпивки -- лат.*].

Крейслер подумал, что, быть может, новый пришлец гораздо менее строг, чем кажется, что вряд ли аббат со своим твердым характером подчинится так легко воле пришедшего монаха, тем более, что у него самого нет недостатка в важных влиятельных связях в Риме.

В это мгновение зазвонили колокола, возвещая, что начинается процессия торжественного принятия брата Киприануса в орден святого Бенедикта.

Крейслер отправился к церкви вместе с патером Гилариусом, который еще раз опрокинул бокал с боязливым *bibendum quid* [*Выпиваем во здравие -- лат.*]. Они пошли по коридору, через окна были видны внутренние покои аббата.

-- Смотрите, смотрите! -- воскликнул патер Гилариус, подводя Крейсlera к углу одного из окон.

Крейслер посмотрел туда и увидел в покоях аббата монаха, с которым аббат, весь покрасневшись, говорил с необычайным оживлением. Потом аббат преклонился перед монахом, и тот благословил его.

-- Ну, разве я был не прав, -- тихонько прошептал Гилариус, -- ведь я говорил, что в этом монахе что-то особенное, необычайное.

-- Да, да, -- ответил Крейслер, -- этот Киприанус представляет собой нечто незаурядное, и я буду очень удивлен, если в скором времени не обнаружится кое-что.

Патер Гилариус направился к собравшимся монахам, чтобы присоединиться к процессии, в которой братия несла крест, а лица, непричастные монастырю, шли с хоругвями и свечами.

Когда аббат проходил вместе с прибывшим монахом как раз около Крейсlera, этот последний тотчас же заметил, что брат Киприанус был именно тем юношей, который на картине пробуждается к жизни. Еще другая догадка внезапно осенила Крейсlera. Устремившись в свою комнату, он вынул маленький портрет, данный ему мейстером Абрагамом. Не было ни малейшего сомнения! Он увидел на портрете того же самого юношу, только еще более молодого и в офицерском мундире. Когда...

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

Благотворные последствия высшего образования. -- Месяцы полной возмужалости.

(М. прод.). Трогательная речь Гинцмана, зауспокойная трапеза, нежная Мина, вновь обретенная Мисмис, танцы -- все это пробудило в груди моей диссонанс самых разнородных чувств, так что, в конце концов, я, как говорится, не мог найти себе места, не знал ни покоя, ни отдыха, и, обретаясь в безутешной тревоге, даже пожелал лежать в подвале, покоясь в могиле, наподобие друга Муция. Состояние, понятно, было ужасное. Не знаю, чем бы все это кончилось, если бы во мне не жил дух высокой поэзии, подаривший меня прекрасными стихами, которые я не преминул занести на бумагу. Божественный характер поэзии главным образом и проявляется

именно в том, что стихотворное сочинительство вызывает в душе особое чувство внутреннего довольства, -- даже в том случае, когда подыскивание рифм заставляет пролить не одну каплю пота; подобное чувство довольства преодолевает все земные горести и нередко способствует даже забвению голода и зубной боли. Если у стихотворца жестокий рок отнял мать, отца или супругу, конечно, при каждой такой потере он должен быть вне себя; но, создав в мысли чудные элегические стихи, воспевающие утрату дорогого существа, он не будет более отчаиваться и пожелает еще раз жениться, чтобы не отказаться от надежды иметь новый предлог к такому трагическому вдохновению.

Вот стихи, сильно и правдиво изображающие мое душевное состояние, равно как и переход от страдания к радости:

Кто бродит в глубине подвала? Кто возмутил его покой? Чья песнь печально прозвучала, Кто там зовет меня с тоской? Там друг лежит во тьме могилы, В тиши блуждает дух его, Ко мне взывает он, унылый, Ждет утешенья моего.

Но нет! Спокойный, чуждый муки, Он спит в могиле вечным сном! К супругу мчатся эти звуки, Поют о счастье былом! И вот я здесь, любить готовый; Но чьи-то когти мне грозят, И чей-то вижу я суровый, И гневный, и ревнивый взгляд!

О, что за чувство грудь мне сжало? Куда мне скрыться от жены? Передо мной она предстала, И взоры ей поражены! Она идет, идет украдкой, Все ближе чары красоты; В подвале льется запах сладкий, В душе -- светло, в уме -- мечты!

Возврат любви... Утрата друга... В груди восторг... Упрек судьбе... Сомнений яд... О, дочь... Супруга... О сердце! Гибнешь ты в борьбе!.. Но это злое наважденье! Поминки, танцы -- все обман! Как муж, чуждайся увлеченья, -- И ты излечишься от ран! О, прочь, обманчивые тени! Стремлений высших полон я! О кошка, чадо заблуждений, Полна ошибок жизнь твоя! Ни слова, опустите очи, О Мина, Мисмис! Лживый род! Ты -- яд, ведущий к смертной ночи! Бегу... Отмщенья Муций ждет!

О, друг мой! Каждое жаркое -- Напоминанье мне о нем! В нем было сердце не людское! Клянусь таким же быть котом! Пусть песья хитрость поразила Тебя, мой благородный брат, -- Но месть близка, и ждет могила Того, кто кровь пролить был рад!

Сейчас я полон был мученья, Меня томил душевный гнет, Но мне навеял утешенье Моей фантазии полет! Мне лучше, мне отрадней стало, И аппетит я ощутил: Ведь мне, как Муцию, пристало И петь, и есть по мере сил!

Искусство! Высших сфер создание! Приют от скорби и тоски! Звучите, сладкие рыданья, Звените, нежные стишки! Я слышу тихий женский лепет, Он перейдет из рода в род: Поэт, ты будишь в сердце трепет! Нежнейший Мурр! Нежнейший кот!..

Стихотворство оказало на меня самое благотворное действие; не ограничившись этим поэтическим созданием, я написал целый ряд новых стихотворений -- все с одинаковой легкостью и с одинаковым успехом.

Охотно бы сообщил их тотчас же благосклонному читателю, но я намерен издать отдельную книжку, где будут помещены все эти стихотворные произведения наряду с некоторыми остроумными афоризмами и экспромтами, которые созданы мною в минуты досуга и до того остроумны, что я чуть не умер со смеху над ними, книга будет носить общее заглавие: "Творения, порожденные мною в часы вдохновения". К чести своей могу сказать, что даже в месяцы юности, когда еще не отшумела буря страсти, светлый разум, тонкое чувство меры всегда брали в душе моей перевес над чувственным опьянением. Таким образом, мне удалось вполне погасить внезапно вспыхнувшую любовь к прекрасной Мине. При спокойном рассмотрении я увидел, что в моем положении такая страсть несколько смешна: сверх того, я узнал, что Мина, несмотря на всю свою видимую скромность и робость, -- довольно своенравная капризница, способная в известных случаях выцарапать глаза каждому юноше-коту, хотя бы самому благовоспитанному. Во избежание подобных неприятностей я всячески уклонялся от каких-либо встреч с Миной. Еще более опасаясь странных притязаний Мисмис и ее склонности к преувеличениям, я не желал видеть ни ту ни другую, сидел в своей одинокой комнате и не делал посещений ни в подвал, ни на чердак, ни на крышу. По-видимому, это нравилось мейстеру: с полного его соизволения я садился на письменный стол и штудировал или, расположившись на кресле за его спиной, вытягивал шею, подсовывал ее под руку мейстера и заглядывал именно в ту книгу, которую он читал. Таким образом мы проштудировали с мейстером несколько прекрасных книжек, как, например, *Agre De prodigiosis naturae et artis operibus*, *Talismanes et Amuleta dictis*, "Мир чудес" Беккера, "Памятную книжку" Франциска Петрарки. Такое чтение необычайно развлекло меня и дало моему гению новое направление.

Однажды мейстер ушел из дому, солнце блистало дружески-приветливо, сквозь окно обворожительно вливались вешние благоухания; забыв свои намерения не оставлять комнату, я отправился на крышу совершить прогулку. Но едва я пришел туда, как тотчас же заметил вдову Муция, показавшуюся из-за дымовой трубы. В страхе я остался неподвижным, как прикованный к месту, уже предвкушая все упреки, все порицания. Напрасно! Немедленно вслед за ней показался юный Гинцман и обратился к прекрасной вдове, называя ее нежными именами. Остановившись на минуту, они сказали друг другу несколько теплых слов, обменялись несомненными знаками сердечной нежности и потом быстро проследовали мимо, не удостоив меня даже кивком головы. Юный Гинцман, однако, по всей видимости, сконфузился, ибо низко опустил свою голову и закрыл глаза, вдова же, как легкомысленная кокетка, бросила на меня насмешливый взгляд.

Однако в психическом отношении кот -- престранное существо! Ведь я должен был радоваться тому, что вдова Муция, помимо меня, устроилась с другим возлюбленным, -- и тем не менее я был не в силах победить в себе

известной внутренней досады, которая до некоторой степени имела вид ревности.

Я поклялся в душе, что никогда более нога моя не будет на крыше, где я понес такое незаслуженное оскорбление. Взамен этого я прилежно вспрыгивал на подоконник, грелся на солнышке, прихорашивался, осматривался, бросал свой взор вниз на улицу, и, отдаваясь глубокомысленным соображениям, соединял приятное с полезным.

Размышляя таким образом, я задал самому себе вопрос: почему никогда я не выйду посидеть около входной двери или даже не прогуляюсь по улице, как делают многие из моей породы, не выказывая при этом ни малейшего страха. Я подумал, что подобная прогулка должна представлять собой нечто необычайно приятное и что теперь, когда я, достигнув месяцев зрелости, собрал достаточный запас житейской мудрости, не может быть никакой речи об опасностях, которые я пережил во время оно, будучи несовершенномесячным юношей. С легким сердцем отправился я вниз по лестнице и, усевшись на пороге входной двери, подставил свое лицо под лучи яркого солнца. Я принял позу, свидетельствующую с первого взгляда, что каждый должен видеть во мне благовоспитанного, образованного кота. Чувствовал себя я превосходно. Пригретый сиянием теплого солнца, я разгладил себе бархатистою лапкой и усы, и бороду. Две шедшие мимо девицы -- вероятно, ученицы какой-нибудь школы, судя по портфелям, которые они несли, -- пришли в восторг при виде меня и бросили мне кусочек белого хлеба, как истинно-галантный кавалер, я принял его с благодарностью.

Не имея особого желания съесть кусок, полученный мною в дар, я начал играть им, но каков был мой ужас, когда вдруг вблизи раздалось страшное ворчание, и передо мной предстал мощный старец, пудель Скарамуш, дядя юного Понто. Я хотел одним прыжком удалиться прочь, но Скарамуш воскликнул:

-- Чего ты трусишь, седи смиренно на своем месте! Съем, что ли, я тебя?

Со всепокорнейшей вежливостью я спросил, не могу ли я со своими слабыми силами услужить чем-нибудь господину Скарамушу, но этот последний резко оборвал:

-- Ну чем мне может служить мосье Мурр! Разве это было бы мыслимо! Я хочу только знать, не известно ли тебе, где находится мой распутный племянник, юный Понто? Вы не раз бывали вместе и, по-видимому, жили душа в душу, к крайнему моему огорчению. Но теперь вот уже много дней, как Понто нигде глаз не показывает. Не знаешь ли, братец, где он скрывается?

Смущенный ворчливым тоном старца и его гордым, пренебрежительным обращением, я холодно заявил, что между мною и Понто нет тесной дружбы, да никогда и быть не могло. За последнее время в особенности Понто совсем отдалился от меня, я же, конечно, не искал сближения.

-- Ну, -- проворчал старик, -- это меня радует: значит, у юноши есть понятие о чести, если он не якшается со всякими проходимцами.

Это было свыше моих сил! Гнев охватил меня, в сердце моем пробудилось мужество истого бурша. Забыв всякий страх, я бросился к презренному Скарамушу, швырнул ему прямо в физиономию возглас "Старый грубиян!" и, выпустив когти, поднял свою правую лапу по направлению к его глазам.

Старик отпрянул на два шага и заговорил уже менее суровым тоном:

-- Ну, ну, Мурр! Не сердитесь, пожалуйста, вы на самом деле славный кот, потому-то я вам и советую держаться подальше от этого сорванца Понто! Поверьте мне, он честен, но легкомыслен! О, легкомыслен! Все бы ему проделки да проказы, нет у него серьезности в отношении к жизни, нет должных правил! Остерегайтесь его, иначе, смею доложить, он увлечет вас в такое общество, к которому вы совсем не можете и не должны принадлежать; ибо оно будет идти в разрез с вашей честной натурой, прямому которой вы только что мне доказали. Вот видите ли, любезнейший Мурр, вы, как кот, вполне достойны уважения: для хороших правил у вас не закрыта душа. Юноша может наделать иногда много сумасбродств, много нелепых, даже двусмысленных проказ; но если он время от времени выказывает такое, знаете ли, мягкое, простоватое добродушие, свойственное всем людям сангвинического темперамента, ему тотчас же все извиняют, оправдывают все его нравственные упущения и еще говорят при этом: "*Au fond [В сущности -- фр.] он все-таки славный малый*". Но этот самый *fond*, заключающий в себе зерно добра, лежит так глубоко и над ним накопилось столько всяческой дряни житейской, что до зерна-то и не доберешься. Часто истинным добром считают именно такое глупейшее добродушие, которое пусть черт поберет, ибо в нем нет никакого толку, оно не может распознать зла, прикрытого маской добра. Доверься, о, кот, житейскому опыту старого пуделя; я кое-что видал на своем веку и не поддамся на такую удочку, как это проклятое: "*Au fond он славный малый*". Если вы увидите моего распутного племянника, вы ему так-таки прямо передайте все, что я вам сейчас сказал; кроме того, вы крайне меня обяжете, если прекратите всякие дальнейшие дружеские сношения с ним. Всего хорошего! Вы, кажется, эту штучку не едите, добрейший Мурр?

Пудель Скарамуш поспешно схватил кусок белого хлеба, лежавший предо мной, и потихоньку поплелся прочь, низко опустив к земле свою длинноухую голову и чуть заметно помахивая хвостом.

Задумчиво смотрел я вслед старцу; его житейская мудрость пришлась мне по вкусу.

-- Что он, ушел, ушел? -- раздался сзади меня шепот.

Оглянувшись, я с удивлением увидел юного Понто: оказывается, что он уже давно спрятался за дверь и поджидал, когда старик договорит и уйдет.

Внезапное появление Понто поставило меня в некоторое затруднение, так как возможность исполнить поручение Скарамуша показалась мне несколько сомнительной. Вспомнил я ужасные слова, которые некогда сказал Понто: "Если ты когда-нибудь захочешь выразить по отношению ко мне враждебные намерения, знай, что я превосхожу тебя и в силе, и в

ловкости. Один прыжок, один укус моих острых зубов -- и тут же тебе конец". В виду этого я счел за лучшее сохранить молчание.

Такие мысли и опасения были, вероятно, причиной того, что внешний мой вид сделался холодным и принужденным; Понто устремил на меня пронизательный взгляд. Потом, разразившись громким хохотом, он воскликнул:

-- Эге, брат Мурр, я вижу, что старик успел наболтать про меня всякой всячины. Он, верно, назвал меня распутным, сказал, что я отдаюсь всяческим излишествам и проказам. Не будь, братец, дураком, и не верь ни одному его слову. Во-первых, посмотри-ка на меня повнимательнее и скажи, что ты думаешь относительно моей наружности?

Внимательно осмотрев Понто, я нашел, что никогда он не имел такого сытого вида, такой блестящей шерсти, никогда раньше не отличался такой элегантностью и гармоничностью во всех своих манерах. Я откровенно сообщил ему свои соображения.

-- Отлично, -- сказал Понто, -- но, как ты думаешь, добрейший Мурр, разве может иметь такой вид пудель, вращающийся в дурном обществе, преданный систематическому распутству, отдающийся пороку не из пристрастия к нему, а, как большинство пуделей, просто от скуки? Ты хвалишь в особенности гармоническое соответствие всех моих манер, это одно должно уже показать тебе, как жестоко заблуждается мой ворчливый дядя. Ты -- кот литературно-образованный, следовательно, ты должен знать о некоем философе, сказавшем, что резкой, отличительной чертой порока является отсутствие гармонического единства. Не удивляйся, любезный Мурр, черным клеветам старика. Ворчливый и скупой, как вообще все дяди, он исполнен гнева по отношению ко мне, потому что должен был *par honneur* [*Из чести; по велению чести -- фр.*] заплатить за меня кое-какие карточные долги одному колбаснику, который позволял у себя запрещенные игры и снабжал при этом игроков большими запасами вкусных колбас, набитых мозгами и кашей. Потом старик никак не хочет забыть об одном периоде моей жизни, правда, непохвальном, но уже давно минувшем.

В это время какой-то наглый щенок, проходивший мимо, вытаращил на меня глаза, как будто он никогда не видел подобного мне существа, накричал мне прямо в уши всяческих низостей и в заключение схватил меня за мой длинный хвост, очевидно, ему не понравившийся. Я вскочил и хотел защищаться, но Понто уже устремился на невежу-крикуна, свалил его на землю и два-три раза перевернул так основательно, что тот, поджавши хвост и испуская жалобные вопли, изо всех сил бросился бежать прочь.

Это доказательство благорасположения ко мне Понто и его деятельной дружественности крайне меня тронуло. Я подумал, что фраза "Аи *fond* он славный малый", которую дядя Скарамуш желал так дурно истолковать, в применении к Понто имеет более хороший смысл. Вообще, мне показалось, что старик слишком мрачно смотрит на все, и что Понто может совершить легкомысленную проделку, но никак не предосудительную. Сообщив все

это своему приятелю, я в самых трогательных выражениях поблагодарил его за оказанную услугу.

Понто осмотрелся кругом, причем его плутоватые глаза весело заблестали.

-- Меня очень радует, -- сказал он, -- что старый педант не ввел тебя в заблуждение и не лишил тебя возможности признавать во мне доброе сердце. Не правда ли, Мурр, я славно оттузил негодного сорванца? Долго он будет меня помнить. Собственно говоря, я целый день его подстерегал, негодяй вчера стащил у меня колбасу и должен был подвергнуться возмездию. Но мне, конечно, очень приятно, что я вместе с тем отомстил ему за его наглость по отношению к тебе и мог таким образом, доказать дружеское к тебе расположение -- говоря языком пословицы, я одной хлопущкой убил двух мух... Но возвратимся к нашей беседе. Любезнейший кот, посмотри на меня еще раз хорошенько и скажи, не замечаешь ли ты в моей наружности некоей необычайной перемены?

Я внимательно взглянул на моего друга и, к крайнему удивлению, увидел, что на шее его красуется нарядный серебряный ошейник, на котором были вырезаны слова: "Барон Альцибиад фон Випп, Маршальская ул., No 46".

-- Как! -- воскликнул я с изумлением. -- Как, Понто, ты покинул своего хозяина, профессора эстетики, и поступил к барону?

-- Нет, -- возразил Понто, -- я собственно не покидал профессора, но он выгнал меня от себя пинками и побоями.

-- Как могло это случиться? -- спросил я. -- Ведь твой хозяин раньше всячески выказывал тебе необычайную любовь и доброту.

-- Ах, -- отвечал Понто, -- это преглупая история, только благодаря прихотливой игре капризного случая она кончилась к моему благополучию. Всею виной была моя нелепая доброта с некоторой примесью тщеславия и хвастливости. Ежеминутно я испытывал желание выказать перед профессором свою ловкость и образованность. В силу этого я привык приносить ему решительно все, что я находил на полу. Ну-с, ты, может быть, знаешь, что у профессора Лотарио есть премолоденькая и прехорошенькая жена, которая любит его нежнейшим образом, в чем он никогда не мог сомневаться, так как она каждую минуту свидетельствует ему свою любовь и осыпает его нежностями именно тогда, когда он, зарывшись в книги, готовится к лекции. Она -- необычайная домоседка, ибо не выходит из дома раньше двенадцати часов утра, между тем как встает в половине одиннадцатого. Обладая простыми неприхотливыми привычками, она не гнушается входить в самые детальные хозяйственные беседы с кухаркой и горничной и пользуется даже их кассой, если ее недельные деньги вышли раньше срока на удовлетворение разных экстраординарных нужд. Проценты взятой займы суммы она выплачивает платьями, которые надевала всего несколько раз; равным образом в виде награды за тайные услуги, она дает прислуге свои шляпки, приводящие потом в изумление всех соседских служанок. При таком обилии разных достоинств можно ли сердиться на обворожительную женщину за ее маленькую глупость (если вообще это можно назвать глупостью), а именно

за горячее, непобедимое желание быть всегда одетой по последней моде, склонность надевать платье всего три раза, шляпу четыре раза, турецкую шаль проносить месяц и после этого возыметь отвращение против еле надетых вещей и сбывать их за бесценок или, как сказано, подарить прислуге. Что жена профессора эстетики имеет вкус к прекрасному, в этом, конечно, нет ничего удивительного; супруг должен только радоваться, если он увидит, что взор его жены с видимым удовольствием покоится на прекрасном юноше, за которым она даже не прочь побегать. Я нередко замечал, что тот или другой из слушавших лекции профессора ошибался дверью и, вместо того чтобы войти в аудиторию, тихонько проникал в комнату профессорши и скрывался там. Я почти готов думать, что такие ошибки были не совсем непреднамеренны, или во всяком случае никто из совершивших ошибку не спешил исправить ее: каждый, входивший в комнату профессорши, оставался там довольно-таки продолжительное время и, выходя оттуда, всегда имел весьма сияющий вид, так что, по-видимому, визит к профессорше бывал так же приятен и полезен, как эстетическая лекция профессора. Прекрасная Легация (так зовут жену профессора) была не особенно ко мне расположена. Она не пускала меня в свою комнату и, пожалуй, была вполне права, потому что на самом деле даже образованный пудель совсем не уместен там, где на каждом шагу он подвергается опасности разорвать кружева или запачкать платья, разбросанные по всем углам. Но злomu гению профессорши было желательно, чтобы я проник в ее будуар. Однажды за завтраком негг профессор выпил больше вина, чем это следует, и пришел в некое восторженное состояние. Вернувшись домой, он вопреки обыкновению направился прямо в кабинет своей супруги, я прошмыгнул вслед за ним -- сам не знаю, что собственно побудило меня к этому. Профессорша была в пеньюаре, белизну которого можно было сравнить только со свежавыпавшим снегом; вообще, костюм ее свидетельствовал не столько о тщательности, сколько о глубоком умении одеваться, -- умение, которое прячется за кажущейся простотой и потому, как враг, скрывающийся в засаде, действует наверняка. Профессорша в самом деле была восхитительна; чувствуя это сильнее, чем когда-либо, профессор, опьяненный наполовину вином, наполовину любовью, расточал своей супруге нежнейшие ласки, называл ее самыми трогательными именами, не замечая при этом какую-то рассеянность, какое-то беспокойное недовольство, явно сквозившее во всех манерах профессорши. Наскучив возрастающей нежностью вдохновенного эстетика, я обратился к обычному времяпрепровождению и стал искать чего-нибудь на полу. И вот в тот самый момент, когда профессор, в состоянии крайнего экстаза, воскликнул: "О, ты, божественная красота! О, чудная, неземная обворожительница! Позволь...", я подскочил к нему на задних лапках и, грациозно помахая хвостиком, подал изящную померанцевого цвета мужскую перчатку, которую я нашел под софой в комнате профессорши. Изумленно глянул эстетик и, как бы внезапно пробужденный от сладких сновидений, громко воскликнул:

-- Это что такое? Чья это перчатка? Как она сюда попала?

Взяв перчатку, он внимательно освидетельствовал ее, поднес к самому носу и снова воскликнул:

-- Как попала сюда эта перчатка? Легация, отвечай мне, кто у тебя был?

-- Ах, Лотар, какой ты, право, странный! -- возразила прекрасная верная Легация, тщетно стараясь скрыть свое смущение. -- Здесь была майорша и, прощаясь, никак не могла найти одной перчатки, по-видимому, она потеряла ее на лестнице.

-- Майорша, -- воскликнул профессор совершенно вне себя, -- майорша, эта маленькая, изящная женщина! Да вся ее рука войдет в любой из пальцев этой перчатки! Черт побери! Какой негодяй здесь был? Верно, фронт какой-нибудь... Эта проклятая перчатка вся пропахла душистым мылом! Злосчастная, говори же, кто здесь был, чей дьявольский обман разрушил мое мирное счастье? Позорная, погибшая женщина!

Только что профессорша приготовилась по всем правилам искусства упасть в обморок, как вдруг вошла горничная, и я, обрадовавшись случаю избежать дальнейшего созерцания семейной сцены, быстро улизнул.

Весь следующий день профессор был в крайне молчаливом и замкнутом настроении; по-видимому, он был всецело занят одной мыслью, не дававшей ему покоя. Время от времени с его губ невольно срывалось восклицание: "Неужели он?" Около вечера он взялся за шляпу и трость, я подскочил к нему с веселым лаем; долго он глядел на меня, глаза его заблестали слезами, и тоном глубочайшей сердечной скорби он проговорил:

-- Добрый мой Понто! Верная, честная душа!

После этого он быстро направился к городским воротам, я за ним. Все мои старания были направлены к тому, чтобы развеселить беднягу всеми средствами, какими я только располагал. Как раз у самых ворот нам повстречался барон Альцибиад фон Випп, один из самых изящных людей во всем городе. Он красовался на великолепном английском скакуне. Увидев профессора, барон галантерейно перегнулся и спросил моего хозяина сперва об его здоровье, потом о здоровье супруги профессора. Этот последний в замешательстве пробормотал что-то невнятное.

-- А на самом деле ведь прежаркая стоит погода! -- проговорил барон, вынимая из кармана шелковый платок и, в то же самое время, роняя перчатку, которую я, сообразно с моим обыкновением, тотчас подал моему господину.

Поспешно вырвав у меня перчатку, профессор воскликнул:

-- Это ваша перчатка, господин барон?

-- Понятно, -- ответил фон Випп, изумленный горячностью профессора. -

- Это моя перчатка. Вероятно, я только что выронил ее из кармана.

-- А, если так, -- резким тоном заговорил профессор, -- тогда имею честь преподнести вам и другую, верно, потерянную вами вчера.

Не дождавшись никакого ответа от захваченного врасплох барона, профессор кинул ему перчатку, которую я нашел под софой, и с дикой поспешностью устремился прочь. Я поостерегся последовать за моим

хозяином в комнату его дорогой супруги, справедливо предчувствуя бурю, которая не замедлила разразиться, так что звуки ее долетали до самых сеней. Именно здесь, в уголке, приютился я и усмотрел, как профессор с пылающим от бешенства лицом вытолкнул горничную сперва в девичью, а потом, когда она еще осмелилась сказать дерзость, совсем вон из дому. Поздно ночью профессор, совершенно изнеможенный, вернулся в свою комнату. Легким взвизгиванием я дал ему понять свое искреннее сочувствие его горю. Тогда он обнял меня и прижал к груди, как лучшего верного друга.

-- Добрый, честный пудель, -- проговорил он печальным голосом, -- воплощение верности! Ты, лишь ты один мог пробудить меня от обольстительного сна, мешавшего мне видеть мой позор; благодаря тебе я скинул бремя, наложенное на меня фальшивой женщиной; я снова гордый и свободный человек! Как мне отблагодарить тебя, Понто? Мы не должны никогда расставаться с тобой, я буду тебя и лелеять, и холить, как лучшего, верного друга. Ты один можешь утешить меня в горестном моем злополучии.

Эти трогательные излияния благородного духа, исполненного теплой благодарности, были прерваны приходом кухарки, которая с бледным встревоженным лицом ворвалась к профессору с ужасной вестью, что госпожа профессорша лежит в судорогах и готовится отдать Богу душу. Профессор выбежал вон из комнаты.

В течение нескольких дней я почти не видал профессора. Мой обед, о котором раньше так любезно заботился сам профессор, был теперь всецело передан на усмотрение кухарки: эта отвратительная брюзга с крайней неохотой подавала мне самые неудобоваримые блюда. Иногда она даже совсем забывала о моем существовании и я находил себя вынужденным отправляться лизоблюдничать у знакомых или даже выходить на добычу, лишь бы как-нибудь утишить свой голод.

Наконец, когда я, однажды, находясь дома и голодая, бродил взад и вперед, печально повесив уши, профессор обратил на меня внимание.

-- Понто, -- воскликнул он, улыбаясь, -- Понто, честный мой пес, куда это ты запропастился? Я так давно тебя не видел! Кажется, тебя совсем-таки скверно кормили вопреки моим приказаниям. Ну, пойдем, пойдем, я тебя сегодня сам покормлю.

Я последовал за своим добрейшим хозяином в столовую. Профессорша, свежая, как только что распустившаяся роза, вышла навстречу своему сияющему супругу. Оба выказывали друг другу необычайную нежность: она называла его "возлюбленный мой супруг", он называл ее "милая моя мышка", при этом они целовались, как голубки. Отраднее было видеть такое счастье. И по отношению ко мне прекрасная Летиция была более дружественна, чем когда-либо. Ты можешь, конечно, представить себе, любезный Мурр, я вел себя со свойственной мне галантерейностью. Кто мог подозревать о буре, нависнувшей надо мной. Мне было бы очень трудно подробно сообщить, а тебе было бы обременительно выслушать рассказ о всех коварствах, затеянных моими врагами с целью погубить

меня. Ограничусь поэтому немногими штрихами: они обрисуют перед тобой бедственное мое положение. Профессор имел привычку во время обеда ставить мне в углу столовой обычную порцию супа, зелени и мяса. Я ел так аккуратно, так опрятно, что не оставлял ни малейшего пятнышка на паркетном полу. Неудивительно, я пришел в ужас, когда однажды обеденная моя чашка, как только я к ней приблизился, рассыпалась на несколько кусков и все мое кушанье разлилось по полу. Профессор разразился гневными бранными словами, и хотя профессорша старалась извинить меня, тем не менее лицо ее выражало искреннейшую досаду. Профессорша сказала, что, так как пятна нельзя будет совершенно смыть, испорченное место можно будет как-ни-будь подчистить, вставив новый квадрат. Между тем профессор терпеть не мог подобных ремонтов, он уже слышал заранее звуки рубанка и молотка: таким образом, любезные оправдания профессорши только заставили ее супруга сильнее почувствовать мою мнимую вину и прибавить к бранным словам две-три хороших оплеухи. Вполне сознавая свою невинность, я стоял совершенно обескураженный, не зная, что подумать, что сказать. Однако, когда та же самая история повторилась еще раз и еще раз, я понял, в чем дело. Мне ставили разбитое блюдо, распадавшееся на сотню кусков при малейшем прикосновении. Я был лишен позволения входить в комнаты и стал получать пропитание от кухарки, но в таком жалком, скудном количестве, что никогда не мог отделаться от гнетущего чувства голода и должен был поневоле стараться стянуть то кусок хлеба, то какую-нибудь кость. Каждый раз из-за этого поднимался гвалт, и меня упрекали в своекорыстном воровстве, между тем как дело шло об удовлетворении настоящей естественной потребности. Положение мое ухудшалось все более и более. Наконец, кухарка с громкими жалобами заявила, что у нее из кухни пропала великолепная баранья нога и что, вероятно, я украл ее. Это было сообщено профессору, как факт серьезной хозяйственной важности. Профессор заявил, что доселе он не замечал во мне никаких воровских наклонностей, по его мнению, у меня совсем не развит орган воровства. Невероятно также, чтобы я съел целую часть баранины, не оставив никаких следов. Произвели обыск и под моей кроватью нашли остатки съеденной баранины! Мурр, положив лапу на сердце, клянусь тебе, что мне и в голову не приходило красть жаркое. Но к чему могли служить все уверения в моей невинности, когда доказательства говорили против меня! Профессор, принявши сперва мою сторону и разочаровавшись в своем хорошем обо мне мнении, исполнился тем большей свирепостью. На меня посыпался град побоев. И после этого профессор не переставал выказывать по отношению ко мне неприязнь. Профессорша, напротив, выказывала очень дружеские чувства, гладила меня по спине (чего раньше никогда не было) и даже давала мне время от времени хороший кусок жаркого. Мог ли я предполагать, что все это было только наглым лицемерием. Однако скоро все вышло наружу. Двери в столовую были отворены, у меня было пусто в желудке и с самым прискорбным видом бросал я взоры в столовую, вспоминая о добром старом времени, когда я

не тщетно взирал с мольбой на профессора, когда я не тщетно вдыхал в себя сладкий аромат жаркого.

-- Понто, Понто! -- воскликнула профессорша, протягивая мне лакомый кусочек, который она изящно держала между большим и указательным пальцами.

Объятый энтузиазмом встревоженного аппетита, я, быть может, схватил кусок со стремительностью несколько большей, чем это следовало, но я не укусил изящную лилейную ручку, клянусь тебе, добрейший Мурр. Однако профессорша громко воскликнула "Злая собака!" и, как бы лишившись чувств, откинулась вглубь кресла. На ее пальце, к крайнему моему ужасу, я заметил две капли крови. Профессор пришел в бешенство: он бил меня и топтал ногами так ужасно, что не обратись я в бегство, не пришлось бы мне теперь сидеть с тобой на солнышке. О возвращении назад нечего было и думать. План кампании против меня был принят профессоршей в силу ее мстительного чувства, в силу желания отплатить мне за перчатку барона... Что было делать? Я стал думать о приискании другого хозяина. В былое время это было бы для меня совсем не трудно в виду того, что природа щедро наделила меня своими дарами, но продолжительная голодовка и огорчения довели меня до такого жалкого состояния, так руинировали мое здоровье, что на самом деле я мог рассчитывать везде получить отказ. Будучи озабочен мыслями о насущном пропитании, я печально поплелся, куда глаза глядят. У городских ворот я встретил господина барона Альцибиада фон Виппа; он шел прямо передо мной, и вдруг мне пришла в голову мысль предложить ему свои услуги. Быть может, мной руководило смутное предчувствие, что я таким образом найду возможность отомстить неблагодарному профессору. Подскочив к барону и заметив, что он посмотрел на меня благосклонно, я без обиняков последовал за ним. Когда мы пришли в его квартиру, барон обратился к молодому человеку, которого называл своим камердинером, со следующими словами: "Посмотрите-ка, Фридрих, ко мне привязался какой-то пудель! Что за жалкий вид у него!"

Фридрих, напротив, похвалил выражение моего лица и статный рост, высказав догадку, что, верно, мой хозяин дурно со мной обращался и вынудил меня бросить его. Он прибавил при этом, что пудель оказывается самым верным преданным животным, если идет за кем-нибудь по собственному желанию, и барон, понятно, не преминул удержать меня за собой. Однако, хотя я вскоре принял блестящий вид (благодаря стараниям Фридриха), барон долго не питал ко мне никакой особенной склонности и только поневоле допускал, чтобы я сопровождал его во время прогулок. Но року угодно было переменить все. Мы встретили однажды профессоршу. Узнай, Мурр, как пуделю свойственна сердечная верность: едва я увидел свою прежнюю госпожу, сделавшую мне столько зла, как весь исполнился самой неподдельной радостью. Я стал плясать перед ней, весело и громко лаял, и всячески старался дать ей понять свое живейшее удовольствие.

-- Да ведь это Понто! -- воскликнула она, погладила меня по спине и многозначительно посмотрела на барона.

Я подскочил к своему господину, он тоже приласкал меня. По-видимому, барону пришла на ум какая-то совсем особенная мысль, потому что он несколько раз пробормотал про себя:

-- Понто... Понто... может ли это быть?..

Мы пришли к одному из близлежащих увеселительных мест. Профессорша расположилась рядом с несколькими лицами, составлявшими ее общество. Добрейшего профессора, однако, тут не было. Невдалеке расположился и барон -- таким образом, что, будучи сам не особенно заметен для других, он все время беспрепятственно мог смотреть на профессоршу.

Я стал перед своим господином и поглядел ему в глаза, махая хвостом и как бы дожидаясь приказаний.

-- Понто, -- повторял он, -- Понто, да неужели это возможно?.. Ну, -- прибавил он после некоторого молчания, -- можно, однако, попробовать!

Написав карандашом маленькую записку, он свернул ее и, спрятав мне за ошейник, показал на профессоршу.

-- Понто, allons! [*Вперед!* -- *фр.*] -- прошептал он.

Я не был бы умным, догадливым пуделем, если бы не понял сразу, в чем дело. Немедленно отправившись к столу, где сидела профессорша, я сделал вид, будто мне очень хочется пирога. Профессорша с необычайной любезностью протянула мне пирог; в то же время другой рукой она стала гладить меня по шее. Вполне явственно я почувствовал, как записка была вынута у меня из-за ошейника. Вскоре после этого профессорша встала и, оставив общество, направилась в боковую аллею. Я последовал за ней. С лихорадочным вниманием прочитав записку барона, она достала из своей рабочей корзинки маленький карандаш, написала на той же бумажке несколько слов и, свернув ее, спрятала мне за ошейник.

-- Ах, Понто, Понто, -- сказала она, бросая на меня плутовской взгляд, -- ты очень умен и полезен, когда приносишь что-нибудь вовремя!

Самым поспешным образом я отнес послание профессорши барону, который, тотчас же догадавшись, что я принес ответ, вынул записку из-за ошейника! Должно быть, профессорша написала ему что-нибудь очень приятное, потому что глаза его заблестали, и он с восторгом воскликнул:

-- Понто, Понто, ты превосходнейший пудель! Счастливая звезда привела тебя ко мне!

Можешь себе представить, добрейший Мурр, как я обрадовался, увидев, что после всех этих приключений я попал в милость к своему господину.

В состоянии такого радостного настроения я выделял, без всяких внешних импульсов, всевозможные номера. Я говорил по-соба-чьи, умирал, снова оживал, выказывал презрение к куску хлеба, якобы брошенному жидом, и пожирал с аппетитом христианский хлеб и все такое прочее.

-- Необычайно образованный пес! -- воскликнула одна старая дама, сидевшая рядом с профессоршей.

-- Необычайно образованный! -- отвечал барон.

-- Необычайно образованный! -- послышалось, как эхо, восклицание профессорши.

Не распространяясь в излишних рассуждениях, я скажу тебе, добрейший Мурр, что я после всего этого неоднократно переносил письма от барона к профессорше и обратно; мало того, я забежал иногда в самый дом профессора, понятно, когда этот последний находился в отсутствии. Если же когда-нибудь под вечерок господин барон Альцибиад фон Випп прошмыгнет к прекрасной Легации, я остаюсь перед входной дверью и, как только вдалеке покажется профессор, поднимаю такой отчаянный лай, что мой хозяин, почувяв близость врага, немедленно укрывается.

В глубине своей души я не мог вполне одобрить поведение Понто. Я вспомнил покойного Муция, вспомнил свое искреннее отвращение к каждому ошейнику, и подумал, что никакой честный порядочный кот не унизится до сводничества. Все эти соображения я откровенно высказал юному Понто. Но он захохотал мне прямо в физиономию и спросил иронически: неужели котовская мораль так неумолимо строга, неужели я не сделал никогда ничего, идущего в разрез с моими нравственными убеждениями. Я вспомнил о Мине и умолк.

-- Во-первых, -- продолжал Понто, -- во-первых, любезнейший Мурр, общий опыт доказывает, что от судьбы не уйдешь, как там ни вертись; подробные на эту тему рассуждения ты можешь найти в чрезвычайно поучительной книге, написанной изящным стилем и озаглавленной *Jaques le fataliste* [*Жак-фаталист* -- фр.]. Уж если предвечному року было угодно, чтобы профессор эстетики, Негг Лотарио... Ну, словом, ты меня понимаешь, добрейший кот, мне хотелось бы даже, чтобы ты написал что-нибудь об истории с перчаткой, сделал бы ее более популярной. Что касается меня, я твердо убежден, что профессор эстетики своим поведением ясно доказал свою решительную прирожденную склонность вступить в тот орден, в который без собственного ведома вступает столько мужчин, и как к ним идут знаки этого ордена, с каким достоинством они носят свои украшения! Лотарио исполнил бы свое предназначение и в том случае, когда не было бы никакого барона Альцибиада фон Виппа, никакого пуделя Понто. И разве вообще Лотарио своим поведением не заслужил, чтобы я бросился в расprostертые объятия к его врагу? К тому же барон нашел бы и другие способы вступить в связь с профессоршей; та же самая беда все равно разыгралась бы над головой профессора, я не получил бы никаких выгод, не пользовался бы удобствами, проистекающими теперь для меня из самого факта нежных отношений барона и Легации. Мы, пудели, не такие уж строгие моралисты, чтобы урезывать себя и отказываться от лакомых кусков, которых и без того встречается так мало в жизни.

Я спросил Понто, неужели на самом деле выгоды, сопряженные с его службой у барона, так велики, чтобы искупить обременительные тягости рабства. При этом я дал ему понять, что именно рабство глубоко противно коту, носящему в груди своей неистощимый источник вольнолюбия.

-- Ты, братец, -- возразил с гордой улыбкой Понто, -- говоришь сообразно со своим крайним разумением или, вернее, сообразно с крайней своей неопытностью в сфере высших житейских отношений. Ты не знаешь совсем, что это значит -- быть любимцем такого галантерейного, образованного человека, как барон Альцибиад фон Випп. А что я сделался его любимцем после того, как представил доказательства своей разумности и услужливости, я повторяю об этом не впервые. Узнай же, мой вольнолюбивый кот, как хорошо, как славно мне теперь живется. Я сделаю краткое описание нашего времяпрепровождения. Утром мы (я и мой господин) встаем не очень рано, не очень поздно, а именно ровно в одиннадцать часов. Не премину сообщить тебе, что моя широкая мягкая постель находится недалеко от кровати барона. Мы оба во время сна храпим так гармонически-согласно, что при внезапном пробуждении немислимо решить, кто именно храпел. Проснувшись, барон звонит в колокольчик, немедленно появляется камердинер и подает барону стакан дымящегося шоколада, а мне чашку прекрасного сладкого кофе со сливками; мы поглощаем эти напитки с одинаковым аппетитом. После завтрака мы некоторое время посвящаем игре друг с другом, что не только приносит пользу здоровью, но и развеселяет наш дух. Когда погода стоит хорошая, барон высовывается из окна и смотрит в лорнет на прохожих. Если прохожих мало, барон предается еще одной забаве, которая имеет свойство доставлять ему неистощимое наслаждение в продолжение целых часов. Под окном, находящимся в комнате барона, вделан в землю камень, отличающийся особенным красноватым цветом, в самой его середине есть маленькая круглая дырочка. Забава заключается в том, чтобы плюнуть вниз прямо в эту дырочку. Упорным и продолжительным упражнением барон достиг такого искусства, что через два раза на третий попадал в дырочку и таким путем неоднократно выиграл пари. После этой забавы начинается третий весьма важный момент -- одевание, искусное причесывание и завивка волос, и, что главное, необычайно причудливое завязывание галстука -- операция, которую барон производит собственноручно, без всякой помощи камердинера. Так как эти сложные занятия поглощают много времени, Фридрих пользуется досугом, для того чтобы принарядить меня: губкой, обмокнутой в теплую воду, он моет мой мех, расчесывает длинные волосы, оставленные парикмахером в надлежащих местах, и надевает на меня серебряный ошейник, преподнесенный мне в подарок бароном немедленно после того, как я обнаружил свои таланты. Следующие за сим минуты посвящаются литературе и изящным искусствам. Именно: мы отправляемся в ресторан или в кофейню, едим бифштекс, выпиваем стаканчик мадеры и заглядываем в кое-какие новейшие журналы и газеты. Потом начинаются предобеденные визиты. Мы посещаем ту или другую знаменитую актрису, певицу, иногда танцовщицу, дабы сообщить ей новости дня, и в особенности события, связанные с каким-нибудь вчерашним дебютом. Барон Альцибиад фон Випп удивительно умеет рассказывать: дамы всегда, слушая его, находятся в самом прекрасном расположении духа. Никогда, по его словам, не

удается сопернице или соревновательнице получить даже часть тех рукоплесканий и восторгов, которые выпадают на долю увенчанной знаменитости. Беднягу освистали, осмеяли... Если же триумф был несомненен и о нем никак нельзя умолчать, барон умеет пустить в ход какую-нибудь скандальную сплетню, которую все с жадностью выслушивают, стараясь, чтобы яд злостных толков убил цветы букетов и венков. Более солидные визиты, к княгине А., к баронессе В., к жене посланника С., наполняют все остальное время до 4 часов: сделав все дела, барон, успокоенный, садится в этот час за стол. По большей части обед происходит опять в ресторане. После обеда мы пьем кофе, играем на биллиарде, если погода благоприятная, совершаем прогулку, я всегда пешком, барон иногда на лошади. Глядишь, наступает вечер, близится час, когда нужно идти в театр, которым барон никогда не манкирует. Должно быть, он там играет чрезвычайно большую роль, ибо не только извещает публику о всяческих закулисных подробностях и вновь выступающих артистах, но, кроме того, руководит похвалами и порицаниями, чувствуя непобедимую склонность к такому занятию. Так как самым образованным господам моей породы, в силу какой-то возмутительной несправедливости, воспрещен вход в театр, промежуток времени, когда происходят сценические представления, является единственным досугом, принадлежащим мне безраздельно и разлучающим меня с возлюбленным бароном. Впоследствии я расскажу тебе, добрейший Мурр, как я пользуюсь этим досугом для установления прочных связей с борзыми собаками, с английскими понтерами, с мопсами и с другими знатными особами. По окончании спектакля мы опять отправляемся в ресторан ужинать. Барон вместе с веселой компанией друзей предается самому беззаботному времяпрепровождению: все говорят, все хохочут, находят все восхитительным, и в то же время никто не знает, что говорит, над чем хохочет, что собственно находит восхитительным. Но в этом-то и заключается соль разговора, его пикантность, специфическая черта таких элегантных людей, как мой хозяин. Нередко поздней ночью барон отправляется в тот или другой знакомый дом, где, должно быть, всегда бывает чертовски весело. Об этом, впрочем, я ничего не знаю, потому что барон во время таких визитов никогда не берет меня с собой, имея, быть может, к тому самые солидные основания.

Ну, вот тебе, любезный Мурр, довольно подробное описание моего времяпрепровождения. Посуди теперь сам, основательно ли этот ворчливый дядя обвиняет меня в диком распутстве. В былое время я, правда, давал повод к разным упрекам. Я вращался среди самого непозволительного общества и с особенным удовольствием втирался всюду, преимущественно являлся незванным на свадебные пиры, производя совершенно ненужные скандалы. Все это, однако, происходило не от склонности к кутежам и пороку, а просто благодаря отсутствию высокой культуры, которой я и не мог получить, находясь в доме профессора. Но теперь положение дел изменилось. Однако... кого это я вижу? Да это

сам барон Альцибиад фон Випп. Он смотрит в мою сторону, свистит... *Au revoir, mon cher!* [*До свидания, мой дорогой!* -- фр.]

В мгновение ока Понто был около своего господина. Наружность барона вполне согласовалась с представлением, которое я составил по рассказу Понто. Он был весьма высок и не столько строен, сколько тонок. Костюм, походка, манеры -- все являлось в нем живым олицетворением самой последней моды, доведенной до чего-то фантастического, странного. В руке у него красовалась тонкая тросточка с серебряным набалдашником; когда Понто приблизился, барон заставил его несколько раз через нее перепрыгнуть. Как ни унижительно показалось мне это искусство, я должен был сознаться, что Понто проделал свой фокус с необычайной ловкостью, которой я раньше у него не замечал. Вообще, когда барон, выпятив грудь, втянув живот, пошел вперед какой-то особенной петушиной походкой, а Понто, сопровождая его рядом, стал делать прыжки взад и вперед, -- во всех манерах моего друга вырисовывалось что-то чрезвычайно импонирующее. Я смутно почувствовал, что Понто подразумевал под высшей культурностью, но вполне ясно понять не мог.

Позднее я увидел, что известные проблемы, известные теории, будучи созданы в области чистого рассудка, оказываются совершенно несостоятельными -- лишь живая практика дает полное познание вещей, лишь благодаря практике можно приобрести высшую культурность, характеризующую пуделя Понто и барона Альцибиада фон Виппа.

Проходя мимо меня, барон устремил через лорнет любопытный и, как мне показалось, гневный взгляд. Быть может, заметив, что Понто беседовал со мной, он отнесся к этому неблагоприятно. Мне сделалось как-то не по себе, я поспешил взобраться на лестницу.

Дабы исполнить обязанности добросовестного сочинителя автобиографии и опять изобразить с подробностью душевное мое состояние, я не мог бы придумать ничего лучшего, как сообщить несколько деликатных стихотвореньиц, которые за последнее время так из меня и сыплются. Но пока я...

(Мак. л.) ...с этой ничтожной игрушкой бессмысленно растратил лучшие сокровища своей жизни. А теперь жалуешься, старый глупец, обвиняешь судьбу, с которой вздумал спорить! Что тебе были все эти знатные люди, весь этот свет! Ты смеялся над этими господами, считал их глупцами, а сам оказался недозволительнейшим глупцом. Ремеслом бы занимался, делал бы добросовестно органы, а не разыгрывал бы из себя волшебника и прорицателя. Тогда не украли бы у тебя жены, был бы ты хороший работник, сидел бы в мастерской, вокруг тебя делали бы свое дело добросовестные мастера, и все шло бы как по маслу. А Кьяра! Быть может, ко мне ласкались бы славные мальчишки, быть может, на коленях у себя я держал бы нарядную дочурку! Черт возьми, что же помешало мне немедленно отправиться искать утраченную жену, искать везде по белу свету?"

С этими словами мейстер Абрагам бросил под стол начатый небольшой автомат, швырнул туда же и инструменты, вскочил с места и начал ходить

взад и вперед. Мысль о Кьяре, за последнее время никогда его не покидавшая, взволновала всю его душу, он открыл книгу Северино и устремил долгий взгляд на образ прелестной Кьяры. Потом, как лунатик, лишенный всяких внешних ощущений и побуждаемый лишь внутренним чувством, мейстер Абрагам подошел к ящику, стоявшему в углу комнаты, отложил в сторону книги и вещи, набросанные туда, вынул стеклянный шар вместе с целым аппаратом, предназначенным для эксперимента с "невидимой девицей", укрепил шар на шелковом шнурке, привязал его к потолку и расположил все в комнате так, как будто он хотел сделать опыт с оракулом. Только когда все было готово, мейстер пробудился от оцепенения и немало подивился на свои приготовления.

-- Ах, -- простонал он, -- ах, Кьяра, бедная, бедная Кьяра, никогда больше не услышу я твой чудный вещий голос, говорящий о том, что скрыто глубоко в душе у людей. Нет мне больше на земле утешений, нет у меня больше никаких надежд, исключая надежды на смерть!

Вдруг стеклянный шар закачался, и послышался мелодический голос, подобный шепоту ветра, скользящего по струнам арфы. Вскоре явственно послышались слова:

Луч надежды нас ведет
В бездне мрачного страданья;
Для того, кто жив, придет
Миг желанного свиданья!
Не заметишь, как пробьет
Час последний испытанья,
Как исчезнет муки гнет,
Как блеснет очарованье.

-- О Боже милосердый! -- прошептал дрожащим голосом старик. -- Это она говорит мне с неба, ее нет уже более в живых!

Снова раздался мелодический голос и еще тише, совсем издалека донеслись смутные слова:

Смерть над теми не властна, Кто в душе любовь лелеет; Если сумрачна весна, Луч осенний нас согреет! Набежит любви волна, Всю печаль твою развеет; Счастья светлая страна Неизменно зеленеет!

То замолкая, то опять звеня с новой силой, волшебные звуки усыпили страдающего старца; сон окутал его своими черными крылами. Но в сумраке усыпленного сознания яркой звездой вспыхнуло видение минувшего блаженства, и Кьяра опять покоилась на груди у мейстера, и оба снова были счастливы и юны, и злобный гений был не в силах возмутить блаженный мир их сладостной любви...

Издатель должен сообщить благосклонному читателю, что здесь кот опять вырвал несколько макулатурных листов: вследствие сего в этой истории, исполненной пробелов, произошел еще новый пробел. Однако, судя по счету страниц, недостает всего восьми листков, не представляющих, по-видимому, ничего особенного: ибо следующие

страницы приблизительно составляют продолжение всего вышеизложенного. Итак, перейдем к этому продолжению.

...Никак не мог ожидать. Князь Иреней вообще был заклятым врагом всяких экстраординарных событий, в особенности если они непосредственно захватывали его персону. Посему он взял двойную понюшку табаку (что делал всегда в критических обстоятельствах) и, устремив на лейб-егеря уничтожающий фридриховский взгляд, проговорил:

-- Лебрехт! Мне кажется, что мы, как лунатики, видим призраков и делаем совершенно ненужные вещи.

-- Ваша светлость, -- спокойно возразил лейб-егерь, -- прогоните меня, как завязтого мошенника, если все не произошло совершенно так, как я рассказал. Я повторяю смело и свободно: Руперт -- отъявленный негодяй!

-- Как, -- гневно воскликнул князь, -- как, Руперт -- негодяй, Руперт -- мой старый верный кастелян, служивший княжескому дому целых пятьдесят лет, причем никогда ни один замок не заржавел, никогда не выказал несовершенств в запираньи и отпираньи? Лебрехт! Ты помешался, ты в полном неистовстве! Черт побери...

Князь поперхнулся, как всегда, когда ловил себя на желании клясться вопреки всякому княжескому достоинству. Лейб-егерь воспользовался этим моментом, чтобы поспешно добавить:

-- Ваша светлость изволит горячиться и клясться, а между тем ведь нельзя же молчать, нельзя же не сказать правду.

-- Кто горячится, -- возразил небрежно князь, -- кто клянется? Клянутся только ослы! Повтори-ка, братец, весь рассказ, так, вкратце, чтобы я спокойно мог обдумать, какие необходимые меры надо принять. Если Руперт действительно негодяй, тогда... Ну, тогда и будет видно, что нужно делать.

-- Как я имел честь доложить, -- проговорил лейб-егерь, -- вчера, когда я с факелом провожал фрейлейн Юлию, мимо нас проскользнул тот самый неизвестный человек, который давно здесь шатается. "Постой, -- подумал я, -- я же тебя поймаю". Проводив до дому фрейлейн, я загасил факел и стал в темноте. Не прошло и нескольких минут, незнакомец вышел из куста и тихонько постучался у входной двери. Дверь открылась, показалась девушка, незнакомец вместе с ней прошмыгнул в дом. Это была Нанни. Ведь вы знаете, ваша светлость, прехорошенькую Нанни, которая служит у госпожи советницы?

-- Соquin! [*Негодяй!* -- фр.] -- воскликнул князь. -- Разве говорят с коронованными особами о разных хорошеньких Нанни? Однако, продолжай!

-- Да, -- проговорил лейб-егерь, -- не ожидал я от Нанни таких скверных проделок. "Так, значит, -- подумал я, -- тут нет ничего, кроме самой обыкновенной любовной интрижки". Но все-таки я решил остаться и посмотреть, не кроется ли за этим еще чего-нибудь другого. Через некоторое время показалась госпожа советница, возвращавшаяся домой. Едва только она подошла к дому, как наверху раскрылось окно и

незнакомец с невероятным проворством выскочил оттуда прямо на горшки с гвоздикой и левкоями, которые стояли под окном и которые фрейлейн Юлия каждый день поливала собственноручно. Садовник ворчит, негодует. Он стоит там с разбитыми черепками, хотел сам принести жалобу вашей светлости, да я не впустил его: негодник с раннего утра налился.

-- Лебрехт, -- проговорил князь, -- Лебрехт, это не иначе как имитация, потому что совершенно то же самое рассказано в опере сочинителя Моцарта, которая называется "Свадьбой Фигаро". Я видел ее в Праге. Говори правду, лейб-егерь!

-- Я слова не сказал, которого бы не подтвердил клятвой, -- продолжал Лебрехт. -- Неизвестный франт выскочил из окна, я хотел его схватить, но в мгновение ока он помчался, как пришпоренный. Как ваша светлость думает, куда?..

-- Я ничего не думаю, -- торжественно ответил князь, -- не тревожь меня ненужными вопросами и догадками. Спокойно продолжай, лейб-егерь, свой рассказ, когда же история придет к концу, тогда я подумаю.

-- Незнакомец, -- продолжал лейб-егерь, -- устремился прямо к пустому заколоченному павильону. Едва только он постучал в дверь, внутри показался свет и на пороге показался не кто иной, как честнейший господин Руперт. Он впустил незнакомца и сейчас же опять запер дверь. Вот видите, ваша светлость, Руперт, значит, вступает в непозволительные сношения с разными проходимцами, очевидно замышляющими недоброе. Кто знает, какие планы тут преследуются? Быть может, сам светлейший князь, находясь здесь в тихом, мирном Зигхартсгофе, не вполне безопасен от покушений злоумышленников?..

Так как князь Иреней считал себя необычайно важной светлейшей особой, он не раз уже думал о дворцовых заговорах и злокозненной крамоле. Последнее соображение лейб-егеря упало тяжелым камнем на его душу; несколько мгновений он был объят глубоким раздумьем.

-- Лейб-егерь, ты прав! -- проговорил он, наконец, широко раскрыв свои глаза. -- Эта история о незнакомце, слоняющемся здесь, о свете, появляющемся в заколоченном павильоне, гораздо серьезнее, чем можно подумать в первую минуту. Жизнь моя в руке Божией! Но меня окружают верные слуги, и если кто-нибудь из них захочет пожертвовать ради меня своей жизнью, я щедро вознагражу его семью! Добрейший Лебрехт, распространи это сведение среди всех служащих мне! Ты знаешь, княжескому сердцу чуждо чувство страха, чувство общечеловеческой боязни перед смертью, но ведь есть же обязанности по отношению к народу, нужно заботиться о сохранении своей персоны, в особенности если наследник еще не достиг совершеннолетия. Посему я покину замок не ранее того времени, когда крамола, затеянная в павильоне, будет разрушена. Пусть явится сюда лесничий с окружными егерями и прочими служителями лесного ведомства, пусть все мои люди вооружатся с ног до головы. Павильон должен подвергнуться осаде, замок должен быть заперт. Позаботься об этом, любезнейший Лебрехт. Я сам захвачу свой кортик и двуствольные пистолеты, поди, принеси мне их, но не забудь положить их

в футляр, чтобы не случилось какого-нибудь несчастья! Когда же павильон будет взят на приступ и заговорщики сдадутся, пусть мне будет доложено об этом, дабы я мог возвратиться во внутренние свои покои. И пусть пленников тщательно обыщут, прежде чем привести их к моему трону, чтобы кто-нибудь из них в отчаянии... Но, позволь, братец, чего ж ты смотришь на меня, чего ты смеешься? Что это значит, Лебрехт?

-- Ваше сиятельство, -- проговорил лейб-егерь с хитрой усмешкой, -- я думаю, что нет никакой надобности призывать лесничего с его сподручными.

-- Почему нет, -- воскликнул разгневанный князь, -- почему не надо? Да ты, братец, кажется, осмеливаешься мне противоречить? А опасность с каждой секундой растет! Черт побери! Лебрехт, живет на лошадь... лесничего сюда... его сподручных... побольше заряженных ружей... нужно ловить момент... нужно захватить крамольников...

-- Да они уж все пойманы, ваша светлость, -- проговорил лейб-егерь.

-- Как?! Что?! -- воскликнул князь, с изумлением раскрывая рот.

-- Едва только забрезжилось, я уже был у лесничего, -- продолжал лейб-егерь. -- Павильон окружен отовсюду так тщательно, что из него и кошка не убежала бы, а не только что человек.

-- О, Лебрехт, ты чудесный лейб-егерь, -- с чувством проговорил князь. -- Ты -- верный слуга княжеской фамилии! Если теперь ты спасешь меня от опасности, ты можешь смело рассчитывать на медаль, я сам ее изобрету и отолью из серебра или золота, смотря по тому, сколько людей погибнет при штурме павильона.

-- Соблаговолите дать разрешение, ваша светлость, и мы тотчас же приступим к делу, -- сказал Лебрехт. -- Мы взломаем дверь, ведущую в павильон, захватим всех мошенников, которые там сидят, -- и дело в шляпе. Уж, поверьте мне, я сумею поймать этого проклятого негодяя, который, как непрошенный гость, залез в павильон! Не посмеет больше этот мошенник беспокоить фрейлейн Юлию!

-- Какой мошенник, -- спросила советница Бенцон, входя в комнату, -- кто осмеливается беспокоить Юлию? О ком вы говорите, любезнейший Лебрехт?

Князь подошел к Бенцон, важно, торжественно, как человек, которому предстоит совершить нечто экстраординарное, великое, требующее напряжения исключительной душевной энергии. Он схватил советницу за руку, нежно пожал ее и проговорил необыкновенно мягким голосом:

-- Бенцон! Всюду за княжеской особой следует опасность, даже в том случае, если князь живет в полном уединении. Увы, это общая участь всех владетельных особ: никакие проявления сердечности, кротости не могут охранить их от мрачного демона, который зажигает пламя зависти в груди крамольных вассалов! Бенцон! Черная измена подняла против меня свою змееподобную голову Медузы! Я нахожусь в крайней опасности! Но близок миг, который положит конец катастрофе. Этому верному служителю я вскоре буду обязан моей жизнью, моим тронem! Если же будет иначе... о, тогда я предаюсь воле судьбы. Я знаю, Бенцон, вы

сохраняете неизменное ко мне расположение, следовательно, я, как тот король, который обрисован в драме одного немецкого поэта, могу воскликнуть: "Вы мне принадлежите! Не все утратил я!" Добрейшая Бенцон, поцелуйте меня! Дорогая Амальхен, мы все те же, как в старое время! Господи Боже, что это я говорю? Соберемся с духом, дорогая моя, когда враги будут взяты в плен, я уничтожу их одним взглядом. Лейб-егерь, пора приступить к штурму павильона!

Лейб-егерь поспешно направился из комнаты.

-- Пойдите, -- воскликнула Бенцон, -- какой штурм? Какого павильона?

По приказанию князя лейб-егерь снова представил полный рапорт о событиях дня.

Советница с напряженным вниманием выслушала рассказ Лебрехта и, когда он кончил, с улыбкой воскликнула:

-- Это забавнейшее недоразумение, какое когда либо случилось! Прошу вас, князь, отправьте немедленно по домам и лесничего, и его подручных. О заговоре не может быть никакой речи, вам ничто не грозит. Незвестный обитатель павильона -- ваш пленник.

-- Кто же это, -- спросил изумленный князь, -- кто несчастный, осмелившийся без моего разрешения поселиться в павильоне?

-- В павильоне скрывается принц Гектор, -- шепнула ему Бенцон.

Князь отпрянул на несколько шагов, как бы пораженный невидимым ударом.

-- Как? -- воскликнул он. -- Что? *Est-il possible!* [Возможно ли! -- фр.] Бенцон! Не грезится ли мне? Принц Гектор?

Князь устремил свои взоры на лейб-егеря, который, совершенно обескураженный, мял в руках шапку.

-- Лебрехт, -- воскликнул князь. -- Скорей туда! Пусть все идут по домам: и лесничий, и прислуга, чтобы никого не было!

-- Бенцон, -- продолжал он, обращаясь к советнице, -- добрейшая Бенцон, можете вы себе представить, Лебрехт называл принца Гектора негодяем и мошенником! Злосчастный! Но это между нами, Бенцон, это государственная тайна. Скажите мне, объясните мне, каким это образом случилось, что принц хотел уехать, а между тем скрывается здесь, как будто ищет приключений.

Бенцон считала себя избавленной от серьезных затруднений, ввиду того направления, какое придал всему своему рассказу Лебрехт. С одной стороны, ей не хотелось говорить князю о пребывании принца в Зигхартсгофе, а тем более о его замыслах против Юлии, с другой, нельзя было оставлять этого дела в таком положении: каждую минуту оно могло повредить плану, задуманному самой советницей. Теперь, когда лейб-егерь выследил нору, в которой прятался принц и из которой он мог быть вытащен не совсем вежливым образом, Бенцон могла изменить принцу, оставляя Юлию совершенно в стороне. Она объяснила князю, что, вероятно, какая-нибудь любовная ссора с Гедвигой могла побудить принца устроить мнимый отъезд, а самому в действительности остаться вместе с верным камердинером поблизости от возлюбленной, что во всем этом

много загадочного, романтического, но кто же из влюбленных не питает склонности к подобным приключениям? Все это Бенцон узнала от Нанни, в которую страстно влюблен камердинер принца Гектора.

-- Ха! -- воскликнул князь. -- Так, значит, благодаря Небесам, это не принц, а камердинер пробрался к вам в дом и выпрыгнул из окна, прямо на цветочные горшки, как паж Керубино. А у меня уж бродили разные неприятные мысли. Вдруг -- принц, а прыгает через окно. Что-то, знаете ли, неподходящее!

-- Однако, -- проговорила с лукавой усмешкой Бенцон, -- я знаю одну княжескую особу, которая никогда не пренебрегала дорогой через окно, в тех случаях...

-- Ах, Бенцон, вы сбиваете меня, вы огорчаете меня необычайно, -- перебил советницу князь. -- Не будем говорить о прошлом, обсудим лучше, что нам делать с принцем. Вся дипломатия, все государственные законы, все правила придворной жизни летят к чертям при таких трудных обстоятельствах. Должен ли я его игнорировать? Должен ли я случайно найти его в павильоне? Должен ли я... должен ли я... Все кружится в моей голове, как бы в некоем вихре! Вот что значит княжеским особам снисходить до романтических приключений.

Бенцон тоже не знала, что нужно предпринять относительно принца. Но и эта помеха была улажена. Прежде чем советница успела что-нибудь посоветовать, вошел кастелян Руперт и подал князю маленькую записку, заявляя с лукавым видом, что это от одной высокой особы, которую он, Руперт, неподалеку отсюда держит под замком.

-- Так ты, значит, знал, -- проговорил князь, весьма милостиво обращаясь к старику, -- ты, значит, Руперт, знал, что... Да, я тебя всегда считал за честного, верного слугу, ты лишний раз доказал это, повинувшись приказаниям моего будущего зятя. Я подумаю о том, как тебя достойно наградить.

Руперт поблагодарил во всеподданнейших выражениях и удалился из комнаты.

Бывает в жизни, что иного считают особенно честным и добродетельным как раз тогда, когда он выкидывает какую-нибудь непозволительную штуку. Именно об этом подумала теперь Бенцон, которая была лучше князя осведомлена о низких замыслах принца и справедливо думала, что старый лицемер Руперт был также посвящен в эти планы.

Князь развернул записку и прочел следующее:

"Сравню ли с чем из всех блаженств земных Удел любви и сладкий, и прекрасный? О, как хорош среди страстей людских Ее порыв, стремительный и страстный! Но горе нам! Властитель духов злых Готов прервать блаженства гимн согласный, В восторг любви он ревность льет, как яд, И светлый рай нам превращает в ад.

В этих стихах, принадлежащих одному великому поэту, вы, любезный князь, можете найти причину моего загадочного поведения. Я думал, что меня не любит та, которой я молюсь, в которой вижу счастье, жизнь,

надежду, к которой жадно рвется грудь моя, объятая огнем горячей страсти. Но благодарность судьбе! Я убедился, что это не так, несколько часов тому назад я узнал, что я любим. Я выхожу из своей засады. Да будет лозунгом моим любовь и счастье! Через несколько мгновений я буду, князь, приветствовать вас с сыновней почтительностью.

Гектор".

Князь прочел записку дважды и трижды, прочел с глубоким вниманием, и каждый раз все мрачнее становилось его лицо, все сильнее хмурилось его сиятельное чело.

-- Бенцон, -- проговорил он наконец, -- Бенцон! Что такое с принцем? Вместо трезвого, вразумительного объяснения, он пишет итальянские стихи, стихи к владетельному князю, стихи к коронованному тестю? Что это значит? Тут нет ни малейшего смысла. Принц, по-видимому, находится в каком-то неподобающем возбуждении. Сколько могу понять, в стихах говорится о любви и муках ревности. Кого, к кому здесь ревновать? Скажите мне, добрейшая Бенцон, находите ли вы в этой записке хоть искру здравого человеческого рассудка?

Бенцон ужаснулась скрытому смыслу, который заключался в строках, написанных принцем, и который был ей очень понятен после всего, что произошло вчера. Вместе с тем она не могла не подивиться тому, с какой ловкостью принц сумел выйти из своей засады без всяких нарушений условий приличия. Нимало не желая хотя что-нибудь сказать об этом князю, Бенцон решила извлечь из данного положения вещей наибольшее количество выгод. Надеясь осуществить свои планы, она больше всего боялась помехи со стороны Крейсера и мастера Абрагама: против них-то она и решила обратить оружие, которое предлагал ей случай. Она напомнила князю, что еще раньше ей приходилось говорить о страсти, вспыхнувшей в сердце принцессы.

-- От наблюдательности принца, -- продолжала Бенцон свою мысль, -- вероятно, не ускользнуло настроение принцессы, а нелепое, странное поведение Крейсера могло дать достаточное основание для того, чтобы заподозрить какие-нибудь отношения между Гедвигой и капельмейстером. Вот почему принц так преследовал Крейсера, устранился, когда увидел скорбь принцессы при ложном известии, что Крейслер убит, и вернулся для наблюдений назад, когда узнал, что он жив. Таким образом, не кто иной, как Крейслер повинен в той ревности, о которой говорится в стихах принца -- значит, Крейсера никоим образом не нужно опять пускать в Зигхартсгоф, тем более что он вместе с мастером Абрагамом затевает, по-видимому, заговор против всего порядка придворной жизни.

-- Бенцон, -- проговорил с необычайной серьезностью князь, -- Бенцон, я размышлял о том, что вы говорили по поводу недостойной склонности принцессы к капельмейстеру, и не верю теперь ни слову из сказанного вами. В жилах принцессы течет княжеская кровь.

-- Что же, -- проговорила с запальчивостью Бенцон, вспыхнув, -- вы полагаете, ваше сиятельство, что женщина княжеской крови может повелевать законами природы?

-- Вы, советница, сегодня в очень странном состоянии, -- с досадой проговорил князь. -- Я повторяю, что, если в сердце принцессы Гедвиги вспыхнула какая-нибудь непозволительная страсть, это не более, как болезненный припадок, так сказать, судорога, ведь она страдает спазмами. Но это все мимолетно. Что касается Крейсlera, он вполне занимательная личность, жаль только, что ему недостает истинного образования. Я не могу допустить, чтобы в нем возникло дерзкое желание сблизиться с принцессой. Правда, он дерзок, но совсем иначе. Поверьте мне, Бенцон, Крейслер, столь исполненный разными причудами, полагает, что для него не было бы никакого счастья, если бы -- предположим невозможное -- такая высокая особа снизошла до него. Знаете, Бенцон, -- *entre nous soit dit* [Между нами говоря -- фр.], он не особенно хорошего мнения о нас, высоких особах, руководителях общества; это, знаете ли, конечно, глупость, но глупость достаточно неприличная, чтобы сделать пребывание его при дворе невыносимым. Посему, пусть будет он от нас далек, но если ему вздумается возвратиться, милости просим! Ибо, не говоря уже о том, что, как сообщил мне мейстер Абрагам... Да, что касается мейстера Абрагама, я, Бенцон, покорнейше вас прошу оставить его в покое: все интриги, которые он когда либо затевал, шли на благо княжеского дома. Однако я что-то начал... Да! Не говоря уже о том, что, как сообщил мне мейстер Абрагам, Крейслер должен был бежать столь неподобающим образом, вопреки моему гостеприимству, не говоря об этом, он был и есть умнейший человек, весьма занимавший меня, несмотря на свои причуды. *Et cela suffit!* [И довольно! -- фр.]

Советница остолбенела от внутреннего бешенства: она никак не ожидала, что ее так грубо отклонят: оказалось, что она в своем, по-видимому, счастливом плаваньи наткнулась на подводный камень.

На дворе замка поднялся страшный шум. Подъехал целый ряд карет, сопровождаемый взводом гусаров великого герцога. Из карет вышли обер-гофмаршал, президент, советники князя и многие из знатнейших обитателей Зигхартсвейлера: туда дошла весть, что в Зигхартсгофе вспыхнула революция, направленная против князя. Немедленно все верноподданные направились на защиту княжеской особы, захватив с собой защитников отечества.

Князь онемел, услышав все верноподданные уверения собравшейся толпы, которая приготовилась пролить за него свою кровь. Только что хотел он говорить, как вошел офицер, командовавший взводом, и спросил князя о порядке наступательного плана.

Сообразно со свойствами человеческой природы, нам бывает всегда очень неприятно, если опасность, внушавшая нам большой страх, окажется сущим пустяком; тогда как, наоборот, сознание серьезной минувшей опасности наполняет нас радостным ощущением. Таким образом, князь еле мог скрыть свое крайнее неудовольствие по поводу ненужной тревоги.

Неужели же, на самом деле, вся эта суматоха поднялась из-за того, что какой-то камердинер вздумал влюбиться, а романтически настроенный принц вздумал ревновать? Князь думал и думал, на что ему решиться, между тем в зале воцарилась мертвая тишина, прерывавшаяся только ржанием гусарских коней, предвещавших победу.

Наконец, князь откашлялся и начал патетическим тоном:

-- Господа! Непостижимому Промыслу угодно было... Что вам нужно, mon ami? [*Мой друг -- фр.*]

С таким вопросом, прекратившим с самого начала речь, князь обратился к гофмаршалу. Этот последний уже неоднократно поклонился и взглядами пытался показать, что имеет сообщить нечто важное. Оказалось, что принц Гектор приказал доложить о себе.

Лицо князя прояснилось, он увидел, что мнимая опасность, угрожавшая его трону, совершенно исчезла и что достопочтенное собрание, готовившееся его защищать, превратилось, как бы по мановению волшебного жезла, в веселую толпу, явившуюся для поздравлений.

Не прошло и нескольких минут, как появился в парадном мундире принц Гектор, прекрасный, мощный, гордый, как и полагается всякому принцу. Князь сделал два шага вперед, но тотчас же отпрянул назад, как бы пораженный ударом молнии. Прямо вслед за принцем Гектором в залу вбежал принц Игнаций. Княжеский наследник, к сожалению, с каждым днем делался все глупее и глупее. Гусары, находившиеся на дворе замка, необычайно понравились ему: он выпросил у одного из них саблю и кивер, и украсил себя военными доспехами. Делая разные курбеты и как бы представляя из себя всадника, он вбежал в залу с обнаженной саблей в руке, причем металлические ножны ее гремели по полу, а сам принц с милостивой снисходительностью хохотал.

-- Partez, decampez! Allez-vous en tout de suite! [*Уходите, убирайтесь! Прочь отсюда, сейчас же! -- фр.*] -- воскликнул громким голосом князь, сверкая глазами. Испуганный Игнац моментально скрылся. Каждый из присутствующих был настолько тактичен, что не заметил ни принца Игнаца, ни происшедшей сцены.

Князь, увенчанный невозмутимым сиянием кротости и дружелюбия, сказал несколько слов с принцем Гектором, и потом оба они обошли всех присутствующих, говоря каждому что-нибудь приятное. Прием был кончен, все глубокомысленные, остроумные фразы, какие говорят в подобных случаях, были расточены, и князь направился теперь вместе с принцем в покои княгини, а потом по настоянию принца желавшего устроить сюрприз возлюбленной невесте, в покои принцессы. Там же была и Юлия.

Гедвига встретила принца с веселой непринужденностью, которая, впрочем, была мало ей свойственна! К нежным ласкам принца она отнеслась именно так, как обыкновенно делает невеста, не слишком увлекающаяся преждевременно: она не преминула немножко посмеяться над укрывательством принца и уверить его, что она не знает ни одной более забавной метаморфозы, как превращение чепчика в голову принца.

Чепчиком казалась ей раньше голова, выглядывавшая из окна павильона. Это обстоятельство подало повод к разным шуткам, развеселившим самого князя. Взирая на счастливую чету, он впервые вполне убедился, как нелепа ужасная ошибка г-жи Бенцон относительно Гедвиги и Крейсlera. Гедвига, очевидно, любила принца, прекраснейшего из мужчин, и вся сияла красотой и свежестью -- качества, столь свойственные счастливой невесте. Юлия, напротив, выглядела очень плохо. Едва только в комнату вошел принц, она задрожала от глубокого ужаса, охватившего ее: смертельно бледная, она стояла с опущенными глазами, не будучи в силах пошевелиться.

Спустя несколько времени, принц обратился к Юлии со словами:

-- Фрейлейн Бенцон, если не ошибаюсь?

-- Подруга принцессы с раннего детства, как бы ее сестра!

Пока князь говорил эти слова, принц взял Юлию за руку и прошептал:

-- Тебя люблю, тебя одну!

Юлия пошатнулась, слезы самой искренней скорби заблестали у нее на глазах. Она непременно упала бы, если б принцесса не поспешила пододвинуть ей кресло.

-- Юлия, -- проговорила тихонько Гедвига, наклонясь к бедной девушке,

-- Юлия, опомнись же! Неужели ты не понимаешь, что и я сама переживаю ужасную борьбу?

Князь открыл дверь и крикнул, чтобы подали Eau de Luce [*Нюхательные капли -- фр.*].

-- У меня нет с собой этой жидкости, -- сказал мейстер Абрагам, подходя к двери, -- но зато есть прекрасный эфир. А что, разве с кем-нибудь дурно? Эфир отлично помогает.

-- Так ступайте же, помогите фрейлейн Юлии, -- проговорил князь.

Но едва только мейстер Абрагам вошел в комнату, как произошло нечто неожиданное. Принц, увидев мейстера, побледнел как полотно, холодный пот выступил у него на лбу, и волосы, казалось, готовы были встать дыбом. Отставив ногу вперед, откинув голову назад, протянув к мейстеру обе руки, он походил на Макбета, внезапно увидевшего за столом ужасную окровавленную тень Банко. Мейстер спокойно вынул флакон и хотел дать его Юлии, как вдруг принц, по-видимому, немного оправившись, воскликнул тоном, избличавшим глубочайший ужас:

-- Северино, вы ли это?

-- Конечно, -- спокойно ответил мейстер, не дрогнув ни одним мускулом.

-- Конечно, кто же, как не я. Мне очень приятно, что ваша милость изволит помнить обо мне. Несколько лет тому назад, находясь в Неаполе, я имел честь оказать вам маленькую услугу.

Мейстер сделал шаг вперед. Принц схватил его за руку, силою увлек в сторону, и затем последовал разговор, из которого никто в комнате ничего не понял, ибо он происходил на неаполитанском наречии, причем каждая фраза произносилась с необыкновенной быстротой.

-- Северино! Как попал к нему портрет?

-- Я дал его, как орудие защиты против вас.

-- Он знает?

-- Нет!

-- Вы будете молчать?

-- До некоторого времени -- да!

-- Северино! Все силы ада против меня! Что вы понимаете под "некоторым временем"?

-- До тех пор пока вы будете благоразумны и будете оставлять в покое Крейсlera и кое-кого другого!

Принц отошел к окну.

Юлия между тем совершенно оправилась. Посмотревши на мастера Абрагама с неизъяснимым выражением бесконечной скорби, она скорее прошептала, чем проговорила:

-- О, милый, добрый мастер! Вы можете меня спасти! Не правда ли, ведь ваша власть так велика?

Мейстер усмотрел в словах Юлии тайный смысл, вполне согласовавшийся с вышеизложенным диалогом. Точно она проникла в скрытое значение их разговора, пока находилась в состоянии полусна.

-- О, Юлия, -- тихонько сказал мейстер, -- ты ангел небесный, чего ж тебе бояться мрачных адских сил! Положись во всем на меня. Ничего не страшись и ободрись. Вспомни о нашем Иоганне.

-- Ах, -- воскликнула горестно Юлия, -- Иоганн, Иоганн! Ведь он вернется, мейстер? Ведь я увижу его опять?

-- Конечно, -- отвечал мейстер и приложил ко рту палец.

Юлия поняла, что это значит.

Принц употребил все усилия казаться спокойным. Он рассказал, что человек, которого здесь, как он слышит, называют мастером Абрагом, несколько лет тому назад был в Неаполе свидетелем некоторого несчастного происшествия. Это очень грустная история, и он, принц, к сожалению, был в ней одним из действующих лиц. Со временем он непременно ее расскажет, теперь же это было бы совсем некстати.

Внутренняя борьба была, однако, слишком сильна, чтобы не выразиться внешним образом: пока принц принуждал себя говорить самым хладнокровным тоном, от его взволнованного лица отхлынула вся кровь. Принцессе лучше удалось справиться с натянутым положением. С иронией самой тонкой и самой язвительной Гедвига насмеялась над принцем, завлекая его в лабиринт собственных своих тайных мыслей. Она радовалась в душе, что он, такой ловкий светский человек, более того, такой искусный во всякой лжи, не мог противостоять этому странному существу -- мастеру. Чем оживленнее говорила Гедвига, чем острее становилось жало ее молниеносной насмешки, тем смущеннее делался принц; наконец, он был не в силах более выносить такое напряжение и поспешно удалился.

Князь, как всегда в подобных случаях, решительно не знал, что подумать. Он ограничился несколькими отрывистыми французскими фразами, которые были обращены к принцу и на которые этот последний дал подходящие случаю ответы.

Принц уже выходил из двери, как вдруг Гедвига, переменявшись в лице, устремила на пол неподвижный взгляд и громко воскликнула каким-то странным, разрывающим сердце голосом:

-- Я вижу кровавый след убийцы!

Потом, как бы пробуждаясь ото сна, она со страстным порывом прижала к своей груди Юлию и прошептала:

-- Бедный, бедный ребенок, не поддавайся ослеплению!

-- Какие-то тайны, -- с досадой проговорил князь, -- какие-то фантазии, бредни, романтические приключения! Ma foi [*Честное слово -- фр.*], я более не узнаю свой двор! Мейстер Абрагам! Вы приводите в порядок мои часы, когда они начинают неправильно идти, посмотрите, прошу вас, и здесь, что это приключилось с механизмом, в котором раньше никогда не замечалось никаких недостатков. Но что это такое за Северино?

-- Под этим именем, -- отвечал мейстер, -- я показывал в Неаполе мои оптические и механические фокусы.

-- Та-ак, -- протянул князь, пристально посмотрел на мейстера, как будто на языке у него вертелся вопрос, и потом безмолвно и поспешно удалился из комнаты.

Бенцон, которую князь ожидал найти в покоях княгини, давно уже ушла к себе домой.

Юлии очень хотелось отправиться на чистый воздух. Мейстер пошел вместе с ней в парк, и, блуждая среди аллей, наполовину опустелых, они говорили о Крейсере и его жизни в аббатстве. Дойдя до рыбацкого домика, Юлия вошла туда, чтобы немножко отдохнуть. На столе лежало письмо Крейсера. Мейстер подумал, что в нем нет ничего, что нужно было бы скрыть от Юлии.

Пока Юлия читала письмо, ее щеки зарумянились, ее глаза заблестали, все лицо прояснилось.

-- Вот видишь, -- дружески проговорил мейстер, -- видишь, дитя мое, как добрый гений моего отсутствующего Иоганна говорит тебе издалека утешительные вещи! Нужно ли тебе опасаться злых ков, если мужество и любовь будут охранять тебя от преследования злых людей!

-- Боже милосердный, -- воскликнула Юлия, поднимая свой взор к небу, -- охрани меня от меня самой!

Она вздрогнула, как в испуге, услышав слова, невольно у нее вырвавшиеся. Бессильно откинувшись в кресле, она закрыла обеими руками свое пылающее лицо.

-- Я тебя не понимаю, Юлия, -- сказал мейстер. -- Быть может, и ты сама не понимаешь себя, и потому тебе нужно глубже заглянуть в свою душу, ни о чем не умалчивая, ничего не скрывая.

Юлия погрузилась в глубокое раздумье, а мейстер Абрагам, скрестив руки, устремил внимательный взгляд на таинственный стеклянный шар. Какое-то волшебное предчувствие овладело им.

-- Тебя, -- проговорил он, -- тебя спрашиваю я, с тобой должен советоваться, о, чудная, прекрасная тайна моей жизни! Не безмолствуй, дай услышать твой голос! Ведь ты знаешь, что я не простой, заурядный

человек, хотя многие были обо мне такого мнения. Во мне всегда горела любовь, которая есть не что иное, как искра самого мирового духа, она пылает во мне, превращается в радостное пламя, чувствуя твое дыхание. Не думай, Кьяра, что мое сердце, состарившись, охладело, нет, оно бьется так же сильно, как и в то время, когда я вырвал тебя из рук безжалостного Северино; не думай, что теперь я менее достоин тебя, чем в то время, когда ты искала меня сама! Дай мне услышать твой голос, и ты увидишь, что я побегу за ним, буду идти до тех пор, пока не найду тебя, и мы снова будем жить вместе, и будем заниматься высшим чародейством, которое считают необходимым даже все низкие люди, незаметно для самих себя. И если ты более уже не живешь на земле, если твой голос донесется ко мне из мира духов, я буду и этим счастлив, я сделаюсь лучшим, чем был когда-либо прежде. Но нет, нет! Ведь ты же мне сама сказала эти утешительные слова:

Смерть над теми не властна, Кто в душе любовь лелеет; Если сумрачна весна, Луч осенний нас согреет!

-- Мейстер! -- воскликнула Юлия, она поднялась с кресла и в крайнем изумлении смотрела на мейстера Абрагама. -- Мейстер! С кем вы говорите? Что вы хотите делать? Вы упоминаете имя Северино. Господи Боже! Да разве принц не называл вас этим же именем? Какая ужасная тайна скрывается здесь?

При этих словах Юлии старик моментально стряхнул с себя свое приподнятое настроение. На лице его появилось выражение какой-то комической, почти карикатурной веселости, очень мало гармонизировавшей со всем его существом.

-- Прекраснейшая фрейлейн! -- заговорил он резким тоном, каким обыкновенно странствующие шарлатаны расхваливают свои чудесные фокусы. -- Прекраснейшая фрейлейн, капельку терпения, и я буду иметь честь показать вам в этом рыбацьем домике удивительнейшие вещи. Вот танцующие карлики, вот маленький турок, который знает, сколько лет каждому из присутствующих, вот автоматы, вот возрождающиеся существа, вот оптические зеркала -- все это магические, чудесные вещи; но о главном я еще не упоминал. Вон там находится моя "невидимая девица"! Заметьте, она сидит там наверху в стеклянном шаре, но еще не говорит, потому что утомилась дальним путешествием: только что прибыла из Индии. Через несколько дней, прекраснейшая фрейлейн, моя невидимая девица сообщит разные тайны прошедшего и будущего, о принце Гекторе, о Северино и о всякой всячине. А теперь пока последует маленький дивертисмент.

С этими словами мейстер быстро и ловко привел в порядок разные машины и расставил оптические зеркала. Во всех углах комнаты все предметы пришли в движение: автоматы шагали взад и вперед, покачивая головами, искусственный петух, хлопая крыльями, запел ку-ку-ре-ку, и к пению петуха присоединились пронзительные крики попугаев. Юлия, хотя и привыкла к подобным шуткам мейстера, однако ею овладело чувство невольного страха.

-- Мейстер, мейстер, что с вами? -- спросила она испуганно.

-- Дитя мое, -- серьезным тоном заговорил мейстер, -- со мной случилось нечто прекрасное, волшебное, тебе только не нужно об этом знать. А впрочем... Пусть себе эти заживо мертвые штуки проделывают свои фокусы, я же пока сообщу тебе некую тайну, насколько это необходимо и полезно для тебя. Милая Юлия, твоя родная мать закрыла пред тобою свое сердце, но я хочу заглянуть в него, чтобы ты узнала о грозящей тебе опасности и могла ее избежать. Узнай же прежде всего, что мать твоя твердо решила...

(М. прод.) ...считаю за лучшее -- воздержаться. Юноша-кот, будь благоразумен и не пичкай всюду своих стихов, когда честная проза может достаточно хорошо выразить твои мысли. Стихи нужно так же умело рассыпать там и сям в книге, написанной прозой, как в колбасах там и сям втиснуты кусочки сала: это придает смеси в ее целом наиболее заманчивый вид жирной сытости, наиболее соблазнительный вкус. Мои поэтические коллеги, несомненно, найдут такое сравнение вполне благородным и художественным, ибо оно напоминает нам о любимом нашем кушанье, и каждый, конечно, согласится, что нередко хорошее стихотворение так же украшает посредственный роман, как жирный кусок сала делает съедобной тощую колбасу. Говорю это смело, как кот, искушенный опытом и прошедший стадию эстетического образования.

Хотя мне, проникнутому известными философическими и моральными принципами, поведение Понто относительно барона казалось недостойным и жалким, однако я был совершенно пленен его внешней благопристойностью и изящной обходительностью. И напрасно убеждал я себя, что Понто, чуть-чуть понюхавший науки, стоит во всех отношениях ниже меня, напрасно твердил я себе, что у меня есть перед ним преимущество богатой эрудиции, тайный голос упорно говорил мне, что Понто во всем оставит меня в тени. Я был вынужден сознаться, что пудель Понто принадлежит к некоему высшему рангу.

Гениальная голова, как, например, моя, всегда и при каждом случае создает собственные оригинальные идеи. Таким-то образом, обдумав хорошенько мои отношения с Понто, я пришел к остроумным соображениям, которые заслуживают более подробного упоминания. Задумчиво приложив лапу ко лбу, я спрашивал себя: каким это образом случается, что великие поэты, великие философы, как бы гениальны они ни были, оказываются совершенно беспомощными, когда случай сталкивает их с так называемым аристократическим миром?

Везде они некстати: говорят, когда нужно молчать, молчат, когда нужно говорить, становятся в антагонизм со всеми и оскорбляют себя и других; словом, гений похож на того, кто, будучи одним из многих, отправляющихся на гулянье, прежде всех теснится через дверь и, забывая о всей толпе, нарушает стройный порядок. Я знаю, этот недостаток приписывается отсутствию светского образования, которого трудно достигнуть, когда сидишь все время за письменным столом; мне кажется, что такой недостаток легко устраним и что тут кроется еще нечто другое. Великий поэт, великий философ не были бы великими, если бы не

сознавали своего духовного превосходства; но они видят, что это превосходство не может быть признано в светских кругах, ибо в них главной тенденцией является желание сохранить полное равновесие. Каждый новый голос должен гармонировать с общим хором. Между тем поэт всегда становится в резкий антагонизм и служит всегда ярким примером дурного тона. Хороший же тон, как и хороший вкус, заключается в воздержании от всего неприличного. Далее я полагаю, что недовольство, проистекающее из чувства контраста между духовным превосходством и внешним положением, мешает поэту или философу, неопытному в правилах социальной жизни, понять условия, соответственные данному случаю, и высоко воспарить над пошлой толпой. Необходимо, чтобы художник-мыслитель не слишком ценил свое духовное превосходство и в то же время чтобы он не слишком высоко ценил светскую культуру, единственное стремление которой -- сглаживать все резкости и шероховатости, подгонять все физиономии под один шаблон, лишая их индивидуальности. Тогда, поняв сущность этой жалкой культуры, он легко и свободно войдет в нее полноправным гражданином. В особом положении находятся художники-живописцы, которых иногда знатные пускают в свой круг, так же как и стихотворцев, для того чтобы иметь вид меценатов. Но, к сожалению, ремесло всегда дает себя чувствовать и такие художники или смиренны до ласкательства, или дерзки до необузданности.

Примеч. издат. Мне крайне жаль, Мурр, что ты так часто наряжаешься в чужое платье. Таким приемом ты очень уронишь себя во мнении благосклонного читателя; я глубоко убежден в этом. Все эти соображения ты, без сомнения, слышал от капельмейстера Иоганна Крейсlera, и вообще, не может быть, чтобы тебе самому удалось набраться такой житейской мудрости и столь глубоко понять гений художника.

Почему, думал я далее, остроумному коту, будь то поэт, писатель или художник, не удастся воспарить до ясного сознания всей важности такой культуры и практиковать сию последнюю непринужденно и грациозно. Ужели природа дала в этом отношении преимущество песьей породе? Если мы и отличаемся от гордого рода собак шерстью и кровью, духом и телом, тем не менее и они должны одинаково с нами заботиться о сохранении своей жизни. И собаки должны есть, пить, спать, и им больно, когда их бьют...

Что много говорить! Я решил предоставить себя, в смысле образования, на полное усмотрение друга моего пуделя Понто. Отправившись в комнату мастера, я мельком посмотрелся в зеркало и тотчас же убедился, что одно решение усовершенствоваться в высшей культуре уже очень выгодно отразилось на моей наружности. С большим удовольствием смотрел я на себя. А как отрадно, как сладко, когда вполне доволен собой! Невольное мурлыканье вырвалось из моих уст.

На другой день я не только вышел за дверь, но и спустился вниз по улице. Вдруг вдали показался господин барон Альцибиад фон Випп, а за ним весельчак Понто. Это было как раз кстати; приняв наиболее достойный и изящный вид, я подошел к своему приятелю. Вдруг... о, ужас... что

произошло!.. Едва только барон меня заметил, он остановился и, внимательно посмотрев сквозь лорнет, крикнул:

-- Allons! Понто! Ссс! Кот! Кот! Ссс!

Понто, мой фальшивый друг, с бешеной яростью кинулся на меня. Объятый ужасом, совершенно потерявшись, благодаря низкой измене, я был не в силах защищаться и только согнулся, дабы по возможности избежать острых зубов Понто, которые он показывал с ревом. Он несколько раз прыгнул через меня, не трогая, однако, зубами. Я услышал его шепот:

-- Мурр, не будь же глупцом, не бойся ничего! Неужели ты не видишь, что я делаю все это в шутку, чтобы позабавить своего господина!

Понто несколько раз повторил свои прыжки и сделал даже вид, что схватил меня за уши, между тем как в действительности он не причинил мне ни малейшей боли.

-- Теперь беги поскорей в погребную дыру! -- проворчал Понто.

Не дожидаясь, чтобы мне сказали это дважды, я прыснул изо всех сил. Хотя Понто и обещал не делать мне никакого вреда, тем не менее я не мог победить в себе чувство ужаса: никогда нельзя поручиться, что возьмет верх в подобных случаях -- дружба или прирожденные склонности.

Когда я прошмыгнул в погреб, Понто продолжал разыгрывать комедию, послужившую развлечением для его господина. Он рычал и лаял перед погребным окном, просовывал морду через решетку, делал вид, как будто бы он совершенно вне себя оттого, что я ускользнул и он не может больше продолжать свое преследование.

-- Вот видишь, -- в то же время говорил мне Понто, -- видишь, каковы последствия высшей культурности? В одно и то же время я и хозяину угодил, и не повредил ни в чем тебе, добрейший Мурр. Так всегда делает истинный знаток светской жизни, которому судьба предназначила быть орудием в руках сильнейшего. Он кидается со всего размаху на того, кто будет указан, но кусает лишь тогда, когда этого требует собственная его выгода.

Поспешно, в немногих словах я открыл моему юному другу, что я хочу через него понабраться этой высшей культурности, и спросил его, каким бы образом все это устроить. Подумав несколько мгновений, Понто сказал, что лучше всего не откладывать дело в долгий ящик, а начать сегодня же: мы отправимся вместе вечерком к хорошенькой Ба-дине, где он всегда бывает во время театральных представлений; там я тотчас же увижу наглядную картину из жизни знати. Бадина -- борзая собака, находящаяся в услужении у княжеской обер-гофмейстерины.

Принарядившись самым тщательным образом, я перечел кое-что из книги, пробежал на всякий случай две-три новые комедии Пикара (чтобы не выказывать себя профаном во французской литературе) и отправился на крыльцо. Понто не заставил себя долго ждать. Спустившись по улице на довольно далекое расстояние, мы скоро пришли в квартиру Бадины. В хорошо освещенной комнате я увидел пестрое сборище: тут находились

пудели, шпицы, мопсы, болонки, борзые. Одни сидели посредине комнаты, образуя тесный кружок, другие расположились по углам, группами.

Сердце мое сильно забилося, когда я вступил в это сборище вражеских существ. Некоторые из пуделей глянули на меня с каким-то презрительным удивлением, как бы вопрошая: "Зачем появился вульгарный кот среди нашего изысканного общества?" Кое-кто из элегантных шпицев оскалил зубы, и я отлично мог заметить, что этим господам очень бы хотелось вцепиться мне в физиономию, но их удерживало чувство приличия и комильфотности.

Понто вывел своего друга из затруднения, представив меня хозяйке дома, борзой красавице, которая немедленно с изящной снисходительностью удостоверила, что ей чрезвычайно отрадно видеть у себя кота с такой хорошей репутацией, с таким громким именем. Как только Бадина сказала мне несколько приветственных слов, многие из присутствовавших псов, с истинно собачьим благодушием, выказали по отношению ко мне просвещенное внимание, наделили похвалами мои писательские идеалы (столь почтенные), мои литературные произведения (столь остроумные). Это польстило моему самолюбию, и я даже не заметил, что мне предлагали вопросы, не дожидаясь ответа, что мой талант хвалили, не зная его, что моими произведениями восторгались, не понимая их. Природный инстинкт подсказал мне, как я должен отвечать на вопросы, с которыми ко мне обращались собаки: я старался говорить в самых общих выражениях -- таким образом, разговор не сходил с гладкой, ровной поверхности. Понто мимоходом сообщил мне, что один старый шпиц находит меня довольно забавным для кота и видит во мне несомненные способности к комильфотной беседе. Такой отзыв тронул бы самого сурового, предубежденного кота!

Жан-Жак Руссо, рассказывая в своей автобиографии, как он украл ленту, причем кара за воровство постигла ни в чем не повинную девушку, признается, что ему чрезвычайно тяжело вспоминать об этом событии, засвидетельствовавшем его крайнее малодушие. Я нахожусь теперь в аналогичном положении. Как Руссо, я должен рассказать о постыдном факте моей жизни, -- не о преступлении, нет, но о великой глупости, которую я совершил в тот же знаменательный вечер и которая долго преследовала меня, как фантом, чуть не лишив рассудка. Да, глупость, а не преступление я совершил, но думаю, что в первой гораздо труднее сознаться, чем во втором.

Недолго я пробыл в чуждом мне обществе, как мной овладело ка-кое-то внутреннее недовольство, страшно захотелось домой, к мастеру, под печку. Ужасная скука всецело покорила себе мою душу. Забыв всякие приличия, я прополз в уголок и задремал, в то время как разговоры, звучавшие кругом, казались мне тихой колыбельной песней, которая доносилась откуда-то издалека, точно однозвучный шум мельничного колеса. Находясь в сладкой дремоте, предаваясь сонным грезам, я вдруг почувствовал, что перед моими закрытыми глазами как бы вспыхнул яркий свет. Я глянул, -- прямо передо мной стояла грациозная, белоснежная

борзая девушка, прелестная племянница Бадины по имени Минона (как я узнал позднее).

-- Mein Herr, -- проговорила Минона сладким лепечущим голосом, еще и теперь при одном воспоминании, заставляющим дрожать мое пламенное сердце. -- Mein Herr, вы здесь в одиночестве, вы, кажется, скучаете. C'est dommage! [*Как жаль!* -- фр.] Но, конечно, такой великий поэт, как вы, всегда витает в высших сферах, наша будничная жизнь кажется ему серой, скучной.

Я вскочил, несколько озадаченный. К крайнему для меня сожалению, природные мои склонности, против моего желания, сказались тотчас же: я невольно выгнул спину, чем, по-видимому, немного рассмешил Минону.

Однако, немедленно овладев собой, я принял галантный вид, схватил лапу Миноны, тихонько прижал ее к своим губам и заговорил о тех восторженных моментах, какие нередко выпадают на долю поэта. Минона внимала мне с таким необыкновенным участием, с таким преклонением, что я все более и более впадал в высоко-восторженный тон и под конец сам перестал себя понимать. Минона, вероятно, тоже поняла немного из моих слов, тем не менее, придя в состояние полного восторга, она уверила меня, что уже и раньше научилась ценить гениального кота Мурра и что теперь она переживает счастливейший момент своей жизни. Говорить ли о моем блаженстве! Через несколько мгновений выяснилось, что Минона читала мои дивные произведения, мои поэтические создания, и не только читала, а глубоко-глубоко прочувствовала! Многие из моих стихотворений она знала наизусть и декламировала мне с таким вдохновением, с такой чарующей фацией, что я был на седьмом небе. Это и понятно: ведь я слышал мои, мои стихотворения из уст прелестнейшей борзой девицы!

-- Дитя! -- воскликнул я в восторге. -- О, чудное, прелестное дитя! Как поняла ты дух моих созданий! Как глубоко внедрила их в свой ум! Что может быть заманчивей и слаще для поэта, для нежного кота-певца!

-- Мурр! -- пролепетала Минона. -- Гениальный кот! Поверьте, о, поверьте, что кроткое, чувствительное сердце не будет холодно и чуждо вам!

Минона глубоко вздохнула. Как мне был сладок этот вздох! Еще бы! Я полюбил ее всем сердцем, всей душой!

Увы! Я влюбился в прекрасную борзую девицу так безумно, что, ослепленный, не видел ничего кругом себя: я не видел, что Минона в момент своего наивысшего энтузиазма, вдруг оборвала разговор и начала болтать всякий вздор -- и не со мной, а с подскочившим к ней франтиком-мопсом. Я не замечал, что она весь вечер избегала меня и давала ясно понять, что все ее полные энтузиазма похвалы относились, строго говоря, к ее собственной персоне.

С той минуты, как это случилось, я стал всюду бегать за прекрасной борзой, я воспел ее в дивных стихах, я сделал ее героиней моих повестей, преисполненных странной фантазии, появлялся в таком обществе, где мне никогда не следовало бывать, и, благодаря всему этому, испытал много огорчений, много оскорбительных разочарований и неудобств.

Часто в часы хладнокровного размышления мне ясно представлялась вся глупость моего поведения, но, к несчастью, в такие минуты мне вдруг приходил на память Тассо, вспоминались мне и новейшие поэты, отличавшиеся рыцарством, поклонявшиеся издалека чудной даме сердца, как Дон Кихот -- Дульсинея, и, черт возьми, не хотелось мне уступать им в поэтическом рыцарстве. Я вызывал в своем воображении обаятельный лик белоснежной борзой красавицы, я клялся служить ей верно и вечно, быть ее рыцарем до гроба. Объятый таким странным безумием, я делал одну глупость за другой, и даже мой друг Понто счел за необходимое предупредить меня, что мне строят ковы и хотят меня увлечь весьма низкопробной мистификацией. Кто знает, к чему бы все это привело, если бы мне не сияла счастливая звезда!

Однажды вечером я прошмыгнул к квартире прелестной Бадины, с целью увидеть мою возлюбленную Минону. Однако все двери были закрыты, напрасны были мои ожидания, напрасны надежды как-нибудь проникнуть к красавице. Преисполненный страстной любви, я, по крайней мере, желал дать знать ей, что я близко, и запел под окном испанскую серенаду, нежнейшую из всех, какие когда-либо пелись. Какие это были тонкие, жалостные звуки!

Я слышал лай Бадины, слышал сладостное эхо нежной Миноны. Но вдруг, прежде чем я успел опомниться, быстро отворилось окно, и кто-то вылил мне на голову целый ушат холодной воды. Можете себе представить, с какой поспешностью я прыснул оттуда, направляясь в родные Палестины! Страстный жар внутри, холодная, как лед, вода снаружи -- может ли быть более резкая дисгармония! Даром это пройти не могло. Действительно, когда я вернулся домой, меня трясла жестокая лихорадка. Мейстер увидел, что я болен, ибо лицо мое было бледно, в глазах угас огонь, лоб пылал, пульс бился неправильно. Я с жадностью выпил предложенное мне мейстером теплое молоко, потом, закутавшись в одеяло, я отдался болезни, которая всецело овладела мной. Сперва мой мозг был посещен лихорадочными видениями из сферы высшей культуры, быта борзых собак, потом сон мой сделался спокойнее, и, наконец, я уснул так крепко, что, кажется, проспал три дня и три ночи подряд.

Проснувшись, я почувствовал, что я совершенно выздоровел от лихорадки, а также -- о, чудо! -- и от своей безумной любви! Вполне ясно понял я, как глупо было слушаться пуделя Понто и мешаться мне, истому коту, в собачье общество, где меня не могли понять, а потому относились ко мне с насмешкой, где придают значение лишь внешней форме, совершенно бессодержательной. С новой силой проснулась во мне любовь к наукам и искусствам, с большей, чем когда либо, любовью занялся я хозяйством мейстера. Наступили месяцы зрелой возмужалости, я не был более котом-буршем, не был и светским денди, -- я понял, что обе эти стадии еще не составляют всего пути, какой должен быть пройден личностью талантливой и глубокомысленной.

Мейстеру пришлось отправиться в путешествие, и потому он счел за наилучшее поместить меня на время к другу своему капельмейстеру Иоганну Крейслеру. Так как с этой переменной связано начало совершенно нового периода моей жизни, я заканчиваю рассказ о пережитом, рассказ, из которого котовская молодежь может извлечь много поучительного.

(Мак. л.) ...как вдруг до него донеслись глухие, отдаленные звуки; он услышал, что по коридору идут монахи. Окончательно проснувшись, Крейслер увидел из окна, что церковь вся освещена, оттуда слышалось тихое пение церковного хора. Час полуночной службы уже миновал, и Крейслер подумал, что это, вероятно, умер какой-нибудь старик-монах, которого сообразно с монастырским обычаем немедленно отнесли в церковь. Быстро накинув на себя платье, Крейслер вышел из комнаты. В коридоре он встретил патера Гилариуса, который, громко зевая и качаясь из стороны в сторону, шел сонный и так держал свечку, что воск беспрерывно капал с нее и ежеминутно грозил загасить пламя.

-- Досточтимый отец, -- забормотал он, увидев Крейслера, -- досточтимый аббат, это против всяких правил! Торжественные похороны ночью! В такой час! И все это только потому, что так захотелось брату Киприанусу! *Domine, libera nos de hoc monacho!* [*Господи, избави нас от этого монаха!* -- лат.]

Крейслеру с большим трудом удалось кое-как убедить полуспящего Гилариуса, что перед ним Крейслер, а не аббат. Когда же наконец патер Гилариус совершенно проснулся, Крейслер узнал от него, что ночью неизвестно откуда принесли в монастырь труп какого-то человека, которого, по-видимому, знал из всех монахов только брат Киприанус. Вероятно, этот неизвестный покойник не из простого звания, потому что аббат по настоятельной просьбе Киприануса согласился совершить отпевание немедленно, для того чтобы утром, после ранней обедни, можно было совершить вынос тела.

Крейслер отправился в церковь; слабо освещенная, она являла собой вид странный и мрачный. Были зажжены только свечи главного металлического канделябра, спускавшегося с высокого потолка перед алтарем: таким образом, среднее пространство церкви было освещено каким-то тусклым мерцанием, а в боковые коридоры падали лишь отдельные дрожащие полосы света; изображения святых как бы трепетали и двигались, вызванные на мгновение к призрачной жизни. Под самым канделябром, в полосе яркого света, стоял открытый гроб, вокруг которого толпились бледные монахи, казавшиеся привидениями, восставшими в полночный час из могил. Глухим, хриплым голосом они пели монотонные строфы реквиема, когда же они умолкали, делая паузу, снаружи слышался таинственный шелест ночного ветра, а высокие окна как будто дрожали, как будто подавались под напором духов, примчавшихся с кладбища. Крейслер приблизился к гробу и увидел в нем труп адъютанта принца Гектора.

Мрачные духи, которые порою имели над ним такую большую власть, пробудились в груди его, беря наболевшие раны.

-- Злой дух, -- прошептал он про себя, -- для чего ты привел меня сюда? Чтобы этот труп застывшего юноши снова покрылся кровью от приближения убийцы? Да ведь этот юноша, верно, потерял уже всю свою кровь, когда, лежа на одре болезни, он исповедывал грехи! Не осталось у него больше ни капли, которой бы он мог отравить своего убийцу, а тем более Иоганна Крейсlera: что общего может иметь Крейслер с ехидной, раздавленной в тот самый момент, когда, выпустив ядовитое жало, она хотела нанести смертельную рану? Усопший, открой свои глаза -- я смело посмотрю тебе в лицо, и ты увидишь, что я не причастен греху! Но ты не в силах это сделать! Кто велел тебе ставить жизнь против жизни? Для чего играл ты в обманчивую игру, для чего шутил со смертью, не приготовившись ее встретить лицом к лицу? Но черты твоего бледного лица спокойны, безмятежны; смертная мука стерла с твоего прекрасного лица малейший след греха, и я, пожалуй, мог бы даже сказать, что небеса открыли тебе врата своей милости, ибо в груди твоей жила любовь! А что, если я в тебе заблуждался? Что если не злой дух, а добрый гений водит твоей рукой, направленной против меня, для того чтобы я был избавлен от ужасного, мрачного рока, который всюду меня подстерегает? Открой же глаза, пусть один взгляд, полный примирения, разъяснит мне все: должен я оплакивать твою участь или должен отдаться страху за себя, страху пред сумрачным призраком, который только и ждет, как бы схватить меня? Взгляни на меня... впрочем, нет, нет! Ты взглянешь на меня, пожалуй, как Леонард Эттлингер, может быть, Эттлингер это ты, ты хочешь увлечь меня с собой в бездну, откуда так часто доносится ко мне какой-то глухой голос! Что это, ты улыбаешься? Твои губы и щеки получают окраску? Разве над тобой не властно смертоносное оружие? Нет, я не хочу бороться с тобой еще раз, пусть лучше...

Крейслер, который во время этого разговора с самим собой бессознательно опустился на одно колено, опершись обеими руками на другое, быстро вскочил и, вероятно, натворил бы каких-нибудь нелепых выходов, но как раз в это мгновение монахи умолкли, дисканты запели под тихий аккомпанемент органа *Salve regina* ["Привет тебе, царица" -- лат.], гроб закрыли, и братия торжественно удалилась. Несчастный Иоганн, низко опустив голову, печально пошел вслед за монахами! Только что хотел он выйти из двери, как вдруг из темного угла поспешно выскочила какая-то фигура и бросилась на него.

Монахи остановились, свет их свечей упал на высокого, рослого парня, лет восемнадцати-двадцати. Его уродливое лицо носило выражение дикого упрямства, черные волосы кочьями висели на его голове, растерзанная льняная куртка едва прикрывала его наготу, таковые же штаны доходили только до икр -- весь костюм, таким образом, давал возможность видеть геркулесово телосложение.

-- Проклятый, кто велел тебе убить моего брата? -- свирепо воскликнул парень, схватывая Крейсlera за горло.

Но прежде чем успел опомниться испуганный Крейслер, патер Киприанус уже стоял около него и громко заговорил повелительным голосом:

-- Джузеппо, низкий, грешный человек! Зачем ты здесь? Где ты оставил старуху? Убирайся вон сию же минуту! Преподобный аббат, велите позвать прислужников, пусть они вышвырнут отсюда этого негодяя!

Как только подошел Киприанус, парень немедленно выпустил из своих рук Крейсlera.

-- Ну, ну, -- заговорил он сердито, -- зачем такой шум, святой муж, я ведь только хотел заявить свои права! Нечего на меня натравливать прислужников, я и сам уйду.

Парень быстро шмыгнул через одну из дверей, которую забыли запереть и через которую он, вероятно, пробрался в церковь. Подоспевшие прислужники не сочли нужным преследовать его.

Натура Крейсlera была именно такова, что все необычайное действовало на него крайне благотворно, и пережитая мгновенная буря, грозившая лишить его жизни, совершенно освежила его.

Аббат на другой день был крайне удивлен, видя, как Крейслер спокойно рассказывает свои ощущения, испытанные при виде трупа человека, убитого им во время самозащиты.

-- Ни церковь, ни светский суд, -- проговорил аббат, -- не могут возложить на вас какое-либо наказание за смерть этого грешника. Но внутренний голос долго будет вам говорить, что лучше было бы вам самому пасть, нежели убить противника, что вечному Промыслу угоднее видеть, как человек жертвует своей жизнью, не желая покупать ее ценой кровавого деяния. Но, впрочем, теперь об этом говорить не время; нам нужно поговорить о другом, что ближе, нужнее. Кто из смертных может предвидеть все изменения, могущие постигнуть нас! Давно ли я был убежден, так глубоко убежден, что для спасения вашей души ничего не может быть лучше, как отречься от мира и вступить в наш орден! Теперь я совсем другого мнения и, как ни ценю вас, все же не могу вам не посоветовать возможно скорее оставить аббатство. Не думайте обо мне ложно, любезный Иоганн! Не спрашивайте меня, почему я подчиняюсь против убеждения чужой воле, которая грозит разрушить все, что я создал с таким трудом. Если бы я и захотел говорить с вами о мотивах моего поведения, вы должны были бы быть глубоко посвященным в таинства церкви, для того чтобы понять меня. Однако с вами я могу говорить свободнее, чем с кем-либо. Узнайте же, что в самом близком будущем наш монастырь перестанет быть для вас тихой обителью, а, напротив, покажется вам пустынной, безутешной тюрьмой, где всем вашим лучшим стремлениям будет нанесен смертельный удар. Весь порядок монастырской жизни меняется: благочестие, соединенное со свободой, доживает свое время, и мрачный дух монашеского фанатизма скоро будет свирепствовать среди этих стен. Иоганн, Иоганн, ваши чудные гимны не будут больше возносить наш дух в сферы высшего религиозного

созерцания, хор будет уничтожен, и скоро ничего не будет здесь слышно, кроме монотонных припевов стариков-монахов.

-- И все это по воле пришедшего монаха Киприануса?

-- Любезный Иоганн, -- скорбно возразил аббат, опуская глаза, -- так должно быть, и не я тому виной. Но, -- добавил он торжественным тоном после минутного молчания, -- здание церкви должно воздвигаться все выше и выше, и никакая жертва, ведущая к этому, не будет слишком велика!

-- Но кто же, -- воскликнул с недовольством Крейслер, -- кто же этот могучий святой муж, что вами он повелевает и меня спасает одним словом от руки убийцы?

-- Вы запутаны в некую тайну, Иоганн, -- проговорил аббат. -- Теперь вы не можете и не должны узнать ее вполне, но скоро вы узнаете очень много, быть может больше, чем я. Все это вам сообщит мейстер Абрагам. Киприанус, которого мы сегодня еще называем братом, принадлежит к числу избранных. Он удостоился вступить в непосредственное соприкосновение с вечными силами Неба, так что мы теперь уже должны чтить в нем святого. Что касается того незнакомца, который забрался в церковь и с самыми кровожадными намерениями схватил вас за горло, это беглый, полусумасшедший парень-цыган. Наш управитель уже неоднократно подвергал его телесному наказанию за то, что он ворует у крестьян кур. Чтобы выгнать его из церкви, не требовалось особенного чуда.

Когда аббат произносил последние слова, на губах у него показалась мимолетная ироническая улыбка.

Сильнейшая досада овладела Крейслером: он увидел, что аббат, несмотря на все свои прекрасные качества, хитрил, и что все доводы, которыми аббат раньше хотел убедить его вступить в орден, были такой же маской, как и те доводы, которые он только что высказал. Крейслер решил поскорее выбраться из монастыря и отделаться от всех этих тайн, все больше и больше его запутывавших. Когда же он подумал, что, вернувшись теперь же в Зигхартсгоф к мейстеру Абрагаму, он увидит ее, вновь услышит ее голос, когда он подумал, что она составляет для него все, -- грудь его невольно сжалась сладостным предчувствием любви.

Глубоко задумавшись, Крейслер шел по главной аллее парка, как его обогнал патер Гилариус, немедленно воскликнувший:

-- Вы были у аббата, Крейслер, он вам все сказал! Ну, что, не прав ли я? Мы все погибли! Этот святоша -- комедиант... конечно, все останется между нами! Когда он, -- вы, конечно, знаете, про кого я говорю, -- надел клобук, пришел в Рим, Его Святейшество папа немедленно дал ему аудиенцию. Пав на колени, он поцеловал его туфлю. Не давая ему знака встать, папа заставил его пролежать таким образом целый час. "Пусть будет это твоим первым церковным наказанием", -- проговорил наконец папа и, позволив встать, прочел Киприанусу длинную проповедь о греховных заблуждениях. Получив потом подробные, тайные инструкции, он отправился сюда. Давно уж не было ни одного святого! Чудо -- ведь вы

видели картину, Крейслер! -- чудо впервые получило надлежащую окраску уже в Риме. Я, знаете ли, не более как честный монах-бенедиктинец, изрядный *praefectus chori* [*Регент хора -- лат.*], как вы сами согласитесь; за процветание святейшей католической церкви я охотно выпью стаканчик хорошего вина, но... единственным моим утешением является мысль, что он здесь недолго пробудет. Ему нужно будет проветриться, попутешествовать. *Monachus in claustro non valet ovae duo; sed quando est extra, bene valet triginta* [За монаха в монастыре не дашь и двух яиц, а за его стенами -- дашь и три десятка -- лат.]. Заодно он и чудес тогда понаделает... Вон, Крейслер, смотрите, он идет сюда по аллее. Он нас заметил и заранее принял должный вид.

Крейслер увидел монаха Киприануса: подняв глаза к небу, сложив руки, он шел медленно и торжественно, как бы охваченный религиозным экстазом.

Гилариус поспешно удалился. Крейслер, напротив, остался и весь впился в лицо монаха, носившее на себе какой-то странный, своеобразный отпечаток, делавший его непохожим на всех других людей. Необычайные события, пережитые кем-либо, оставляют всегда на лице несомненные следы, то же самое, очевидно, было и здесь.

Монах хотел пройти мимо, не заметив Крейслера. Этот последний, однако, возымел сильное желание загородить дорогу строгому посланнику главы церкви, заклятому врагу лучшего из искусств.

-- Позвольте, досточтимый, засвидетельствовать вам мою благодарность. Сильным словом, сказанным вовремя, вы спасли меня от покушений грубого цыгана, который, несомненно, задушил бы меня, как ворованного куренка!

Монах как бы пробудился от сна, провел рукой по лицу и устремил на Крейслера долгий пристальный взгляд, потом, как бы вспомнив что-то, он громко воскликнул, причем все лицо его исказилось гневом:

-- Дерзкий преступник! Я должен был бы допустить, чтобы такой наглец погиб во грехах! Не вы ли осквернили святой культ церкви своим светским музыкальным вздором. Не вы ли ослепляли набожные умы тщетными ухищрениями, не вы ли отвращали души молящихся от истинной святости, наполняя их суетной жаждой мирских песен?

Крейслер был возмущен безумными упреками фанатика и захотел укротить его глупое высокомерие.

-- Неужели, -- заговорил Крейслер, спокойно глядя монаху прямо в глаза, -- неужели грешно восхвалять Высшую Силу на том языке, который она дала нам сама, для того чтобы мы посредством этого чудного дара могли возвышаться до самого чистого молитвенного настроения, больше того, до познания загробной жизни? Неужели грешно на крыльях серафима унести от всего земного в высшие сферы любви и совершеннейшего света? Если так, вы, конечно, правы, я -- самый жалкий грешник. Но, знаете ли, я совсем иного мнения, и думаю, что много бы потерял культ церкви, если бы церковное пение умолкло.

-- Так молитесь Пресвятой Деве", -- строго и холодно возразил монах, -- пусть снимет она пелену с ваших глаз, дабы вы увидели вашу страшную ошибку.

-- Как-то раз, -- проговорил с улыбкой Крейслер, -- спросили одного композитора, каким образом удастся ему, чтобы его религиозные музыкальные сочинения дышали таким чисто молитвенным настроением. "Когда работа плохо идет, -- отвечал набожный маэстро, -- я, прохаживаясь взад и вперед по комнате, прочитываю несколько Ave, -- тотчас же после этого мысли мои опять получают надлежащее течение". Тот же композитор говорил об одном из своих великих религиозных произведений: "Дойдя до половины моей работы, я увидел, что она мне очень удастся: я никогда не был так религиозен, как в это время. Ежедневно я падал ниц и просил Господа, чтобы он дал мне сил для завершения моего труда". Мне представляется, досточтимый, что ни упомянутый композитор, ни старик Палестрина, нисколько не грешили и что только сердце, огрубевшее в сухом аскетизме, бессильно почувствовать всю красоту религиозного пения.

-- Да кто же ты наконец, дерзкий? -- воскликнул с гневом монах. -- Ты должен лежать передо мной в пыли, и ты смеешь со мной считаться? Вон из аббатства, нарушитель святыни!

Глубоко возмущенный повелительным тоном монаха, Крейслер запальчиво воскликнул:

-- А ты, кто ты, безумный монах, мнящий возвыситься над всем человеческим? Ты родился свободным от греха? Ты никогда не лелеял в уме адские мысли? Ты никогда не поскользнулся на своем пути? И если Пресвятая Дева действительно избавила тебя от смерти, которую ты, быть может, заслужил каким-нибудь темным деянием, разве ты не должен был смиренно каяться во грехах? А ты нагло хвастаешься милостью Неба, ты воображаешь, что твоя голова украшена венцом, которого ты никогда не получишь!

Монах пробормотал какие-то невнятные слова, оставив на Крейслера взгляд, полный бешенства и угроз.

-- Ну, -- продолжал Крейслер с возрастающей силой, -- а когда ты носил этот сюртук...

С этими словами Крейслер показал монаху портрет, полученный от мастера Абрагама, но едва только Киприанус увидел портрет, он с каким-то диким отчаянием схватился за голову и, точно пораженный насмерть, испустил душераздирающий вопль.

-- Ты ступай отсюда вон, -- воскликнул Крейслер, -- вон из аббатства, преступный монах! Эге, святой отец! Если ты натолкнешься на этого цыгана-вора, с которым ты заодно, скажи ему, что ты больше не станешь меня защищать, но предупреди его, кстати, чтобы он держался подальше от моей глотки, а то я его проткну, как жаворонка или как его брата, потому что насчет этой штуки...

Крейслер вдруг ужаснулся на самого себя. Монах стоял перед ним окаменелый, неподвижный, безмолвный, продолжая прижимать обе руки

ко лбу. Крейслеру показалось, что в соседних кустах что-то зашелестело, что сейчас оттуда выскочит на него свирепый Джузеппо. Он поспешно удалился прочь. Монахи пели вечерню, и Крейслер направился в церковь, надеясь успокоить там свою взволнованную, оскорбленную душу.

Служба кончилась, монахи удалились, свечи были погашены. Мысли Крейслера обратились к тем великим учителям, имена которых он упомянул в споре с Киприанусом. Музыка, святая музыка наполнила всю его душу, буря противоречивых ощущений умолкла, и до слуха его как бы донесся издали мелодический голос Юлии.

Крейслер направился через боковую часовню, двери которой выходили на лестницу, примыкавшую к его комнате. Войдя в часовню, он увидел монаха, распростертого перед образом Пресвятой Девы Марии. Это был Киприанус. С трудом поднявшись с полу, он представлял собой самое печальное зрелище. Крейслер подал ему руку, так как изнеможенный Киприанус еле держался на ногах.

-- Я узнаю вас, -- заговорил тихим дрожащим голосом монах. -- Вы -- Крейслер! Имейте ко мне милосердие, не оставляйте меня, помогите мне добраться до тех ступеней -- я там сяду, а вы тоже сядьте со мной, поближе, нас никто не должен слышать. Будьте милосердны, -- продолжал он, когда оба они уселись на ступени лестницы, -- скажите мне, не от Северино ли вы получили этот роковой портрет, знаете ли вы все, знаете ли вы ужасную тайну?

Крейслер откровенно рассказал, как он получил этот портрет от мастера Абрагама Лискова, как произошли в Зигхартсгофе известные события и как он, Крейслер, благодаря разным комбинациям, понял, что с этим портретом связано воспоминание о каком-то неразоблаченном преступлении.

Монах, выслушав рассказ Крейслера, несколько минут сохранял молчание, будучи глубоко потрясен. Потом более твердым голосом, он заговорил:

-- Вы знаете, Крейслер, слишком много, для того чтобы не знать всего остального. Узнайте же, Крейслер, что принц Гектор, искавший вашей смерти, -- мой младший брат. Мы сыновья одного и того же отца, владетельного князя, трон которого должен был бы перейти ко мне, если бы его не смела буря времени. Когда разразилась война, мы оба поступили на военную службу и один за другим приехали в Неаполь. Я предавался тогда всем мирским наслаждениям; в особенности же меня увлекала яркая страсть к женщинам. Одна танцовщица, столько же прекрасная, сколько и распутная, была моей любовницей.

Раз вечером, гуляя по набережной, я начал преследовать двух особ. Я уже почти нагнал их, как вдруг рядом со мной чей-то резкий голос воскликнул: "Однако милый принц у нас большой негодник! Мог бы покоиться в объятиях принцессы, а между тем гоняется...". Я увидел старую оборванную цыганку (несколько дней перед тем я видел, как полицейские служители увели ее с улицы Толедо за то, что она, бранясь с дюжим водовозом, так сильно ударила его костью, что он замертво повалился на землю). "Чего тебе нужно от меня, старая колдунья?" -- спросил я цыганку,

которая в ответ осыпала меня целым градом отвратительных площадных ругательств, чем премного распотешила собравшихся вокруг нас зевак. Я хотел уйти прочь, но старуха ухватила меня за платье и, ослабляя свою физиономию отвратительной улыбкой, начала говорить тихим голосом: "Что ж, милый принц, ты не хочешь со мной поговорить? Не хочешь узнать про чудную красавицу, которая врезалась в тебя по уши?" Уцепившись за мою руку, цыганка прошептала мне на ухо о какой-то молодой девушке, прекрасной как день и еще невинной. Я принял эту женщину за простую сводницу и, не желая заводить новой связи, дал ей, чтобы отделаться, два дуката. Однако она денег не взяла и, когда я пошел прочь, закричала мне со смехом вдогонку: "Ступай, ступай! Все равно ко мне придешь, будешь тосковать, будешь плакать!"

Прошло несколько времени, я совсем позабыл о цыганке. Однажды, гуляя по Villa Reale, я увидел перед собой даму удивительной красоты. Я пристально всмотрелся в нее и просто изумился перед таким неземным совершенством. Так думал я тогда, грешный человек. Пусть это будет для вас как бы описанием той чудной красоты, которой небо наградило прелестную Анжелу. Около молодой дамы шла, прихрамывая и опираясь на костыль, старая, прилично одетая женщина, которая поражала только своим громадным ростом и какой-то беспомощностью. Несмотря на резко измененный костюм, несмотря на чепец, скрывавший значительную часть лица, я тотчас узнал в этой старой женщине цыганку, встретившуюся мне на набережной. Отвратительная улыбка и легкое кивание головы вполне убедили меня в справедливости догадки. Я не мог оторвать глаз от красавицы. Она как будто пришла в замешательство и выронила из рук веер. Быстро наклонившись, я подал его прелестной даме, причем коснулся ее пальцев и почувствовал, что они дрогнули. В этот миг вспыхнуло во мне пламя греховной страсти, и не знал я, что небо готовит мне первое испытание. Вне себя, озадаченный, опьяненный, я стоял и не видел, как молодая дама вместе со старухой села в карету, стоявшую в конце аллеи. И только после того, как карета тронулась, я очнулся от ошеломляющего чувства и, как безумный, бросился вслед за ней. Я прибежал как раз вовремя, чтобы увидеть, как карета остановилась перед одним из домов на узкой улице, ведущей к площади Largo delle Piane. Обе женщины -- и дама, и ее спутница -- вышли из кареты, которая тотчас же уехала после того, как они направились в дом; из этого я с полным правом мог заключить, что мне удалось найти их квартиру. На площади Largo delle Piane жил знакомый мой банкир, синьор Алессандро Сперци; сам не знаю, как я надумал немедленно отправиться к нему. Он предположил, что я пришел по делам, и начал поэтому пространный деловой разговор, однако я весь был полон мыслями о неизвестной даме, не слышал и не видал, что кругом меня делалось, и вместо ответа на вопросы Сперци рассказал ему свое приключение. У синьора Сперци нашлось кое-что сообщить мне, о чем я и не мог даже предполагать: каждые полгода он получает от одного богатого торгового дома в Аугсбурге значительную сумму на имя этой дамы. Ее имя -- Анжела Бенцони; что касается старухи, она известна ему под именем

фрау Магдалены Зигрун. Синьор Сперци должен посылать в Аугсбург подробный отчет о жизни Анжелы, так что он, постоянно наблюдая за ней, состоит как бы ее опекуном. Банкир высказал предположение, что Анжела Бенцони представляет из себя плод запретной любви кого-нибудь из очень высоких особ. Я высказал синьору Сперци крайнее свое удивление по поводу того, что подобную драгоценность отдают на хранение какой-то двусмысленной старухе, которая шляется по улицам как цыганка в грязных лохмотьях и занимается, вероятно, сводничеством. Банкир возразил, что трудно найти более верную и преданную женщину: с тех пор как Анжеле минуло два года, она находится при ней неотлучно; что касается ее переодеваний в цыганский костюм, это с ее стороны не более, как странная причуда, на которую можно смотреть сквозь пальцы. Не буду слишком распространяться. Старуха в скором времени пришла ко мне, переодетая цыганкой, и сама свела меня к Анжеле, которая с девственной стыдливостью призналась мне в любви. Я все еще думал, что старуха просто посредница в греховных связях, но скоро должен был убедиться в противном. Анжела была целомудренна и чиста, как снег. И там, где я думал отдаться порочным восторгам, я научился верить в добродетель, являющуюся мне теперь, конечно, наваждением дьявола. Чем больше возрастала моя страсть, тем больше я склонялся на доводы старухи, ежеминутно шептавшей мне в уши, чтобы я женился на Анжеле. Сперва это должно было быть тайной, но придет день, и я представлю всему свету свою супругу, увенчанную княжеской диадемой. Происхождение Анжелы таково же, как и мое.

Мы были обвенчаны в часовне, принадлежавшей церкви Сан-Филиппо! Мне казалось, что я попал в райские страны; я удалился от всех дел, оставил службу, перестал посещать то общество, где раньше отдавался предосудительным наслаждениям. Перемена образа жизни выдала меня. Танцовщица, которую я бросил, стала следить за мной и, узнав, куда я удаляюсь каждый вечер, открыла тайну моей любви брату моему Гектору, надеясь тем или иным способом отомстить мне. Брат внезапно пробрался в мое убежище в тот самый момент, когда я был в объятиях Анжелы! Обратив свою навязчивость в шутку, Гектор стал упрекать меня, что я не подарил ему даже дружеской откровенности, однако я заметил, что он был крайне поражен красотой Анжелы. Достаточно было одной искры, чтобы в груди его вспыхнуло пламя страсти. Он стал приходить в те часы, когда надеялся найти меня у Анжелы. Мне показалось, что безумная любовь Гектора встретила ответ. Фурии ревности истерзали всю мою душу. Тут-то я и подпал дьявольским силам ада.

Однажды, войдя в комнату Анжелы, я расслышал доносившийся из прихожей голос Гектора. Я остановился, как вкопанный. Вдруг в комнату ворвался Гектор, с безумными глазами, с пылающим лицом. "Проклятый, ты не будешь больше становиться мне поперек дороги!" -- воскликнул он с бешенством и вонзил мне в грудь кинжал по самую рукоятку. Врач, тотчас же призванный, нашел, что удар прошел через сердце. Силы Неба даровали мне исцеление, совершив чудо.

Последние слова монах произнес тихим, дрожащим голосом, как бы впадая в скорбное раздумье.

-- Анжела? -- спросил Крейслер.

-- Когда убийца захотел пожать плоды своего злодеяния, -- заговорил монах упавшим голосом, -- с Анжелой произошли судороги, и она умерла в его объятиях. Яд...

Произнеся это слово, монах упал лицом наземь и захрипел, как умирающий. Крейслер позвонил в колокол и привел в движение весь монастырь. Подоспела братия, и Киприанус, совершенно потерявший сознание, был отнесен в монастырскую больницу.

На другой день аббат, встретившись с Крейслером, был в особенно хорошем расположении духа.

-- Эге, любезный Иоганн, -- весело воскликнул он, здороваясь с Крейслером, -- вы не верите в чудеса, а вчера совершили здесь самое необыкновенное чудо! Скажите, что вы натворили с нашим гордым святым мужем? Он лежит там, как последний грешник, мучимый раскаянием: кто к нему ни подойдет, он у всех просит прощения за то, что хотел возвыситься над нами. Быть может, он требовал от вас покаяния, а вы сами заставили его покаяться?!

Крейслер не счел нужным умалчивать о вчерашнем разговоре с Киприанусом. Он рассказал все, начиная с надменной проповеди монаха против музыки и кончая его обмороком при слове "яд". Крейслер добавил, что он все еще не знает до сих пор, почему, собственно, портрет, полученный от мастера Абрагама, произвел такое потрясающее действие и на принца Гектора, и на брата его Киприануса. Равным образом для него осталось темным, как запутался во все это мастер Абрагам.

-- Да, сын мой, -- заговорил аббат с довольной улыбкой. -- Еще несколько часов тому назад мы стояли здесь и говорили друг с другом, находясь в совершенно ином положении. Внутреннее, правдивое, глубокое чувство значит гораздо больше, чем самый проницательный рассудок. Это видно уже из твоего примера, дорогой мой Иоганн: ты употреблял свое средство, сам не зная хорошенько, в чем его сила, но внутреннее чувство всегда указывало тебе надлежащий момент, и ты никогда не ошибался, ты поразил на месте опаснейшего врага, против которого были бы бессильны самые обдуманые планы. Без ведома для самого себя, ты оказал громадную, неоценимую услугу -- и мне, и монастырю, и, быть может, даже всей церкви.

Я буду теперь вполне откровенен с тобой, я отвращаюсь отныне от тех, которые хотели увлечь меня ложными призраками, вопреки твоей пользе. Ты можешь во всем положиться на меня, Иоганн! Позволь мне позаботиться о том, чтобы было исполнено заветнейшее твое желание. Твоя Цецилия... ты знаешь, какое милое существо я разумею под этими словами... Но не будем пока говорить об этом! Я могу в немногих словах рассказать тебе об ужасном событии, совершившемся в Неаполе. Во-первых, нашему достойному брату Киприанусу было угодно опустить в своем рассказе одно маленькое обстоятельство. Анжела умерла от яда,

который дал ей он в припадке дьявольской ревности. Мейстер Абрагам был в то время в Неаполе и носил имя Северино. Он думал найти следы пропавшей Кьяры и, действительно, нашел с помощью старой цыганки Магдалены Зигрун, которую ты уже знаешь. Когда мейстер обратился к ней, как раз произошло известное злодеяние, и старуха, уезжая из Неаполя, рассказала все мейстеру и дала ему на хранение портрет, тайну которого ты еще не знаешь. Нажми стальную пуговку, находящуюся с краю, портрет Антонио отскочит, и ты увидишь за ним портрет Анжелы, за которым спрятаны два маленькие листочка; они представляют из себя документ, весьма важный для разоблачения двойного убийства. Понимаешь теперь, почему твой талисман так действителен. Мейстер Абрагам еще будет иметь дело и с тем, и с другим братом. Впрочем, об этом он расскажет тебе сам. Посмотрим теперь, Иоганн, как обстоят дела с нашим больным братом Киприанусом.

-- А чудо? -- спросил Крейслер, смотря в то же время на то место, где висела недавно полученная картина; теперь она была снята и снова уступила место "Святому семейству" Леонардо да Винчи.

-- Вы разумеете прекрасную картину, висевшую здесь? -- возразил аббат, как-то странно посмотрев на Крейслера. -- Я велел ее пока поместить перед постелью больного, вид ее укрепит нашего бедного брата Киприануса: быть может, Владычица вторично сжалится над ним.

Придя в свою комнату, Крейслер нашел на столе письмо от мейстера Абрагама следующего содержания:

"Дорогой Иоганн!

Не медли ни минуты! Оставь аббатство и спеши сюда! Сам дьявол заварил здесь кашу! Все расскажу на словах, писать не могу: просто задыхаюсь. Ни слова не пишу о себе и о счастливой звезде, которая вспыхнула для меня! Вот пока новость: ты более не встретишь здесь советницу Бенцон, она превратилась во владетельную графиню фон Эшенау. Принц Гектор играл до сих пор в прятки; теперь он удалился отсюда для исполнения своих обязанностей по военной службе. В скором времени он вернется, и мы сыграем две свадьбы. Забавная будет штука! Трубачи уже промывают свои глотки, скрипачи сандалят свои смычки, факельщики из Зигхартсвейлера готовят торжественные светильники... но!., скоро будет день рождения княгини; я устрою нечто великолепное, ты должен присутствовать. Спеши сюда немедленно, как только прочтешь письмо! Скорей, скорей! А прогос, бойся попов; впрочем, аббата я очень люблю... adieu!" [*Кстати... прощай! -- фр.*]

Эта записка старика мейстера, при всей своей краткости, была так многозначительна, что...

Приписка издателя

Заканчивая печатание второго тома, издатель должен сообщить благосклонному читателю весьма прискорбное известие. Мудрого, ученого, философически и поэтически одаренного кота Мурра постигла злая смерть среди его славного поприща. Он скончался в ночь с 29 на 30 ноября после краткой, но тяжелой болезни, которую он перенес со спокойствием и мужеством истинного мудреца. Вот новое доказательство, что преждевременно развившемуся гению всегда грозит горькая участь. Или он делается равнодушным ко всему и теряется в толпе, или его постигает преждевременная смерть. Бедный Мурр! Смерть друга твоего Муция была предвестником твоей собственной кончины; если бы мне пришлось говорить надгробную речь, посвященную твоей памяти, она вылилась бы у меня из глубины сердца, я сказал бы ее совершенно иначе, чем бесчувственный Гинцман; ибо я тебя любил, любил более, чем многих... но да будет так! Спи спокойно! Мир праху твоему!

Весьма прискорбно, что усопший не успел кончить записок, обрисовывавших его мирозерцание и являющихся теперь в виде фрагментов. Однако в посмертных бумагах усопшего кота разбросано там и сям множество размышлений и заметок, которые, по-видимому, были написаны им во время его пребывания у капельмейстера Крейсlera. Кроме того, среди них нашлась значительная часть книги, растерзанной котом и представляющей из себя биографию капельмейстера.

В третьем томе [*Т. А. Гофман намеревался написать третий, заключительный том своего романа, но смерть помешала ему привести этот план в исполнение. -- Примеч. пер.*], имеющем появиться в самом непродолжительном времени, издатель надеется сообщить благосклонному читателю уцелевшие отрывки биографии, присоединив к ним в надлежащих местах наиболее ценные размышления кота.